

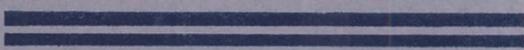
2

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1956

2



1956

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXII

№ 2

Февраль, 1956 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
И. БЕЛОВ — Заметки о техническом прогрессе	3
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — К партии, стихи	21
ЛЕВ ОШАНИН — Душа народа, стихи	22
МУХРАН МАЧАВАРИАНИ — О партии впервые я пишу... Стихи. Авторизованный перевод с грузинского Евг. Евтушенко	23
В. ТЕНДРЯКОВ — Саша отправляется в путь, повесть	25
МАРК МАКСИМОВ — Встреча однополчан, стихи	89
ЛЕВ МОЧАЛОВ — Жаворонок, стихи	91
ЮРИЙ ЕФРЕМОВ — Как землянка... Стихи	93
СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ — Привал, стихи	94
ВЛАДИМИР ГОРДЕЙЧЕВ — Наше время, стихи	95
АЛЕКСАНДР БЕК — Жизнь Бережкова, роман. Продолжение	96
АРТУР МИЛЛЕР — Человек, которому так везло, пьеса. Перевод с английского Е. Гольшевой и Б. Изакова	157
ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ	
ГЕНРИХ ГЕЙНЕ — Письма. Перевод с немецкого и примечания Д. Уманского	220
ЭФФЕНДИ КАПИЕВ — Из блокнотов военных лет (1942—1944)	226
ТРИБУНА ПИСАТЕЛЯ	
АННА КАРАВАЕВА — О прямой дороге и просёлках (Открытое письмо моим корреспондентам)	237
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	246
Р. Орлова. Кое-что о взаимности. — В. Борисов. Издано в Бейруте...	
ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ	
ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ — По поводу стихотворения Геннадия Могилевцева	252
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
С. ЕЗЕРСКИЙ — Поэзия воспитания	255

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	261
А. Лучак. Страницы великой жизни. — Л. Александров. Три повести В. Герасимовой. — В. Серёгин. Роман об Иване III. — Б. Зубрилина. Люди будущего. — Г. Шукст. Встреча с юностью. — В. Андреади. Стихи об Азии. — Гр. Ципанко. Шестеро отважных. — Е. Белов. Путешествие с книгой. — А. Ливеровский. Не пугайте детей! — В. Лавринович. Несколько замечаний. — С. Попрыкин. Афганские народные сказки	
<i>Политика и наука</i>	273
М. Шутый. Энергия великих рек. — С. Небесный. Массовая литература о целине. — В. Левачёв. Опыт одного леспромхоза. — И. Васильева-Южина. Записки авиатора. — И. Ставицкий. Сверлильные станки. — Д. Лебедев. Трагедия капитана Скотта	
РЕПЛИКИ	282
Л. Кассиль, С. Михалков, Я. Тайц. Золотой ключик. — Александра Бруштейн. О мемуарной литературе	
КОРОТКО О КНИГАХ	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

И. БЕЛОВ

★

ЗАМЕТКИ О ТЕХНИЧЕСКОМ ПРОГРЕССЕ

Шестая пятилетка должна быть пятилеткой дальнейшего мощного развития производительных сил Советской страны, перехода народного хозяйства на более высокий технический уровень производства...

(Из проекта ЦК КПСС Директив XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР)

1

Основоположник широко рекламируемых в капиталистическом мире методов «научной организации труда» Ф. Тейлор откровенно высказал в своё время взгляды капиталистического предпринимателя на роль рабочего в производстве: «Необходимо, — поучал он, — подробно объяснить рабочему, что он должен делать и как он должен делать; всякое усовершенствование, которое он захочет ввести в данные ему указания, будет губительно для успеха» (подчёркнуто мною.— И. Б.).

Такое унижающее достоинство людей труда обобщение приведено в книге Тейлора «Искусство резать металлы». Любопытно, что именно это «искусство» советские рабочие обогатили усовершенствованиями и открытиями, способствовавшими прогрессу науки и техники в области металлообработки и станкостроения.

Времена меняются. Ныне организаторы труда в капиталистическом производстве, пожалуй, и не позволят себе роскоши столь откровенных признаний. Но человек для них во всех случаях — это только более или менее дешёвая рабочая сила, придаток машинной техники. Да и сама природа капитализма, присущие ему непримиримые противоречия между трудом и капиталом исключают массовое творчество миллионов трудящихся.

Социалистическое общество, покончив со всеми формами эксплуатации, уничтожив противоположность между трудом физическим и умственным, последовательно стирает и существенные между ними различия, возвращает труду интеллектуальное содержание, радость творчества.

Величественные задачи шестого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР будут выполняться людьми, прошедшими школу пятилеток, и в этом прежде всего залог успеха огромной созидательной программы, предлагаемой Центральным Комитетом КПСС на рассмотрение XX съезда партии.

В начальный период индустриализации советский рабочий обычно не помышлял ещё о непосредственном своём участии в совершенствовании техники. У него не было для этого достаточных знаний, технического кругозора. Всё это придёт потом и не сразу. Лишь постепенно скажутся гигантские усилия общества, направленные на повышение культурно-

технического уровня рабочих и земледельцев (курсы ликвидации неграмотности, курсы техминимумов, рабфаки, обязательное семилетнее, а затем десятилетнее обучение, сеть вечерних техникумов, втузов).

Всего два десятилетия прошло после зарождения стахановского движения. В тридцатых годах на знамени передовиков производства было написано: «Использовать новую технику до дна». А в наши дни рабочий-новатор, вооружённый не только опытом, но и техническими знаниями, совершенствует самую технику.

...У берегов Волги, где полвека назад бурлаки, надрываясь, тащили гружёные баржи, человек во всеоружии новейшей техники воздвигает гигантские плотины, обваловывает берега созданных его волей морей. Вот машинист Коваленко ведёт мощный шагающий экскаватор, заменяющий труд тысяч землекопов. Как красиво работает огромная машина, управляемая умелыми руками советского рабочего. Всё учащается ритм работы экскаватора. И вот уже кажется, что из техники выжато всё, что экскаватор не может дать больше того, что даёт. Предел? Нет, не предел!

Рабочий Коваленко, анализируя работу своей машины, приходит к мысли, что можно увеличить ёмкость ковша; он подсказывает конструкторам новые возможности повышения производительности машины.

Киевский токарь В. Семинский так же, как и экскаваторщик Коваленко, стремится взять от своего станка всё возможное. Он использует резцы из сверхтвёрдых сплавов, тщательно продумывает технологию обработки деталей. Вместо десятков минут он затрачивает на изготовление деталей немногие минуты. Как будто предел? Нет! Токарь создаёт остроумные автоматические приспособления, резко снижающие время, затрачиваемое на подготовительные операции, и тем самым увеличивает полезную работу станка, или, как говорят специалисты, машинное время.

И так во всех областях производства. О масштабах и массовости технического творчества советских людей можно судить хотя бы по тому, что в одном только 1954 году внедрено в промышленности свыше 900 тысяч предложений новаторов.

Анализируя творчество новаторов производства за последние годы, нельзя не заметить в нём новые черты, требующие к себе особого внимания. И хотя в этих фактах новое не всегда достаточно отчётливо выражено, порой мелькает только редкими искорками, они всё же озаряют вершины, к которым подымается труд в социалистическом обществе.

Какие же черты характеризуют труд новаторов производства в дальнейшем его развитии?

2

Передо мной брошюра рабочего Воронежского кирпичного завода Павла Дуванова. Автор рассказывает в ней о своём методе скоростного обжига кирпича.

В том, что рабочий написал брошюру, нет, конечно, ничего необычного. Привлекает внимание короткое предисловие, написанное членом-корреспондентом Академии наук СССР П. П. Будниковым, видным специалистом в области строительных материалов. Вот что пишет учёный об опыте рабочего-новатора.

«Почти сто лет прошло с тех пор, как появилась первая кольцевая печь для обжига строительного кирпича. За это время она подверглась многим конструктивным изменениям, однако производительность её оставалась почти на одном и том же уровне. Не раз специалисты-исследователи, инженеры и производственники пытались улучшить работу кольцевых печей и поднять съёмы кирпича с кубметра обжигательного канала, но коренных успехов в этом деле им не удавалось добиться. Эту задачу решил стахановец, новатор кирпичного производства Павел Антонович Дуванов. Он создал совершенно новый режим обжига кирпича...»

Рабочий решил проблему, над которой десятки лет бились учёные, исследователи, инженеры. Факт сам по себе примечательный, но интерес представляет не только то, чего он добился Дуванов, а и то, как им путём пришёл он к новаторскому решению.

Все, кто проектирует и эксплуатирует кольцевые печи, принимали как незыблемую закономерность простейшее и как будто логическое положение: чем плотнее разместить сырой кирпич на кубометре канала, в котором происходит обжиг, тем выше будет производительность печи. Установилась оптимальная норма: 250—260 кирпичей на кубометр. Так работали долгие годы. Дуванов, стремясь увеличить производительность печи, пробует повысить загрузку. Однако тогда движение огня и воздуха в печи замедляется, время обжига увеличивается, качество кирпича ухудшается.

У Дуванова возникает мысль: ускорить движение огня и воздуха в печи. Но как это сделать? Может быть, уменьшить плотность загрузки печи? Рабочий делится своей мыслью с опытнейшими мастерами.

— Ещё чего придумаешь! — протестуют они. — Никому больше об этом не говори.

Новые поиски. Дуванов сокращает зону обжига, но это не даёт результатов. И вот однажды несколько камер печи оказались недогруженными. На каждый кубометр пришлось не 250 или 260 кирпичей, а всего 220. Новатор и его друзья замечают: как только огонь доходит до неплотно загруженных камер, скорость его движения резко увеличивается, соответственно сокращается время обжига. Но, может быть, это случайность? Павел Дуванов экспериментирует, он изменяет плотность загрузки камер и доказывает, что при снижении плотности садки до двухсот кирпичей на кубометр производительность печи возрастает чуть ли не вдвое!

Так устанавливается новая закономерность, имеющая далеко не частный характер. «Коренным образом должны быть пересмотрены, — считает автор предисловия, — существующие ныне нормы проектирования кольцевых печей».

Новаторство Дуванова, как мы видим, несёт в себе новые черты. Рабочий критически переоценивает сложившиеся десятилетиями основы технологии обжига кирпича, ведёт эксперименты и приходит к открытию новой закономерности процесса. Это уже труд исследователя.

Ещё более отчётливо раскрываются эти черты в работах известного сейчас не только в нашей стране, но и далеко за её рубежами токаря В. Колесова. И в этом случае нам важно не только само открытие, как оно ни замечательно, но и пути, которые привели к нему новатора.

Года три назад в «Литературную газету» пришло письмо от В. Колесова. В нём автор кратко рассказывал о творческой находке, которая даёт возможность резко увеличить производительность токарных станков, и сетовал, что его опыты не выходят за пределы завода.

В чём же заключалась идея Колесова? Стоит рассказать о ней подробнее, чтобы оценить смелость мысли токаря-новатора.

Поясним в общих чертах, что такое скорость резания. Представьте себе закреплённую на станке и непрерывно вращающуюся деталь. При каждом обороте детали резец снимает с неё кольцо стружки. Чем больше оборотов делает деталь в минуту, тем больше резец снимет стружки, тем скорее закончится обработка. Скорость, грубо говоря, измеряется длиной стружки, снятой в минуту.

Работая на современных высокооборотных станках, применяя твёрдосплавные резцы, новаторы добиваются исключительно высоких скоростей резания.

Но только ли от количества оборотов детали зависит производительность труда? При каждом обороте резца он на какое-то расстояние продвигается вдоль детали. Чем шире это продвижение, этот «шаг», тем шире лента стружки, тем быстрее идёт обработка детали. Но если скорости

резания металла за последние годы растут непрерывно, то продвижение резца вдоль деталей (это называется величиной подачи) остаётся почти неизменным, составляя в среднем 0,25—0,35 миллиметра за один оборот.

Почему же не заставить резец быстрее продвигаться по детали, сделать «шаг» резца шире — не 0,35 миллиметра при каждом обороте, а, скажем, 2—3 миллиметра? Нельзя, так как по мере увеличения подачи ухудшается поверхность обрабатываемой детали, а при очень высокой подаче она приобретает даже винтообразную форму.

На пути увеличения подач стоит признанный практикой и теорией барьер. Предел!

На этот барьер Колесов натолкнулся, вступив в соревнование с ленинградским токарем-скоростником Борткевичем. Работая на станке более старой, чем у Борткевича, конструкции (со значительно меньшим числом оборотов), Колесов приходит к убеждению, что увеличением скорости резания ему не догнать известного скоростника, что большей производительности он добьётся лишь в том случае, если увеличит подачу.

Токарь знакомится с литературой, учебниками и всюду находит категорическое заключение: такой путь бесперспективен, многие исследователи потерпели на нём неудачу, при увеличении подачи ухудшается чистота обработки.

Тогда Колесов обращается к живой практике. Он изучает все виды металлообработки. На продольно-строгальном станке он наблюдает, как резец снимает стружку в 14 миллиметров шириной, оставляя за собой чистовую поверхность. Вот это «шаг»! Но продольно-строгальный станок — не токарный. Мелькает догадка: а если приблизить геометрию токарного резца к строгальному? Часами наблюдает новатор процессы строгания, фрезерования и токарной обработки металла. Догадка за догадкой проверяются десятками, сотнями экспериментов. Они приводят к убеждению: всё дело в форме, в геометрии резца. И, наконец, такая геометрия найдена. При подачах, в десять раз превосходящих общепринятые и рекомендуемые учебниками, резец оставляет за собой чистовую поверхность. Открытие!

Выдающийся учёный-кораблестроитель, академик А. Н. Крылов, автор теории, опровергнувшей все существовавшие до неё представления о живучести и потопляемости морских судов, записал в своих заметках: «Я убедился, что если какая-либо нелепость стала рутиной, то чем эта нелепость абсурднее, тем труднее её уничтожить».

В этом пришлось убедиться и Колесову. Некоторые учёные, к которым он обращался, недоуменно пожимали плечами: «Да, что-то есть... но это, повидимому, частный случай». Колесов продолжает опыты и доказывает, что случай этот не частный. Несколько лет он настойчиво, но без видимого успеха пробивает путь своему резцу.

Его письмо в редакцию было апелляцией к общественности.

Нелегко пробить путь новому. Виднейшие учёные, знакомясь с письмом, воздерживались от оценки опыта новатора: нужно увидеть, проверить, ознакомиться.

Страна узнала о Колесове после того, как было организовано его сообщение на учёном совете Института машиноведения Академии наук СССР.

На трибуну собрания, в котором участвовали крупнейшие специалисты в области технических наук, вышел рабочий-новатор. Нет, он не дал теоретического обоснования своего открытия. Смысл его выступления сводился примерно к следующему:

— Я не учёный. Я, как и все советские рабочие, с большим уважением отношусь к науке. Но мы вправе требовать от науки внимания к опыту практиков. Вот мои резцы! (Он показал их собранию.) Они обеспечивают при больших подачах чистовую поверхность металла. Работу

этих резцов я могу показать в любом месте, где есть токарный станок. Но когда вы убедитесь в реальности того, что я делаю, исправьте ошибочные рекомендации в учебниках, откройте широкую дорогу моему резцу в промышленности.

На следующий день в старейшем техническом вузе страны, в Московском Высшем техническом училище имени Баумана, Колесов в присутствии профессоров — авторов учебников по резанию металла, аспирантов и студентов демонстрировал обработку деталей на невиданных ранее подачах в два, три и даже четыре миллиметра и получал при этом зеркальную поверхность.

Факты упрямы. Открытие Колесова выходит на широкие просторы. На многих тысячах предприятий у нас и за рубежом начинают применять его резцы. А научно-исследовательские институты изучают опыт В. Колесова с тем, чтобы теоретически его обосновать и развить.

Оглядываясь на минувшие десятилетия, сравниваешь труд ударника двадцатых годов, простейшие его усовершенствования в ручных процессах со смелыми поисками Дуванова, Колесова: поистине исторические изменения! Задавленное, угнетённое при капитализме зерно творчества в труде рабочего дало чудесные побеги на почве социалистического общества.

Маркс, полемизируя с социалистами-утопистами, представлявшими себе труд в обществе будущего, как забаву, чуть ли не занимательную праздность, подчёркивал: «Действительно, свободный труд, например, труд композитора, есть вместе с тем дьявольски серьёзное дело, интенсивнейшее напряжение. Труд материального производства может получить этот характер лишь тем, что 1) дан его общественный характер, 2) что он имеет научный характер...».

А разве наша действительность не подтверждает этого гениального предвидения? Труд таких новаторов, как Колесов и Дуванов, несёт в себе черты общественного и научного характера.

Советский рабочий, непрерывно повышая свой культурно-технический уровень, вместе с учёными и конструкторами участвует в развитии науки и техники.

Имена В. Колесова и П. Дуванова широко известны в нашей стране. Преждевременно было бы утверждать, что их открытия — рядовое, обыденное у нас явление. Но и не так они редки.

В конце минувшего года на научно-технической конференции сталеплавыльщиков Донбасса выступил с докладом сталевар-скоростник Константиновского завода имени Фрунзе И. Колпаков. Учёные, инженеры, участвовавшие в работе конференции, с интересом выслушали его сообщение об опыте совмещения во времени отдельных операций сталеплавления процесса и о тщательно разработанном методе эффективного использования тепла в печи.

Заслуживает внимания исследователей опыт новатора Уральского вагоностроительного завода С. Барина. Он нашёл новый состав массы для футеровки сталеплавильных печей. Применение этой футеровки резко увеличивает стойкость печей, даёт огромную экономию времени и средств. Опыт Барина прокладывает пути к решению волнующей всех сталеваров-скоростников проблемы — повышения стойкости мартеновских печей.

Новые задачи ставит перед научно-техническими работниками автомобильной промышленности интересное начинание шофёра Челябинской государственной селекционной опытной станции А. Друбина. Он сконструировал портативную несложную лебёдку для автомобиля «ЗИС-150». С помощью этой лебёдки, приводимой в движение мотором автомобиля, механизмуется погрузка и разгрузка зерна, силоса, удобрений, овощей. Автомобиль в зависимости от необходимости превращается в автопогрузчик.

Конструкция лебёдки не представляет, конечно, чего-либо нового, но сама по себе идея использовать мотор обычного грузовика для механизации погрузочных и разгрузочных работ в сельском хозяйстве заслуживает серьёзного внимания. Пора, наконец, нашему австростроению создать автомобиль, приспособленный к условиям, нуждам и особенностям колхозного производства. Ведь всем известно, как недопустимо высоки ныне простои автомобилей в сельском хозяйстве из-за того, что погрузка осуществляется вручную.

Все эти факты, да и вся наша жизнь, богатая творчеством, повседневно подтверждают глубоко принципиальное положение: учёный, конструктор, рабочий — это неразрывные взаимодействующие звенья научно-технического прогресса.

Социализм пробудил к активному творчеству миллионы рабочих, которые вместе с инженерами и учёными движут вперёд науку и технику. И это, именно это, создаёт все условия для высоких, недоступных капитализму темпов и размаха развития техники и науки.

Написав «науки», я вспомнил беседу с одним из солидных учёных — солидных и по возрасту и по количеству напечатанных теоретических трудов.

— Нельзя не согласиться, — снисходительно говорил он, — что роль новаторов производства в совершенствовании техники, в лучшем её использовании становится всё заметнее, но вряд ли целесообразно подчёркивать влияние их на развитие науки. Современная техническая наука сложна, и нужно обладать большими специальными знаниями, чтобы проявить себя в ней.

В одном мой собеседник, безусловно, был прав. Теоретическая разработка научно-технических проблем требует больших специальных знаний. Но он, как и многие другие учёные в области технических наук, к сожалению, не оценил могучей творческой силы критики, направленной против всего отживающего в науке и технике, которую несут в себе новаторы производства.

Опрокидывая своим опытом устаревшие представления, а подчас и освящённые наукой пределы, новаторы разведывают новые пути в технике, подводят учёных к открытию новых закономерностей, что является основной целью подлинной науки.

Разве новая геометрия резца Колесова, опрокинувшего научное представление о пределах допустимых подач, не сулит успеха в области теории резания металла тому учёному, который серьёзно и всесторонне займётся открытием рабочего? А новая технология обжига, разработанная Дувановым, разве не заслуживает внимания учёных, которые в продолжение десятилетий придерживались взглядов, опровергнутых новатором? Вспомним, что новая страница в истории станкостроения тоже открыта мастером Сталинградского тракторного завода И. Иночкиным, построившим первую в мире автоматическую линию из агрегатных станков и автоматов. И хотелось бы, чтобы начинание шофёра Друбина приблизило решение исключительно важной проблемы создания автомобиля для сельского хозяйства.

Достижения нашей технической науки огромны и признаны всем миром. Советские учёные и конструкторы в короткие сроки решили множество сложнейших научно-технических проблем вплоть до технологии промышленного производства и использования атомной энергии для мирных целей. Труды советских учёных положены в основу коренных, революционных усовершенствований производственных процессов. И всё же, если бы наши учёные и конструкторы систематически, организованно изучали опыт новаторов производства, чутко улавливали глубину заложенных в нём идей и не только бы замечали, а развивали и обогащали их, — темпы научно-технического прогресса, несомненно, были бы ещё выше.

Не следует забывать слова Энгельса: «До сих пор хвастались лишь тем, что производство обязано науке, но наука бесконечно большим обязана производству».

Никто из учёных не станет оспаривать это. И всё же творческие связи научно-исследовательских институтов и огромного технического аппарата министерств с производством явно недостаточны. Они осуществляются пока на узком фронте, эпизодически.

3

Чувство нового органически присуще советским людям. Весь уклад нашей жизни, практика коммунистического строительства формируют человека больших стремлений, всегда готового отвергнуть то, что устарело и отживает, принять новое и бороться за него.

Новая технология, разработанная учёными, или новая машина, созданная конструкторами, неизменно встречает доброжелательное, заинтересованное отношение со стороны рабочих — новаторов производства, среди колхозников — передовиков сельского хозяйства.

Стоило агробиологам доказать преимущество квадратно-гнездового сева пропашных культур, и в тысячах колхозов сразу же обнаружили патриоты новой агротехники. Они активно внедряли квадратно-гнездовой сев, совершенствовали его технику.

В научно-исследовательских институтах ещё только заканчивали испытания керамических пластинок, открывающих новые перспективы в области металлообработки, а тысячи токарей уже старались раздобыть такие пластинки и своими экспериментами помогали их внедрению.

Доверие и уважение к науке, готовность без проволочек использовать в труде её достижения присущи миллионам рабочих и колхозников.

Нельзя, однако, не заметить, что встречный поток — творчество самих новаторов производства — далеко не всегда вызывает такую же горячую заинтересованность со стороны научно-исследовательских институтов и технического аппарата промышленных министерств.

Сплошь и рядом новаторам производства приходится затрачивать много энергии на реализацию своих усовершенствований и изобретений. Несколько лет добивался токарь Колесов сперва признания своего резца, а потом широкого внедрения его в производство. Министерство станкоинструментальной промышленности, куда он обратился поначалу, не придавало значения открытию, зарегистрировав его как очередное рядовое усовершенствование. Лишь непосредственное обращение новатора к помощи передовых учёных «открыло» резец Колесова всей промышленности. Но не так-то просто рядовому новатору производства привлечь внимание учёных к своим творческим поискам!

Основным каналом связи огромного научно-технического аппарата промышленности, его учёных, исследователей, конструкторов, работников технических управлений главков и министерств с рабочими-новаторами являются отделы рационализации и изобретений, так называемые БРИЗы. Сюда направляется поток рационализаторских предложений и изобретений, здесь оценивают их и либо отвергают, либо дают путёвку на широкое внедрение в производство.

В начальный период социалистического строительства БРИЗы сыграли свою положительную роль, на нынешнем же этапе они зачастую сдерживают темпы технического прогресса.

Что такое БРИЗ?

Не так давно мне довелось присутствовать на совещании руководителей отделов рационализации и изобретательства ряда министерств с изобретателями, затратившими долгие годы на продвижение своих изобретений. Руководители БРИЗов не скрывали, что поток нового захлестнул их,

а возможности прибегнуть к авторитетной экспертизе у них предельно ограничены; она осуществляется порой явно неквалифицированными специалистами. Да и аппарат отделов рационализации и изобретательства комплектуется зачастую случайными людьми, не способными бороться за новое.

Один из участников совещания задал «коварный» вопрос выступавшему начальнику БРИЗа:

— Был ли такой случай, когда вы, уверовав в полезность изобретения, которое затирают, вошли в кабинет министра и потребовали обуздания консерваторов?

В ответ раздался дружный хохот всех собравшихся.

— Почему смеются? — спросил я одного из работников министерств.

— Видите ли, — без всякого смущения ответил он, — работникам БРИЗов приходится трудно, люди они зачастую малосведущие в технике и обычно не пользуются большим авторитетом. И не только в кабинете министра, но даже в техническом отделе они не поднимают голоса.

И не приходится удивляться, когда мощный, всё нарастающий поток изобретений, рационализаторских предложений не только рабочих-новаторов, но и инженеров и учёных, попадая в узкие горловины БРИЗов, захлёбывается.

Советское общество постоянно заботится о повышении интеллектуального уровня трудящихся, побуждает их к творчеству, высоко ценит новаторов производства. Как же можно мириться с тем, что эта гигантская энергия включается в процесс развития науки, техники и производства с помощью вот таких, явно неполноценных приводов? Жизнь не желает мириться с этим.

Своеобразие научно-технического процесса в нашей стране проявляется и действует в самых разнообразных формах.

Крупнейшим достижением советского машиностроения в последние годы было создание угольного комбайна. Эта машина вносит революцию в угольную промышленность, освобождает от тяжёлого ручного труда большую армию навалотбойщиков, в ней воплощена идея комплексной механизации.

А как создавалась эта машина?

Конструкторы наиболее совершенного комбайна «Донбасс» несколько раз переделывали первоначальную его конструкцию на основе предложений рабочих, построивших первую серию машин, и горняков, испытывавших её в шахтах. Конструкторы и ныне продолжают улучшать комбайн, создают новые типы горных машин в постоянной творческой связи с новаторами производства.

Экипаж мощного землесоса во главе с рабочим-новатором В. Хлюстом, вместе с учёными Киевского политехнического института осуществляет проект полной автоматизации управления землесосом. Инициаторами внедрения автоматизации были Хлюст и его товарищи.

Примечателен и такой факт. В составе правительственной комиссии по приёмке нового токарного станка завода «Красный пролетарий» были известные токари-скоростники.

Но всё это лишь эпизодические факты содружества. А интересы научно-технического прогресса требуют постоянной, продуманной творческой связи всего нашего научно-технического аппарата с новаторами производства.

Советские учёные, конструкторы творят для народа. Они создают новую технику для миллионов кровно заинтересованных в её развитии людей и должны быть озабочены организацией постоянных творческих связей с новаторами производства. Какие широкие перспективы открывает этот путь! Нет, не далёкой мечтой, а реальной возможностью стала такая организация научных исследований, когда учёному будут

помогать направляемые им тысячи новаторов производства; а поиски новаторов будут поддерживаться всеми силами науки.

Есть у нас ещё учёные, свысока относящиеся к творчеству новаторов производства. Они готовы снисходительно признать, что новаторы делают полезное дело, но не верят, что их опыт может представить какую-либо ценность для науки. Нет-нет да и прорывается такая нотка.

Первый учёный, которому Колесов показал свой резец, просто отмахнулся от него, как от «фокусника». С таким же отношением к своему открытию пришлось столкнуться талантливому новатору Д. Рыжкову. Он много лет работал над сложнейшими явлениями вибрации и нашёл удивительно простой способ её устранения. Небольшая чёрточка — «фаска», нанесённая на резец, успешно гасит вибрацию.

Когда впервые в печати появилось сообщение о «фаске» Рыжкова и она была названа открытием, это неожиданно обидело некоторых учёных. Они высказывали примерно такие соображения:

— Ничего заслуживающего внимания в опыте Рыжкова нет. Возводя в ранг открытия какой-то частный случай, газста компрометирует советскую науку.

Но вот в чехословацкой технической газете появилась большая статья, посвящённая опытам виброгашения по методу Рыжкова, проведённым чешскими исследователями. Заинтересовались «фаской» Рыжкова в Китае, Германии, Англии. И только тогда наши «ревнители чести» науки занялись открытием Рыжкова.

Следует оговориться, факты подобного пренебрежительного отношения к техническому творчеству рабочих сравнительно редки. Подавляющее большинство советских учёных видит в рабочих-новаторах смелых разведчиков новых путей науки и техники. Эти учёные горячо ратуют за научное обобщение новаторского опыта. И всё же их благие намерения не осуществляются достаточно широко, по всему фронту науки и техники. Почему так получается?

Мне вспоминается заседание учёного совета Института машиноведения Академии наук СССР, к которому готовились, как к большому событию, да оно и могло им стать. Доклад «Научное обобщение опыта новаторов и пути развития советской науки о машинах» собрал большую аудиторию учёных и инженеров. Обмен мнениями показал, как много может дать науке о машинах изучение и обобщение опыта новаторов производства. Учёный совет вынес даже решение: создать при Институте машиноведения комиссию по проектированию и эксплуатации машин. Предполагалось, что эта комиссия будет систематически обобщать опыт проектирования и эксплуатации машин, устраивать совещания и дискуссии по вопросам машиностроения с участием новаторов производства. Таким образом была найдена форма постоянной взаимосвязи науки и практики. Но прошло почти три года после заседания учёного совета, а ничего из намеченного пока не осуществлено. Где-то в делах института осел ещё один документ о несбывшихся благих намерениях.

Конструкторы угольного комбайна «Донбасс» сумели установить постоянные связи с новаторами заводов-изготовителей и с машинистами комбайнов на шахтах. А кто мешает, скажем, научно-исследовательскому институту по проектированию машин для угольной промышленности (Гипроуглемашу) организовать систематическое изучение опыта эксплуатации горных машин непосредственно в шахтах, в различных горных условиях? Можно не сомневаться, что это весьма благотворно отразилось бы на качестве новых конструкций Гипроуглемаша.

А разве не заслуживает исследования и научного обобщения опыт сталеваров-скоростников или опыт химиков, интенсифицирующих технологические процессы?

Недавно в печати промелькнуло короткое сообщение: новаторы одного из южных цементных заводов довели производительность мощной стопятидесятиметровой вращающейся печи (для получения клинкера) до двадцати шести тонн в час.

Сама по себе эта цифра, конечно, мало что говорит читателю, не искущённому в технике производства цемента. Но она воскрешает в памяти интересный и характерный эпизод конца сороковых годов.

Стопятидесятиметровая вращающаяся печь — это сложный и мощный агрегат. Впервые такие печи были установлены на наших заводах после войны. Конструкторы преподали инженерам и рабочим предприятий режим эксплуатации печей и предупредили, что какие бы то ни было отклонения могут привести к плачевным результатам.

Небольшой коллектив рабочих во главе с мастером, депутатом Верховного Совета РСФСР Ф. Николаевым, изучив печь, пришёл к выводу и практически доказал, что её производительность — 20 тонн в час — может быть увеличена. Вместо того чтобы прислушаться к голосу новаторов, руководители цементной промышленности категорически запретили интенсифицировать процесс, ссылаясь на то, что печь может выйти из строя, авария неизбежна.

Бригада Николаева, вновь и вновь анализируя свой опыт, пришла к убеждению, что такие опасения не обоснованы. Уверенная в абсолютной надёжности и безопасности принятого ею режима, она продолжала работать по-своему, а чтобы не выдать себя, уменьшала в сводках количество выработанного цемента. Несколько месяцев работы неоспоримо подтвердили правоту новаторов и посрамили перестраховщиков. Помнится, тогда выработка была доведена до 22 тонн в час.

Прошло пять лет, и вот новый прыжок — 26 тонн в час!

Стоит разобраться в этом факте. Что в нём характерно? Смелость и настойчивость новаторов, их наступательный дух? Безусловно! Но одни ли эти качества обеспечили победу?

Чтобы преодолеть консерватизм, техническую трусость, необходим опыт, проверка смелой мысли экспериментом, необходимо изготовление опытного образца, испытание в промышленных условиях. Ведь настойчивость новаторов цементного завода росла по мере того, как опыт убеждал их в реальной возможности форсировать режим печи.

Но если рабочим-новаторам, изобретения которых рождаются в процессе труда, сложно иной раз проверить свой замысел экспериментами, то неизмеримо труднее приходится изобретателям-инженерам, конструкторам-учёным. Ведь конструктору, замыслившему новую машину, или учёному, разработавшему принципиально новый технологический процесс, необходимо добиться больших ассигнований на изготовление опытной машины или новой установки. И часто бывает так: чем смелее и значительнее идея, тем труднее довести её до стадии опытного испытания.

Сложилось нетерпимое положение, достаточно резко охарактеризованное в выступлении Н. А. Булганина на Всесоюзном совещании работников промышленности в Кремле в мае минувшего года. «Не без основания, — говорил товарищ Булганин, — отдельные наши конструкторы и научные работники говорят: легче изобрести машину, чем её внедрить».

Из опыта борьбы за технический прогресс мы знаем, что именно по этой причине на долгие годы затягивается внедрение смелых технических новшеств даже на важнейших участках индустрии. И каждый день даёт наглядное этому подтверждение.

Вот совсем недавно, в конце декабря минувшего года, автору этих строк позвонил инженер Гузеев из Кривого Рога. Он сообщил, что сейчас на руднике имени Ильича производится испытание изобретённого им гидротурбобура.

Инженер Гузеев! Ну как же, именно мне пришлось разбирать его запутанное, долгие годы тянувшееся дело. В памяти возник образ худошавого человека, всегда с озабоченным выражением лица, никогда не повышающего голоса, но упорного.

— Как проходят испытания? — спросил я.

— Мы испытываем пока лишь основную рабочую часть снаряда — турбофрез. По общим отзывам, работоспособность её доказана. А если говорить откровенно, меня волнуют частности. Как и во всякой опытной конструкции, подводят некоторые детали, которые пришлось изготавливать в мало приспособленной для этого мастерской.

Звонок из Кривого Рога о многом заставил подумать. Прошло семь лет после выступления в печати в защиту гидротурбобура Гузеева. Семь лет!

В конце 1955 года, когда во всей стране развернулась борьба за осуществление постановлений июльского Пленума ЦК КПСС о дальнейшем подъёме тяжёлой индустрии и техническом прогрессе, полезно вспомнить «дело» инженера Гузеева и его предложение.

На сотни метров вглубь земли к железнорудным жилам ведёт узкий вертикальный коридор ствола шахты. Проходка таких стволов всегда считалась технически сложной и трудоёмкой работой. Гузеев почти два десятилетия потратил на разработку и признание нового агрегата для скоростной проходки стволов. Замысел инженера поражал своей смелостью, а предполагаемая производительность новой машины казалась в те времена фантастической. По замыслу конструктора, скорость проходки ствола с помощью его машины должна была увеличиться в несколько десятков раз в сравнении с темпами, достигнутыми в то время, когда шёл спор о реальности изобретения.

Состоялось несколько десятков совещаний, в которых приняло участие свыше двухсот специалистов, среди них немало известных учёных. Почти все они приходили к одному и тому же выводу: идея смелая, интересная, конструктивная разработка заслуживает внимания. Необходима экспериментальная проверка. Но все эти рекомендации не могли убедить руководителей Главного управления железнорудной промышленности, что нужно приступить к изготовлению опытного образца.

Управление возлагалось инженерами. Может быть, они противопоставили заключениям экспертов свои заслуживающие внимания технические соображения? Нет. Смысл их возражения сводился к одному: идея фантастическая и нереальная.

Потребовалось вмешательство печати, правительственных организаций, чтобы заставить руководителей железнорудной промышленности заняться изобретением. В 1948 году было принято решение об изготовлении экспериментальных образцов основных рабочих деталей гидротурбобура. Прошло долгих семь лет, и вот этот звонок из Криворожья.

Нетрудно представить себе чувства, обуревающие человека, который после долгих лет, затраченных на разработку новой конструкции и борьбу за право на эксперимент, после семи лет, в продолжение которых создавался опытный образец, видит его в действии. Почти четверть века прошло со дня рождения идеи! За это время техника бурения ушла вперёд. Оправдает ли полностью машина надежды изобретателя, отдавшего ей лучшие годы жизни?

Судьба изобретателя и его машины не могла не волновать.

Поднимаю телефонную трубку, соединяюсь с техническим отделом Главного управления железнорудной промышленности.

— Известно ли вам что-либо о судьбе Гузеева, в защиту которого семь лет назад выступала печать?

— Да, известно. Он сейчас проводит испытания на руднике имени Ильича.

— Ну, и каковы результаты?

Спокойный голос отвечает:

— Как будто ничего... Вот придет товарищ, который был в Криво-рожье, он вам, пожалуй, подробнее расскажет.

И всё. А как хотелось бы, чтобы здесь, в техническом штабе, жили такими же напряжёнными чувствами, как и изобретатель. Ведь это не только очередное техническое мероприятие, а дело всей жизни человека.

Но если отвлечься от психологических переживаний и изобразить в линейной схеме движение изобретения инженера Гузеева от момента зарождения новаторской идеи до осуществления опытного образца пока только основной рабочей части машины (и не предвещая даже окончательных результатов испытания), перед нами предстанет неприглядная картина: бесконечные оттяжки, споры, экспертизы, длительные периоды, когда «дело» Гузеева находилось в состоянии «анабиоза».

А ведь изобретение Гузеева уже на первых порах получило почти всеобщее одобрение экспертов. Что же происходит, когда мнения экспертов резко расходятся?

Сейчас уже всем известно, что кислородное дутьё признано мощным усилителем металлургических процессов. Июльский Пленум ЦК КПСС поставил перед металлургами задачу — всемерно внедрять кислород в производство. Вспомним, однако, обстановку, в которой рождалось это замечательное открытие советского инженера Мозгового.

Передо мной пожелтевший от времени документ. Он датирован 1934 годом. Виднейшие наши металлурги, действительные члены Академии наук СССР категорически высказались против предложения Мозгового. Они предупреждали: можно ожидать, что реакция окисления примет взрывной характер, опасный не только для печи, но и обслуживающего её персонала.

Ссылка на документ двадцатилетней давности приводится не для того, чтобы посрамить учёных. Не в этом дело. Научные взгляды на один и тот же технологический процесс могут расходиться. Нельзя, однако, примириться с тем, что интересное, смелое предложение категорически отвергли без проведения опытов. Ведь через два года, когда Мозговому и поддерживающим его учёным удалось провести испытание кислородного дутья в мартеновском производстве, все теоретические расчёты изобретателя подтвердились.

Опыт! Чересчур много энергии затрачивают у нас новаторы на право проверить свой замысел экспериментом. Даже важнейшие технические замыслы, которые встречают горячую поддержку авторитетных учёных, годами ждут проверки опытом. А впоследствии выясняется, что затраты на эксперимент обошлись бы много дешевле, чем бесконечные экспертизы.

Среди многих фактов подобного рода сто́ит подробнее остановиться на одном: в нём уж очень отчётливо проявились равнодушие и робость, какими встречают новаторские замыслы в некоторых звеньях нашего производственно-технического аппарата, и во что обходятся государству инертность и нерешительность некоторых руководителей промышленных министерств.

Свыше десяти лет работает над смелой технической проблемой инженер Г. Тярсов. Что же это за проблема и почему мы называем её смелой?

Многие, вероятно, знакомы, пусть в самых общих чертах, со схемой двигателя внутреннего сгорания — сердца многих современных машин. Смесь воздуха и горючего, сгорая в цилиндрах двигателя, толкает поршни, которые сразу же возвращаются в исходное положение. Такое движение называется возвратно-поступательным. Превращение этого возвратно-поступательного движения во вращательное производится с помощью довольно громоздкого шатунно-кривошипного механизма.

Конструкторы мечтали и мечтают отказаться от шатунно-кривошипного механизма. Он не только утяжеляет машину и усложняет управление ею, но и является источником вибрации, толчков.

Ещё на студенческой скамье в Московском Высшем техническом училище имени Баумана Тярсов увлёкся проблемой, которую безуспешно пытались решить поколения конструкторов. К окончанию вуза студент разработал принципиально новый тип гидромеханизма, призванного заменить кривошипный механизм, что даёт возможность значительно уменьшить габариты и вес двигателя внутреннего сгорания, повысить коэффициент его полезного действия, улучшить ходовые качества машины.

Учёный совет училища, отметив большое значение работ Тярсова, обратился в один из ведущих наших научно-исследовательских институтов (ЦНИИТМАШ) с просьбой предоставить молодому инженеру возможность закончить свою работу. Прекрасное начало.

Но затем начинается нечто совершенно несовместимое со всем духом нашей жизни. В институте не находится места для молодого изобретателя. Он устраивается в медицинском учреждении и продолжает свои разработки. В течение нескольких лет Тярсов доказывает, что созданный им гидромеханизм может быть применён во многих отраслях машиностроения. Виднейшие учёные вновь подтверждают исключительно важное значение изобретения для промышленности. В четырёх машиностроительных министерствах и их институтах рассматривают заявки изобретателя на конструирование гидрообъёмной передачи для автомобиля, высокооборотного насоса и других машин. Всюду высказывают мнение, что идея заслуживает внимания, а эксперты Министерства строительного и дорожного машиностроения прямо рекомендуют: «Ввиду большой важности разрешения проблемы высокомоментного тихоходного двигателя, не имеющего пока прецедента в мировой практике, считать целесообразным построить опытный гидродвигатель».

Почти все эксперты настаивают: нужен эксперимент! И всё же проходят годы, а идея пока ещё не воплощена в металле. Почему? Ведь не один, а десятки экспертов находят, что она заслуживает внимания и очень важна для машиностроения. Вот научно-технический совет Автомобильного и автотракторного института (НАМИ) приходит к выводу, что гидрообъёмная передача для автомобиля, предложенная Тярсовым, позволяет рассчитывать на возможность создания механизмов небольших габаритов, но вслед за этими ободряющими словами делается заключение: проектирование гидромеханизма для автомобилей не соответствует профилю автомобильного института.

Министерство нефтяной промышленности включает в план своего института разработку тяжёлого высокооборотного насоса для перекачки нефти и глинистого раствора, а потом закрывает тему, ссылаясь на то, что у Института нефтяного машиностроения... нет опыта проектирования подобных машин.

Министерство строительного и дорожного машиностроения, высоко оценившее изобретение Тярсова, в конце концов объявило ему, что может взять на себя только испытание уже готового опытного образца.

Лишь после июльского Пленума ЦК КПСС, после выступления в печати история изобретения инженера Тярсова привлекла к себе внимание, им занялись.

Впрочем, выступление в печати вызвало, как часто бывает, разноречивые отклики. Некоторые специалисты предупреждали, что следует быть осторожными, не увлекаться спорной идеей.

И вдруг выяснилось, что спор, который тянулся долгие годы и отнимал время у многих десятков серьёзных людей, можно решить в самые короткие сроки.

На одном из крупнейших московских заводов, без каких-нибудь специальных ассигнований, группа инженеров, патриотов советской техники, в течение двух месяцев сделала модель конструкции Тярасова. И она работает. Вертится!

Сейчас эти же инженеры с помощью изобретателя осуществляют экспериментальный образец уже рабочей машины.

Как же удалось им такое? В продолжение всего двух месяцев выполнить модель сложной конструкции, которая вызывала столько сомнений и споров!

— Нас больше удивляет, — ответили новаторы, — как умудрялись столько лет тянуть, обсуждать интересное предложение, вместо того чтобы проверить его хотя бы в модели.

Даже если бы такие факты были единичны, над ними стоило бы задуматься. Существенной чертой основного экономического закона нашего общества является непрерывное совершенствование техники, замена устаревших машин новыми. Допустимо ли, чтобы смелые идеи, несущие с собой коренные прогрессивные изменения в технике, годами ждали проверки опытом?!

Ссылаются часто на то, что нельзя спешить, когда оценки экспертов разноречивы. Но коль скоро мнения разделяются, есть только один способ решить спор — опыт! Медлительность, боязнь затратить средства на неудачную конструкцию задерживают темпы технического прогресса, обходятся часто много дороже. Смелость, решительность — первый залог успеха.

На Московском автомобильном заводе имени Сталина в конце сороковых годов несколько инженеров начали разработку новаторской и далеко не во всех деталях ясной конструкции гидропривода для автомобиля. Годы неудач, кое-кто даже предложил прекратить работы. А сейчас на заводе выросла высококвалифицированная группа конструкторов — специалистов по гидропередачам; именно их работы во многом определяют высокое качество конструкции новых моделей автомобилей. После первых неудач пришла победа.

Передо мной памятка конструктора, составленная на чехословацком обувном комбинате «Свит». В этой памятке среди многих советов есть один, заслуживающий особого внимания. Памятка рекомендует проектирующему новую машину просмотреть машины, собранные в «Музее конструкторских неудач». Оказывается, даже в неудачных экспериментах есть известная польза. Они помогают корректировать конструкторский замысел, помогают избежать повторения старых ошибок и часто наталкивают конструктора на новые, правильные решения.

Не так давно автору этих заметок довелось беседовать с видным уральским учёным-металлургом. Он много лет работает над внедрением кислородного дутья в металлургические процессы.

— Разве не обидно? — с горечью жаловался он. — Идея кислородного дутья родилась у нас, в Советской стране, у нас были проведены и первые опыты. А сегодня в США применяют кислород в металлургии много шире, чем у нас. Почему? Да потому, что наши опыты носили эпизодический характер и мы, учёные, до последнего времени не имели широких возможностей для промышленных испытаний. Приезжайте к нам на Урал, в наш институт, и вы убедитесь, как много ценнейших открытий долгие годы ждёт испытаний в промышленных условиях. Как же не расстроиться!..

— В США, — продолжал он, — впервые узнали об идее кислородного дутья в начале 1947 года, из статьи, опубликованной в советском журнале «Кислород». Я сам читал в американском техническом журнале, что статья эта произвела впечатление разорвавшейся бомбы, исследователи охотились за этим номером журнала. И в том же, 1947 году уже были по-

ставлены широкие опыты. Вспомните, как медленно и вяло проходили эксперименты с кислородом у нас. Признаться вам, наших металлургов удивила и, если хотите, даже поразила опубликованная недавно в американском журнале статья. Автор рассказывал в ней о неудавшемся эксперименте, в результате которого доменная печь вышла из строя. Оказываешься, и неудача заслуживает того, чтобы её изучали. Но самое интересное — свою статью автор сопроводил примечанием, смысл которого сводится примерно к следующему: приношу свою благодарность фирме за то, что она, зная, что доменная печь может выйти из строя, всё же предоставила её для опыта. Уверяю вас, фирма не зря, не без дальнего прицела, пошла на такой риск. Думаю, что мы обязаны быть более настойчивыми и смелыми в борьбе за новое. Без этого немислим технический прогресс...

Учёный прав. На тех участках советской науки, техники, где борьба за новое отличается наступательным духом, где не бояться риска и смело экспериментируют, там неизменно добиваются удачи. Вспомним, какими поистине поразительными темпами наши учёные и инженеры решали сложнейшие проблемы получения и использования атомной энергии. Такой же наступательный дух необходим на всех участках фронта науки и техники.

Чтобы успех наступления был прочным, надо иметь хорошие тылы. Тылы технического наступления — это непрерывная научная, исследовательская, экспериментальная работа, которая готовит технологию завтрашнего дня.

Не так давно я побывал на фабрике киноплёнки в городе Шостка. Огромная фабрика, одна из крупнейших в стране. Здесь мне пришлось убедиться, как сложна и тонка технология изготовления цветной киноплёнки. Свыше двухсот пятидесяти компонентов входит в состав эмульсии, которая наносится на плёнку несколькими слоями толщиной, измеряемой в микронах. Одно только перечисление компонентов, составляющих эмульсию, давало представление, насколько серьёзны задачи исследователей в этой отрасли и как широки должны быть связи фабрики с научно-исследовательскими институтами химической промышленности.

В действительности же контакт этот явно недостаточен. Ограничены также возможности научно-исследовательской экспериментальной работы на месте. При постройке крупнейшей в Союзе фабрики умудрились вычеркнуть из титульного списка постройку лабораторного корпуса. Мало чем может помочь киноплёночникам и единственный в стране Институт кинематографической промышленности (НИКФИ). В Доме приезжих фабрики часто можно встретить работников НИКФИ. Они ждут счастливой возможности провести в цехах необходимые им эксперименты. При такой организации научно-экспериментальных работ нашей киноплёночной промышленности трудно, конечно, угнаться за достижениями зарубежной промышленности; у неё нет научных тылов, она не видит завтрашнего дня.

В соревновании с капиталистической системой мы должны превзойти её в смелости и масштабах научно-технических исследовательских работ, в темпах внедрения всего нового, что проверено и подтверждено экспериментами. И тогда мы опередим капиталистическую технику, потому что силы, питающие технический прогресс в социалистическом обществе, неисчислимы.

Редакции наших газет получают много писем новаторов, требующих помощи в продвижении их изобретений и усовершенствований. Помнится, в одном из таких писем была высказана не совсем, может быть, отчётливая, но любопытная мысль. Вот её примерное изложение.

«Наша Конституция, — писал автор, — утвердила право каждого гражданина на труд. В советском обществе нет и не может быть безработицы. Мы гордимся этим. Но для многих советских людей «работа» — это не только, грубо говоря, источник заработка для удовлетво-

ния своих материальных потребностей, а нечто большее. Лично я не представляю себе труда без поисков. Творчество в технике имеет, однако, свою специфику. Чтобы осуществить замысел новой машины, необходима мощная материальная база и большие затраты: эксперименты в лабораториях, постройка новой конструкции и т. д. Попробуйте добиться всего этого. А я, как и всякий новатор, хочу, чтобы выношенный мною замысел, получивший к тому же обнадёживающую оценку, был проверен, испытан и претворён в жизнь в интересах всего общества. Почему же так много ещё у нас барьеров на пути нового? Я думаю, что настанет время, когда мы внесём в Конституцию пункт о праве на творчество в труде. Под этим я подразумеваю право советского гражданина на экспериментальную проверку своих замыслов, если, конечно, они признаны заслуживающими внимания».

В этих словах выражен протест новаторов против присущей ещё некоторым звеньям аппарата нашей промышленности косности и равнодушия к их творчеству. И совсем не случайно рабочие и инженеры многих предприятий при обсуждении планов шестой пятилетки вносят предложения об организации новых экспериментальных цехов и расширении действующих.

5

В творческой практике нашей тяжёлой индустрии много ярких примеров страстной борьбы передовых людей за технический прогресс. Они настойчиво, смело преодолевают все препятствия, возникающие на пути нового, не успокаиваются, пока оно не побеждает.

Директор сравнительно небольшого Одесского станкостроительного завода имени Кирова, знакомая меня с планами на будущее, вытащил из сейфа небольшую бумажку и сказал:

— Вот исторический для нашего коллектива документ.

И это не было преувеличением.

В начале пятой пятилетки некоторые отрасли промышленности оказались в затруднении из-за нехватки копировальных станков для обработки особо ответственных деталей с большой точностью. Группа конструкторов завода имени Кирова увлеклась этой темой, хотя никакого прямого задания не получила. Директор, заводские организации нашли возможность и средства помочь новаторам. Так родился опытный образец гидрокопировального фрезерного станка. Несмотря на то, что экспериментальный образец был далёк от совершенства, работоспособность его не вызвала сомнения.

Освоение в серийном производстве такого сложного станка представляло для завода исключительно трудную техническую задачу. И всё же кировцы выступили с заявлением о том, что берут на себя изготовление гидрокопировальных станков для обработки деталей с высокой точностью.

Бумажка, которую показал директор, была ответом одного из институтов на предложение завода. Содержание ответа можно передать вкратце так: кировцы, вероятно, не представляют себе сложности того, что они задумали; американская фирма «Цинциннати», уже много десятков лет специализировавшаяся на изготовлении гидрокопировальных станков, не сумела ещё дать требуемого; её станки обрабатывают детали с точностью до 50 микрон, тогда как необходимы более высокие точности.

Это был по существу вежливый отказ, неверие в способности одесского завода решить сложную и ответственную задачу. Ничего, конечно, «исторического» в содержании самого письма не было. Но подлинно «историческое» для завода заключалось в короткой резолюции на этом скептическом письме:

«А мы сделаем такой станок!..»

Резолюция, несомненно, была написана под впечатлением обидного ответа. Она выражала веру в силу, талантливость советских конструкторов.

ров, готовность соревноваться с капиталистической техникой, страстное желание победить.

Министерство станкостроительной промышленности поддержало кировцев, и они создали кондиционный гидрокопировальный станок. Но не в этом только дело. Смело вступив на путь освоения высшей техники, завод за последние годы создал ряд гидрокопировальных станков большой точности и различного назначения.

К сожалению, такая уверенность в своих силах присуща далеко не всем руководителям, отвечающим за технический прогресс.

На июльском Пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии, обсуждавшем пути дальнейшего подъёма тяжёлой индустрии и технического прогресса, жесточайшей критике были подвергнуты косность, зазнайство отдельных руководителей промышленных министерств, вялость и бездеятельность некоторых научно-исследовательских учреждений. На Пленуме были вскрыты морально-психологические и организационно-экономические факторы, сдерживающие темпы технического прогресса.

Коммунистическая партия, как всегда, на протяжении всей истории нашего экономического развития, сметает барьеры, возникающие на пути новой, высшей техники; открываются прямые и широкие магистрали для технического прогресса.

В период подготовки к XX съезду партии промышленность добилась новых больших успехов. Но как ни благоприятно складывались бы организационные и материальные условия, победа нового всегда зависит от людей, от наступательной энергии, широты кругозора командиров индустрии: министров, руководителей технических управлений министерств, директоров и главных инженеров предприятий, от их умения заглядывать далеко вперёд.

Когда изобретатель наталкивается на противодействие именно тех людей, которые обязаны ему помочь, почти всегда за этим противодействием скрывается узость политического кругозора.

Мне припоминается прямой разговор с начальником главного управления одной из ведущих отраслей индустрии. В продолжение нескольких лет он задерживал опытную проверку смелой технической идеи, осуществление которой сулит многократное увеличение производительности на одном из самых трудоёмких участков производства. Вот этот разговор, воспроизведённый почти со стенографической точностью.

В о п р о с. Почему вы возражаете против экспериментальной проверки интересного, как нам кажется, изобретения?

О т в е т. Я не намерен заниматься фантастикой.

В о п р о с. Почему же фантастикой? Ведь десятки виднейших учёных высказались за новаторскую идею. Их оценку подтвердили экспертные комиссии. Вы-то, верно, знакомы со всеми документами?

О т в е т. Знаком. Но мало ли что пишут учёные! Они ведь ни за что не отвечают.

В о п р о с. Вы инженер?

О т в е т. Да, инженер.

В о п р о с. Почему же вы не пойдёте к учёным, чтобы высказать им свои сомнения? Может быть, они сумеют опровергнуть их, или же вы сумеете убедить. Не мне говорить вам о том, насколько заманчиво это изобретение.

О т в е т. В том-то и дело, что чересчур заманчиво. А нам нужны не заманчивые, а реальные изобретения... Поймите меня правильно. Могу ли я затрачивать государственные средства на фантастический замысел? Мы деловые люди. Просмотрите всю мировую техническую литературу, и вы не найдёте в ней ничего, даже отдалённо сходного с тем, что нам предлагают. Учёные увлеклись, загорелись, подписали — и с плеч долой. А кто будет отвечать за провал? Ваш покорный слуга. Нет, избавьте! Вы не по-

думайте только, что я о себе лично пекусь. Под суд за неудавшийся эксперимент, конечно, не отдадут, хотя неприятностей не оберёшься. Но я ведь несу не только юридическую, но и моральную ответственность за легкомысленное расхождение государственных средств.

Изобретение, о котором шла речь, ныне благополучно испытывается в производственных условиях. И теперь совершенно ясно, что за ссылками на деловой подход скрывалось не что иное, как делячество, а за словами о моральной ответственности — равнодушие, политическая узость и безответственность в главном, в том, что в конечном счёте определяет темпы нашего экономического развития.

Когда сталкиваешься с подобными фактами (а они, к сожалению, не единичны), на память приходят воспоминания одного из основателей германской социал-демократической партии, В. Либкнехта, о Марксе. Они известны многим, но о них следует чаще напоминать некоторым работникам промышленности, теряющим в своей работе дальние перспективы.

Либкнехт впервые встретился с Марксом в 1850 году, после разгрома в Европе революции 1848 года.

«—...Мы коснулись е с т е с т в о з н а н и я, — вспоминает Либкнехт, — и Маркс издевался над победоносной реакцией в Европе, которая воображает, что революция задушена, и не догадывается, что естествознание подготавливает новую революцию. Царствование его величества пара, перевернувшего мир в прошлом столетии, окончилось; на его место станет неизмеримо более революционная сила — э л е к т р и ч е с к а я и с к р а».

Рассказав Либкнехту, что несколько дней назад в Ридженстрите выставлена модель электрической машины, везущей железнодорожный поезд, Маркс с необычайным воодушевлением подчеркнул: «Теперь задача разрешена, и последствия этого факта не поддаются учету. Необходимым следствием экономической революции будет революция политическая, так как вторая является лишь выражением первой...»

Материалистическое мировоззрение вооружает человека чудесной дальновидностью. Советский человек должен видеть в техническом прогрессе не просто положительное явление в промышленности. В Советском Союзе технический прогресс — это форма борьбы за коммунизм.

К сожалению, некоторым руководителям важнейших участков нашей индустрии иногда не хватает живого марксова понимания роли техники как политического фактора.

Коммунистическая партия прочно стоит на позиции мирного сосуществования двух экономических систем — социалистической и капиталистической — и всегда считала и считает, что исход соревнования между ними решается не «экспортом революции», а экономическими успехами. В силу законов исторического развития это соревнование неизбежно закончится победой социализма.

Конечно, победа эта не придёт сама собой. Победу организуют и создают люди в повседневном труде, в борьбе за высокие темпы развития производства и техники. Вот почему советское общество требует от руководителей технической политики во всех отраслях народного хозяйства смелости и наступательного духа, страстной поддержки всего нового, понимания политического значения борьбы за технический прогресс.



СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

★

К ПАРТИИ

Как мощный ток на высшем напряженье
С источником своим неразделим,
Так молодость и зрелость поколенья
Навечно слиты с именем твоим.

Великий подвиг первой пятилетки
Мы встретили, вступая в комсомол,
В цехах страны, в геологоразведке,
В агитбригадах деревень и сёл.

Нас комсомол готовил к высшей чести,
И, партии доверием горды,
На фронте мы, со сверстниками вместе,
Как равные, вошли в её ряды.

Вставая в бой за ленинское дело,
С политруками в братстве и родстве,
Мы шли вперёд... Звезда у них горела
На ближнем к сердцу левом рукаве.

Любой боец в них веровал недаром,
Он знал, что впереди политрука
Бессмертным всеармейским комиссаром
Шагает большевистский наш ЦК.

Года прошли и превратились в даты,
И, продолжая молодость свою,
Мы, ленинские верные солдаты,
В твоём идём и боремся строю.

Ты с нами в нашем новом наступленьи.
Всё видишь. Не упустишь ничего.
На всём — и рук твоих прикосновенье
И озаренье взгляда твоего.

И, как всегда, горя и не сгорая,
Как наша кровь, светла и горяча,
Над нами светит вечная, родная,
Единственная Правда Ильича.



ЛЕВ ОШАНИН

★

ДУША НАРОДА

Не для спокойной жизни беззаботной
С друзьями рядом становился я.
Я — рядовой в твоих рядах бессчётных,
Душа народа — партия моя!

Непримирима и чиста, как Ленин,
Ты нас согрела мудростью своей.
Не громких слов, не пышных заверений,
А подвига ты ждёшь от сыновей.

Любой из нас — крупинка пред тобою,
Но знаю я, и счастлив оттого,
Что есть в делах твоих тепло живое
И рук моих и сердца моего.

Вне строя твоего навек померкнет
Любой из нас, как искра под дождём,—
Но мы мудры, всеильны и бессмертны
В единстве и величии твоём!



МУХРАН МАЧАВАРИАНИ

* *
*

О Партии впервые я пишу.
Я медленно пишу.
Я не спешу.
Боюсь, что мне ещё не по плечу.
Боюсь высокопарности.
Хочу
в теченье слов простом
сказать о том,
чем в жизни моей Партия была,
что мне она дала,
чем помогла...

Я помню —
мальчиком я был.
В селе Аргвети
я рос,
играл,
как все другие дети.
С разбитым носом
и в земле измаран,
носился я
над речкою Извара.
Вдруг закричали:
«Митинг, митинг будет!»
На площадь сельскую,
шумя,
сходились люди.
Там человек стоял русоволосый.
Он призывал народ
вступать в колхозы.
Он говорил:
«Подумайте...
Поймите...
Зовёт вас Партия.
Не бойтесь ничего...»
Тогда не знал я,
что такое митинг,
и митинг —
думал я —
фамилия его.
Он был звонкоголос,
настойчив,
пристален.

Все говорили:
 «Партией он прислан...»
 А ночью —
 чьи-то крики торопливые,
 и факелы,
 и цоканье копыт.
 Я побежал со всеми.
 У обрыва
 лежал тот человек.
 Он был убит.
 Стоял я на ветру,
 роняя слёзы...
 Гремели грозы,
 вьюга лица жгла.
 Да,
 был убит он,
 но росли колхозы,
 и это значит —
 Партия жила!..

Я вспоминаю
 этот эпизод
 и этот год...
 Не забегаю я вперёд...
 Вы недовольны —
 мало я сказал,
 воспоминаний
 с новью
 не связал...
 Я в детство моё дальше гляжусь,
 я им дышу,
 потом писать о зрелости решусь...
 О Партии впервые я пишу.
 Я медленно пишу.
 Я не спешу...

*Авторизованный перевод с грузинского
 Евг. Евтушенко.*



В. ТЕНДРЯКОВ

★

САША ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Душной июньской ночью Комелев вышел из Сташинского сельсовета, где проводил заседание партактива, сел в машину, уткнул в грудь подбородок и задремал...

На крутом повороте у моста через реку Шору шофёр вдруг почувствовал, что Степан Петрович всем телом мягко привалился к его боку. Шофёр затормозил на мосту, испуганно тряхнул за плечо, сдавленным голосом окликнул. Комелев не ответил...

Врачи установили — инфаркт.

Секретаря райкома Комелева хоронили через два дня.

Вперемежку с невысоким соснячком стояли кресты и скромные деревянные обелиски с выцветшими фанерными звёздами. Пока не пришёл народ, на этом тихом сельском кладбище хозяйничал дятел, выбивал звонкую дробь, дурманяще пахло нагретой на солнцепёке земляникой.

В Коршуновском районе не было оркестра — люди молча обступили могилу, из которой тянуло влажным погребным холодком. Дятел спрятался и притих. Крепкий запах земляники как-то сам собой рассеялся.

Председатель колхоза «Труженик» Игнат Гмызин, вместе с другими несший гроб, осторожно освободил плечо от полотенца, смятой кепкой вытер лоб и бритую голову.

Гроб лёг на край могилы. Комелев, тучноватый, важный, с большим жёлтым, мертвецки матовым лбом, лежал, накрытый по грудь, в своей чёрной гимнастёрке, в которой его привыкли видеть при жизни.

Первым, приминая влажный песок, поднялся на насыпь второй секретарь Баев. Его лицо было усталым, потным от жары, на подбородке заметно выступала щетина.

Игнат Гмызин, отступив в сторону, стал разглядывать собравшихся. И с покойным Комелевым и с теми, кто его провожал, Игнат проработал много лет.

В изголовье гроба стоит шурин Игната, заведующий отделом пропаганды и агитации райкома Павел Мансуров, плечистый, подобранный, как всегда щеголеватый — полотняный китель выутюжен, лёгкие сапожки лишь чуть припудрены пылью. Он уронил курчавую голову, хранит в статной фигуре торжественность.

За его спиной, подставив под солнце крепкий ёжик рыжеватых волос, сутулится инструктор райкома Серафим Сурепкин. Сгорбленность, скорбная усталость на лице, даже торчащие просвечивающие уши — всё означало, что он убит горем. Но Игнат знал: Серафим Сурепкин гото-

вится выступить и, наверное, настраивает себя. Ни один митинг, ни одно совещание не могли пройти без выступления этого человека. Покойный Комелев звал его: «Серафим Златоуст».

Заслуженный учитель Аркадий Максимович Зеленцов, чопорно аккуратный в своём длинном стариковском пиджаке, с грустным спокойствием глядит прямо перед собой. О чём он думает сейчас? Может быть, о том, что он старик и ему тоже придёт черёд лежать так, лицом в небо, и бесстрастно слушать печальные речи; может быть, по своей привычке философствовать над всем, высчитывает, как коротка в масштабах вселенной человеческая жизнь.

Тут же, почти на голову выше старика, стоит его внучка, красавица Катя Зеленцова. Маленькая, гладко зачёсанная девичья голова вскинута, бровастое лицо сурово, а большие глаза скрытно тревожны — она не привыкла видеть смерть близко, смерть пугает её.

У ног гроба — семья покойного.

За юбку матери держатся дочери. Младшая, лет шести, не глядит на отца, озирается кругом. На заплаканном грязном личике не видно горя, оно лишь выражает испуг. А старшая, с пионерским галстуком на шее (её вызвали на похороны из пионерлагеря), ткнула под руку матери, плачет и плачет безудержно.

Сын Комелева, уже взрослый парень, в этом году кончающий школу, стоит прямо, придерживает мать и не плачет. Но по его красным глазам можно догадаться, что плакал он дома, а бледное лицо, судорожно сведённые челюсти говорят — всё своё горе выплакать не успел, сейчас зажал, спрятал его от посторонних.

Зато мать, повязанная по-деревенски белым платочком, концами вниз, держится на ногах, лишь вцепившись в сына. Лицо её опухло от слёз.

Она вышла за Степана Комелева, когда тот был ещё простым крестьянским парнем. Он рос, она оставалась прежней, деревенской, любящей посудачить бабой, больше всего боявшейся, чтоб её Стёпа не уехал без овчинной душегрейки в командировку. Она жила не его интересами, по для него, другой жизни не представляла. Чувствовалось: хочется ей завыть в голос, истошно, по-деревенски, по-бабьи выкричать горе, облегчить сердце, но разве можно — все кругом в чинном молчании стоят и слушают.

Игнат ошибся: после Баева вышел не Серафим Сурепкин, а шагнул к могиле и повернулся лицом к людям Аркадий Максимович.

Глуховатым, негромким и в такой обстановке удивительно спокойным голосом старый учитель заговорил:

— Я знаю о том, как Степан Петрович любил детей. Тот, кто любит детей, любит в людях будущее. Любить будущее людей — это даже больше, чем просто любить. Он любил вас, товарищи...

Слова Аркадия Максимовича словно разбудили Игната.

«Любил?.. А ведь правда!» Ему вспомнился этот неторопливый, несколько вяловатый в движениях человек. Приезжая в колхоз, он оставлял машину у обочины дороги и враскачку, медленным шагом обходил от поля к полю бригады. Никто никогда не слышал от него жалоб ни на больное сердце, ни на больные ноги. Ради людей — да, прав старик, — ради их будущего он не жалел себя.

Он любил!.. Но не только же родные Комелева — жена, сын, дочери — должны переживать смерть, как личное горе. Потерянная любовь — несчастье. И самая скромная цена за эту потерю — слёзы. А слёз нет. У всех печальные лица, все до единого невеселы, но кто может быть весёлым на похоронах?

А он сам, Игнат?.. У него тоже нет слёз, только теперь, после слов Аркадия Максимовича, он испытывает лёгкое угрызение совести.

Комелев не берёт себя на работе, не следил за своим здоровьем, отмахивался от врачей... Сейчас все слушают Аркадия Максимовича и своим

печальным молчанием соглашаются: «Да, он любил нас...» И только жена Комелева, привалившись головой к плечу сына, стала сильнее всхлипывать.

Приготовились опускать гроб.

Сам райвоенком, молодцеватый мужчина, выразив почему-то на своём лице угрозу, блестя золотом нарукавных нашивок, поднял руку и, резко опустив её, выдохнул:

— Пли!

Десять парней из общества Досааф ударили из винтовок в воздух. В глубине кладбища испуганно забились на деревьях вороны.

Жена Комелева бессильно опустила на усеянную сосновыми шишками землю и, не сдерживаясь, в голос запричитала. Не выдержал и сын: он стоял над матерью, глядел в могилу, и слёзы текли по его бледному искажённому лицу.

Каждый из присутствовавших подходил, набирал горсть влажного песка и кидал в могилу. Вместе с Игнатом подошёл Павел Мансуров. Брошенная ими земля одновременно мягко шлёпнулась о крышку гроба. Народ расходился, мужчины надевали фуражки.

Окружённая женщинами, лежала на земле жена Комелева. Голос её разносился над тихими могилами, заросшими ромашками, подорожником и анютиными глазками.

— Стё-ёпу-ушка-а! Ро-о-одимый!

Ветхая старушка с посошком, в платке, повязанном низко, по самые брови, из тех, кто живёт прошлым, ходит на кладбище и в родительскую неделю и помимо неё, остановив выцветший взгляд на Игнате, спросила:

— Кого, милый, хоронют?

— Секретаря райкома, бабушка. Комелева, — ответил Игнат.

— Из начальства, видать. С ружей палили. — Старушка, повернувшись лицом к могиле, перекрестилась. — Прими, господи, душу раба твоего.

Просьба была произнесена скучным голосом, по старушечьей обязанности.

Об умерших говорят хорошо или молчат, но думают о них по-всякому.

Игнат шёл от кладбища вместе с Павлом Мансуровым. Оба молчали.

Комелев любил народ, а в районе не много было крепких колхозов. В МТС не могут обучить специалистов. Поломанные тракторы нередко по полгода простаивают около полей...

Просто любить — куда легче, чем доказать любовь.

2

Приезжая из своего колхоза в райцентр, Игнат всегда останавливался у Павла Мансурова.

С лоснящейся от пота бритой головой, покачивая полными покатыми плечами, казалось, ещё больше раздавшийся в ширину от полуденной жары, Игнат вошёл вслед за хозяином и опустился на диван. Старенькие пружины жалобно звякнули и смолкли под его тяжёлым телом.

В комнату заглянула Анна, жена Павла, сестра Игната, спросила деловито: «Вернулись? Оба?» — и ушла в кухню, загремела посудой. Скоро оттуда сиплым тенорком запел примус. Живые продолжали жить своим чередом — подходило время обеда.

Павел скинул китель и в одной майке ходил по комнате, заложив руки за спину. Где-то по отцовской линии в нём была примесь татарской крови. Это сказалося на внешности: широколиц, смугл, скуласт, но курчав не по-азиатски, мужественно красив. В эту минуту походка у него была нервная и в то же время мягкая, расчётливая — ни разу не задел ногой расстав-

ленных в беспорядке стульев,— сутулился слегка, серые небольшие глаза потемнели, в них пропал блеск.

Игнат, вытирая мягкое распаренное лицо, понимающе смотрел: опять какой-то бес на мужика напал...

— Что мечешься? — наконец спросил он.— Смерть так задела? Комелева жалко...

— Не Комелева — себя жалко. — Павел остановился, пружинисто повернулся и заговорил, приближаясь из угла комнаты шажок за шажком.— Я в судьбе Комелева свою судьбу вижу! Работал человек, как вол, не знал покоя. Командировки, ночёвки на столах, иссушающие мозг заседания, вечный страх за урожаи, за лесозаготовки, за выполнение поставок.

— Эге! Работа тебя пугать стала. Это, брат, стариковская немощ. Рановато в тридцать-то пять лет.

— Пугает не это! Готов на любую работу, пусть впятеро тяжелей комелевской! Но лишь бы толк видеть. Толк, Игнат! А у Комелева во всех его командировках, заседаниях, беспокойствах была какая-то бессмысленность. Ломил, тянул воз через силу, сгорел на работе, а вспомнить нечем. «Любил», «был честным» — общие слова, разве это заслуга! Мне той же дорожкой итти. Вот что пугает!

— Ты сам себе хозяин. Делай свою работу не бессмысленной.

— Хозяин?.. Гм... Дежурное слово. Затыкают им, как пробкой пивную бутылку, из которой хлещет пена. Ты мне близкий человек, почти брат, вот ты пойми простые слова: не получается! С семнадцати лет пытаю судьбу, ищу чего-то большего, хочу расправить плечи. Из глухой деревни ушёл учиться. Советовали стать бухгалтером. Пробовал, полтора года изучал балансы да кредиты, пока от этой пищи киснуть не стал. Раскачивал канцелярские стулья молодым задом, верил, что найду, вырвусь. И вот новый институт. Впереди диплом инженера-геофизика, экспедиции, палатки среди дикой природы, диссертации в кабинетной тишине... Красиво! Учился, вгрызался в науку, часто хлебом да водопроводной водичкой питался. Хлоп — война! С третьего курса маршевой ротой с песней: «Шёл, шёл герой, на разведку, боевой!..» По тылам не околачивался, до майора взлетел за четыре года. По строевой командира полка замещал. Что скрывать, мерещились мне будущие бои за мировую революцию, победы под командованием генерала Мансурова... Война кончилась, спросили: «Не кадровый офицер?» Нет. «Пожалуйте в запас». Доучиваться в институте поздно, да и вкус к наукам пропал. Сел вот в райкоме на заведование пропагандой и агитацией. В другом месте я бы, может, смог быть хозяином своей жизни. А мне сыплют инструкции, со всех сторон указывают, меня со всех сторон подталкивают: делай так-то, делай то-то, не иначе. Кто эти инструкции пишет? Кто указывает? Такие, как Комелев. Попробуй, докажи им свою самостоятельность.

На смуглых скулах Павла проступил сухой кирпичный румянец, изпод приспущенных век диковато блуждали до густой синевы потемневшие глаза. Игнат сидел развалиясь, сложив на заметно выступавшем животе свои громоздкие сильные руки, и следил за каждым движением Павла.

— Комелев был доволен своей судьбой,— продолжал с той же горячностью Павел.— Для него место районного секретаря — потолок. Я силы чувствую, расти хочется, а вот застыл, как гриб, прихваченный заморозками. Мой рост, моё движение не зависят от меня. Захотят — продвинут, не захотят — оставят киснуть на той же должности.

Игнат с недоверчивой улыбкой покачал головой.

— А ты, брат, ой, честолюбив. Сидит где-то в тебе чёртик, не даёт покоя. Ты плюнь на него — просто живи, работай, чтоб польза была.

— Честолюбив! Может быть. Разве это порок? Каждый должен иметь такое честолюбие. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.

Мне хочется среди людей быть лучшим! Попробуй, упрекни меня за это! Хочу! Мечтаю!..

Вошла Анна, деловито оборвала спор:

— Кончайте, на стол собираю.

Была она прямая, тонкая и угловатая, не в пример широкому, раздобревшему брату. Блёкло-миловидное лицо, окружённое пышно взбитыми сухими волосами. Сейчас, перехваченная по талии чистеньким фартучком, Анна двигалась по комнате плавно, острые локти прижаты к бокам, кисти рук выставлены вперёд, точно она их только что вымыла, держит на весу, чтоб вытереть.

— Павел заведётся — до поздней ночи его не остановишь. Что хочет — не поймёшь. Тебе, Игнат, с ним спорить — время терять. Завтра у тебя экзамен. Тебя это не пугает, обо мне подумай — мне же краснеть придётся.

Игнат поднялся.

— Верно, Аннушка! — Он повернулся к Павлу. — Я на свою судьбу смотрю просто: не попаду вот в институт, придётся мне в деда записаться, на завалинке с ребятишками свистульки лепить. Сдам завтра с сынишкой Комелева экзамен — буду счастлив.

Павел сердито хмыкнул в сторону.

3

Ещё в годы молодости, в школе крестьянской молодёжи, Игнат кончил восемь классов. Как-никак образование — знал не только дроби, но имел понятие об алгебре и геометрии. И, как многие деревенские парни, решил: не след торчать в деревне, пахать землю и «прятать» навоз. Сначала поступил продавцом в лавку Остановского сельпо, отвешивал соль и леденцы, разливал по бутылкам керосин. В том же селе Останове поставили большую мельницу-вальцовку, Игната назначили заведующим. С мельницы перевели заведующим райпищепромом, оттуда — на ссыпной пункт, тоже заведующим, потом — заведующим в райзаготзерно... Он стал руководящим работником, мелким заводом и человеком без профессии. В каждом райцентре встречаются такие люди, которые почему-то, всем кажется, имеют особые способности к заведованию.

И Гмызин заведовал. На окраине районного села Коршунова он поставил дом — перевёз сруб из деревни, — завёл огород, корову, пяток ульев. По утрам выходил в контору, ездил время от времени в командировки, в свободное время копался на огороде. Свой дом, своя корова, своя картошка с огорода, свой мёд с пасеки.

Война встряхнула, но не изменила этой жизни.

Игнат был на фронте, вернулся с погонами старшины, с двумя медалями «За отвагу», с нашивками за лёгкие ранения. Но едва только он появился, как в райисполкоме вспомнили: ведь это Игнат Гмызин, надо его снова поставить заведующим в «Заготзерно».

Началось укрупнение. Вместо мелких, в одну-две деревеньки, колхозов в районе стали создаваться колхозы по семи, по десяти деревень. Райком партии направил в колхозы районных работников. Среди них оказался и Игнат Гмызин.

Мирона Сухотина, такого же, как и Игнат, районного работника, через полгода сами колхозники попросили убираться подобру. Бригадиры у него пьянствовали, у свинок дохли поросята, весенний сев закончили в июне. Пришлось поставить Сухотина обратно в контору «Заготскот».

Работая продавцом сельповской лавки или заведующим «Заготзерном», Игнат болел душой, если в покосы день за днём начинал сыпать дождь, радовался, если выдавалось ведро; когда в МТС прибывали новые тракторы, бежал смотреть на них. Отец, дед, прадед — все у него были

крестьянами, и Игнат в душе оставался им, хотя в анкете против графы «соцположение» писал: «Служащий».

Первые дни, когда в колхозе его выбрали председателем, он действовал так, как в любом новом месте заведующим. Антип Кошкарёв, его заместитель, пил — снял его. Степан Ложкин три раза ездил в город за движком к силосорезке, тратил на командировки по две тысячи, жаловался и божился, что нигде нет таких движков. Игнат сам поехал, купил, потратил на всё только полторы тысячи с копейками, а Степана Ложкина отдал под суд за воровство.

Честность, которой Игнат отличался в молодости, развешивая леденцы и разливая керосин в сельповской лавке, да здравый ум — вот и всё, что имел он, став председателем самого большого по району колхоза «Труженик». И этого было мало...

В колхозе — более четырёх тысяч гектаров пахотной земли, урожаи на них низкие. Почему? Надо знать.

В колхозе — девятьсот гектаров заливных лугов, а трава год от году на них хуже. Почему? Надо знать.

В колхозе — сто коров, это мало, плохой прирост. Почему? Надо знать. Всюду — надо знать!

В соседний колхоз, где чуть ли не с начала коллективизации председателем был старик Федосий Мургин, прислали молодого агронома Алёшина. Он стал заместителем Федосия. Мургин, как и прежде, невозможно важный, с сознанием своего десятилетиями завоеванного авторитета, ездил по полям на пролётке, указывал, распоряжался. Алёшин бегал пешочком по горячему следу председательской пролётки и поправлял: «Верно сказал Федосий Савельич, только сделать лучше так-то». Сначала колхозники удивлённо качали головами: «Гляди-тко, Савельича поправляет, бедовая головушка...» Но так как старый председатель был покладист, не возражал молодому агроному, то все стали принимать это, как должное.

Игнат, наблюдая со стороны, понял, что год-другой, ну, пять лет от силы, он ещё будет нужен колхозу, но придёт время, и все почувствуют — у него за душой только честность, здравый ум да обрывочные, схваченные походя, знания. Пробьёт час — и волей-неволей придётся уступить место такой вот «бедовой головушке». Надо учиться.

Можно настоять, чтоб послали в областную школу колхозных кадров; можно поступить заочно в сельхозтехникум. Но в областной школе и в техникуме надо учиться четыре года. Четыре года тут да пять лет в институте, а Игнату под сорок и семья на шее.

В вечерней школе для взрослых в селе Коршунове было всего восемь классов. Игнат решил подготовиться и сдать экстерном за десятилетку.

4

Огромный букет полевых цветов, поставленный на красный стол ещё в первый день экзаменов, давно завял и осыпался. Билеты, веером разложенные на кумачовой скатерти, подчёркнуто серьёзные лица членов комиссии, стук мела по доске среди напряжённой тишины — всё это уже повторялось много раз. Даже волнение стало привычкой.

Десятиклассники сдавали последний экзамен на аттестат зрелости.

Сегодня сдавал Саша Комелев. Смерть отца, похороны — более уважительных причин не существует, но от экзаменов они не освобождают. Директор предложил перенести экзамены на будущий год — Саша отказался.

Все, притаившись, следили, как Саша выводит формулы. Никто из учеников в эти минуты не гадал про себя: какой из билетов уже взят и отложен в сторону, какой из лежащих на столе может выпасть на его

долю. На время каждый забыл о своей судьбе. В глазах, следивших за Сашей, вместе с участливым страхом — а вдруг да срежется? — светилось чисто ребячье любопытство: как будет он вести себя?..

Но это любопытство мало-помалу исчезло. Саша вёл себя, как всегда, только голос его был немного тише обычного. Он споткнулся два или три раза — ничего удивительного, по геометрии никогда не был отличником.

Анна Егоровна, сестра Игната Гмызина, принимавшая экзамен, слушая Сашу, всё время без причины поправляла свои сухие волосы, заполненные падавшим из окна солнцем.

— Не торопись, Саша... Не спеши, подумай.— В её голосе слышалась просьба.

Игнат сидел в классе и, как все, с напряжением и сочувствием следил за ответом паренька. Странно было видеть Игната среди учеников: белый бритый череп, грубоватое мясистое лицо, кисти рук тяжело лежат на крышке школьной парты.

— Будут дополнительные вопросы? — обратилась Анна к членам комиссии.

Те закачали головами: нет, нет...

По классу разнёсся облегчённый шумок — Саша сдал. Поскрипывая новыми — недавно с колодки — сапогами, пряча на лице неожиданно вспыхнувший румянец, он вышел из класса.

— Гмызин.

Неуклюже выпростав ноги из-под тесной парты, Игнат поднялся над девичьими расчёсанными проборами, над спутанными шевелюрами ребят, большой, грузный, чуточку сутуловатый, сам подавленный своим несоответствием со всем окружающим. Но когда он остановился у стола, протянул руку к билетам, затаённое ученическое волнение застыло в его крупных морщинах. На лбу и на широком носу выступила асперина. Но только на секунду — билет был взят, морщины разгладились.

Он подошёл к доске и, кроша мел, принялся неумело и старательно рисовать нечто похожее на большой, гладкий, с ровными срезами пень. Анна, слушая ответ очередного ученика, время от времени косилась на рисунок, который мало-помалу покрывался линиями, кругами, латинскими буквами и, теряя схожесть с нём, приобретал достойный для геометрической фигуры замысловатый вид.

— Слушаем.— Она наконец всем телом повернулась к рисунку.

Как не особенно искусственные ораторы на собрании, Игнат глуховато кашлянул в кулак — вот-вот обронит привычное: «Товарищи!..» — и заговорил неожиданно виноватой скороговоркой:

— Боковая поверхность усечённого конуса равна произведению полусуммы длин окружностей...

У дверей класса Игната Гмызина встретил директор школы и долго тряс руку.

— Поздравляю вас с аттестатом зрелости. От всего сердца...

— Спасибо, спасибо,— добродушно улыбался Игнат.— Вроде позденько я созрел, да, видать, каждому овощу — своё время.

Здесь, в коридоре, он перестал быть учеником и держал себя с директором привычно, как равный с равным.

Говорить им было не о чем, но директору не хотелось так быстро расставаться с этим большим, сильным, бритоголовым человеком в вылинявшей гимнастёрке. От осанистой фигуры, казалось, как от нагретого солнцем камня, несло теплом и тянуло запахом вянушей травы — луга.

— Может, вы будете до конца последовательны — останетесь на выпускной вечер? Вместе с молодёжью отпразднуете?

— Не с руки... Я уж по-своему...— Игнат весело подмигнул, щёлкнул по горлу.

Директор рассмеялся, но в то же время не забыл и оглянуться по сторонам — не заметил ли кто из учеников этот слишком вольный для стен школы жест.

Наконец они расстались, и под тяжёлыми шагами Игната заскрипела лестница.

Внизу, на лестнице, привалившись к перилам, стоял Саша Комелев. Он повернул навстречу Игнату лицо.

— Игнат Егорович, на минутку... Поговорить надо.

— Поговорить?.. — удивился Игнат.— Слушаю, брат.

С бледного заострившегося лица серьёзно и требовательно смотрели на Игната зеленоватые прозрачные глаза, над выпуклым, чистым мальчишеским лбом коротко подстриженные волосы торчали упрямым «коровьим зализом».

«Эк тебя за эти дни перевернуло»,— отметил про себя Игнат.

— Игнат Егорович,— отводя взгляд, произнёс Саша напряжённым баском,— примите меня к себе в колхоз.

— В колхоз?..

— Да, работать.

— Ты ж, слышал я, в институт собирался.

Растерянно, на этот раз влажно заблестели глаза Саши.

— Потом, может, и в институт... Мать теперь одна, сестрёнки.

Игнат поспешил перебить его:

— Добро. Об этом ещё потолкуем. Ты свободен?.. Хочешь — едем сейчас. Меня лошадь ждёт.

5

Выехали из села.

Игнат неподвижно возвышался в пролётке. Саша, притиснутый им, косился, тайком разглядывал председателя: мягкую кепку, натянутую на объёмистый череп, багровую складку шеи, налегающую на воротник гимнастёрки.

Несколько раз Игнат оглянулся по сторонам, озабоченно качнул головой, вздохнул:

— Ну и ну, не ко времени...

Без того низко опущенные ветки придорожных ив теперь вовсе сникли — каждый листочек устало глядит вниз. Над белой кашкой, что растёт у самой обочины, не трудятся пчёлы. Не слышно птичьих голосов. Ничего живого кругом. Над землёй, обременённой зеленью, насторожённая тишина и запустение. Самый воздух чист и неподвижен. На небе вянет несколько безобидных облачков, но будет дождь, непременно.

— Так говоришь — матери помочь надо? — оборвал молчание Игнат.

— Кто ж ей теперь поможет, кроме меня? .

— А почему в колхоз решился? Почему не в учреждение? В культпросвете работника ищут...

— В колхоз хочу.— В голосе Саши послышалось сердитое упрямство.

Игнат с пристальным любопытством взглянул через плечо, отвернулся и вдруг забасил над притихшей дорогой:

— Эй, ты! Счастье ленивое! Идёт — копытом о копыто задевает!.. Я вот тебя!..

Конь бодро заиграл по булыжнику подковами, пролётку затрясло.

Давным-давно в одной книжке Саша прочитал такие слова: «Когда горит дом, часы в нём всё равно продолжают итти». Прочитал и забыл. Затерялись они в памяти, как сорвавшаяся блесна в пеннистом омуте.

В день похорон отца Саша неожиданно вспомнил их.

В тот день он понял, что не было никого для него ближе и дороже на свете, чем отец. Ближе матери... Раньше не замечал этого, не ценил нечастых откровенных разговоров с отцом.

Издаലെка, из раннего детства, стали всплывать полузабытые воспоминания.

Саше шесть лет. Отец ведёт его за руку через распаханное поле. Саша часто спотыкается, ему тяжело итти по отвалам. Последние разгулявшиеся ласточки бесшумно вверх-вниз перечёркивают красный закат, тонущий за лесами. По полю ползает трактор, ровно стучит мотором, покашливая, выбрасывает из трубы мутновато-лиловый дымок. Время от времени слышен скрежет подвернувшегося под лемех булыжника. Из-под растопыренной железной пятерни плуга тяжёлыми, густыми ручьями течёт земля. Отвалы её тускло лоснятся на закате.

Отец остановился, нагнулся и полной пригоршней забрал землю, поднёс к лицу. Трактор, с деловитостью втянувшегося в работу труженика, попыхивая, удалялся.

— Чуешь, пахнет?..— произнёс отец.

Саша тоже схватил горсть, поднёс к носу. Но земля пахла землёй.

— Не поймёшь ты — мал. Я в твои годы мог понять. Чистый хлебушко только в праздники ел, в будни-то на мякинке... Нужно бы так, чтоб хлеб как воздух был, чтоб о нём люди не думали.

Не через слова — они и на самом деле были не совсем понятны, — через подобревший голос, через непривычно мягкое лицо отца шестилетний Саша почувствовал тогда смутную благодарность к земле. Как драгоценность, держал её, горсть влажных крошек, по-отцовски бережливо мял, нюхал. Земля пахла землёй.

И ещё воспоминание... Саша в тесноватом пиджаке, в чистой рубашке, отглаженном пионерском галстуке сидит в пролётке на сене, прислонившись к тёплому боку отца. Отец едет в командировку, по пути везёт Сашу в пионерлагерь, в село Каёмково, захлестнутое петлей реки Шоры.

От реки через кусты на мокрую косовицу, как перебродившее тесто через край квашни, набухая, сочился туман. Под косыми лучами только что поднявшегося солнца, в молочной глубине тумана стояла размытая радуга. Чайка вырвалась из тумана, пошла свечой вверх, прежде чем скрыться из глаз, долго мерцала белой точкой на небе.

Даже отец, в последнее время приходивший домой всегда за полночь, хмурым, с свалившимися глазами, повеселел, оглянувшись, выдохнул одно слово:

— Красота.

Въехали в деревню. Голосили петухи, по-коростельи скрипел несмазанный ворот колодца. Под окнами одной избы на усадьбе стояли суслоны совсем зелёного ячменя. Саша показал на них отцу:

— Гляди! Вот чудачки — зелёным жнут.

Отец оборвал его сердитым взглядом и негромко произнёс:

— Над бедой не смеются, Сашка.

Под смачное прихлёпывание лошадиных копыт о жирную утреннюю пыль отец суровым голосом стал рассказывать о том, что война подкосила колхозы, что в прошлое лето засох на корню хлеб, остатки погубили осенние дожди, нынче урожай и неплох, да трудно до него дотянуть.

Хорошее долго живёт, плохое быстрее забывается. В Коршуновском районе с неохотой вспоминают о тяжёлом сорок шестом годе, свалившемся сразу после войны.

Отец рассказывал, а вокруг миновавшей деревню пролётки набирало силу радостное утро. Упрямый ветерок бережно очищал берег реки от тумана, загоняя его в сумрачную чашу елей. Луг, расписанный извилистыми тропинками, местами был морозно-матовый от росы, местами сияюще-зелёный. В тот раз отец впервые сказал Саше слова:

— Красива наша земля. А на такой вот красивой земле надо сделать красивую жизнь. Споткнусь, не удастся мне — ты её сделаешь. Вырастешь, смотри, Сашка, не гонись за длинным рублём.

Жил рядом близкий человек, глядел на мир озабоченными глазами, в минуты откровенности говорил о самом большом своём желании — о красивой жизни на красивой земле, вечерами устало и неохотно ужинал, любил качать на колене самую младшую, Ленку, напевая чуточку сипловатым баском одну и ту же песенку:

Среди леса, среди гор
Едет дядюшка Егор —
Лапки кленовые,
Онучки новые...

И заботы его близки.

И привычки его знакомы.

И мечты его стали уже сашиними мечтами.

Близкий, самый близкий из всех на свете.

И вот прохладный запах влажного песка, свежая, не зятанутая дерновиной могила...

По накалённому солнцем булыжнику Саша вёл домой мать. Она, выкричавшая ещё на кладбище своё горе, не плакала, время от времени болезненно вздрагивала на его плече. Саша, придерживая мать, шагал непослушными ногами и озирался. Исчезла боль, исчезло и горе, осталось недоумение, тяжёлое и тупое. Нет его! Ни в командировке, ни в отъезде, совсем нет. Не придёт, не вернётся, ждать некого... Непонятно, нелепо!

Озираясь, в эту минуту он с какой-то особенной, резкой отчётливостью замечал всё, что творилось кругом. Каждая мелочь вызывала болезненное удивление.

С визгом, захлёбываясь от восторга, выскочил из подворотни щенок-коротышка с победоносно закрученным хвостом и накинулся на поросёнка. Тот с досадливым равнодушием повернулся к щенку задом.

Знакомый Саше киномеханик Славка Калачёв ремонтировал плетень у своего дома, насвистывая тихонько и беспечно «Любушку».

За спиной каким-то свежим, беспечным смехом засмеялась Катя Зеленцова. С похорон идёт...

Щенок радуется, визжит. Славка высвистывает: «Люба, Любушка...» Катя смеётся... Всё, как было, всё по-старому. А отца нет. Да как же это? Неужели надо смириться? Неужели надо забыть? Нет! Невозможно! Как жить дальше?

А дома Сашу удивила мать.

Он бережно усадил её на кровать. С опухшим лицом, бессильная, размякшая, она с минуту смотрела бессмысленными глазами в грудь сыну, потом подняла их, взглянула просяще и слабым голосом произнесла тот же вопрос, который мучил и Сашу:

— Сашенька, как нам жить дальше? — Помолчала, всхлипнула и закончила: — Велика ли пенсия. Машеньке вот пальто купить надо.

Как «Любушка» Славки, как счастливый смех Кати, слова матери резанули по сердцу: «Пенсия, пальто... Отца же нет! До пальто ли теперь?» Материно «как жить дальше» не походило на сашино.

Целый день удивляла и угнетала окружавшая его жизнь, будничные разговоры: «Хлеб не куплен... Обед не сварен...» В это время ему и вспомнились слова: «Когда горит дом, часы в нём всё равно продолжают идти...» Страшны и значительны они показались. В душе у него пожар, уничтожение, мир перевернулся, — казалось, живое не имеет права жить.

А живое жило, жизнь шла своим порядком, обычная жизнь, ни чуточки не изменившаяся. Дом горел — часы шли.

Но так было всего один день.

Утром он встал рано. Вышел на крыльцо. Мокрые доски охладили босые ноги. Двор, знакомый до каждой щепки, до последнего сучка в тёмной шербатой ограде, в это тихое утро неожиданно показался обновлённым. Половина его была покрыта тенью соседнего дома. Молодое солнышко ласково умыло своими нежаркими лучами вторую половину двора. И эти лучи, бившие в лицо, были приятны. Приятно было слышать и неистовую суетню воробьёв в мокрой листве лип. Саша стоял, жмурился, думал об отце...

Перед завтраком он деловито обсуждал с матерью, как жить дальше. Он пока не станет поступать в институт, пойдёт работать, но не в контору, не в учреждение — в колхоз... Только в колхоз. Незачем и считать, какой вклад у помощника бухгалтера в маслопроме. Отец ведь говорил: «Не гонись за длинным рублём».

Мать во время обедов ещё нет-нет да и заливалась слезами — не могла привыкнуть к пустовавшему стулу отца. Саша привык быстрее её.

Но каждое слово, когда-то сказанное отцом, стало для него святым законом.

Сейчас вот Игнат Егорович расспрашивал: зачем в колхоз, почему не в институт? А как ему объяснишь? Разве поймёт?

Свернули с шоссе. Задевая свесившейся из пролётки ногой за придорожные кусты, Саша сидел притихший около Игната, боялся, что тот снова начнёт разговор. Но председатель молчал, погонял лошадь и с опаской поглядывал на небо.

А на небо из-за леса выползала, лениво разворачивалась туча. Вечернее солнце освещало её снизу, туча местами казалась медно-красной, от этого более грозной. Далёкий чёрный лес с одного конца начал исчезать, словно таял, растворялся в мутно-белёсом воздухе.

— Эх! Не успели до дождя, — досадливо крикнул Игнат.

— Может, успеем...

— Нет уж... — Игнат опустил вожжи.

Откуда-то из-за полуприкрытого дождём леса выкатился глухой гром. Лошадь, сторожко поводя ушами, пошла шагом. Беспокойно и весело загозорила трава. Листья на кустах сначала лишь встряхивались по одиночке, но вот ветер налетел на кусты, обнял их, рванул, перемешал.

Спина лошади потемнела. Минута-две — и уж не весёлый ропот, а сплошной, ровный, деловито сосредоточенный шум, всё разрастаясь и разрастаясь, стоял над лугом. Дождь переходил в ливень.

Игнат с озабоченным видом стал ощупывать на груди свою гимнастёрку. Вдруг он стащил с головы кепку, прижал к сердцу и так и остался сидеть, придерживая одной рукой вожжи, другой — кепку на груди, досадливо поглядывая на тёмное низкое небо. Ливень хлестал по его блестящему черепу.

— Что с вами? — беспокойно спросил Саша. — Сердцу плохо?

— Нет, сердце у меня бычьё... В гимнастёрке выехал, а в кармане — партбилет. Боюсь, размокнет. Уж пусть лучше макушку прополощет.

Рука Саши невольно потянулась к карману пиджака — там тоже лежал комсомольский билет. И почему-то в эту минуту он почувствовал к этому человеку близость и тёплую благодарность: чем-то Игнат напомнил отца.

Дождь лил. Лошадь, пошевеливая глянцевитым крупом, бодро шла. Игнат и Саша сидели в мокрой, прилипшей к телу одежде, прижимая к груди один измятую кепку, другой — ладонь.

Жена Игната, под стать мужу, полная, высокая, с широким румяным лицом, смутила Сашу.

— Какой гостюшко у нас молодой! — весело всплеснула она руками. — Игнат-то всё приводил себе в ровню — и лысых и усатых, как есть подержанных. Да ты женихом, гляди, будешь. Вон сколько у нас невест. Выбирай любую, пока не поздно.

Саша, краснея, неловко усаживался за стол, косился на дочерей Игната. До невест им далеконько — старшей лет тринадцать, помогает матери, мелькая длинными загорелыми ногами, бегаёт, стрельнула глазами, скрылась в погребе; средняя, верно, первый год ходила в школу, стесняется, прячется в углу, а за спиной, должно быть, кукла; младшей и вовсе года четыре, исподлобья, серьёзно изучает «жениха». За столом раньше гостя уселся — подбородок на столешнице — сын, толстый, румяный, лобастый, ни дать ни взять — второй Игнат Егорович, только раз в шесть помельче.

— Угошайся, — пригласил Игнат, шумно влезая за стол, — и прислушивайся. О деле поговорим.

Придвинув Саше миску с картошкой, солёные огурцы, он начал внушительно:

— Ты для меня такой, какой есть сейчас, — не велика находка. Пара рук, да и руки у тебя ещё жиденькие, неумелые. Не так руки мне твои нужны, как голова. Зря, что ли, тебя десять лет в школе учили? Ешь... Есть да слушать — и в одно время можно... В колхоз я тебя возьму с радостью, но поставлю условие. В этом году ты должен поступить в институт. Мы теперь с тобой одного поля ягоды. Ты кончил десятилетку, и я тоже. Вот давай вместе подавать на заочное, будем сообща к науке пробиваться? Идёт?..

Саша, распрямившись над тарелкой, смотрел на Игната остановившимися глазами. Ну, конечно! Он этого и хотел, только думал иначе — институт не сразу, поработает с годик, освоится, а уж потом и на заочное... Тут вот как! Плохо ли — с ходу, не задерживаясь... В ответ он лишь молча кивнул головой.

Но Игнат Егорович, видимо, понял всё, мягко усмехнулся.

— Ешь, картошка остынет... Завтра поговорю с членами правления, определим тебя на место. Нам надо толкового агронома-луговода. Привыкли про траву думать, что это добро даровое, господь сам её растит. Без труда да рыбку из пруда...

— Сразу и на такое место?

— Не сразу. Оплачивать пока будем не как специалисту — поменьше. Много требовать не станем. Первое время приглядывайся, книжки по этой науке почитывай, в институт готовься. А бригадир пошлёт — сходишь, поработаешь... Да не смущайся, не из милости тебя устраиваю, свою выгоду провожу. Будешь работать, будешь учиться — через четыре года или там через пять полный специалист, и книжник, и практик — то, что нужно, — под нашим доглядом вырастет. Может, в чём и прогадаем на первых порах, зато в будущем наверстается. Согласен?

— Да.

— А теперь ешь... Как там, мать, самовар не готов?

Спать Сашу устроили за занавеской на маленькой, не по росту, тесной кровати. Саша не мог заснуть. Лежал, закинув руки за голову, прислушивался к тому, как затихала жизнь в новом, незнакомом для него доме.

Где-то в дальнем углу старшая дочь Игната Егоровича пела тоненьким голосом, укачивая братишку:

...Прилетели гулюшки,
Стали гули ворковать...

Попела и затихла.

Скрипя половицами, ходила по комнате мать, осторожно гремела мисками и ложками, спросила вполголоса мужа:

— Прихватило дождём сено-то?

— Немного.

— Долго-то не засиживайся. И так каждую ночь не высыпашешься.

Зевнула, ушла, и где-то в той стороне, откуда четверть часа назад доносилась песня дочери, застонала кровать.

Наступила тишина, только через одинаковые промежутки времени слышался шелест переворачиваемых страниц — Игнат Егорович читал.

Когда-то в детстве Саша мечтал стать военным, носить ремень через плечо, пистолет на боку, ордена на груди. Чуть позднее, когда начитался книг о приключениях, решил стать капитаном дальнего плавания: стоять по утрам на мостике, глядеть на пустынное море, ждать незнакомого берега — удивительные города, чужой народ, незнакомая речь...

Решал дома задачки по математике, сидел на уроках, бегал сломя голову по школьным коридорам, играл в лапту — жил, как и все ребята, как и все, от жизни ждал решения только одного вопроса: «Кем буду?»

Эти два коротеньких слова имели волшебную силу. Ведь все его восемнадцать лет прошли только ради них.

Кем буду?.. Неужели сегодня, сейчас, тут вот вечером, так просто решился этот вопрос? Не военный, увешанный орденами, не капитан, обожжённый тропическим солнцем, а простой агроном.

«Пусть... Отец был бы доволен».

Саша не успел заснуть — в окно раздался негромкий стук. Заскрипели половицы под тяжёлыми шагами, Игнат Егорович вышел за дверь. В сенях слышались приглушённые голоса.

— Тихо, тихо, не буди... Что-нибудь подкинь на лавку. Переночую — утром в село...

Голос позднего гостя, вошедшего в избу, был знаком Саше.

— Ты откуда, Павел? — спросил Игнат.

Саша догадался, что это Мансуров, из райкома, он иногда заходил к ним при отце.

— Откуда?.. Да всё оттуда же. По поручению бюро пришлось прокатиться в Сташинский сельсовет. Проверять готовность к сеноуборке. Под дождь попал, промок до нитки и высохнуть уже успел...— Гость стукнул снятыми сапогами, не переставая недовольно ворчать: — Старика бухгалтера Фомичёва из госбанка в толкачи записали. Комелевские порядочки никак не выдохнутся...

Саша насторожился. Тон, которым были произнесены последние слова, не обещал ничего хорошего. Саша ждал, что Игнат Егорович возразит, обидится за отца — он честный человек, должен возразить, — но он не возразил.

— А что ж ты хотел от Баева? — произнёс Игнат Егорович тихо. — Одна выучка. Комелев-то хоть с крепким характером был мужик. Сравнить с ним — такие Баевы жидко замешены.

— По-старому рассылаем толкачей. Только для стеснительности вывески меняем. До Комелева звали — уполномоченные, при Комелеве скромненько — представители, нынче ещё красивее — политинформаторы. Плохие штаны как ни выворачивай — прорехи останутся. Над каждым председателем, почитай, по толкачу сидит. Погоняют... Ты куда думаешь меня положить?

— Возьми лампу, посвети мне. В сенях постель достану.

Свет за занавеской исчез. Саша лежал, боясь пошевелиться. Где-то под печкой боязливо заскреблась мышь. У порога в бадью из рукомойника капала вода, каждая капля — лёгкое всхлипывание.

И раньше от отца приходилось слышать, что в районе трудная жизнь, полно непорядков, но Саша и подумать не мог, что в этих непорядках повинен он, отец!

Пригоршня земли, взятая из-под плуга; непривычно мягкое, чуточку торжественное лицо. Разве это можно забыть?

Суровый взгляд, дрогнувший голос: «Над бедой не смеются...»

А его «на красивой земле красивая жизнь»!

Вот он каков, отец! Как они смеют? Разве они лучше знают его? Со стороны глядели. Раз-два — рассудили, просто и быстро.

Саша сжимал кулаки и всем телом каменел от ненависти.

Робко скреблась мышь, размеренно всхлипывали падающие капли. Спал дом, кругом — полный покой... Да не приснилось ли всё это? Один голос слегка раздражённый, голос уставшего человека, другой — спокойный, деловитый. Не могло этого быть, не могли так говорить!

Толчок в дверь снаружи показался оглушительным. Разом смолкла мышь, в шуме входивших людей затерялся звук падающих капель.

По занавеске проползли тени. Зашуршала раскинутая на лавке постель.

Саша, задохнувшись от волнения, приготовился слушать.

На этот раз, продолжая разговор, проходивший в сенях, заговорил полголоса Игнат Егорович, и, кажется, он защищал отца.

— Человеческие качества?.. Да в них ли дело? Комелев, слава тебе господи, имел эти качества, не пожалуешься. Честный, прямой... За то, чтоб хорошее людям сделать, на всё готов, хоть с любого обрыва в воду... Плохо, если руководитель не имеет этих человеческих качеств, но этого, брат, мало.

— Общие слова.

— Вот послушай... Спускают из министерства, из самой Москвы, план. Ну, скажем, посеять столько-то озимой пшеницы. В области прикидывают по районам. В районе — по колхозам. Попадёт этот план наконец к нам, то есть к тем людям, которые эту пшеницу сеять должны. А мы видим — климат не тот, земля неподходящая, такая пшеница у нас никак не может расти. Что я должен сделать? Быстро сообщить: так и так, разрешите поправку в план. Хороший руководитель эту поправку быстро поймёт, подхватит, дальше передаст, чтоб путаницы не было. Плохой — упрётся, начальству-де не возражают. Хороший руководитель на две стороны слышит. Плохой туг на одно ухо: что сверху прикажут — на лету схватит, что снизу посоветуют — не доходит. Вот оно, качество-то... Тем и плох Комелев, что, как ручей по весне, всё в одну сторону нёс — сверху вниз. Людей любил, добра им желал и не доверял. Часто случается — кого любят, тому не доверяют.

Зашуршала постель — должно быть, гость укладывался спать.

— А скажи,— подал голос Мансуров.— Вот если бы тебя спросили, что мешает подняться району? Вопрос огромный, даже слишком общий... Ты бы сумел, хоть что-нибудь посоветовать? А?..

С минуту молчали. На другой половине избы заворочался, всплакнул во сне ребёнок.

— Да,— произнёс Игнат Егорович,— что-нибудь сказать смог бы. И это что-нибудь, как умею, пробую делать у себя в колхозе.

— Интересно.— Шуршание постели затихло, гость прислушивался.

— Я бы перетряс планы, которые к нам приходят из области.

— А точнее...

— Наши места созданы для того, чтоб молоко рекой от нас текло. Заливные луга какие! А суходолы!.. Да наши суходолы стоят южных заливных лугов. На траве — молочный скот, на картошке — свиноводство да ещё лен. Вот наш талант! А район наш считают зерновым, долбят планами: сейте хлеб, сейте хлеб! Он не растёт, гибнет осенью от дождей... Уж

и так скота-то держим — надо бы меньше, да некуда, но и его прокормить не в силах. А отава — какое богатство! — гниёт, попадает под снег. Да при желании мы бы вдвое, втрое скота кормить могли! Талантами земли не пользуемся. Верим не своему глазу, не совету колхозника, а бумажке, пришедшей сверху. Планы перетряхнуть — вот бы что я подсказал нашим руководителям. Да и подсказывал Комелеву. Он слушал, иногда молчал, иногда возражал: «Так-то, мол, так, да план корёжить нельзя».

— Драться за это надо, — задумчиво проговорил Павел Мансуров.

— Да, надо... Только вот бить не знаешь кого. Иногда на собрании размахнёшься — хлоп! Глянь — в воздух попал. Нет противника. Никто не виноват.

— Надо драться...

На этом разговор кончился.

Поскрипывая половицами, Игнат ушёл на свою половину. Второй раз застонала кровать — лёг к жене.

Саша, расслабленный, разбитый, глядел в тёмный потолок.

«Как ручей по весне, всё в одну сторону нёс... Людям не доверял... Подсказывали ему... Неужели всё это правда?.. Ложь! Не может быть!.. А какой смысл им лгать? А вдруг обидел их чем отец? Обиды-то не слышалось в их голосе... Драться надо... С кем? Если б жил отец, то с отцом! Да что же это такое?!»

Боясь пошевелиться, холодея от одной мысли, что его могут услышать и догадаться, что он не спал, Саша заплакал. К ушам, щекоча их, потекли слёзы. Чтوب не всхлипнуть, не застонать, он до хруста сжимал зубы. Кровь размеренно била в виски: «Отец! Отец! Отец!..»

Даже когда хоронили отца, не было так тяжело Саше. Отец умер, исчез, но осталось после него самое хорошее — память о нём. Теперь нужно хоронить последнее — эту хорошую память. Ничего не осталось! Жил и нету, нечем вспомнить. Невозможно это! Нельзя согласиться! Страшно! Быть ничего не может страшнее!

Тупо стучала кровь. Саша глотал слёзы.

А за занавеской шуршал на тюфяке, набитом сеном, Павел Мансуров. Несколько раз чиркал спичкой, закуривал, освещал занавеску. Ему тоже не спалось, он тоже был чем-то обеспокоен.

Только из другой половины доносилось негромкое размеренное похрапывание хозяина. Он сразу уснул, он спокоен.

Это похрапывание вызывало у Саши неприязнь, почти ненависть. «Спит... Что ему... Не буду у него работать... Уйду...»

7

Случайный ночной разговор с Игнатом растревожил Павла Мансурова.

Этот разговор напомнил ему другой.

Как-то недавно он с главным агрономом МТС Трофимом Чистотеловым ходил по бригадам одного колхоза, разбросанным по лесам и перелесочкам.

День был серый — низкое небо, влажный воздух. Но по кустам и деревьям суетливо прыгали птицы. Птицы не затаились — значит дождя не будет.

Чистотелов, могучий старик с дублёным морщинистым лицом, коротко остриженной седой головой, был довольно тяжёлым спутником. Высокий, прямой, шагает, как машина. Павел не из слабеньких, в армии привык к переходам, а приходилось попевать по-мальчишечьи, вприпрыжку. Старик отмеривает шажище за шажищем, сурово посапывает и молчит, только изредка оглянется, двинет сверху вниз жёсткими бровями (считай — улыбнулся) и спросит, нажимая на «о»:

— Уморился, милушко?.. То-то, с непривычки-то. Что для агронома самое важное? Голова, думаешь?.. Нет, но-оги.

И снова надолго замолчит, снова поспевай за ним.

Пробежали километров пятнадцать, исколесили поля, обделали все дела, до вечера ещё далеко, а уж возвращались обратно.

Лесная дорожка с чуть приметным колёсным следом вынырнула из сосняка, закружилась среди кустов дикой малины. Вог упавшая ель — ржавые высохшие ветви опутала трава, вот широкий пенёк — в выгнившей сердцевине, как в чашке, тёмная вода, не высохшая после вчерашнего дождя. А там будет спуск, поле, от него километров пять и деревня — можно отдохнуть.

Они вышли к спуску и остановились... Павел удивлённо оглянулся на агронома.

— Та ли дорога? Не заблудились ли, Трофим Саввич?

Остановился и Чистотелов, гмыкнул неопределённо, уставился вперёд: озеро!

Они утром проходили здесь — никакого озера не было и даже ни реки, ни лужицы. Теперь же впереди тусклоголубоватая вода покойно лежала под облачным небом.

— Отмахали!.. Где же мы? — Павел с усталости почувствовал раздражение.

Но Чистотелов дёрнул бровями и уверенно зашагал к озеру.

Странное озеро... Павел шёл и пристально вглядывался. Берега у него плоские, ровные и прямые, невысокий кустик, торчащий в дальнем углу, не отражается в воде...

И только подойдя ближе, Павел не удержался и негромко ахнул. Какое там озеро! Нет его! Нет воды. Это лён... Обычное поле льна, они и утром проходили мимо него.

Лён уже начинал отцветать. Его цветочки потеряли свою голубизну, были слегка блёклыми. Потому-то издалека они и походили на воду, разлившуюся под низким облачным небом.

— Чёрт возьми! — удивился Павел. — Один я, пожалуй бы, оглобли назад повернул. Озеро и озеро — полное впечатление.

— Ленюк! — Чистотелов ласково вырвал несколько мягких стебельков. — Густо он у них здесь поднялся, да низковат...

И молчаливый старик вдруг разговорился.

— Откуда у нас хорошему льну быть? — забубнил он. — Удивляться приходится, как он ещё до сих пор не выродился. Вот пшеница, на что она у нас плохо приживается, а сеем и знаем, что за сорт, какие качества. Таблички даже по полям расставляем — тут, мол, такая-то и такая-то. А лён у нас без имени, без отчества. Одно знаем — долгунец. А долгунца-то около десяти сортов насчитывается. Спроси меня, что это за сорт. Не скажу. Так какой-то, безродный. И не долгунец... Прежде начнёшь вешать лён на огород, до земли головками достаёт. Коршуновские холсты славились, из Москвы к нам купцы наезжали. Нас за лён государство озолотить может. За лён нам и пшеницу дадут и деньги. А мы ко льну задом. От счастья своего отворачиваемся...

Павел, поспевая за стариком, удивлялся горечи и обиде, которые слышались в словах агронома.

— Что ж молчишь? Ставь вопрос.

— Молчу?.. Да я кричал, кричал, охрип от крика. Видать, стенку горохом не прошибёшь. Вот у меня в столе лежат рядышком два документа: один — благодарность райисполкома колхозу имени Первого мая за перевыполнение плана по сдаче льнотресты, другой — решение того же райисполкома, где этот колхоз вместе с председателем Костей Зайцевым разносится в пух и прах за нарушение плана сева — не досеял ячменя

и пшеницы, пересейл лишка льна. Одной рукой тянут ко льну, другой — отталкивают. Вот как у нас, а ты говоришь — не кричал.

Вспоминая этот разговор, Павел долго ворочался на жёстком матрасе в доме Игната.

Дело не во льне — в большем.

В моторе машинцы можно иногда услышать глуховатый стук. Неопытному человеку этот стук ничего не говорит. У механика он вызовет тревогу: стучат подшипники коленчатого вала! Если во-время не остановить мотор, не подтянуть подшипники, мотор выйдет из строя, ставь тогда машину на капитальный ремонт. Глуховатый стук — сигнал надвигающейся беды.

Хиреющий лён в исконно льноводческих местах — такой же сигнал беды: жизнь Коршуновского района идёт неправильно.

К этому сигналу не прислушиваются, его не замечают, молчат. Почему?

Выигрышное дело подсказал Чистотелов. Как это он, Павел Мансуров, не обратил на него раньше внимания? Стоит запомнить.

Встал Павел вместе с Игнатом. Ушёл, отказавшись от завтрака. На пути к дому сделал крюк, заглянул в МТС, встретился с Чистотеловым, попросил у него те два документа, о которых рассказывал ему агроном. Документы, оба подписанные одним лицом — председателем райисполкома Сутолоковым, действительно противоречили, били один другой.

Щекастый парень Петя Силин, секретарь-машинистка МТС, снял для Павла копии.

Дома Павел взял первую подвернувшуюся под руку пустую папку. Это была обычная папка — такие сотнями выпускала местная артель инвалидов, — на лицевой корке казённая надпись: «Дело №...», уже старая, потёртая, завязки чернильного цвета вылиняли и почти не пачкали рук.

В эту-то папку и положил Павел копии.

8

Саша забылся утром, спал всего несколько часов, и они унесли его домой. Снился живой и здоровый отец, качающий на коленке Лёну, но распевающий почему-то не о привычном дядюшке Егоре в онучках новых, лапотках кленовых, а громко, как репродуктор, что висит в углу комнаты: «Теперь я турок, не казак...»

Проснулся — действительно поёт радио... С удивлением огляделся — куда попал? Жёлтый дощатый потолок, ситцевая, прозрачная от старости занавесочка, тесная, не по росту, кровать: не дома! И в ту же секунду вспомнил: ночь, два голоса, негромкие, спокойные... Саша вскочил, затравленно озираясь, стал одеваться: «Уйду! Уйду! Сейчас же! Ни минуты лишней...»

Изба пуста — ни гостя, ни хозяина, только за перегородкой одна из дочерей Игната Егоровича выговаривает братишке:

— Ну, чего кошку слюнями мажешь? Она сама умоется.

У окна, на маленьком столике, — дешёвый приёмник. Он и поёт... Хозяева вышли на минутку, должно быть, скоро вернутся.

Боясь с кем-либо встретиться, Саша выскочил на крыльцо.

Солнце стояло уже высоко, припекало не по-утреннему, а разморённые куры лежали в пыли на дороге. У соседей в хлеву жалобно мычала корова.

А в деревне — ни человека. Дорога, уходящая в поле, пуста. Сейчас по этой дороге до шоссе — пешком, там он остановит машину, попросит шофёра довести и... не вернётся. Всё! Кончено!

Но одна мысль заставила Сашу остановиться: «Так и уйти, не скажаться?.. Сбежать?.. Нет, надо поговорить с Игнатом Егоровичем. Скажу

открыто: слышал, знаю, работать с вами не могу, помощи вашей не надо... Честно и прямо. Пусть тогда упрекнёт, что сбежал, как трус».

Саша уселся на ступеньки крыльца — Игнат Егорович мимо своего дома не пройдёт, рано или поздно появится.

Из соседнего двора вышла рыжая корова, медлительная, важная, — не поверишь, что минуту назад она мычала жалобно и просяще. За ней, держа на весу хворостину, появилась старуха. Она недовольно ворчала:

— Самим, небось, заботушки нету... Назаводили животин... Куды, клешнятая! Вот ужотко опояшу!

Заметив сидящего на крыльце Сашу, подставила козырьком ладонь к глазам, бесцеремонно оглядела, равнодушно отвернулась и забубнила своё:

— Себе-то мясы нарастила, а чуть что: свекровушка, свекровушка... А свекровушка ворочай. Нет, чтоб самой раненько подняться да позаботиться, кобыла необъезженная...

Загребая пыль жилистыми, чёрными от застаревшего загара ногами, старуха медленно удалялась.

Казалось бы, ничего не случилось: прошла мимо, погоняя корову, незнакомая старуха, взглянула, отвернулась, пробрюзжала свою старушечью беду, а Саше от всего этого вдруг сделалось тяжело до удушья.

Вот он сидит на чужом крыльце, у чужого дома, мимо проходят чужие люди, жалуются на что-то своё... Какое дело этой старухе до того, живёт на свете он, Саша Комелев, или не живёт, случилось у него горе или нет... Вот крыши деревни с мшистой прозеленью по тёмному тёсу, под каждой — люди, у всех свои радости, свои обиды... За этой деревней — другие деревни, сёла, где-то далеко стоят города. Велик свет, всюду живут люди, и на всём свете нет никого, кто бы мог помочь Саше. Мать? Сёстры? Да они сами ждут от него помощи. Велик свет, а ты один! Как хочешь, сам устраивайся.

— Долго спишь. Не по-нашему!

Саша вздрогнул.

Откинув калитку ногой, шагнул во двор Игнат в белой, просторной, ещё не обмятой после глаженья рубахе, широкий, краснотлицый, радостный. С жёстким хрустом вдавливая сапогами песок дорожки, подошёл, протянул руку:

— Пойдём чай пить да на луга... Все углы мы с тобой сегодня облазаем.

И Саша, отвернувшись, против желания пожал твёрдую ладонь.

— Хочу поговорить я...

— За чаем всё обсудим.

— Нет, здесь... Не буду я у вас работать. Уйду.

Игнат уставился с добродушным интересом.

— Откуда такая резвость — вчера напросился, а сегодня — уйду? Круто прыгаешь, парень.

— Я всё слышал... ночью... как вы говорили... про отца...

Веки Игната с короткими, редкими остинками ресниц разом смахнули добродушие; без того крошечные зрачки сузились ещё сильнее — острые, твёрдые, серьёзные, с иголочный прокол. У Саши навернулись на глаза слёзы — так не хотелось отводить взгляд и так трудно выстоять против этих зрачков.

— Значит, не спал... — произнёс задумчиво Игнат. — Что ж, знал бы, пригласил бы и тебя. Разговор-то мужской был. — Он положил широкую тёплую ладонь на узкое плечо Саши. — Обижаться тут нечего...

Но Саша сердито отвёл плечо.

— Уйдёшь — силой не держу. Иди! Только запомни: первый шаг в жизни делаешь, самый первый — и уж от правды бегаешь. Поостерегись!

Не получится настоящего человека. Иди, коли так. Пожалею да руками разведу, что мне остаётся делать?

Его не держали, ему сказали — иди. И надо бы повернуться, кинуть через плечо: «Прощайте...» Но Саша не двинулся, склонив голову, уставившись в сапоги Игната.

«От правды бегаешь...» Невозможно молча уйти от таких слов. Надо возразить! А как?..

Остаться надо. Не навсегда — на время. Приглядеться, доказать, тогда уйти...

Высокий, грузный Игнат шагал размашисто, легко, вольно. День председателя колхоза большей частью проходит на ногах. Сейчас день только начинался, вся усталость ещё впереди, итти пока что наслаждение. Саша «попал в ногу», и ему невольно передалась упругость председательского шага.

Перед полуднем хотя и не на шутку припекает солнце, но воздух хранит остатки утренней свежести — жара не утомительна. Ветерок слаб, но чувствуется. В тихое, как глубокие вздохи спящего, шелестящее качание ещё не налившихся колосьев влетается суетливое, вороватое шуршание — то в гуще хлебов снуют перепела. Низко над придорожной примятой травкой летают тяжёлые шмели. Гудят недовольно, натужно, обрывают полёт на самой сердитой ноте, впиваются в цветок по-хозяйски грубо, свирепо. Похоже — добывать себе пропитание эни считают проклятием и за это вымещают свою злобу на цветах.

И гудение шмелей, и шелест задевающих друг друга колосьев, и вороватая жизнь невидимок-перепелов при быстрой ходьбе не замечаются по отдельности. Но всё вместе создаёт ощущение налаженности жизни, какой-то добротности окружающего мира.

Если ты просто спокоен, у тебя в такие минуты родится неясная, тихая радость. Ей нет другого объяснения, как: хорошо жить на свете! — и только.

Если же душу разъедает беспокойство, то безотчётное любопытство к окружающему затушит его, вызовет покой.

Саша шагал, и с каждым шагом всё легче становилось на душе, всё меньше мучила обида за отца. С каждым шагом, казалось, он уходил дальше и дальше от подслушанного им страшного ночного разговора.

Игнат обернулся, распаренный, радостный, оживлённо кивнул на высокую гору, снизу обросшую тёмными елями, выше — осянником, задичавшей черёмухой, ещё выше — курчавым кустарником. А над всем этим — плоское, лысое темя.

— Хочешь — взберёмся? Оглядишь для начала колхоз сверху. Поймёшь, что к чему. А там спустимся прямо на Ржавинские луга.

Гора называлась Городище. О ней ходят по деревням поверья. Когда-то (точно никто не знает когда, все уверяют лишь — очень давно) на лесные земли села Коршунова налетели враги. Были ли то татары или разгулялась воинственная чужь — опять никому не известно. Мужики из окрестных деревень выбрали самое высокое место, обнесли его бревенчатым частоколом и встретили пришельцев камнями, смолой, горящими брёвнами. Рассказывают: доходило дело и до рогатин. Враги ушли, а на том месте, где они были отбиты, построили сторожевой городок.

Теперь здесь пни, кустарник да рыжая, выгоревшая на солнце трава. От самого городка не осталось никаких следов. Гора приняла его название и его славу.

Направо с неё видно ныряющее в зелень перелесков шоссе — самая бойкая дорога в районе. Она соединяет Коршуново со станцией, она ведёт к лесокомбинату, она уходит вглубь соседнего Шумаковского района. И пыльные наезженные просёлки и луговые, поросшие одуванчиками и

жёлтыми ноготками тропинки — все они, как речки и ручейки к большой реке, изгибаясь и вилия, тянутся к ней, к дороге, уставленной столбами электролиний. Там ночью и днём не затихает грохот моторов. Идут трёхтонные «Зисы», тащат на себе брёвна лесовозы, сверкая стеклом и лаком, визгливо покрикивая на нерасторопные грузовики, мчатся «Победы».

Шоссе — одна из границ колхоза «Труженик».

Налево, за начинающими белеть полями ржи, за сермяжно-коричневыми парами, за крышами деревень Старое и Новое Раменье, виден лес. Среди него в тёмной хвое с трудом можно различить плешинку. Там тоже поля и тоже стоит деревня. Она так и называется — Большой Лес. А ещё дальше за этой деревней — лесные покосы. «Сахалин» — прозваны они за свою удалённость. Среди моховых кочек, близ мочажин, поросших осокой, стоят там окопанные столбики...

И это граница колхоза...

Велики земли «Труженика». С одной стороны столбы электролиний, круглые сутки грохот машин, с другой... Были случаи, когда выпущенную на отаву корову находили в чаще, забросанную дерновиной и мхом. Её задирали медведь и оставлял, чтоб наведаться на недельке, когда мясо будет уже «с душком».

Игнат в своей белой, трепещущей на ветру рубашке стоял, прочно вдавив в сухую траву широко расставленные толстые ноги, выставив грудь и живот, курил, а ветер срывал с его губ слова и затяжки дыма. Он не спеша объяснял Саше своё раскинувшееся хозяйство.

Выщипанные перелесочки, по полям песенные берёзки-одиночки, сбившиеся в тесные кучи чёрные ели и просторы, просторы синие, туманные, неясные... Для них даже этот прозрачный воздух слишком густ, глаз с трудом пробивает его необъятную толщу.

Высота всегда опьяняет, бесконечность всегда тревожит, и не понять себя — хочется или покорно, тихо заплакать, или взбунтоваться, прокричать так, чтоб встряхнуть дремотный покой...

Игнат Егорович, должно быть, привык к этому. Он вдавил каблуком в землю окурки и закончил буднично:

— Вот хозяйство. Здесь и будешь работать.

9

Когда-то село Коршуново славилось как «купеческая крепость». Нынче только старики помнят пять всегильдейших фамилий — Шубиных, Ряповых, Бахваловых, Безносовых и Костюковых. Эти пять семей торговали лесом, холстами, кожей, дёгтем, и каждый хозяин, разбухая мошной, следовал раз навсегда установленному порядку. Сперва выстраивал тяжёлые, как одноэтажные остроги, лабазы, потом — двухэтажный кирпичный особняк, украшенный по фасаду подслеповатыми оконцами, каменными кренделями и завитушками во вкусе хозяина, и, наконец, приносил благодарность богу. Но и тут хозяин оставался самим собой. «Молиться? Где? В церкви, что Митька Ряпов построил? Аль мы, Бахваловы, рылом не вышли? Аль мы богом обижены? Свою заворотим почище митькиной!» Вот потому-то в небольшом селе Коршунове имелась одна приходская школа и пять церквей.

Давным-давно Коршуново потеряло свою прежнюю славу и как-то не приобрело новой. Такое же волостное село Шумаково за это время выросло, стало хоть и маленьким, но городом. Около него выстроен лесокombинат. А вовсе неприметная прежде деревня Пташкины (в сторону от Шумакова) стала узловым железнодорожным станцией. Коршуново же осталось всего-навсего центром сельскохозяйственного района, самого неприметного среди всех районов области.

По утрам в Коршуново с первым грузовиком, поднимающим пыль на шоссе, голосили петухи. Кривой на один глаз пастух дед Емельян, покри-

кивая на коров и хозяек, собирал стадо. Днём около районного Дома культуры козы объедали афиши, извещавшие коршуновское население о новой кинокартине. По вечерам на дощатой площадке в роще играл доброволец баянист, молодёжь танцевала или же парочками искала тёмные закоулки. Жители же более почтенного возраста — бухгалтеры, делопроизводители, заведующие райторгами, райтопами, райфо и прочие, — засучив рукава нательных рубаш, трудились в поте лица — окучивали картошку.

Незнакомых в селе не было. Каждый из жителей знал всех, все знали его. Если у Марьи Филипповны, что живёт на южном конце села, коза «от неумёного характера» ломала себе ногу или же поросёнок разрывал грядки с морковью, то эти события сразу становились известными на северном конце Авдотье Поликарповне.

Вообще жили тихо, мирно, по-соседски, слушали последние известия, любили поговорить друг с другом о чём-нибудь далёком, например, о водородной бомбе или же об отставке Мосаддыка.

Павел Мансуров жизнь свою прожил спокойно. Офицером поколе-сил по Европе — был в Будапеште, Праге, Вене. Случалось, как говорится, посмотреть и смерти в глаза. Впрочем, этим в наше время никого не удивишь.

Коршуновский район был родиной его жены. Он приехал с ней сюда после демобилизации.

В райкоме никто лучше его не мог провести семинар о прибавочной стоимости. Даже покойный Комелев немного побаивался начитанного завотделом пропаганды.

Коршуновская жизнь была для Мансурова тяжела: тихо, сонно, даже чрезвычайные происшествия, вызывающие бесконечные разговоры и пересуды, как-то очень обыденны — в райпотребсоюзе раскрыли растрату, пять человек попало под суд, на перестройку Дома культуры отпущено около ста тысяч, будет пристроено крыло — новый кинозал с буфетом.

И работа Павла не радовала. Кажется, агитация и пропаганда — лекции, политическая учёба, выступление самодеятельности — дело живое, но вокруг этого был какой-то бумажный круговорот: тематические планы, инструкции по культурно-массовым мероприятиям, инструкции по семинарам — от одних названий мозг сохнет. А пособия? Что может быть скучнее областного «Блокнота агитатора», этой универсальной шпаргалки всех районных пропагандистов.

Сидя в своём кабинете перед дешёвым плексигласовым чернильным прибором, Павел часто думал: «Где-то люди строят каналы, электростанции на миллионы киловатт... Живут! А тут в прошлом месяце — отчёт о работе семинаров, в этом — отчёт о работе лекторской группы. Никуда не уйдёшь».

Павел был гвёрдо убеждён, что только одно может изменить его жизнь — оставить Коршуново, уехать: в Заполярье, на целинные земли, куда-нибудь подальше.

И вот случилось неожиданное. Павел Мансуров продолжал жить в селе, работал на прежнем месте, но уже не испытывал тягостной скуки. Тишина и безмятежный покой села перестали его удручать.

За три года работы в Коршуновском районе он много видел разных оплошностей, подчас грубых ошибок. Почему-то казалось, что не он, а кто-то другой, всесильный, должен заметить эти беспорядки, исправить, наладить, перетряхнуть жизнь коршуновцев. Он ждал этого, иногда ворчал: «И чего только смотрят там?..» Словно там сидели не обычные люди, а прозорливыцы, наделённые могущественными способностями видеть через сотни километров недостатки и росчерком пера исправлять их.

И вот в ту ночь Игнат сказал ему: я вижу больше, что делается вокруг меня, чем те, кто наверху, я хочу подсказать им, помочь, научить, .хочу

сам исправить и пробую это делать, только силы маловато, только голос слаб, не могу крикнуть так, чтобы услышали.

И Павел Мансуров решил: «Я крикну, чтоб услышали! Я смогу! Хватит сил!»

Игнат Гмызин признался: бить — не знаю кого, размахнёшься — хлоп! — глянь, в воздух попал.

Павел найдёт виновных.

Он, как и прежде, ездил по колхозам, заглядывал в МТС, разговаривал, но теперь в каждом разговоре ловил всё, что казалось ему нужным. А потом рылся в отчётах, наводил справки, записывал...

Иногда он сам поражался своим открытиям.

Однажды он увидел обычную на коршуновских дорогах картину. В овражке, вдавив в болотистое дно жидкий настил мостика, печально мок под дождём комбайн. Земля вокруг него была взрыта, из-под колёс торчали невынутые слуги: видно, долго возились комбайнеры, но крепко села тяжёлая машина. И комбайнеры разошлись — пришлют тягач, вытянет.

После этого случая Павел стал узнавать в МТС, во что обходятся просто по вине дорог, текущий и капитальный ремонт машин, такие мелочи, как подброска тягачей, перерасход горючего... По самому грубому подсчёту, во всех трёх МТС только за три последних года убытки из-за бездорожья составили миллионы рублей. Не сотни тысяч — миллионы! А один километр жердёвки, считай только работу (материал бесплатный, растёт всюду), обходится около двух тысяч. На эти миллионы можно отремонтировать все дороги района, расширить поля, дать простор комбайнам. Уже не три года мучатся МТС от бездорожья и, если не взяться за ум, будут мучиться ещё бог знает сколько. Тут уже сотни миллионов государственных рублей могут вылететь на ветер. Неувязка в планировании. Молчать о ней — вредительство!

Но Павел Мансуров не спешил кричать. В своё время он выложит на стол перед секретарём райкома все цифры, все факты, все документы. Пусть попробуют не ответить на них, пусть попробуют отмолчаться, спрятать под сукно. Он, Павел Мансуров, — член партии и будет иметь дело с такими же партийцами. В случае нужды он напомним им партийный устав: «Зажим критики является тяжким злом». На его стороне — закон, на его стороне — сила! Он не Игнат Гмызин, он станет бить не в воздух, а наверняка.

Потёртая папка с вылинявшими лиловыми завязками, лежавшая в столе Павла Мансурова, постепенно заполнялась. Впереди борьба! Она пугает только слабых! Сильный должен радоваться: там, где есть борьба, жизнь становится интересной.

10

Саша целую неделю не показывался дома. За два дня он научился управлять пароконной косилкой; голый по пояс, в кепке, натянутой на самый нос, разъезжал по лугам. Обгорел на солнце, руки покрылись чёрными ссадинами (косилка была старенькая, частенько приходилось возиться с ней), перестал краснеть, когда раменские девчата, устраиваясь обедать, кричали ему:

— Сашенька! Солнышко! Иди к нам в копёшки. Охотка поиграть со свеженьким!

Саша жил и столовался у Игната Егоровича. Галина Анисимовна, жена председателя, поила Сашу парным молоком, кормила запечёнными в пироги лешами. Спал он в сарае, рядом с копной свежего сена, прямо на полу раскинув твёрдый тюфячок. По утрам его будили куры. Всегда казалось, что лёг минуту назад, не выспался. Вскакивал, накидывал на голые

плечи пиджак, бежал по обжигающей босые ноги росяной траве за деревню, к речке.

Жёлтый обрыв берега весь источен ласточкиными гнёздами. Под ним узкая речонка вливается в широкий бочаг. Быстрая, суетливая, шевелящая беспокойно хвостец и осоку, сдвигающая с места на место песчаные наносы, вода здесь, в бочаге, отдыхает, отсыпается, чтобы снова неутомимо бежать дальше. Это Лешачий омут. Днём, даже под бьющим в упор солнцем, вода тут чёрная, без просвета. Под самым берегом двухсажённые шести не достают дна.

По утрам весь омут покрыт туманом. Туман настолько плотен, что сверху кажется — в широкую чашу Лешачьего омута до половины налито снятое синее молоко. С разбега бросаешься вниз. Сначала головой пробиваешь туман и только потом попадаешь в воду. Вынырнешь — и, словно в сказке, другой мир: не видно берегов, не видно неба, только льются сверху рассеянные солнечные лучи, таинственные, нездешние. А вода тёплая, за ночь не успевает остынуть. Зато когда вылезешь, пачкая колени о глинистый берег, грудь сдавливает от холода, мокрое тело дымится.

За столом, у самовара, Сашу ждёт Игнат Егорович. Чай обжигает горло, а Игнат Егорович не торопясь рассуждает с Сашей, почему на заливном клине Овчинниковского луга в этом году из рук вон плохая трава.

— Я так думаю: водичка вымывает питательные вещества. Навозом бы надо подкармливать...

После чая Саша бежит через деревню к конюшне. Там его вместе с конюхом Лукой, стариком с тёмной и тусклой, как прокалённый бок печного горшка, лысиной, ждут две лошади — вислогубая, только в упряжке сбрасывающая сонливость Люська и большой сластёна, ласковый за сахар, гнедой низкорослый меринок со странной кличкой Пятак.

Хорошо так жить. Работай, уставай, высыпайся, знай — будет выдача на трудодни и тебя не обделят, отвезёшь кое-что матери.

Но эту жизнь оборвал Игнат Егорович.

— Пора, парень, в институт готовиться. Съезди домой, побудь там денёк-другой, захвати учебники — да обратно. Днём работать, вечерами вместе сидеть будем. С непривычки, знаю, трудненько, да что ж поделаешь. Ребячье житё кончилось, взрослая пора начинается.

И Саша поехал домой...

Ленка бросилась с порога на шею: «Саша приехал!» Мать, прикрикнув: «Не висни! Не дадут человеку опомниться...», сморкаясь в платок, сдерживая вздохи, сразу же загремела посудой. Старшая сестрёнка, Верка, побежала к соседям занимать дрожжи. Даже отца так не встречали из командировок: его приезды и отъезды были привычны. А тут новый хозяин, глава семьи, приезжает первый раз.

И Саша вёл себя достойно — потрепал Ленку по волосам, умываясь, с суровой лаской бросил матери: «Особо-то не хлопочи», спокойно выслушал от неё жалобы — подстинок переборку раскачал, соседи сложили поленицу, она развалилась, сломала изгородь, а исправить не думают... «Нет отца-то, обижай всяк, кому не лень...»

Саша достал топор, пилу, мслоток и вышел во двор. Укрепил переборку в хлевушке, поправил изгородь, перекалал наново соседскую поленицу, начал перекаладывать свою... При этом сурово хмурился, делал вид, что не замечает, как на крыльцо их дома заворачивают знакомые женщины. Мать выходит к ним, слушает с размякшим лицом, кивает радостно. Уж известно, что нащёптывают: «Удачливая... Не обижена сынком... Хозяйственный...» Стоит ли обращать на них внимание?

Вечером к Саше пришла гостья.

— Здравстуй, Саша! Давно тебя я не видела.

Прямо через низенький заборчик, едва коснувшись его руками, перемахнула Катя Зеленцова и, упруго ступая высокими каблуками туфель по замусоренному щепками двору, приблизилась, протянула руку.

— Поговорить нам нужно.

Саша не торопясь вытер о штаны свои испачканные сосновой смолой руки, поздоровался.

Они присели на скамеечку у крыльца.

За много лет до революции в село Коршуново был сослан на поселение один человек — то ли грек, то ли армянин. Одни говорили: возил сукно из Турции, на том и попался, другие уверяли — не сукно, а запретные книжки... Но, так или иначе, новый коршуновский житель ни политикой, ни чем-либо другим запретным больше не занимался. Он поставил бревенчатую избу, где в мороз углы обрастали инеем, взял себе в жёны девушку из ближайшей деревни, работающую и бедную (кто ж из дома с достатком пойдёт за нищего поселенца), пахал землю, наловчился под конец жизни катать валенки, любые, на заказ, — хоть чёсанки по ноге чулочком; хоть грубые, на три года без подшива, — наплодил детей и был мирно похоронен на старом коршуновском погосте. Катя по матери шла от этого поселенца. Ещё в школе среди шевелюр цвета ржаной соломы, серых глаз, курносых лиц, всего обычного, что вырастает под скупым северным солнышком, она выделялась нездешней броской красотой — эллинка среди коршуновцев!

Густые чёрные волосы зачёсаны назад, открывают небольшой чистый лоб, брови ровные, жёсткие, иссиня лоснятся, тёмный пушок пробегает над переносицей, соединяет их, глаза из-под ресниц влажно блестят, нос с горбинкой, с резко вырезанными ноздрями. Она последнее время немного пугала Сашу.

— Мы в райкоме комсомола посоветовались и решили предложить тебе — работай у нас. Пока будешь заведовать учётом, потом на пионерские дела перебросим...

Катя покровительственно взглянула на Сашу, но тот был равнодушен, даже чуть-чуть нахмурился.

В эту минуту Саша представил себе: что, если бы Игнат Егорович слышал их разговор? Уж сказал бы непременно: «Вылупиться не успел, а уж бросился на заведование».

— Подумай, какие у тебя впереди перспективы, — продолжала не торопясь Катя. — От комсомольской работы прямой путь на партийную. Помнишь Женю Волошину? Она мне комсомольский билет вручала, а теперь в обкоме партии ведущим отделом заведует... Не понимаю, чего ты молчишь. Ведь нет же более благородного, более высокого дела, как служить партии.

— Высокое дело? Это верно... — неохотно заговорил Саша. — Только ты сама портишь его.

— Я тебя не понимаю.

Катя была старше Саши только на год, но считала себя намного взрослее всех своих сверстников. В школе — бессменный секретарь комсомольской организации. Если нужно было от молодёжи выступить на торжественном заседании, назначали всегда её. Сразу же после школы пригласили работать в райкоме комсомола, и не каким-нибудь заведующим учётом, а инструктором. Наверняка ей быть одним из комсомольских секретарей. Не каждому-то так доверяют... А Саша — вчерашний школьник. Вот он сидит, упрямо опустив голову, видна ложбинка на шее, в ней светлая косица волос.

— Не понимаю тебя... — В голосе Кати слышался добрый, снисходительный упрёк, словно хочет сказать: «А ну, ну, скажи — почему упрямышься?»

— Что тут не понимать? Говоришь — высокое дело, а предлагаешь его мне, непроверенному человеку.

Катя рассыпалась весёлым мелким смехом.

— Милый ты мой Сашенька! Да какой же ты непроверенный! У тебя и проверять нечего. Вот ты весь как на ладони: за границей не бывал, связей — даже с девочками — не имел. Не-про-ве-рен-ный!

Саша фыркнул осуждающе.

— Ответила!.. Привыкла мерять анкетой: был ли за границей, имел ли связи?.. Я пять дней назад узнал только, как в косилку лошадей запрягают. Где уж там проверенный! И такого сразу заведовать чем-то.

— Да ты с занозой. Вот не ожидала, — с прежней снисходительностью протянула Катя, но блестящие глаза с любопытством, скрытым интересом разглядывали Сашу. У него из распахнутого ворота мятой рубашки виднелась ключица, мальчишечья, трогательная, но тонкие губы твёрдо сжаты, взгляд больших светлых глаз открыто прям, смущает... Вот и не заметила, как изменился, — серьёзный растёт мужчина.

Снисходительный тон и пристальное разглядывание задела Сашу. Он заговорил резко:

— Ты вот станешь секретарём райкома комсомола, пойдёшь на курсы — поставят заведующим отделом в райкоме партии, может, до партийного секретаря дорастёшь... А такой, как Игнат Егорович Гмызин, есть председатель и останется им. Он-то свой колхоз уж будет знать. Тебе придётся ему советы разные давать, учить его, а что ты ему посоветуешь, если даже лошадь толком запрячь не умеешь?..

— Не хочешь, так не хочешь, — решительно произнесла она. — Твоя добрая воля. Давай об этом говорить не будем.

— Верно, не будем, — согласился Саша.

Но говорить им было больше не о чем.

Чистый, как мёд, закат потускнел. Куча тёсу днём среди поленниц, бочек для поливки огорода, половиков, развешанных на изгороди, была незаметна. Сейчас, в вечернем прохладном воздухе, она объявила о себе всему двору — смолисто запахла.

Саша исподтишка разглядывал Катю и вспоминал один случай.

Как-то возле школы играли в лапту. Звонок на урок оборвал игру. Все бросились к школьному крыльцу самым близким путём — через выбитую дыру в ограде, ребята впереди, девочки, смеясь и тараторя, сзади. Саша, последний из ребят, уселся в лазе, закрыл собой проход.

— Не пушу! Кругом обежите.

Девчата толкнули его раз-другой в спину, потоптались, кинули без обиды «дурак!» и побежали в обход. Вдруг затылком, всей спиной Саша почувствовал — к нему подходит Катя. Остановилась, помолчала, приказала:

— Пропусти!

Саша через плечо взглянул: острый подбородок вскинут, ресницы надменно опущены, в тени под ними, тронутые таинственной влагой, глаза. Уступить — позорно и сидеть, не двигаясь, — трудно.

— Пропусти!

— Не пушу.

— Пропусти!

И Саша не выдержал... Она прошла, а он покорно, в отдалении, полёлся за ней. Плечи приподняты, походка небрежная, чувствует, конечно, что он глядит ей в спину.

...Катя пошевелила плечами:

— Холодно. Я пойду.

Саша распрямылся, приготовился прощаться. Но Катя не двинулась с места.

Ещё с минуту сидели молча, вдыхая свежий запах досок.

— Мне пора...

И опять не двинулась.

— Если можно, я провожу...

В сумерках лукаво, таинственно блеснули глаза Кати.

— Наконец-то! Тяжёл на догадку.

— Обожди минутку — переоденусь, руки вымою.

Он бросился в дом... Переодеваясь, прятал смущённое лицо от матери.

Луна упёрлась подбородком в верхушку старой липы. В тени по земле были разбросаны лунные зайчики. С лугов время от времени тянул сырой ветерок, и тогда лунная россыпь начинала ленивый хоровод. Один из крупных зайчиков лежал на белой кофточке Кати, как голубая ладошка.

Катя притихла, задумалась.

— Скажи,— она подняла голову,— тебе не кажется иногда, что эта жизнь пока не настоящая?

— В детстве казалось одно время,— ответил Саша не сразу.— Бегал с ребятами, купался, за налимками под коряги лазал, а ночью оставался один и думал: а что, если есть ещё какая-то жизнь, непохожая, спрятана в этой? Знаешь игрушечные матрёшки — одну откроешь, в ней другая сидит... Я всё ждал: проснусь, а кругом иначе. Река Шора, налимы, грибы в Прислоновском лесу — всё было не настоящее, просто снилось мне. Даже страшно иногда делалось. Говорят, учение такое было, идеалистическое,— ты живёшь, а всё кругом, как сон, или что-то в этом роде.

Но Катя покачала головой.

— Я не о том...

— О чём же?

— Вот ты ушёл в колхоз, работаешь... Ты думаешь, это и есть начало настоящей жизни?

— А как же? Теперь я в матрёшек не верю. Раз кончил школу — значит, жить начал.

— А я вот всё жду чего-то большого, задания какого-то особенного или выдумываю — пошлют куда-нибудь. И знаю — обманываю себя, а жду...

— Какое задание?

Катя приблизила к Саше лицо: строгие, в одну линию брови, глаз в темноте не видно, но чувствуется — они блестят под ресницами, блестят решительно, с вызовом.

— Ты не смейся, но мне хочется чего-то головокружительного. Приказала бы партия — умри! Умерла бы!.. Тебе смешно? Наивная девчонка мечтает о подвиге, детство не выдохлось.

— Не смешно, только...

— ...только — пустое всё, фантазии. Надо жить, а не мечтать попусту. Верно, Саша, тысячу раз верно! Но это я уже слышала... — Катя неожиданно остыла, вздохнула.— Как мне на целину хотелось уехать...

— Почему же не уехала?

— Думала, думала, и руки опустились. Ну, что я умею делать? Я не тракторист, не механик, не комбайнер, даже не прицепщик...

— А комсомольский работник. Там, наверно, они тоже нужны.

— Таких ли комсorghов туда посылают — со стажем, из городов, а я и года ещё не работала. Да и ехать за тысячи километров, чтоб опять стать тем же,— какой смысл?

— Тогда надо было выучиться на трактористку.

Домá, уткнувшись окнами в растрёпанные палисаднички, дремали во круг. Их крыши щедро поливала своим светом луна. Телеграфный столб от безделья и одиночества унылым баском пел про себя тягучую песню.

— Я вот тебе позавидовала,— начала Катя после молчания.— Решил уйти в колхоз и пошёл, стал учиться запрягать лошадей в косилку. Как подумаю — трактор, выхлопы разные, грязный мазут... Обычное, небольшое... Наверно, нет характера. Честное слово, завидую тебе... Я даже увидилась сегодня про себя: гляди ты какой!

Вдруг оборвав себя, Катя поспешно сунула руку:

— До свидания. Поздно.

Лунный зайчик сорвался с её груди и затерялся в выводке таких же, как он, разбросанных по траве...

Проскрипела калитка, простучали по сухой тропинке каблуки. Уже из темноты, от дома, она насмешливо крикнула:

— Не загордись, смотри! Я, может, всё наврала.

Звякнула щеколда, хлопнула дверь.

Саша стоял, окружённый щедро разбросанными лунными пяточками, смотрел в темноту... Он протянул руку вперёд, поводил ею в темноте, пока лунный зайчик не упал на ладонь.

«Наврала?.. Ой, нет. Слово не воробей...» Шевельнулись ветви дерева, по влажным уже от выступившей росы листьям пробежал тихий шорох, словно очнулось от сна дерево и опять задремало. Зайчик соскользнул с ладони. Саша сконфуженно спрятал руку в карман.

На пустынном шоссе поблёскивали отшлифованные автомобильными шинами затылки булыжника. Посреди дороги валялся ржавый железный обод от бочки.

Не с ним ли возился днём напротив их двора Вовка, сынишка райисполкомовской уборщицы Клавдии? Он упрямо сопел, прилаживался, наконец наловчился — обод со звоном и грохотом покатился по булыжнику. Замелькали чёрные пятки, раздался победный, полный восторга клич.

Саша вспомнил этот клич, взлетающие пятки, чёрные, как обугленные в костре картошины, и тихо засмеялся.

11

В промкомбинате, вспугнув галок, простуженно прокричал гудок.

На усадьбе МТС девять раз ударили в подвешенный к столбу лемех плуга.

С крыльца почты сошёл, привычно сутулясь под набитой газетами сумкой, почтальон Кузьмич.

В магазине райпотребсоюза раскрылись двери, и степенная чета: дед, бородка клинышком лисьего цвета, старуха с въедливым взглядом, прибывшие спозаранок из деревни Прислон или Сухаревка, с пристрастием стали ощупывать выброшенную на прилавок штуку грубого драпа.

В парикмахерской артели «Красный быт» парикмахер Сударцев, прозванный злыми языками «Тупая бритва», принимаясь за подбородок заезжего председателя колхоза, начал решать с ним вопрос: какое ещё коленце выкинет в Вашингтоне сенатор Маккарти.

Как всегда, в девять утра в селе Коршунове начинался обычный трудовой день.

Павел Мансуров в свежей сорочке, в отутюженных брюках, заметно праздничный, шагал к райкому, придерживая локтем папку с документами. Почтальон Кузьмич встретил его обычным: «Газетку прихватите». Учитель Аркадий Максимович Зеленцов, мерявший дощатый тротуар лоснящейся от старости палкой, приподнял над головой соломенную шляпу: «Доброе утро». Вышедший из парикмахерской с отливающим синевой подбородком знакомый председатель из глубинного колхоза остановил его, поговорили о погоде, о пальцевой шестерне, которую никак не выпрошишь у МТС.

Привычное до мелочей утро! Люди здороваются с ним, разговаривают о каких-то пальцевых шестернях и не догадываются, что через десять минут он, Павел Мансуров, положит на стол секретаря райкома свою папку. А это ж событие и в их жизни! Здесь, в папке, лежат документы. Они указывают на причины многих недостатков. Раз причины известны, ошибки вскрыты, ничего другого не останется, как исправлять их.

Грохочут расхлябанными бортами грузовики по шоссе. Из открытых окон учреждений слышатся уже стук машинок и громкие голоса, вызывающие по телефону отдалённые сельсоветы:

— Верхнешорье! Верхнешорье!.. Какого рожна Сташино съётся? Девушка, скажите, чтоб не мешали!

С недавних пор Павлу Мансурову стал нравиться этот деловитый шум начинающегося дня в Коршунове. Он вдруг почувствовал себя опекуном коршуновцев, и от рождённого скукой недоброжелательства не осталось и следа.

С неделю назад Павел принёс свою папку Игнату Гмызину. Тот, удивившись в углу комнаты, принялся читать, время от времени качая головой.

Павел ушёл бродить по колхозу. Вернулся через час.

Игнат сидел на прежнем месте, курил, озабоченными глазами встретил Павла. Папка была закрыта.

Павел сел, с тревожным вниманием поглядывая на лицо Игната. Скажет сейчас: брось, не стоит шкурка выделки — опустятся руки. Нужно рядом чьё-то плечо, а у Игната оно не слабенькое.

А Игнат, словно нарочно, долго молчал. Открыв снова папку, навесив над ней свою крупную, блестящую голову, листал задумчиво.

— Да-а, — протянул он. — Просто, никакой хитрости. Собрал, что известно, в одно место и — на тебе! — получилась бомба.

— Ты — за?

— А то нет?.. Только что ж ты, брат, в одиночку копаешься?

— Как так «в одиночку»? Тут и Чистотелов положил мзду, и покойный Комелев, и Сутолоков, и директора МТС, а твоего разве мало? Я всего-навсего кладовщик — принимал да сортировал.

— Скорей старьёвщик. Что сам увидел, то поднял. Знали бы — понесли бы тебе.

— Кто-то понёс бы, а кто-то, верно, попробовал бы за руку схватить.

— Заступились бы...

— Не поздно. Пусть теперь заступятся.

— А как?

— Начнём обсуждать, встанут на мою сторону. Дело простое.

— А Баев у Комелева второй рукой был. Он, возможно, не захочет обсуждать.

— Можно заставить.

— Кто заставит, спроси? Ты? Он скажет тебе, что всё это ерунда, не твоего ума дело, положит под сукно твою папку, и что ты тогда сделаешь? Кулаками над его головой трясти будешь? Не запугаешь. На собраниях начнёшь теребить, бросишь обвинение, что замазывает ошибки? А кого твой крик тронет? Максима Пятерского? Федосия Мургина? Костю Зайцева? Так ведь они и слыхом не слыхали об этих документах. Как же они будут поддерживать то, чего не знают? Раз взялся, надо быть уверенным, что не останется под канцелярским замком!..

Глядя на Игната, навалившегося пухлой грудью на стол, Павел невольно подумал: «А ты, брат, не так прост. Не выровняв горку, воз не спустишь...»

Всех колхозных председателей папка обойти не могла, да и не было в том нужды. Кроме Игната, она побывала у троих: у Максима Пятерского из колхоза имени Калинина, человека молчаливого, осторожного, у

Кости Зайцева, молодого председателя из «Первого мая», и у самого старого председателя в районе, Федосия Мургина.

За два дня до того, как Павел взял к себе обратно папку, к Игнату Гмызину заскочил Никита Прохоров, председатель «Первой пятилетки». Он уже где-то успел услышать о ходивших по рукам документах и специально завернул полюбопытствовать. С полчаса, не больше, сидел, мусолил бумаги, наконец встал из-за стола и, сказав: «Одначе...», уехал. А на следующий день встретивший Павла Баев спросил:

— Рассказывают кругом о какой-то папке. Что там выкопал? Почему это делается за спиной райкома?

Павел объяснил, что за спиной райкома он ничего не собирается делать, не сегодня-завтра всё выложит ему, Баеву, на стол.

Пора действовать!

Сейчас Павел нёс Баеву свою папку.

12

В кабинете Баева, на столе под стеклом, лежал отпечатанный на машинке список членов бюро Коршуновского райкома партии.

Верхняя фамилия — Комелев Степан Петрович — была зачёркнута. Вторым в списке стоял он, Баев.

Дальше — Зыбина Агния Павловна, секретарь райкома по зоне Коршуновской МТС, она же теперь второй секретарь. Эта каждое выступление на собраниях начинает с того, что нещадно бичует себя: «Я принимаю львиную долю вины на свой счёт. Я не намерена прикрывать недостатки своей работы... Я смотрю объективно и вижу позорно слабое вмешательство со своей стороны...» В таких случаях даже у Баева, старшего по работе, почему-то появлялось зудящее ощущение своей вины, невольно хотелось выступить, покаяться в каких-то неизвестных себе ошибках, взять какое-нибудь обязательство. Зыбина понятно, покайся, ополчится на Мансурова.

Следом за ней — фамилия Сутолокова, председателя райисполкома. В работе между секретарём райкома и председателем райисполкома нет резкой границы. По крайней мере её не видел Комелев. Он выполнял и свои обязанности и обязанности Сутолокова. Только на мелочи — настоять, чтоб доставили школе дрова, дать указание, чтоб отремонтировали крышу Дома культуры, замостили новым тёсом тротуар, — решался Сутолоков без согласия секретаря райкома. Что Баев ни скажет — Сутолоков поддержит.

Пятым в списке — Павел Мансуров. Его мнение в этом деле известно.

Редактор районной газеты Первачёв. Парень молодой, никогда особой решительности на заседаниях бюро не проявлял, ссориться с райкомовским начальством не любит.

Чистотелов — старый член партии, недавно получивший орден Трудового Красного Знамени за выслугу лет, человек авторитетный. Он, пожалуй, встанет на сторону Павла Мансурова. Мансуров отстаивает лён, а одного этого достаточно, чтоб Чистотелов поднялся в защиту.

Последним в список был вписан от руки Пугачёв Осип Осипович — райвоенком, дежурная личность, вечный кандидат в бюро. Год назад вывели из состава бюро директора МТС Семякина — временно стал членом бюро Пугачёв. Умер Комелев. Кого ввести вместо него? Опять кандидата Пугачёва. Баев сам переставил его фамилию из кандидатов в члены, разумеется на время, до первой конференции. Этот — «как большинство».

Семь действующих членов бюро. Только двое будут за то, чтоб обнародовать материалы, собранные Мансуровым. Двое против пятерых. Баев считал вопрос уже решённым.

Как всегда, перед заседанием разговаривали, и под внешней непринуждённостью ощущалось старательное желание не коснуться ненароком вопросов, которые через несколько минут придётся обсуждать. Председатель райисполкома Сутолоков, седоголовый, с обветренным, добрым, широким лицом, страстный лошадиник, говорил о том, каких коней он видел в прошлом году в известном по области совхозе «Шамаринский коммунар».

— Распахнули ворота, и вылетает этакое языческое божество — глаза горят, грива растрёпана, двоих здоровенных парней несёт на поводьях... Даже Баев слушал с интересом.

Этот человек до того, как стал работником райкома, имел в жизни две, далёких друг от друга, специальности: до войны преподавал ботанику, в войну командовал взводом пешей разведки. И, казалось, в наружности его эти занятия отпечатались каждое по-своему. Лицо рыхловатое, с покатым подбородком и вдумчивым складом рта — верхняя губа нависает над нижней. С таким лицом только и рассказывать проникновенно о тычинках и пестиках. Но короткая, прокалённая солнцем шея мужественна, руки длинные, подёрнутые тёмным волосом, кисти лопатами, пальцы полусогнуты — можно верить, что с железной хваткой они ломали зазевавшихся часовых где-нибудь ночью на берегу Днестра или Прута.

Перед ним на столе лежала папка Мансурова, её картонный верх был ещё более потёрт и захватан — она походила по рукам членов бюро.

Павел сидел с подчёркнутым безразличием — излишне прям, нога закинута за ногу, над белым, только что из-под утюга воротом рубашки бронзовая, красивая голова вскинута чуточку выше обычного. И только когда Сутолоков пускался в особенно выразительные описания, Павел досадливо опускал веки — пора уже кончить лясы точить...

Появился майор Пугачёв, чья фамилия стояла в списке членов бюро последней.

— Прошу прощения, товарищи, за задержку, — с достоинством произнёс он, молодецкато поскрипывая начищенными сапогами, прошёл к дивану, уселся, выставив грудь, откинув голову, невозмутимый, снисходительно добродушный, с красным от завидного здоровья и тесного воротника лицом.

Баев решительно передвинул папку на столе.

— Начнём, товарищи. Вопрос, собственно, всем известен. Вот... — Баев так же решительно сдвинул папку на прежнее место. — Вот материалы о недостатках нашего района, выражающиеся главным образом... э-э... в планировании, кстати сказать, от нас не зависящем. Мансуров требует широкого обсуждения их.

Второй секретарь Зыбина — в глубоком кресле, как птица в гнёздышке, плечи подняты, руки уютно лежат на животе. — произнесла вкрадчиво:

— Я думаю, первое слово дадим Мансурову, так сказать, виновнику сегодняшнего события.

Баев склонил голову: «Не возражаю».

Павел ждал этого, поднялся, стройный, напружиненный, молча переводил с лица на лицо потемневшие глаза.

— Я своё слово сказал. Вот оно! — Голос его, сочный и сильный, заполнил кабинет. — Остаётся добавить очень немного. Если критика и самокритика не будут действовать, если снизу народ не станет замечать ошибок, то обязательно наше планирование пойдёт вслепую, обязательно оно станет ошибаться. Я, как коммунист, требую обсудить это, — Павел выбросил руку в сторону папки, — не только на бюро, в тесном кругу, а среди рядовых коммунистов!

Павел сел, попржежнему напружиненный, вытянувшийся.

Попросил слова агроном Чистотелов. Костистый, громоздкий, он неловко чувствовал себя за столом на скрипящем лёгком стуле — ненадёжной продукции местного промкомбината.

— Говорить тут много нечего, дорогие товарищи, — выдавил он своим густым басом. — Мансуров вывернул все наши грехи. Прятать их от людей нельзя. Кто, как не люди, будет их исправлять?.. — и, видя, что все ждут от него ещё чего-то, обрезал: — Всё!

С места вскочил редактор районной газеты «Колхозная трибуна» Первачёв. Коренастый, большоголовый, как молодой бычок, налитый здоровьем, он резко, обращившись направо-налево своей лобастой головой, заговорил:

— Я тоже целиком согласен с Мансуровым!..

Баев внимательным и долгим взглядом посмотрел на Первачёва.

— Взять нашу газету. С чем она борется? Доярку Петухову за неряшливость продёрнули, бригадира Ловчукова за пьянство раскатали, ну, там навоз не вывезен, горячее во-время не подброшено. По-цыплячи клюём жизнь, а крупное взять за заговор не решаемся. Можем ли мы так исправить наши недостатки? Нет, не можем! Пора пользоваться критикой и самокритикой не в шутку, всерьёз, решительно!

— Мне нравится такой запал... Простите, вы уже, кажется, кончили? — Зыбина не поднялась, а ещё уютнее устроилась в кресле; склонив набок голову, с мягкой улыбкой она обвела всех открытым, чистосердечным взглядом своих ясных глаз. — Вы меня знаете. Я всегда говорю прямо. В тех недостатках, что занёс в эту папку Павел Сергеевич, есть и моя вина. И вели-икая! Но мне непонятно, товарищи, кого хотят Первачёв с Мансуровым взять за заговор? — Снова светлые, чистосердечные глаза оббежали лица присутствующих. — Обком партии? Облесполком? Может, министерство сельского хозяйства? Ведь планы-то идут к нам в район от них. Дорогие товарищи, прежде чем искать чей-то высокий (простите, с ваших слов говорю) заговор, надо прошупать себя, со всем пристрастием. Я, например, не скрываю, что наш райком и я лично... Да, я!.. (Не собираюсь прятаться за чужую спину.) Я лично повинна и в том, что на корма для скота, на силос в частности, как и многие районные руководители, обращала чрез-вы-чайно мало внимания. Я решительно беру вину на себя и в том...

Зыбина это говорила с такой мягкой улыбкой, глядела такими невинными глазами, с такой простотой принимала на себя вину за все тяжкие грехи района, что Баеву, да и всем остальным, стало легче на душе — ей-богу, не так страшен чёрт, как его размалевал Павел Мансуров. Ну, виноват райком, виноваты товарищи из области, даже из министерства, но ведь кто без греха, стоит ли так горячо принимать к сердцу?..

— К тому же надо помнить, — веско произнёс Баев, — тебе в особенности, товарищ Мансуров, о партийной и государственной дисциплине. Твои замечания интересны и смелы, но они могут расшатать налаженный порядок, внести дезорганизацию в работу партийных и советских органов, нарушить дисциплину.

— Верно, совершенно верно! — поспешно согласился Сутолоков.

Павел снова вскочил на ноги.

— Нет, не верно!

Разгорелся спор. Забасил Чистотелов. Первачёв шумно заговорил с соседом, разъясняя разницу между армейской и государственной дисциплиной. Павел Мансуров бросил упрёк Зыбиной:

— Твоя критика — не критика, а своеобразный зажим. Масло елейное на болячку!

Покойное доброжелательство как-то сразу свернулось на лице Зыбиной, ушло вглубь; на ясные глаза, глядевшие с таким чистосердечием, обиженно опустились веки.

Баев опустил на стол тяжёлую руку.

— Хватит, товарищи. Такие высокотейоретические дебаты можно продолжать до бесконечности.

Из семи членов бюро, чьи фамилии лежали перед ним под стеклом, высказались шесть. Голоса разделились: три за Мансурова, три против. Один райвоенком Пугачёв, возвышаясь на диване в своём наглухо застёгнутом кителе, хранил глубококомысленное молчание.

— Как твоё мнение, Осип Осипович? — спросил его Баев.

Осип Осипович двинул вставленной в тугой воротник головой и не спеша, с достоинством ответил:

— Дисциплина есть дисциплина... Я присоединяюсь к вашему мнению, товарищ Баев.

Бюро кончилось. Молодцевато поскрипывая начищенными сапогами, райвоенком Пугачёв первым покинул кабинет секретаря райкома.

13

На самой окраине Коршунова, неподалёку от шоссе, на песчаном взлобке стоит сосна. Выросшая на приволье, она когда-то поражала своей мощью. И теперь ещё нельзя не заметить остатков её былой силы. Толстенный — вдвоём только охватишь — ствол весь в чудовищных узлах и сплетениях: ни дать ни взять окаменевшие в сверхъестественном напряжении мускулы гиганта. Нижние ветви, сами толщиной в ствол молодой сосёнки, раскинулись с удалой свободой, висят над всем взлобком. Но это остатки... Толстая, бугристая кора, смахивающая на шероховатый бок выветренной скалы, трухлява, местами обвалилась, обнажив тёмное, изъеденное короедами тело сосны. Ветви высохли, торчат в стороны, как гигантские костлявые руки, сведённые намертво в какой-то загадочной страстной мольбе. Дереву уже не в радость приволье, солнце, дожди. Только на самой верхушке клочок жёсткой старческой хвои — единственный признак тлеющей жизни. Костистые мёртвые сучья охраняют это жалкое счастье, последнюю надежду. Но и с этого клочка ещё сыплется крошечными пергаментными мотыльками семечки, падают шишки; почти мёртвое дерево — по привычке ли, по упрямству ли — цветёт, плодоносит, настойчиво выполняет обязанность, возложенную на него природой, — продолжать свой род.

Говорят, у каких-то народов были свои священные деревья, к их подножию приносились дары. Для Саши таким деревом стала эта древняя сосна, стоящая на окраине села Коршунова.

Жизнь Саши, казалось, внешне идёт однообразно: утром — дымящийся туманом Лешачий омут, днём — работа на лугах, вечером вместе с Игнатом сидел за учебниками — время уже ехать в институт, сдавать экзамены. Проходил день за днём — и у всех одинаковый порядок.

Но внутри каждого дня были свои едва уловимые, никому со стороны не заметные радости и неожиданности.

Шёл Саша по полю ржи, сорвал колосок, стал его разглядывать — почти налившийся, зелёный, жёстко щекочущий ладонь. Тысячу раз он видел такой колосок, тысячу раз держал в руке, а сегодня вдруг удивился ему. Вот он — простое создание природы, хлеб! От него шли по свету бок о бок человеческая беда и человеческое счастье. Не ради ль такого колоска кострами вспыхивали барские гнёзда? Не ради ль такого колоска умирали под плетями бунтующие мужики, звенели кандалами по Владимирке, целые деревни снимались с родных мест, скрипя немазаными телегами, оставляя у дорог могилы, тащились на чужбину. Не ради ль такого колоска надорвал своё здоровье его, Саши Комелева, отец? Вот он неласково жёсткий ржаной колос, испокон веков политый потом, слезами, кровью. Он и милость, он и горе, он и кормилец, он и убивец — ржаной жёсткий колосок! Пронёсся ветер, ровно и грозно зашумело поле... Шуми, шуми, рожь! Привычен и дорог твой шум, кормилица! Что бы ни напомнил твой колос, но шум его под ветром всё равно успокаивает и радует...

В другое время такое удивление перед простым колоском быстро забылось бы — мало ли чего не придёт в голову... Но теперь Саша запоминал его, бережно прятал где-то в глубине души: «Ужо расскажу потом...»

Прошёл ли он с косою-литовкой свой первый в жизни загон, устал, облился потом; ночевал ли он на «Сахалине» за деревней Большой Лес среди комаров, приткнувшись у костра; наловчился ли под доглядом плотника Фунтикова «вынимать череп» вдоль по бревну — все эти маленькие радости и маленькие победы он заботливо хранил про себя, давал себе обещание: «Ужо расскажу потом...»

Каждый вечер, около одиннадцати часов, Игнат Егорович вытягивал за цепочку тяжёлые, тусклого серебра часы и, прищёлкнув крышкой, объявлял:

— На сегодня — шабаш.

Поскрипывая половицами, шёл за перегородку к жене, кряхтя стаскивал сапоги.

Он был уверен, что Саша после команды «шабаш» задвинет, как наказано, в сених засов, поднимется на поветь, нырнёт до утра под одеяло.

Но часто случалось иначе... Саша задвигал засов, поднимался на поветь, хватал пиджак и... стараясь не скрипнуть воротами, ведущими на съезд, выскакивал во двор. Пиджак, путаясь в рукавах, он надевал уже на улице.

На шоссе, у поворота, он, запыхавшись, останавливался, ждал попутную машину. Иногда Саша поднимал руку и садился в кузов на добрых началах с шофёром, иногда — зачем по пустякам тревожить рабочего человека — без особых приглашений на ходу перекидывал тело за борт. На крутом подъёме перед селом Коршуновым спрыгивал, не желая ни прощаться с шофёром, ни благодарить его: шофёры — народ не слишком воспитанный, как правило, к словам благодарности требуют добавить пятёрку за проезд.

Ночью при луне старческое безобразие сосны почти не заметно. Голые, перепутанные ветви кажутся живыми. Их неистовая страсть, застывшая в тёмном небе, невольно вызывает благоговейный ужас. Подчёркнутые резкими тенями складки, морщины, неровности на широком стволе поражают какой-то вековой мудростью. Ночью при луне старое дерево красиво...

К подножию сосны в ночной час Саша и приносил своё единственное богатство — светлые события прошедших дней, всё то, что составляло его негромкое счастье.

Катя сидела на земле, опутанной бугристыми корневищами, раскинув по ним лёгкий подол платья, и слушала...

Кричал дергач на соседнем болотце, на небе, закрывая луну и звёзды, владычествовала сосна. Одни на всём свете. Одни! В этом и счастье.

Саша заново переживал с Катей и удивление перед простым колоском, и усталость после косьбы, и гордость собой, что постиг мудрёное плотническое искусство — «вынуть череп»...

Даже Лешачий омут, даже солнце, что грело его, даже ветер, что охлаждал его мокрую спину, — все обычные радости хотелось передать ей, вызвать этим и у неё радость. Но слаб язык, мало нужных слов — сотой доли не в силах рассказать!..

И хоть всё рассказать не под силу, а ночи всегда не хватает...

Между ветвей старой сосны небо начинает бледнеть, слабый свет открывает для глаз старческую немощ древнего дерева. С шоссе слышится шум первой машины. В неясном пепельном свете катино лицо кажется усталым и от этого каким-то домашним, привычным, но странно — на усталом лице возбуждённо, горячо блестят чёрные глаза.

Она поднимается, тонкими пальцами направляет за уши выбившиеся волосы, чуть приметным движением ресниц сообщает: «Пора...»

Даже не приласкает, не скажет ничего особенного, а только двинет ресницами, и за это движение, если б было можно, Саша готов упасть ей под ноги — пусть светает, пусть наступает день, пусть идёт время! Всё забыть, лечь бы так у её ног, не уходить. Сил нет расстаться!

...А часа через три Игнат Егорович уже тряс Сашу за плечо, всякий раз удивляясь:

— Ну и спишь, хоть трактором тащи... Раскачивайся, братец, раскачивайся — самовар на столе. Не пристало нам с тобою выходить на работу позже колхозников.

Убедившись, что Саша раскачался и больше не спрячет голову под одеяло, Игнат Егорович поворачивался и, уходя, сообщал:

— Свежий воздух, оттого и сон крепок. — Спускайся по шатким приступкам, ещё раз углублял свою догадку: — Свежий воздух и молодость...

14

Они не виделись три дня.

Саша сидел в правлении вместе с бригадирами, принимал, стоя на зароде, с деревянных вил Лёшки Ляпунова охапки сена, обсуждал вечерами с Игнатом Егоровичем особенности щелочных соединений — и всё время он чувствовал, что впереди его ждёт счастливая минута. С ним разговаривали; если зазеваётся, сердито кричали на него, советовались, просто сидели рядом — и никто не догадывался, что он не такой, как все, особенный, счастливый. У него впереди радость, у него впереди подарок! От этого Саша и с людьми был добрее. Лёшке-крикуну подарил выкованный в кузнице наконечник остроги в пять зубьев, к Игнату Егоровичу, упрямо заставлявшему торчать над учебниками, минутами испытывал нежность. Все Саше казались по сравнению с ним обиженными — нельзя не быть добрым...

Он считал: осталось два дня — вечность, остался один — значит завтра, пять часов, три, час!.. Пора! А Игнат Егорович никак не мог разобрататься в кислотных остатках... Но вот он щёлкает крышкой часов и объявляет: «На сегодня — шабаш...» И Саша свободен.

...Вот и сосна, в путанице сухих ветвей застрял узкий серп месяца... Здесь ли? Пришла ли? Не заболела ли? Вдруг что случилось?..

Здесь, умница. Уже ждёт. Закуталась в платок, притаилась под деревом.

— Здравствуй, Катя...

Она протягивает ему руку:

— Садись.

В прошлый раз вместе с другими новостями Саша рассказал о папке Мансурова, в которую ему удалось заглянуть, пока та лежала у Игната Егоровича.

— Слышал, — сообщила сейчас Катя, — было бюро райкома. Ту папку обсуждали.

— Слышал. Игнат Егорович сказал мне. По-казённому обсудили.

— Твой Игнат Егорович, Сашенька, узко смотрит. Ему хочется, чтоб только у него под боком тепло было.

— Катя, ты не знаешь его.

— Знаю, что обсуждение папки ему для чего-то своего выгодно.

— Не ему выгодно — всем. И Федосию Мургину и Максиму Пятёрскому... Всем председателям, всем колхозникам, всему району.

— Значит, райком партии против выгоды района? Смешно. Кто поверит этому?

— Так получается...

— Саша! — Опираясь смутно белевшей в сумерках рукой на бугристый ствол сосны, Катя привстала, широко темневшими на лице глазами

разглядывала Сашу. — Не веришь райкому? Как ты смеешь? Да ты дай себе отчёт, что сказал!

— Ведь факт — ошибся.

— Райком?!

— Разве этого не может быть?

Катя, стоя на коленях, распрямившись, продолжала глядеть на Сашу, и даже в темноте было видно, как её лицо выражало откровенный ужас.

— Ты знаешь, что для меня самое святое? — спросила она тихо. — Вера в партию! Для меня счастье, если б я сумела доказать эту веру. Хоть ценой жизни!.. Тот, кто не верит, — мне враг, личный враг! Смертельный!

— Я не меньше тебя верю в партию.

— Бюро райкома — партийное руководство района — решило так, ты не согласен. «Ошиблись, по-казённому подошли...» Да где твоя вера? Нет её! Своему Игнату Егоровичу веришь только!

— Бюро райкома ещё не вся партия. Партия — это Игнат Гмызин, Пятёрский — миллионы...

— А что будет, если они перестанут верить бюро?.. Руки должны слушать голову. Что получится, если каждый Игнат Гмызин станет возражать? Дисциплина развалится, ослабеет партия.

— Если прислушаться к Игнату Гмызину, только умнее станешь. От лишнего ума слабее не делаются.

— Ну, как мне с тобой быть! — с отчаянием и досадой воскликнула Катя.

Как и в прошлые встречи, из болотца доносился скрип коростеля, так же над их головами величественно раскидала свои костлявые ветви сосна, более крупные звёзды прокалывали насквозь эту толщу ветвей. Всё кругом по-старому, ничего не изменилось. А Катя другая.

В прошлый раз она, подтянув к подбородку колени, вся сжавшаяся от ночной сырости, сидела перед ним тихая, покойная, ни выражения лица, ни даже глаз и бровей не различить, но так и тянет от неё вниманием. Теперь отчуждённо отодвинулась, смутно маячит в темноте, смотрит в сторону.

Катю уже в третьем классе выбрали старостой, она была пионервожатой, была секретарём комитета комсомола. От неё требовали: следи за дисциплиной, поднимай авторитет учителя. И Катя следила... Авторитет, дисциплина с детского возраста для неё — столбы, на которых держится жизнь. И вот кто? Саша подкапывает их!

— Саша, — произнесла она холодно, — ты не обижайся, но я тебе скажу... Если б слышал тебя твой отец, разве бы его не обидело?

— Я не против райкома! — вспыхнул Саша.

— Как же так не против? Игнат Егорович взрослый и опытный человек, ему нетрудно подмять под себя такого, как ты... Поддался. Стыдно! Память отца, выходит, предал.

Саша вскочил на ноги.

— Как ты смеешь?..

— Ты прости, я не хочу тебя обидеть...

— Уже обидела! Не честно это!.. Я, может...

— Сашенька, пойми...

Но Саша резко повернулся. Узкая, как кривой нож, луна осветила его: длинная спина как-то болезненно вытянута, кепка на затылке торчит с жалобным недоумением...

Катя приподнялась.

— Саша-а!

Он не оглянулся. Затрещали кусты вересняка, посыпался песок из-под ног...

На подвёртывающихся каблучках Катя бросилась в темноту.

— Са-аша-а!

Ответа не было. Только уже от шоссе донеслись чуть слышные, торопливые шаги. Катя остановилась у поросшего кустами спуска, долго ловила звук шагов, пока тот не стих совсем. Рядом с ней, растопырив широкие, как слоновьи уши, лопухи, так же напряжённо вслушивался в ночную тишину высокий репейник. Безмятежно покрикивал коростель на болотце...

Катя опустилась на жёсткую траву и заплакала.

Предал отца, его память!.. Предал?.. Жизнь сложна, один о ней думает так, другой иначе, а правда всякий раз — одна. Её надо искать и найти, одну правду, одну истину, один путь, как сделать жизнь красивой! Отец и Игнат Егорович не из разных лагерей — свои! Она не понимает...

На следующий день Саша чувствовал себя несчастным. Было у него своё солнышко, грело его, манило — живи, жди, радуйся, впереди подарок, впереди счастье. Чего теперь ждать, куда идти? А люди живут, как жили. Какое им дело, что пусто стало кругом для Саши...

И, может быть, Саша не выдержал бы, пошёл первый искать Катю, но тут Игнат Егорович сообщил, что пора собираться в дорогу, заочное отделение института объявило о приёме...

15

Баев считал, что о папке Мансурова, как и о всяком событии, он обязан сообщить в обком партии. Кроме того, об этой папке уже ходят из колхоза в колхоз слухи. Не без того, в них что-то и преувеличивается, раздувается, искажается. На собраниях, возможно, станут требовать ответа от Баева: почему да как? В таких случаях ответ должен быть один — папка отправлена в обком.

Баев вызвал к себе инструктора Сурепкина.

Если в весеннюю распутицу в самом удалённом от села Коршунова Верхне-Шорском сельсовете надо было проверить готовность колхозов к севу или выступить там на партсобрании, посылали самого безответного — Серафима Мироновича Сурепкина. Этот не станет отговариваться болезнями или семейными причинами, не остановят его ни непролазная грязь, ни большие расстояния. Облазает колхозные конюшни, ощупает семенной материал, оглядит инвентарь, пожурит председателей, пристращает: доложу! И, возвратившись (опять же по оказии, то на случайных машинах, то на подводе, то пешком), обязательно всё в точности сообщит: то-то подготовлено, того-то не хватает, распоряжения переданы.

Если его спросят:

— Вот в областной газете писалось об инициативе колхозников Пальчихинского района... Вы это разъяснили колхозникам?

Он ответит:

— Не было наказано. А то долго ли...

Серафим Миронович делает только то, что ему наказано, но не больше. Однако, если рассерженному начальству вздумается тут же, с ходу, повернуть его: «Идите, сделайте! Наперёд будете догадливей», Серафим Миронович, не обронив ни слова, сразу же направится обратно пешком, на оказиях, в грязь и обязательно исправит оплошность.

Бывший батрак, в партию он вступил, когда Баев, ныне секретарь райкома, был мальчишкой. За все эти годы Сурепкин не получил ни одного партийного взыскания, но и особых заслуг за ним не числилось. Так как ничего другого не имел, Серафим Миронович находил должным гордиться и этим. «Я перед партией чист, как стёклышко», — частенько говаривал он со скромным достоинством.

С годами у Сурепкина появилась лишь одна слабость, да и та безобидная, — очень любил выступать на собраниях.

В привычном для всех порыжевшем пиджачке, надетом поверх армейской гимнастёрки, длинные, по-крестьянски широкие руки вылезают из рукавов, лицо, как и пиджак, тоже порыжевшее, вылинявшее на солнце — под кустиками бровей какого-то мыльного цвета покойные глазки, крепкий, как проволока, ёжик волос над морщинистым лбом... В редкие минуты, когда Серафиму Мироновичу приходилось задумываться, ёжик начинал «гулять» взд-вперёд.

Сурепкин предстал перед Баевым.

— Вы звали меня, Николай Георгиевич?

— Поедешь в обком, отвезёшь это дело, — Баев вынул из стола папку, — дождёшься ответа, узнаешь мнение областного комитета. Поручение важное, поэтому и посылаем, иначе просто переслали бы по почте.

— Когда ехать?

— Собирайся сейчас.

— Поезд завтра в шесть утра отходит.

— Вот с этим поездом.

— Хорошо.

— Ты знаешь, что в этой папке?

— А как же, слышал.

— Будут беседовать с тобой, можешь передать мнение членов бюро. Впрочем, решение бюро здесь прилагается. Я лично считаю, что такие нападки переходят грань необходимой критики, вносят дезорганизацию в работу. Словом, вот!..

Сурепкин бережно принял папку.

Общежитие института было переполнено заочниками. Игнат сумел отвоевать только одну койку для Саши, самому пришлось устроиться в гостинице.

Проснувшись утром, натягивая сапоги, Игнат вдруг заметил через койку рыжеватый жёсткий ёжик волос, оторвавшийся от подушки.

— Эге! Серафим Мироныч! Какими путями?

— Здравствуй, Игнат Егорович, — обрадованно отозвался Сурепкин. — От райкома командирован.

Через полчаса они вместе вышли из гостиницы. Игнат в просторном пиджачке, в галифе, мягких хромовых сапожках, всё выглаженное, свежее, начищенное до блеска, как и подобает у колхозного председателя, не часто попадающего в областной город. Серафим Миронович в чёрном праздничном костюме, режущем подмышками, с узенькими короткими брючками, под локтем — затёртый разбухший портфель.

— Так, значит, ты идёшь передавать нашумевшие бумаги в обком? — спросил Игнат, косясь на портфель.

— Самому первому в руки.

— Баев надеется, что за него похоронит собранные Мансуровым материалы обком?

— Ничего не знаю. Моё дело передать, выслушать замечания.

— А ежели спросят и твоё мнение?..

Вышагивая по нагретому асфальтовому тротуару медлительной, журавлиной походочкой, Серафим Миронович помолчал с минутку, затем ответил с достоинством:

— Моё личное мнение такое: нападки на планы, какие делает Павел Сергеевич, переходят грань критики, вносят дезорганизацию... — Замолчал, он скромно вздохнул.

— Оно верно, мнение свежее. По пословице: «Чьё кушаю, того и слушаю».

Но природное добродушие Сурепкина трудно было прошибить чем-либо — он не заметил ухмылки Игната.

Недалеко от здания обкома Игнат остановился у парикмахерской, попросил Сурепкина подождать и вышел с гладкой, отливающей синевой головой, посуровевший, подобранный, словно оставил за стеклянными дверями парикмахерской прежнее добродушие.

Таким он и вошёл в обком. Нагнув лоснящийся крупный череп, распространяя вокруг себя запах дешёвого одеколona, тяжёлый, громоздкий, — казалось, случись нужда, прошибёт любую дверь, — решительным шагом поднялся по широкой лестнице прохладного вестибюля. Сурепкин отмеривал за ним ступеньки журавлиной поступью...

.....

Есть гордые слова, — мужественные и сильные сами по себе, они, брошенные во-время, вызывают отвагу и дерзость. Эти слова — семена, из них вырастают человеческие подвиги.

Но есть и другие слова. В них не чувствуется ни красоты, ни гордости, ни силы. Они незаметны, серы, будничны. Их не бросают с трибун, они произносятся без пафоса. Тот, кто употребляет их, обращается с этими словами без особого почтения, бросает их на ходу виноватым ли, сухим ли, брюзжащим, вежливым или же вовсе бесцветным голосом. И тем не менее такие слова по-своему могущественны. Страстные желания, кипучая напористость, волевое упрямство, молодой азарт — всё способно потушить подобное слово.

Не последнее из числа этих слов — безобидный на первый взгляд глагол «ждать», — он действует сам, к тому же наплодил себе подобных.

В обкоме партии как Игнату Гмызину, так и Сурепкину ответили просто:

— Подождите, разберёмся.

И они стали ждать.

Игнат сдавал экзамены, умудрялся выкраивать время на улаживание колхозных дел в торговых и строительных организациях, часто наведывался в обком, но там наткнулся на одно:

— Подождите.

Серафим Сурепкин под действием этого слова день ото дня тускнел, у него кончились командировочные деньги, и Игнат Гмызин водил его обедать в студенческую столовую, даже для поддержания духа поил пивом.

А в Коршунове с нетерпением ждал решения Павел Мансуров...

Областной город К*** ничем не знаменит — асфальтовые улицы и булыжные мостовые в переулках, многоэтажные дома и потасканные домишки в четыре оконца, оперный театр, три института, музеи, кинотеатры, стадион, водная станция, троллейбусы, автобусы и солидная история — в старое время сюда ссылались видные писатели и общественные деятели...

Для самого города и для его жителей вовсе не событие, что на улицах появился долговязый паренёк с густым деревенским загаром на лице, в кепке, надвинутой на возбуждённые светлые глаза, в шевиотовом, с короткими рукавами пиджаке и добротных, старательно начищенных яловых сапогах. Он один из тысяч прохожих, он крохотная песчинка, принесённая со стороны.

Но город для этого паренька — величайшее событие в его короткой ещё жизни.

Саша до сих пор один-единственный раз выезжал из села Коршунова. То было давно, ещё до войны, когда ездили в гости к тётке, живущей под

Ленинградом. Из этой поездки запомнилось только — мозаичный пол в одном из вокзалов да строгий швейцар с седыми усами и баками.

Только по книгам и кинокартинам знал Саша лежащий за лесами сахалинской поскотины великий и шумный мир. Только из книг он знал, что существуют реки больше, чем их Шора, что в городах среди домов можно заблудиться, как в лесу, что и самые дома там необычные — в каждый из них войдёт всё население такого села, как Коршуново, да ещё пришлось бы подзанимать людей из соседних деревень. Есть на свете пустыни, есть моря, есть высокие (что там Городище!) горы. Когда узнаёшь обо всём этом в тихом селе Коршунове, где знаком каждый камень на дороге, каждый куст на берегу, то мир кажется таким же невероятным, как и сказки из детских книжек. Подвиг Иванушки, пролезшего в ухо Сивки-Бурки, и море, вода без конца и краю, причём не обычная, а солёная, которую нельзя пить, — разве не одинаковое по невероятности чудо?..

И вот Саша перешагнул через порог в большой мир. Пусть этот город один из самых заурядных в стране, местами пыльный, местами грязный, местами в глухих переулочках просто похож на село Коршуново, но это город! И Саша не замечал в нём недостатков, всему удивлялся — высоким этажам, витринам магазинов, асфальту, обилию машин, даже воздуху, пахнушему перегаром бензина.

Этот город не только ворота в широкий мир, он ещё и дверь в его, сашину, новую жизнь. Недалеко от центра напирает на улицу бесчисленными окнами громадный серый дом с чёрной вывеской у высоких дверей: «Областной сельскохозяйственный институт». Этот дом — его судьба, его надежды, его будущее счастье. Пять лет из этого дома будут следить за ним, Сашей Комелевым, колхозником колхоза «Труженик», следить за тем, как он набирает ума и опыта. Этот дом — новый опекун, непонятный и пока ещё немного пугающий учитель. И когда этот дом отпустит от себя Сашу, тогда только и начнётся по-настоящему взрослая жизнь.

Первые экзамены Саша сдал лучше Игната Егоровича. Тот позаиводвал:

— Что значит мозги свежие. Моя вот коробка лишним набита, не сразу нужное вытащишь.

Здесь, в городе, Саша почувствовал новые силы и какое-то новое, неизвестное прежде, уважение к себе. У него серьёзное дело, он здесь завоеватель. Не тот завоеватель, о которых приходилось читать в книгах, не мир, не славу приехал он завоёвывать, а своё будущее.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Молодое весеннее солнце, пробив туманные стёкла двойных рам, перегордив кабинет золотистыми полотнищами пыли, спокойно лежало на плане района, прибитом к стене. На широком листе жёлтой кальки красной тушью обведены границы. Если взглядеться, контур Коршуновского района напоминает разлапистый след сказочного медведя. В восточной части, где граница идёт по извилистой речонке Парасковьюшке, выдающийся мысок смахивает на коготь...

Синие прожилки рек, речек, речушек, рябинки озёр, косая штриховка пахотных полей, кружочки с надписями — сёла и деревни, и просто не тронутая тушью бумага — леса, «белые пятна» на плане. Они теснят со всех сторон, напирают на поля, сгоняют деревни и сёла к берегам рек... Солнце освещает план.

«Вот и перезимовали...» Павел Мансуров курил, и дым от папиросы растворялся в солнечной пыли. Он нетерпеливо поглядывал в окно на унавоженный, мокро-глянцевитый булыжник шоссе, ждал машину.

В эту зиму случилось неожиданное...

Кончили сеять озимые, поспели хлеба, началась уборка — всё шло по-старому. Павел Мансуров попрежнему работал в отделе пропаганды, созывал семинары; отсылал отчёты о проведённых докладах и лекциях, ездил в командировки, подгонял председателей. Время от времени заглядывал к Игнату Гмызину. Тот хлопотливо, как муравей, налаживал хозяйство своего колхоза: рыл силосные ямы, цементировал их, умудрялся отрывать во время уборки людей на косьбу отавы... В разговорах он сердито качал своей бритой головой:

— Опять, брат, похоже, мы по воздуху с тобой ударили, некого бить! Из обкома на все запросы о папке приходил один ответ:

— Ждите.

В конце концов не только Баев и занятый по горло Игнат, но и сам Павел перестал вспоминать свою папку. Он насколько мог добросовестно делал, что от него требовали, и, тоскуя, мечтал, как бы вырваться из Коршунова.

А в Коршунове по утрам дед Емельян встречал выходивших из ворот коров. На огородах копали картошку. По воскресеньям делопроизводители, бухгалтеры, заведующие конторами, вооружив всех членов своих семейств корзинами и кухонными ножами, отправлялись в лес по грибы, чтобы поразмяться после недельного сидения на канцелярских стульях. Всё знакомо. Всё надоело. Павел Мансуров чувствовал себя одиноким, заброшенным, несчастным. Как бы вырваться из Коршунова?

Прошло затяжное бабье лето с седой паутиной на сухой стерне, с прозрачным застойным воздухом, с шёпотом опадавших листьев, с инеем на тесовых крышах по утрам. Ударили первые заморозки...

И только тут из обкома пришёл официальный коротенький ответ: документы, собранные товарищем Мансуровым, пересланы в ЦК партии.

Павел Мансуров, узнав об этом, промолчал. Игнат насмешливо бросил:

— Долго же они решались на такой подвиг!

А Баев неожиданно стал с большим уважением относиться к Павлу — не отмахнулись, в ЦК переслали. Дело, выходит, не шуточное.

Ещё до того, как в газетах появилось новое постановление ЦК о планировании в сельском хозяйстве, Павла срочно вызвали в обком; к его удивлению, вспомнили папку, попросили выступить со статьёй в областной газете...

И с этого момента всё перевернулось в жизни Мансурова. Незаметный районный работник, фамилия которого мельком упоминалась в отчётах, неожиданно стал знаменит в партийных кругах.

Областная газета печатала его статьи о недостатках планирования.

Первый секретарь обкома Курганов в своих докладах брал примеры из его папки.

Обком партии предложил Коршуновскому району пересмотреть состав бюро.

На внеочередном пленуме в бюро был введён Игнат Гмызин. Баев, ошеломлённый и подавленный, выступил с просьбой освободить его от партийной работы, выразил желание уйти снова в школу педагогом-биологом.

Павла Мансурова избрали первым секретарём.

За окнами был мягкий зимний день. Мелкий сухой снежок нехотя падал за окном на крыши коршуновских домов, на шоссе, на прохожих, в кузова проезжающих грузовиков. Покойным рассеянным светом, отражённым от снега, был залит кабинет: стол под зелёным сукном, громоздкий мраморный прибор на нём, стул, на котором четыре с лишним года сидел Комелев и несколько месяцев — Баев.

Павел опустил на этот стул. Гордость собой, скрытая радость охватили его. По цифре, по факту собирал он папку, по зёрнышку, по крупнице делал он насыпь, чтоб с неё шагнуть к этому стулу. (что скрывать — хотел этого). Теперь он первый человек в районе; ни Комелевы, ни Баевы не висят над головой. Он, Павел Мансуров, молод, он не остановится здесь...

Павел не вылезал из МТС и колхозов — готовил район к севу. И вот за окном весна — не страшно... Не столько радостно от этого кусочка синего неба в форточке, от солнца, от искрящейся капли, сколько от ожидания — впереди сев, а сев — это новая победа.

«Вот и перезимовали... Весна! Хорошо!»

С крыши с шумом сорвалась подтаявшая туша снега, на миг закрыла солнечный свет в окне, где-то внизу тяжко упала, и звук такой, словно облёгчённо вздохнула при этом. Чёрт возьми! Даже это радует!

В дверь просунулась голова Ивана Самсоновича, помощника Павла, над морщинистым клинышком лба юношески игриво висит жиденькая чёлка седых волос.

— Павел Сергеевич, машина у крыльца.

— Хорошо, — ответил Павел и упруго вскочил на ноги, готовый ехать, ходить, не спать ночей, работать и работать, жить и жить без усталости.

2

Двери скотного распахнуты на обе створки. Яркий солнечный день. Сияют подсохшие брёвна стен, а провал дверей настолько чёрен, что кажется, сама ночь, съёжившись, уплотнившись, спряталась от света под крышу коровника, и воздух там, не в пример наружному, лёгкому, сдобренному свежей сыростью, должно быть, тяжёл, густ и вязок, как смола.

Из чёрной глубины на солнце одна за другой выходили коровы. Вместе с отошавшими, покрытыми зачлочковатой бурой шерстью (самая пора линьки) телами они выносили застойный запах навоза и парного молока.

Кончилось многодневное заточение. Тесные стойла, мятая солома под ногами, низкий, серой побелки потолок вверху, днём сумеречный свет через мутные оконца, ночью лампочки тусклого накала, слежавшееся, дурно пахнущее пылью сено — всё это позади. Впереди — сочная, смоченная росой трава, тень в густом ельнике, речки с тёплой водой, где можно стоять по брюхо и лениво отмахиваться от слепней...

Только самые первые шаги выходящих коров были одинаковы. Шлёпая клешнятыми ногами по талой земле, они делали шаг, другой и оставались, ослеплённые сверканием луж, ярким небом, оглушённые запахами, склонив головы, тупо глядели перед собой. Но через секунду каждая из коров по-своему выказывала свой характер. Одна так и стояла до тех пор, пока следующая корова не наталкивалась на неё, после чего делала два-три неуверенно-пьяных шага и снова застыла в недоумении. Другая, подняв голову, раздражалась прерывистым, рыдающим мычанием — и не понять, радуется она горячему солнцу, весеннему дню, свободе или это её тревожит. В третьей вдруг сказывалась непокорная кровь диких предков — хвост на спину и неуклюжим, взлягивающим галопом вперёд, подальше от тёмных дверей скотного. Вслед ей слышались крики скотниц:

— У-у, очумелая! Сдурела!

Только старая корова Барыня с загнутым на лоб рогом, виляя тощим выменем, прошла без задержки, остановилась у кучи снега и сразу же дремотно смежила седые жёсткие веки. Её не тронул ни пьянящий запах талого снега, ни обмытый льющимися с неба лучами сверкающий мир — тепло, и ладно... К ней на спину сразу же спустилась галка, повертела хвастливо головой, прыгнула раз, другой, принялась выклёвывать линялую шерсть. Барыня не повела калеченным рогом.

Игнат Гмызин лишь молча протянул подошедшему Павлу руку и отвернулся, продолжая наблюдать. Ярмарочно-праздничный шум у скотного и славный день не трогали его, жиденькие — золотистый цыплячий пушок — брови насуплены, нижняя толстая губа презрительно выпячена, подбородок спрятан в расстёгнутый ворот ватника.

Павел спросил:

— Что сердит? Этаким пугалом стоишь.

— Веселиться нечего. Иль тебе картина эта нравится? — Игнат указал глазами на толкущееся стадо.

— Ну и что? Коровы коровами, как и всегда после зимы, шелудивые немного.

— Что шелудивые — не беда. Мне на них не парадные выезды делать. А ты укажи хоть одно хорошее вымя.

Павел окинул взглядом коров — мелковаты, брюхасты, узкокостны в крестцах. У ближайшей вымя сжато в кулачок.

— Не породистый у нас скот. Верно.

— Я людей измучил на силосе. Не хвалясь скажу — сокровища накопил. А для кого старался? Для этих кошек. Они племя прожорливое, мастера добро на навоз переводить... Куд-ды, тварь слепая?! Хмель в дурную башку стукнут!

Одна из «прожорливого племени», молодая, пёстрая коровёнка, пронеслась мимо; если бы Игнат не отскочил, чего доброго, сбила бы с ног.

— Не знаешь, скоро кончат нас обещаниями угощать? — спросил Игнат, наблюдая, как неутихающим намётом удаляется корова. — Иль обещанного три года ждут?

— На неделе в области должно собраться совещание по животноводству. Скажут... Ты тоже там должен быть.

Игнат только хмыкнул неопределённо, оборвал разговор:

— Что ж, едем в Кудрявино?

Они направились в деревню.

Перед самой деревней — широкий пустырь. В позапрошлом году здесь росли крапива и репейник, кое-где торчали кусты можжевельника да берёзовые пни, обливавшиеся весной пузырящейся розовой пеной. Теперь среди не стаявших, обдутых сугробов поднимаются дощатые шатры, укрытые толем, самый пустырь походит на мрачный, покинутый цыганский табор. Под каждым шатром — яма. В них хранится силос разных сортов, разных качеств. Каждый сорт среди колхозников имел уже своё прозвище: силос из гороховой зелени — «медок», то есть сладкий; силос из подсолнуха — «солomat»¹, то есть вкусен и сытен; силос из крапивы и веток был груб и звался «тюрька».

Игнат обернулся к Павлу.

— Вот ежели не разведу вместо теперешних навозных скотинок добрых коров, то со всем этим хозяйством, — Игнат обвёл рукой ямы, — буду смахивать на голодную мышь, которая уместилась на банке свиной тушёнки: под ней целое богатство, а попользоваться нельзя. На кой чёрт невесте наряды, коль рыло корчагой... А вот и Сашка, — перебил себя Игнат, вглядываясь в конец улицы. — Эге-гей! Сю-юда!.. Выюн парень. Увернётся — потом ищи днём с огнём по углам.

Павел почти всю зиму не встречался с Сашей Комелевым. Бросалось в глаза не то, что тот раздался вширь, что старенький пиджачок (хотя и было по-весеннему холодно) тесен в плечах, а бросались непонятные, неуловимые перемены в лице: черты его стали как-то твёрже, может быть потому, что чётче вырисовывались брови, иными стали и глаза — раньше чистые, прозрачные, они словно бы потемнели.

¹ Солوماتом в северных областях называют овсяную или пшеничную кашу, обильно залитую маслом.

— Лошадей я уже запряг, — произнёс Саша неожиданным для Павла баском.

Он, верно, не в силах был просто спокойно итти рядом: нагнулся, схватил в горсть снегу, стиснул его в комок, швырнул в столб оградки, по лицу пробежала досада — не попал, поддел носком сапога старую колёсную втулку, отшвырнул, потянулся, сорвал с нависающего дерева голую веточку, размял в пальцах почку, понюхал... Чувствовалось, что для его тела самое тяжёлое наказание — перестать двигаться.

— Эким ты молодцом вымахал, — не удержался Павел.

Саша лишь смущённо отвернулся, походя потряс рукою кол изгороди — крепко ли держится. Зато вместо него расцвело до сих пор кислое и надутое лицо Игната.

— А чего ж, мужаем... — ответил он за Сашу не без самодовольства.

3

На плане, что висит в кабинете Павла Мансурова, там, где не тронутая тушью калька означает леса, кое-где можно увидеть кружок с надписью, вокруг него — штриховка полей; всё это соединено с остальным миром извилистой, тонкой, как ниточка, линией. Это починки, те деревни, о которых обычно говорят: «Кругом лес да дыра в небо». Ниточка, связывающая их с миром, — убогая просёлочная дорога, доступная лишь ноге пешехода, колесу телеги да гусенице трактора.

Каждый такой починок для районных руководителей — незаживающая болячка. Живут четыре десятка людей на отшибе, попробуй им доставить из МТС комбайны и тракторы, ломай голову над тем, как их укрупнить, к какому колхозу их присоседить.

Починок Кудрявино лежит как раз посередине между колхозами «Труженик» и «Светлый путь». От обоих он далёк. В тот год, когда началось укрупнение, Кудрявино присоединили к «Светлому пути», колхозу крепкому, со старым опытным председателем Федосием Мургиным.

Кудрявинцы были бесшабашный народ: весной не особенно торопились с севом, осенью — с уборкой, просили у государства кредиты, расходовали и не думали выплачивать. Оказавшись под крылышком Федосия Мургина, начали надоедать ему: «Федосий Савельич, хлебец вышел.. Федосий Савельич, нельзя ли авансик...», за что степенный и рассудительный Федосий Мургин возненавидел их тайной и лютой ненавистью и эту отброшенную в леса бригаду называл не иначе, как «автономная республика Кудрявино», тем самым намекая районному начальству, что оно не имеет сил подчинить кудрявинцев своей воле.

В деревнях Погребное, Сутолоково, Ивашкин Бор — оплот и ядро разросшегося ныне колхоза «Светлый путь» — не было обиднее клички, чем «кудрявый». «Кудрявый ты, брат, не иначе...» Тот, кому бросали такие слова, знал, что они отнюдь не похвала наружности, а просто его считают и бессовестным попрошайкой, и последним на свете бездельником, и вообще ни к чему не пригодным человеком.

Павел Мансуров предложил передать Кудрявино колхозу «Труженик».

— Федосий стар и живёт по старинке, ему теперь дай бог управиться со своим колхозом без этого довеска. Ты ж вон как разворачиваешься. Хватит сил, вытянешь кудрявинцев, — говорил он Игнату.

От деревни Новое Раменье до починка через поскотины считалось километров пятнадцать. Но кто мерил эти километры лесных дорог?

Лошадь уже два часа старательно тащила розвальни по лесу. Полозья то скользили по грязи, то скрежетали по жёсткому снегу, то погружались в мутные лужи. Спасение, что санный полоз — не колесо: всюду пойдёт, нигде не застрянет...

Дорога становилась всё уже и уже, лес — выше, гуще, глуше. В одном месте обогнули бурелом — толстые стволы сосен лежали крест-накрест друг на друге, вскинув чёрные от сырости корневища. Ничто в лесу не может вызвать с такой силой впечатление дикости, как бурелом — хаос, хранящий на себе следы неистовой силы. После него казалось странным, что они едут по проложенной людьми дороге. Невольно ждёшь — вот-вот оборвётся ока, лошадь потащит розвальни через пни, кочки, трухлявые стволы упавших деревьев, по бездорожью и... кончится путь.

Но вот среди плотного леса показался голубой просвет, скрылся, показался другой, более широкий... Розвальни выехали на колею, заполненную вязкой грязью, кое-где, как щитом, покрытую толстой коркой унавоженного льда. Дорога пересекала поле озими. За полем — обычные деревенские крыши с выкинутой к небу неизменной берёзкой. Вот оно, Кудрявино!

Саше ещё ни разу не случалось бывать в лесных починках; подъезжая, он с любопытством вглядывался — должна же на чём-то лежать печать глухомани. Но дорога вела к привычной деревенской околице: осевшая за зиму изгородь, такие же осевшие ворота из жердей, распахнутые гостеприимно настежь, бревенчатые избы...

— Да у них электричество! — удивлённо воскликнул Саша.

Вглубь просторной деревенской улицы уходили жёлтые столбы.

— Федосий Мургин локомобиль завёз, — пояснил Игнат. — Одну зиму свет был, потом случилась какая-то неисправность. Федосий к тому времени махнул рукой на кудрявинцев, кудрявинцы — на его локомобиль... Столбы-то стоят, да и в избах лампочки есть...

Сам Игнат, хоть и не раз бывал здесь, сейчас глядел вокруг быстро бегающими глазами, на переносе легла напряжённая морщинка, — как-никак всё, что ни увидит, станет его хозяйством.

— Эх-хе-хе! — вздохнул он. — Косилка-то где перезимовала.

Председатель «Светлого пути» Федосий Мургин ещё не появлялся, но его ждали с минуты на минуту.

В бригадной избе, до укрупнения служившей колхозной конторой, приезжих встретил бригадир Савватий Копачёв, более известный по прозвищу Саввушка Вязунчик, маленький человечек с большой лобастой головой, сморщенным бритым лицом, прыгающими вверх-вниз бровями и живыми, беспокойными глазками. Павел не был знаком с ним, Игнату же частенько приходилось видеть Саввушку у себя. Не скрывая своего удивления, Игнат прямо спросил:

— Как же так случилось? Ты — и бригадир.

— Сам не пойму, — безунынным, по-детски тонким голоском ответил Саввушка. — Народ за меня горой стоит.

Игнат с сомнением покачал головой:

— Ишь ты... деятель.

Саввушка Вязунчик, от рождения слабосильный, не приспособленный к крестьянской работе, сам сознающий это, был одним из тех, кого обычно называют в деревне «зряшный мужик». Не только в колхозе, но и к своему хозяйству он не прикладывал рук. Приходила пора пахать усадьбу, садить картошку, а Саввушка ходит от соседа к соседу, просит сначала табачку на цыгарку, а затем...

— Дошечек у тебя, брат ты мой, не завалилось ли?.. На что? Да, чай, весна. Скворцы, слышь, прилетели, скворечник надо приладить.

И он целый день самозабвенно сколачивал скворечник, не обращая внимания на то, что старуха с высоты крыльца честит его на всю деревню:

— Полюбуйтесь, люди добрые! В доме луковичы завалищей не отыщешь! Век-вековечный мучаюсь с непутёвым!.. Господи! Когда ты его приберёшь?

У Саввушки был сын, бравый офицер, красавец парень, изредка приезжавший на побывку домой, сводивший с ума девчат щегольским, с золотом нашивок, мундиром. Саввушка им гордился, многозначительно напоминал встречным и поперечным: «моё семья». На деньги, высылаемые сыном, и кормился он со старухой.

Никто в округе больше Саввушки не знал смешных побасёнок и страшных историй. В любом месте, где только сходились два, три человека, Саввушка начинал своим детским голоском рассказ.

И сейчас, ожидая приезда Федосия Мургина, он начал не без хвастовства:

— Не легко, видать, к нам добраться. Вы, Павел Сергеевич, примечаю, машинку-то свою оставили, на простых дровнях к нам подкатали. Лесные мы люди... Не слышали, какое лихо сюда загнало? Нет. То-то и оно. Мы, кудрявинцы, одного с тобой корня, Игнат Егорыч. Ты родом из Остановы, мы — тоже. Лет так сто пятьдесят назад в Останове жила Фёкла, по уличному-то — Лешачиха. А почему Лешачиха — разговор особый. Здоровая была, страсть. Мужички-то наши на медведя один на один хаживали, она и их кулаком сшибала. Мужёнок у неё был хлипкий. Она его понуждала бабьи работы делать: корову доить, тесто ставить, бельишко там простирать, а сама пахала, косила, новины жгла. Характеру угрюмого, живёт не по-людски, всё навыворот. Ну, народ-то по темноте своей коситься стал: не иначе ведьма, не иначе лешачиха, пакости ей, ребята! И пакостили: на клин коров напустят, бычку там ногу перешибут, дошло дело — колом лошадёнку ейную пришибли. Тут Фёкла-то и не стерпела, дозналась кто... А пришиб лошадёнку парень один, по селу первый ухарь... Так что вы, братцы мои, думаете! Среди бела дня Фёкла этого парня смяла, голову его промеж колен вставила да при всём народе, при девках-то штаны спустила, по голому заду и всыпала... Извёлся потом от этого парень-то. А Фёкла покидала на телегу своё добришко, на добришко мужика посадила, сама в оглобли впряглась да и в лес... Вслед плевались: «Лешачихе — лешачье место, живи, где хошь, сатанинское семья». Выбрала Фёкла местечко поглуше да поприглядней, с одного боку соснячок, с другого — берёзки, одна одной кудрявее...

Саша слушал с интересом, Павел — скучающе, Игнат боялся задержаться до вечера, нет-нет да и поглядывал в окно. Он первый и перебил Саввушку:

— Наконец-то! Прибыл Федосий.

Тучным животом вперёд, расставляя раскорячкой короткие ноги, на каждом шагу шумно отдуваясь, вошёл в избу председатель «Светлого пути» Мургин, протянул пухлую ладонь Павлу, затем Игнату, помедлив, протянул Саше, на Саввушку не повёл и бровью.

— Овраг за Коростельскими лужками залило, еле перебрались. В мои-то годы с кочки на кочку прыгать...— Он снял с головы кожаный картуз, вытер платком лоб и круглое лицо.

До укрупнения колхоз Мургина вызывал зависть у окружающих колхозников. В те годы не только коршуновские покупатели, но и на базаре областного города спрашивали хозяйки: «Из «Светлого пути» свинину не привезли?»

После укрупнения «Светлый путь» заметно осел. Прошло три года, а до прежнего уровня не дотянулись.

Сейчас Мургин, выставив живот, сидел с суровой важностью, только умные рыжеватые глазки сквозь узкие щёлки припухших век насторожённо бегали по лицам. Ведь как бы там ни было, а он не сумел сладить с кудрявинцами, приходится передавать их Гмызину. А кто этот Гмызин? В колхозных председателях всего четвёртый год. Федосий Савельич боялся, что секретарь райкома Мансуров намекнёт с ехидцей: «С твоей шеи

груз... Благодарю человека, что освобождает». Легко ли такое выслушивать на старости лет?..

Но Павел лишь сказал:

— Пойдём по хозяйству, посмотрим. Ты, Савельич, всё расскажешь без утайки.

— Обрадовать не обрадую, а расскажу начистоту. — Мургин поднялся, кивнул небрежно Савватию. — Сбегай пока к Марфе Карповне, накажи, чтоб погода самовар сообразила. Люди целый день тут будут.

— Дело невеликое, перепоручить могу, — с важностью заметил Савватий. — А при осмотре-то хозяйства и моё слово не лишнее.

— Иди, иди, куда посылают. Сам покажу твоё хозяйство.

Савватий с явным сожалением расстался с гостями: народ они свежий, можно бы побеседовать.

— Не удивились вы случаем, что на бригадирстве Саввушка Вязунчик сидит? — отдуваясь после каждого шага, заговорил Мургин. — Ставил я, ставил своих бригадиров... Никиту Обозникова посадил сначала. Тот с месяца промучился, потом пришёл, шапку об пол брякнул: «Что кошь, мол, делай, сбегу от кудрявинцев». Самая уборка, а они все в лес по ягоды. С собаками ищи каждого!» Ведь подумать только, мужик с утра раннего под окнами сторожил, чтоб в лес не отпустить, — хитростью уходили... С Иваном Мишиным такая же штука. А на собраниях кудрявинцы кричат: «Не надо чужого! Из своих бригадира выберем...» Вот и выбрали этого шута горохового. Очень удобный для них человек... Здешний народ лесом попорчен... Не земля их кормит — лес! Ягоды собирают, продавать носят. Малинка-то рубль стаканчик, а этой малины возами вози отсудова. Дичину бьют, рыбу в озере ловят. При нужде и лося освежают... Закон далеко... Весь закон и вся власть тут — бригадир. Потому чужие и не приживаются... Потому и Саввушку выбрали: самый безобидный человек... Он и лошадей не откажет усадьбу вспахать, и малиной заниматься не запретит, и на работу не погонит — сам её не любит. Живут у этого Христа-Саввушки за пазушкой, а тот по своей глупости рад почёту. Должно, и вам хвалился: «Народ-де мне доверяет...» Вот, Игнат, слушай... Не для остратки говорю — для науки.

Земля задубенела от вечернего морозца, и лошади тяжелей было тащить сани. Приходилось больше итти пешком. Молчали. Наконец Павел спросил:

— Не жалеешь, что согласился?

Игнат нехотя ухмыльнулся.

— Иль думаешь, оглобли поверну?

— Пока-то ещё не поздно... Я, прямо скажу, хоть и посоветовал, да теперь сомневаться стал. Колхоз твой, как на дрожжах, растёт. Он, может, знаменем всего района будет, и вдруг такую гирию повесили...

— Не мне гирию, так Федосию; как ни кинь, кому-то вешать придётся...

— Только это и заставляет. Но невыгодны тебе кудрявинцы. Ой, намучаешься...

— Не из-за выгоды их беру. Людей жаль. Утонули в лесах, одичали, сами не вылезут. На Федосия — сам толковал — не велика надежда. Непрочно на ногах стоит, потянет кудрявинцев, сам, того гляди, в болото сползёт. Попробуем мы... Больше некому.

— Если так — святое дело. Спасибо скажем.

— Не на чем. В колхоз я не по щучьему веленью попал, меня послал райком. Приходится помнить, что посланец не чей-нибудь, а партийный. Межой свой колхоз от других отделять не собираюсь.

— Ну и всё ж как думаешь своротить лесовиков?

— Как? — переспросил Игнат. — Да очень просто. Хлеб с их полей — долой! Невыгодно. Часть полей отведу под луга, часть буду засеивать кор-

неплодами. Поставлю хороший скотный двор, силосных ям нарою, маслобойку оборудую и буду вывозить из Кудрявина масло. Выпасы у них большие, травы сколько угодно, силосу хоть на весь район заготовляй... — Игнат помолчал и добавил: — Это — дело дальнего прицепа, а пока придётся просто тянуть их... Мне скот для развода нужен, племенной, породистый! — закончил он упрямо.

Павел рассмеялся.

— У тебя на каждую болячку одна и та же припарка. Даёшь скот — и шабаш!

Игнат не ответил, двумя широкими шагами он нагнал сани, завалился на них.

— Садись! Здесь уклон — лошади полегче...

Мансуров и Саша привалились к нему.

Скрипели оглобли, шуршали полозья, молчал затянутый сумерками лес.

4

Саша временами смутно чувствовал, что жизнь напористо наступает на него, не даёт опомниться. Каждый день приносил новое.

Недавно казалось, что нет скучнее на свете случайно прочитанной в газете фразы: «Такой-то колхоз перевыполнил план силосования...» Бесцветные, серые слова, они не оставляли следа в душе.

Но проходили дни, и он с ревностью, со страстью искал в газете: засилосовали? А как? Почему мало сказано? Три строчки написали, словно отгрызнулись...

Новое приходило вместе с беспокойством, вместе с заботами.

Колхоз косит, колхоз запасает сено. В эти дни каждый с опаской смотрит на небо: а вдруг да грянет дождь, погниёт трава, чем кормить скот зимой? Хорошо, если будет солома, а как и той не хватит? Прирежь тогда коров, пока сами не сдохли. Под богом ходим.

К осени на скошенных лугах подрастает густая отава — хорошая трава, коси по второму разу. Плохо ли снять сена вдвойне! Скосить-то можно, но как высушить? Осеннее солнце не горячее, дожди перепадают часто. Коси не коси, всё равно сгниёт — пропадёт добро, что ж делать? Под богом ходим!

На Роговском болоте вокруг ляг и бочажков несчитанные гектары осоки. Не ходит туда скот, не ест её — жестка, края листьев, что бритва, режут в кровь язык, дёсны, губы. Никчёмная трава. А велика ли польза в дремучих зарослях крапивы за Раменским полем? Многие считают — возмущаться нечем, мало ли растёт и плодится бесполезного на свете, на то божья воля.

Но всё это так кажется до времени, пока не узнаешь, пока не раскроют тебе глаза.

Скоси отаву, засыпь в яму, притопчи поплотней, закупори покрепче — немудрёное дело. Не надо высматривать да выжидать солнца; дожди, сырость, утренние заморозки — ничто не помеха. А в конце зимы вынимай эту перебродившую, пахнущую хлебным квасом отаву, разноси по кормушкам — будут есть коровы да облизываться. Осока, крапива — даже их можно перегнать на молоко и мясо...

Тридцать семь ям силосу заложил Игнат Егорович. В каждой яме от тридцати до сорока тонн. Подсчитай, лежат в земле сокровища, копилка колхозного богатства на пустыре!

Сотни тысяч рублей в банке, новые подвесные дороги на скотном, чтобы не на руках таскать навоз, велосипеды у ребят, шёлковые платья у девчат, крыши, крытые железом, музыка из радиоприёмников — вот что такое силос! На красивой земле — красивая жизнь, отцовская мечта! Саше ли быть к этому равнодушным...

Попрежнему Игнат Егорович считал законом каждый свободный вечер вместе с Сашей проводить над учебниками. Книжную премудрость Саша схватывал быстрее Игната. Но если Саша просто запоминал, верил всему, что ни прочитает, без оговорок, то Игнат часто ворчливо спорил с учебниками:

— Что пишут? Башня для силоса дешевле ямы. А утеплять башню, а ремонтировать её?.. Клёпка каждый год будет расплзаться по швам. Такие ремонты встанут в копейку...

И он сразу выкладывал кучу житейских примеров, после чего и у Саши пропадало доверие к прочитанному.

Заботы и беспокойства были у них общими, мечтали они вместе, вместе учились, вместе работали, и новое для Саши открывалось через Игната Егоровича.

С Катей Саша помирился вскоре же после возвращения из города.

Катя стала приглашать Сашу в гости. Вместе с дедом, бывшим сашиным учителем Аркадием Максимовичем, пили чай. Катя, сменив костюм на фланелевый халатик, с гладко забранными волосами, румяная, довольная новой для неё ролью гостеприимной хозяйки, угощала напористо:

— Саша! Ты что, как красна девица, сидишь? Вот варенье, вот слойки! Не заставляй кланяться.

После чая Аркадий Максимович любил посумерничать и пофилософствовать на какие-нибудь очень высокие темы — о вселенной, о человеческом уме, о будущем...

— Бесконечность окружающего мира меня не гнетёт. Напротив! В этой бесконечности я вижу бесконечные возможности для применения человеческих сил. Да, да, друзья! В мире есть только один бог — человек!

На столе смутно поблёскивали неприбранные чашки. Глуховатый голос старика будил какую-то приятно щемящую мечту о чём-то огромном, недоступном. Катя, забравшись с ногами на громоздкий старый диван, гладила задумчиво кота Фомку, лежебоку, упрятого в густую шубу, с презрительно-недоверчивыми круглыми глазами. Саша, не поворачивая головы, ощущал взгляд Кати. Уютно и покойно чувствовал он себя в этой маленькой семье.

Такие посещения дали повод считать всем Сашу и Катю посватанными. Свою мать Саша нет-нет да и заставлял в слезах. «Я так, родненький, так... Только ты не бросай мать-то, легко ль без твоей-то помощи нам будет...» — невнятно объясняла она. Последнее время она усидчиво вязала пуховую шаль — уж не подарок ли будущей невестке?

В колхозе же подарила Сашу своим вниманием одна из развесёлых раменских девчат, Настя Баклушина.

Среди своих подруг, отличавшихся дородностью и здоровьем, она, невысокая, худенькая, с бледным, не загорающим на солнце лицом, казалась на первый взгляд неприметной. Но все знали, что Пётр Дёмин, ныне флотский офицер, завидный кавалер (фуражка с белым верхом, китель в обтяжку, морской кортик у пояса), шлёт сердитые письма Насте, обещает жениться. Знали, что Настя не особенно-то сохнет по нём, крутит голову и секретарю сельсовета Мите Голикову, и Перхуну Фёдору, агроному МТС, и шофёру Никите Шуренкову. Из леспромхоза к ней на разговоры ездит за двадцать километров какой-то десятник, уже в годах, кто знает, может, и семейный. За всё это дородные, пышнотелые раменские девчата тайно ненавидели Настю.

При всей почти детской нескладности настиной фигуры бросались в глаза налитые зрелой тяжестью груди и на худощавом лице — сочные, яркие губы с каким-то мягким и жадным выступом на верхней.

Настя с самых первых дней стала дразнить Сашу. Это она кричала ему на сенокосе:

— Саша! Солнышко! Иди к нам в копёшки! Охотка поиграть со свеженьким!

Потом Саша привык к таким окликам, научился даже отвечать на них. Настя на время оставила его в покое.

И вот теперь какой-то чёрт снова толкнул её к Саше. Увидит в конторе — не стесняясь, проталкивается к нему:

— Куда спешешь? Поглядеть на себя не даёшь. Поди сюда, миленький, посидим рядком, поговорим ладком.

Какой-нибудь бородатый правленец при этом советовал Саше:

— Мотри, парень... Подальше от неё — укусит. Девка с бесинкой.

5

В области малый прирост скота, в области низкие удои, в пяти районах из-за летних дождей бескормица, зимой пришлось прирезать скот. В области тяжёлое положение с животноводством.

В городском театре по этому вопросу собиралось совещание передовиков.

Нарядное фойе с высокими потолками, с переливающимися люстрами в этот вечер выглядит менее празднично. Будничны лица гардеробщиц, не мелькают распорядители с пачками программ, буднична и публика. Яркий электрический свет с потолка освещает косоворотки, гимнастёрки, яловые сапоги рядом с выутюженными костюмами. Много мужчин и мало женщин. Люди большей частью собираются кучками, курят, разговаривают, а не ходят попарно.

На стенах под самым потолком висят портреты великих композиторов: Лист, Бетховен, Моцарт, Глинка, Чайковский... И странно под сенью этих корифеев искусства слышать озабоченные, житейские слова: выпасы, надой, молодняк, силос, концентраты...

За последнее время Павел Мансуров полюбил такие совещания в области. В безукоризненном костюме, курчавая голова вскинута, на широком смуглом лице готовность любого встретить открытой, дружеской улыбкой, он мягкой, неспешной походкой ходил по фойе, кивал знакомым, заводил разговоры. На него оглядывались, за его спиной шептались:

— Из Коршунова?

— Тот самый.

— На вид молод...

Обкомовские работники, обычно в такие дни все до единого занятые по горло, озабоченно снующие через фойе и зрительный зал на сцену, находили минутку, останавливались, чтобы переброситься парой слов с Мансуровым.

Секретари райкомов из больших промышленных районов, таких, как Сумковский, Ключаевский, Глазновский, люди пожилые, знающие себе цену, ещё недавно не ведавшие о существовании Павла Мансурова, встречали его сейчас дружески — равные равному.

Секретари из районов более удалённых, менее заметных отыскивали Павла в толпе, осторожно придерживая за рукав, отводили в уголок, советовались, жаловались. Для них он был уже старшим.

Коршуновцы собрались отдельной кучкой: Игнат Гмызин; Федосий Мургин, недавно вышедший из буфета, где до краёв налился пивом, отчего широкое лицо его расцвело влажным свекольным румянцем; Огарышев — зоотехник колхоза «Первая пятилетка»; председатель этого колхоза Пятерский, сухощавый человек с аскетическим лицом, к которому вовсе не подходил нерешительный и мягкий взгляд голубых глаз; доярка Распопова со старым, ещё довоенным орденом Ленина.

Только что выступил с докладом председатель облисполкома Чернышёв. Он сообщил: в область прибывают большие партии племенного скота.

Раньше такой скот приходил лишь маленькими партиями и распределялся механически. В областном отделе сельского хозяйства раскидывали по районам: столько-то голов туда, столько-то сюда, хотите или нет принимать, раз назначено — получите, никаких возражений, никаких отговорок на бескормицу! В этом году брать или не брать должны решать районные руководители, они сами обязаны рассчитывать силы своих колхозов.

Федосий Мургин, собрав под подбородком толстую складку, рассматривая на своём обширном животе пуговицы, говорил с привычным ему недовольством:

— Знаем мы этот скот. В позапрошлом году прислали мне трёх холмогорок. Коровы — без всяких бумаг видно — породистые из породистых, спины, что полати, вымя у каждой мешком висит. Только я наплакался с ними. Подавай им, видишь ли, заливные выпасы. Плохую траву жрать не желают, рыла воротят. А где у меня заливные, когда кругом в суходолах сижу, как свинной ошкварок на сковородке... А ведь скот-то этот даром не дают, денежки за него плати, и немалые...

Зоотехник Огарышев обиженно возражал:

— Рано или поздно, всё равно нам придётся менять своих дохлых коровёнок на продуктивных. Тут такой случай — бери! Отворачиваться прикажешь?

— Дохлые коровёнки, это верно, — не смущаясь, соглашался Мургин. — Только почему они дохлые?.. Кормим плохо! С такими кормами наши ещё выдюжат, а племенные загнутся, не жди от них ни молока, ни приплоду настоящего. Забываешь, милоч, поговорочку: у коровы-то молоко на языке.

Игнат Гмызин молчал, но по тому, как с сосредоточенным видом поглаживал бритую голову, было видно — он уже прикидывает в уме, сколько голов взять, где разместить. Его-то меньше всего трогали сомнения Мургина.

Павел Мансуров понимающе поглядывал на Игната: «Хозяйская башка... Вот как попал в точку! Не зря копил запасы силоса... Этот, не боясь, отхватит себе племенных коров, этот создаст стадо!»

— Павел Сергеевич! Здравствуйте, голубчик... — Перед Павлом оставился секретарь райкома из соседнего Шумаковского района, невысокий живчик, с квадратной, в ладошку, лысиной на макушке. Он подхватил Павла, потащил в сторону, сразу на ходу выговаривая:

— Слышали, о чём Курганов собирается выступить?

Шумаковский секретарь имел одну удивительную способность: какими-то неизвестными путями на пять минут раньше других узнавать во всех подробностях обкомовские новости. И уж эти новости он не держал при себе.

— Он скажет (тут подразумевался первый секретарь обкома Курганов), что работа районных руководителей будет измеряться тем, сколько район возьмёт на свои плечи племенного скота. Много возьмёшь — хороший работник, значит у тебя в районе есть корм, есть где скот поставить. Мало возьмёшь — так на тебя и будут глядеть. Областным-то хочется как можно больше в свою область упрягать сейчас этого скота. Шутка ли — сразу поднимется поголовье. И не рассчитывай на мясоставки, особо-то не дадут списывать старых коров. Цифра, цифра нужна! А эти цифры вот кому на шею сядут — нам! — Шумаковский секретарь похлопал себя по короткому загривку. — Я жезть наобум не буду, не-ет. Пусть, как хотят, так и смотрят, хоть косо, хоть прямо в лоб смотрите. У меня сейчас в редком колхозе клок сена отыщешь. Ждём не дождёмся, когда зелёная травка, спасительница наша, выглянет. А за падёж племенного скота, ой, как спросят! Ну, извините, бегу к своим. Потолковать надо. В таких вопросах решать одному боязно. А решать надо, торопят...

Шумаковский секретарь отбежал от Павла, по дороге столкнулся с высоким седым мужчиной в полувоенной форме, подхватил его под руку и начал ему горячо рассказывать, должно быть, то же самое. Мужчина с терпеливым снисхождением слушал шумаковца.

Павел знал этого седого человека с простоватым лицом рабочего, с прямыми, широкими плечами, со щеголеватой подобранностью офицера запаса. Он секретарь Ключаевского райкома партии Звонцов. Видя, как шумаковец, суетясь, выкладывает ему, Павел усмехнулся: «Тоже мне, чижик соколу на беду сетует. Звонцову ли беспокоиться?.. Да у него в районе целое созвездие колхозов первой величины — украшение всей области. Не только в кормах, но и в самом племенном скоте. Особо не нуждаются. Его-то не тронут слова Курганова...»

Высокий Звонцов с мягкой настойчивостью освободился от прилипшего к нему шумаковца, кивнул головой и зашагал прочь. Павел Мансуров с уважением и завистью проводил взглядом прямую, широкую спину, обтянутую зелёным кителем: «Ничего, поживём — увидим: кто над кем поднимется. Не боги горшки обжигают...»

Павел вернулся к своим.

— Хватит споров, — произнёс он. — Скоро начнутся прения. Мне выступать. Надо сейчас обо всём договориться...

Их небольшое совещание оборвал звонок.

Плохо ли отхватить богатый куш, одним разом выправить положение с животноводством, — соблазн велик, но в районе не везде хорошо с кормами, скотные дворы не подготовлены к приёму племенных коров, да и кадры животноводческие слабы. Нет, большим обещаний давать нельзя.

Павел уселся на своё место с твёрдым решением — не зарываться.

Выступал шумаковский секретарь. Он говорил, что прибывающий в таком количестве скот — событие в области, оно, возможно, сделает революцию в экономике, но, тем не менее, к приёму скота надо подходить осторожно, вдумчиво...

Из президиума секретарь обкома Курганов бросил короткую, сухую реплику:

— Не потому ли за вдумчивость ратуете, что в прошлом году сено погноили?

— И это приходится учитывать, Алексей Владимирович, — отозвался шумаковец.

— Учитывать, чтобы впредь сено гноить?

Шумаковский секретарь замаялся, а зал зашелестел недоброжелательным к нему смешком. Вместе со всеми осуждающе смеялся и Павел Мансуров. Шишковатый лоб шумаковца под ярким электрическим светом блестит от пота, сам он весь как-то съёжился на трибуне, спешит, комкает фразы:

— ...Перебросить в нашу область тысячи голов племенного скота! Такие решительные меры говорят о мощи нашего социалистического хозяйства!..

— Конкретно о районе! — подкидывает опять Курганов.

— Наш район, — с готовностью подхватывает шумаковец, — не может не откликнуться... Мы приложим все силы...

— Конкретно!

— Должны признаться, что мы ещё в недостаточной степени... — галлопом продолжает шумаковский секретарь, обливаясь потом.

Докладчик кончил, суетливо сгрёб бумаги, сбежал с трибуны и исчез, растворился...

Председательствующий объявил:

— Слово предоставляется секретарю Коршуновского райкома партии товарищу Мансурову!

Павел поднялся и по узкому проходу, устланному мягкой ковровой дорожкой, пошёл своим лёгким, напористым шагом к трибуне. В одном из рядов крайний к проходу человек в овчинной душегрейке, с костистым волевым лицом, то ли колхозный председатель, то ли низовой зоотехник, повернувшись к соседу, произнёс:

— А ну-ка, ну-ка, на что этот решится?

Павел слышал эти слова.

Из-за стола президиума встречал Павла подбадривающей улыбкой Курганов. Весь вид его — вскинутая голова, прямой приветливый взгляд — выражал уверенное ожидание: этот скажет, не подведёт, ещё и удивить может.

И Павел почувствовал, что твёрдое решение — не зарываться, не обещать ничего — он не сумел донести целиком до трибуны. На секунду он растерялся, молчал, собираясь с мыслями, глядел в зал. А из освещённой глубины зала, мельчась, утопая в ней, уставились сотни лиц, напряжённо глядящих в упор.

Тишина своей настороженностью властно требовала: говори, слушаем, чем удивишь? И в этой тишине, в терпении людей чувствуется уважение. Сами того не желая, люди как бы приказывают ему говорить то, против чего минуту назад Павла предостерегал здравый смысл. Нет сил им не подчиниться, вызвать разочарование — невозможно!

Павел со спокойным достоинством бросил привычное:

— Товарищи!

Не спеша заговорил о том же, что и шумаковский секретарь: сегодняшнее совещание обязано разрешить один из самых больших вопросов — племенной скот облагородит местные породы, подымет продуктивность...

Он говорил и со страхом отмечал про себя: напряжение в зале падает, тишина, вначале чистая, прозрачная, словно замутилась сейчас. Слышалось шевеление в рядах, осторожное покашливание. И казалось, что вот-вот из-за стола президиума, от секретаря обкома, донесётся требовательное: «А конкретно!»

Павел вдруг почувствовал отвращение к своему бесцветному, вялому голосу. Нет, он не шумаковский секретарь, он Мансуров!

Резко, как от удара, он распрямился, вскинул голову, облитый светом театральных рефлекторов, юношески подобранный, смуглое, широкоскулое лицо как бы вспыхнуло решительностью, голос стал звучным, упругим, властным:

— Мы сидим в болоте и мечтаем, как бы взобраться на гору! Нам пришли на помощь, нам спустили лестницу, а мы мнёмся, раздумываем — ступить на неё или не ступить? Мы боимся, что сорвёмся. Из-за этой боязни чуть ли не готовы отказаться от своего спасения!

Зал снова зашумел, но как отличен был этот новый шум от прежнего равнодушного шороха и покашливания. Бесконечные ряды утопающих в полутьме лиц, кажется, приближались, стягивались на горячие слова Павла Мансурова.

А Павел чем больше говорил, тем отчётливее понимал — произнести незначительные цифры ему нельзя.

Он назвал цифру — пятьсот голов, и зал доброжелательно прошумел аплодисментами.

После заседания около театрального гардероба нет чинного порядка — толкучка, все торопятся. Многих ждут машины, на ночь глядя надо ехать километров пятьдесят, шестьдесят в свои районы. Рослый мужчина в бараньей душегрейке набрал целую охапку пальто и плащей, протискивался в угол:

— Налетай! Могу продать вместе с хозяевами!

В этой толкучке к Павлу, уже надевшему свой плащ, подошёл Курганов. Был он невысок, держался прямо, движения живые и резкие. Он крепко пожал Павлу руку, заговорил:

— Хватил — не постеснялся. Смело действуешь. Что ж, на широкие плечи и тяжёлый куль. Но будем требовать, чтоб весь скот прижился. Ни одной твоей жалобы, ни единой слезинки не примем во внимание. Помни!

Тон был полушутливый, голос бодрый, но Павел уловил в словах секретаря обкома жестковатое предупреждение и понял, что отступить от своих слов ему не дадут.

Он ответил так же полушутливо и бодро:

— Не обещаю, Алексей Владимирович, может, и придётся в чём-нибудь поплакать в жилетку.

Федосий Мургин слышал этот разговор и, после того как Курганов отошёл, проворчал, пряча недружелюбный взгляд от Павла:

— Кому плакать, так это нашему брату...

Павел оборвал его холодно, едва сдерживая раздражение:

— Только уволь, раньше времени не плачь... Почему Гмызин не собирается плакать, а ведь у тебя стаж колхозного руководителя побольше, чем у него!

Стоявший в стороне, уже одетый, Игнат Егорович промолчал.

6

Выписывая петли по лугам, течёт речка Шора. Летом она вся, как в шубный рукав, упрятана в густые кусты ивняка.

На протяжении всего года тиха. Редко-редко её ленивая тёмная вода своевольно звенит на каменистых перекатах, больше отдыхает в затянутых кувшиночными листьями сонных омутах. И только весной неожиданно свирепеет скромница. В узких берегах, утыканых лозняком, тесно, ей нужен размах. Луга — вот где раздолье! Дороги, кусты, пни после вырубki — всё остаётся под водой. Дня три несёт Шора на своей мутной спине вперемешку с заматерелым, не желающим таять льдом коряжистые выворотни, прокопчённые брёвна, сорванные с какой-то чёрной баньки, иной раз часть сруба — два-три намертво сбитых венца.

Дня три, от силы пять, разгула, и... спадает вода. Незаметно уходит Шора в свои прежние берега. Только разбросанные по кустам грязные глыбы льда да какой-нибудь ствол сосны с перекалеченными ветвями, с истерзанной корой, выпирающий из ивняка, напоминают о былой удали.

Снова Шора, как благодравная дочь на выданьи, тиха и скромна, снова ленива её вода.

После разлива остаются на лугах бесчисленные озёрца, глубокие и мелкие, широкие и длинные, лишь по цвету одинаковые, синие-синие, словно само небо, разбившись на осколки, раскидано по земле, убого покрытой вымокшими остатками прошлогодней травы.

Солнце быстро прогревает эти озёрца, и в них сразу начинается жизнь. Длинноногие водомерки бестолково, лишь бы быстрее, бегают по гладкому зеркалу воды, юркими зигзагами плавают лакированные чёрные плавунцы. А у берега уже выставила свою пучеглазую морду оттаившая лягушка.

Поражают своей смыслённостью большие пауки. Они выпускают в воздух длинную нить паутины, ветер подхватывает её. И, как под парусом, из одного конца озера в другой несётся паук на растопыренных лапах. Вода, словно от крошечного глссера, расходится игрушечной волной по сторонам.

С берега паутина совсем не заметна, окоченевший в неподвижности и в то же время скользкий по воде паук кажется чудом.

Катя долго недоумевала, пока Саша не поймал такого паука и не обнаружил паутинку.

Густая синева неба, всасывающая в себя плавающих вровень с солнцем птиц, яркий блеск воды, стеклянный трепет нагретого воздуха, запах прели, запах земли, чего-то тинисто-лягушечьего, живого, мокрого, весеннего — всё это опьянило Катю.

Они сидели на выдутом, сухом пригорке. Катя, подобрав ноги, в светлом платье, облитая режущим глаза солнцем, чуточку расслабленная: плечи безвольно опущены, наклон шеи переходит в ленивый изгиб спины, но глаза, глядящие в землю, нетерпеливо бегают, тревожат веки. Вся она в одно время и млеющая и беспокойно ждущая чего-то...

Саша в последнее время стал замечать — оставаясь с глазу на глаз с Катей, чувствует неловкость, между ними исчезает простота, появляется натянутость.

Вот и сейчас сидит она перед ним, необычно красивая, взволнованная, ждёт от него необыкновенных слов. И он ведь знает эти слова, он собирается их давно сказать, но трудно начать!.. Если б Катя не волновалась, легче решиться...

— С тобой никогда не случалось такого?.. — начинает Саша изда-лека.

Катя поднимает ресницы, глядит с немым вопросом: «Чего — такого?..»

— ...Вот вроде ничего особенного нет, а чувствуешь, что западает на всю жизнь в память минута... Заранее чувствуешь...

Немой вопрос не исчезает с лица Кати: «Не понимаю...»

— Я вот сижу сейчас и точно знаю — этот день запомню: и пауков этих и вон ту берёзку... Гляди — воздух поднимается от земли, сквозь него берёзка видна, поёживается словно... Ничего особенного, не событие, а, пока буду жив, не забуду этой берёзки. Что-то сейчас есть кругом. Ты не чувствуешь?

Саша видит: Катя начала понимать, но хитра, делает вид — ничего не ждёт, обычный разговор, глядит в сторону, глаза скучноватые, только на щеках под прозрачной кожей лёгкий, мягкий румянец.

— И сейчас, в эту минуту, нравишься ты мне по-особому... Нравится, как ты оперлась рукой о землю, как плечо твоё поднялось, лицо твоё, руки твои, колени... (Катя поспешно прикрыла высунувшееся из-под платья крепкое колено.) Как глядишь на меня, как слушаешь — всё нравится. Захлестнёт вот такое — солнце темнеет... Фу! Кажется глупостей наговорил...

Саша отвернулся, насупись. Катя легко поднялась, под села ближе, взяла его руку и, стараясь заглянуть в опущенное лицо, сказала тихо и удивлённо:

— Какой ты, однако... То о силосе толкуешь... И вдруг чёрт проснётся.

— Катя!.. Я давно хочу сказать, и ты знаешь о чём...

— О чём?..

— Знаешь! Хочу, чтоб была моей женой! Пора говорить об этом!

Он сказал резко, сердито, почти грубо. Катя не вздрогнула, не удивилась, а снова задумалась, глядя остановившимся взглядом на воду озерца. Гладь воды пересекла наискось крутой хребтиной щука. Она пленница, сотни метров нагретого солнцем луга отделяют её теперь от родной реки. День ото дня, час от часу будет сохнуть озерцо, пока не превратится в тесную лужу. Прибегут из села ребятишки, взмутят и без того застойную воду... Долго будет бороться щука, ловкая, быстрая, сильная, станет метаться между ребячьих голых ног, между жадно протянутых рук, а выхода нет, конец один... С торжеством внесут её в село на ивовом пруту, продетом сквозь жабры, и выпученные тусклые глаза со слепым равнодушием будут глядеть на солнце.

Катя наконец подняла глаза и внимательно, долго разглядывала Сашу — выгоревшие волосы, чистый лоб, упрямые губы, тонкую шею; торчащую из помятого воротника рубашки..

— Муж...— произнесла она удивлённо.— Неужели ты — судьба моя?.. Каждая девчонка много думает о муже. Что скрывать, и я думала... И как глупо... Представлялся — высокий, красивый, плечистый, сильный, печальный, непонятный и, главное, таинственный. Сказка перед сном! Где он живёт, какие подвиги совершает, где пересекутся наши пути?.. И вот, не Иван-царевич, а просто Саша Комелев... Муж... Александр Степанович...

— Что разглядывать?.. Иль раньше не нагляделась?

— Раньше Сашку видела, теперь — другое.

Саша вскочил:

— Да ну тебя!

Он потоптался, пряча лицо. Катя, чувствуя свою силу и своё превосходство, следила тёплыми, улыбающимися глазами, уверенная, что не обидится, никуда не уйдёт от неё.

— Пошли!

Не дожидаясь, когда она поднимется, Саша повернулся, неровной походкой, словно кто толкал в спину, зашагал. Катя, не сводя улыбающихся глаз с его спины, гибко поднялась, распрямилась во весь рост, с разгоревшимся лицом, солнечная, светлая, постояла и сорвалась, лёгкими, летящими шажочками нагнала Сашу, обняла за шею...

Как дети, взявшись за руки, они шли по рыжему весеннему лугу, застенчиво прятали друг от друга лица...

Разнеженная теплом, пахнущая влагой, украшенная синими озёрами, тяжёлыми тёмными ельниками, обкуренными зелёной дымкой воздушными берёзовыми лесами, отдыхала земля под нарядным, ярким небом.

Разбросав на солнцепёке тёмные домишки, сушилось после благодатной-весенней сырости село Коршуново. Оно на этой земле, под этим небом занимает неприметное место, но и в нём, как и всюду, бывает простое и необычное, негромкое и великое человеческое счастье!

Саша поздно вернулся из Коршунова в колхоз.

Весной улицы деревни Новое Раменье долго не просыхают от грязи. Пройти от дома к дому можно только по узкой обочине, цепляясь руками за плетень. И вот на такой обочине, когда обе руки заняты, а ноги не могут найти устойчивую опору, Саша столкнулся со встречным.

— Кто тут? Кому из нас давать задний ход? — весело окликнул Саша и узнал Настю Баклушину.

Она, плотно прижимаясь узким телом к плетню, сделала шаг-другой вперёд, выдвинулась из тени, наискось покрывавшей улицу с круто размешанной грязью; её продолговатое, с нежным овалом маленького подбородка лицо оказалось рядом. Саше был ясно виден пухлый, жадный выступ на верхней губе.

— Вот и встретился, милёночек, на тёмной дорожке. Давно такой встречи ждала,— вполшёпота произнесла Настя, приваливаясь грудью к плетню, не собираясь ни отступать, ни итти дальше.— Что ж смотришь по сторонам? Всё ещё меня пугаешься?.. Беги, не держу, беги! Не бойсь, собачкой догонять не стану.

Сегодня у Саши был счастливый день, мир казался красивым, люди добрыми, к каждому, кто попадался на глаза, хотелось подойти, сказать приятное, поблагодарить за то, что он, такой славный, живёт на свете... Невольную, необъяснимую вину почувствовал он сейчас перед Настей.

— Обижаясь за что-то. Зря, Настя,— сказал он мягко.— Я о тебе плохо не думаю и худого тебе не хочу...

— Худого не хочешь?.. Мало мне этого, Сашенька. Ты мне хорошего пожелай... Ты взглядишь в меня — не урод, не порченная...— Она придвинулась ещё ближе, уперлась в него плечом.— Чего отворачиваешься? Иль я зарок возьму, иль свяжу тебя?..

От обжигающего дыхания, от близости её губ начали путаться мысли.

— Настя,— произнёс он хриповато,— не приставай... Зря это...

— Знаю, коршуновская цыганочка тебя привязала. Да и то... Я девка колхозная, она образованная, с докладами выступает, ручки только чернилами пачкает...

— Пусти-ка лучше.

— Нет, ты пусти. Сдай, сдай! Не бойся ножки промочить.

И Саша отступил, пропустил Настю.

Она, уже скрывшись в темноте, крикнула в спину:

— Всё одно покою не дам! Я упрямая! Дождусь своего!

Саша только сердито передёрнул плечами.

7

Катя изредка навещала жену Павла Мансурова, свою бывшую учительницу, Анну Егоровну, теперь просто подругу.

Разбросав по коленям сиреневый шёлк, Анна орудовала иглой, подняв на вошедшую Катю глаза, перекусила нитку, поздоровалась, сообщила:

— Вот вчера платье купила — подгоняю.

Катя под села, стала разбираться.

— Плечи японкой... Юбка трёхклинка — простовата...

— По мне и это хорошо. Отошло моё время модничать... Живём, а зеркала хорошего приобрести не можем. Не знаю, как и сидит... Катя, надень ты, посмотрю со стороны.

— Да оно мне будет узковато...

Однако Катя взяла платье, стала расправлять. Анна разглядывала её с внимательной грустью — от подёрнутых загаром ног в босоножках до густых волос, выбившихся тёмным мягким пухом у маленьких ушей.

— Узковато будет... Сейчас, Аннушка, я в другую комнату выскочу.

Но Анна остановила:

— Не надо.

— Почему?

— Не хочу... Платье разонравится.

— Да почему же?

Анна с улыбкой вздохнула.

— Недогадлива ты... Ведь мы все завистливы на красоту. Ты красавица, а я и в молодости-то не была такой, а теперь и подавно.

Катя раздумялась от удовольствия.

— Ничего ты так не увидишь. На мне всё же видней...

Анна с неохотой выпустила платье из рук.

Катя, несмотря на свой возраст, в плечах и в спине была шире Анны. Платье действительно казалось узковатым, только в талии не морщилось, гладко облегало, подчёркивая упругость бёдер.

Анна с горечью опустила руки.

— Так и знала... Хоть не снимай. Мне теперь на себя в этом платье взглянуть тошно.

Она, угловатая, с тонкими руками, излишне длинной шеей, узкоплечая и узкогрудая, с печальной завистью смотрела, как поворачивается перед ней, косясь одним глазом на зеркало, Катя: высокая, стройная, сиреневый шёлк оттеняет нежную смуглоту тонкой кожи на руках, с лица не сходит счастливый румянец — кому не лестно чувствовать себя красивой.

— Аннушка...— Катя ласково обняла Анну, усадила её на диван, осторожно, чтоб не смять юбку, опустилась сама.— Замуж я выхожу...

— За Комелева?.. За Сашу?

Катя смущённо кивнула головой.

— Он моложе тебя?

— Всего на год. Разве это — препятствие?

— Он мальчик. Ты не по годам взрослой выглядишь.

— Аннушка, не надо, молчи. Ничего слышать не хочу.

— Нет, что ты! Не отговариваю тебя... Только помни об одном: в таком деле самая мелкая, самая незаметная ошибка вырастает в бесконечные мучения... Впрочем, всех нас предупреждали опытные люди, и никто их не слушал. Бесполезное я говорю, забудь всё. Полюбился — выходи.

Катя, слушая Анну, притихла, наблюдала за ней; когда та замолчала, спросила осторожно:

— Что случилось, Аннушка?

Анна опустила голову, пожала плечами:

— Кто знает... Приходит с работы, если слово скажет, то по крайней мере: «Поесть дай. Готов ли чай?..» Что случилось? Неизвестно. То и страшно, Катя...

Катя слушала и испытывала обычную неловкость, когда счастливому человеку приходится сочувствовать горю. Надо что-то сказать, как-то подбодрить, а слов нет.

В это самое время во дворе хлопнула калитка, на крыльце раздались шаги.

— Павел... Лёгко на помине.— Анна со вздохом поднялась с дивана.

Он вошёл со своей обычной напористостью — волосы спутаны, ворот на красивой шее распахнут, глаза сухо блестят. Узнал Катю, и суровое лицо подобрело.

— Эге! У нас гости... Здравствуйте.

Катю пугал этот непонятный для неё стремительный человек. Она сразу же вспомнила, что на ней чужое платье, в плечах и груди стянутое нелепыми складками, засмушалась. Скрываясь за перегородку в соседнюю комнату, чувствовала всей спиной пристальный взгляд Павла Сергеевича.

Вернулась она в своём скромненьком светлом платьице, с выбившимися около ушей волосами, смущённо-румяная, с нерешительно вздрагивающими ресницами.

— Катя, не уходи, останься...— попросила Анна.

— Похоже — меня испугались? — улыбнулся Павел.

Он собирался умываться, был без пиджака, в сорочке с засученными рукавами, плечистый, улыбающийся, вовсе не похожий на того замкнутого, сурового мужа, о котором только что рассказывала Анна.

Катя ушла. Что-то мешало ей остаться. С приходом Павла Сергеевича без причины чувствовала себя связанной.

Шла к дому медленно. Вспомнила: широкоскулое, крепко вычеканенное лицо, перепутанные жёсткие волосы, обнажённые до локтей руки поигрывают мускулами, мнут толстое полотенце, взгляд прямой, дружеский, открыто весёлый, но где-то в глубине за весёлостью тлеет тревожная искорка.

Не в первый раз Катя замечает эту искорку. При случайных разговорах в кабинете, при встречах на собраниях всегда кажется, что Павел Сергеевич смотрит на неё не так, как на всех, по-особенному... Нелепая фантазия. Кому не лестно вообразить, что такой человек, как Мансуров, отличает тебя от других. А в том, что он человек необычный, на голову выше всех, Катя теперь не сомневалась. Тем больше перед ним робости.

Павел веровал, что только беспокойные люди двигают жизнью.

Тот первобытный человек, который привязал к длинной палке острый камень, наверняка имел тревожную, ищущую душу. Его угнетала слабость своих рук, он хотел быть сильнее других охотников, и это не давало ему покоя, заставило думать и додуматься — он сделал копьё! Он быстрее всех на охоте сваливал пещерного медведя, он стал сильным. Беспокойство — признак силы!

Тревожные натуры изобрели машины, опутали материки железными дорогами, заставили по морям плавать корабли-города, а по воздуху — летать корабли-птицы. Люди спокойные, уравновешенные лишь подчинились неистовой силе беспокойных. Они, обливаясь потом, по указанию выплавляли из руды металл, по указанию вытачивали детали машин, по указанию укладывали шпалы, рыли туннели, вбивали сваи, перекрывали реки плотинами... Сила спокойных натур целиком принадлежала беспокойным, была в их власти...

Так думал Павел Мансуров.

Всю жизнь ему не давало покоя одно смутное беспокойство. Это беспокойство можно выразить двумя словами: «Не то!»

Он вырос в глухой уральской деревне. Учителя в школе, книги из сельской библиотеки, изредка наезжавшие кинопередвижки с забытыми ныне картинами «Абрек Заур» и «Красные дьяволята» открыли перед Павлом заманчивый мир. Вместе с этим открытием пришло желание вырваться из деревни. Кругом него всё не то; настоящее, красивое, загадочное, то — в будущем.

После школы он работал делопроизводителем в конторе леспромхозовского орс, томился и тревожился — не то, не настоящее.

Уехал в город, перепробовал специальности слесаря, монтажера, был даже с неделю администратором кинотеатра, но всё это — не то, рвался к другому, пока неясному.

Удалось поступить в институт. Лекции, зачётные сессии, поездки на практику в Красноярский край. То или не то? Нашёл бы он своё место в жизни или нет? Неизвестно. Началась война...

Фронт и покой несовместимы. Нечего бояться, что жизнь застоится, начнёт надоедать однообразие. Что ни день, то новое, пока жив — оглянуться некогда. Даже смерть там приходила на ходу, её не ждали, её не готовились встретить. Два дня на передовой Павел был командиром взвода. На третий убили лейтенанта Яценко. Павел принял командование ротой, а через четыре месяца стал командиром батальона, через год был взят в штаб полка... Но вот демобилизация, от армии остались только погоны майора, спрятанные за ненадобностью на дно чемодана, да офицерский китель со щегольскими бриджами, которые приходилось донашивать в будни. И снова тревожное беспокойство: куда итти, к чему приложить руки? Опять не то.

Теперь — хватит гоняться за загадочной синей птицей: руководи, действуй, покажи свои силы, есть где развернуться. Не подопечный Комлева или Баева, сам себе хозяин и другим голова.

После областного совещания Павел сначала почувствовал себя растерянным. Дал слово обеспечить полтыщи голов племенного скота. Одуматься — не маленькая ответственность, не лучше ли во-время спохватиться, пойти к секретарю обкома, признаться начистоту — пасую!

Этого хочет Федосий Мургин, хотят многие председатели. Даже Игнат Гмызин (уж как ждал в свой колхоз племенной скот) и тот насторожённо отмалчивается, по всему видно — ошарашен словом Павла.

Но беспокойство тогда становится силой, когда оно смело. Если бы тот первобытный человек был трусом, он не изобрёл бы копья. Трусу и

копье не в помощь. Беспокойство без смелости становится беспомощной суетливостью.

Федосий Мургин давным-давно утратил способность беспокоиться, и винить его за это нельзя: ему за шестой десяток, в такие годы тревоги и беспокойства — тяжкое бремя.

Игнат — мужик умный, сильный, и в решительности ему не откажешь, но, как матёрый медведь, он тяжёл на раскачку. Порой, прежде чем ногу поднять, постоит, подумает, куда поставить.

Так кого слушать: Федосия, Игната? Или самого себя?

Риск есть, но когда большое дело удавалось без риска? А здесь дело великое! Пятьсот голов племенного скота, разбросанных по колхозам района, через год дадут потомство. Увеличится животноводство, окрепнут колхозы. Это ли не показательно! Заговорят в области, зашумят газеты, до самой Москвы дойдёт слава о Коршуновском районе. Стоит итти на риск.

Нет, он, Павел Мансуров, дал слово и не пойдёт на попятную. Он будет бороться: «Или грудь в крестах, или голова в кустах».

То ли виновато его неуёмное беспокойство, то ли ещё какая причина, но Павел чувствовал — ему день ото дня труднее становится жить с женой.

С Анной он познакомился, когда служил последние дни в армии. Полк стоял в маленьком городке Владимирской области. Многие офицеры, кто с нетерпением, кто скрывая растерянность перед будущим, ждали со дня на день отчисления в запас, занятия проводили лениво, скучали. Женатые ходили друг к другу играть в преферанс, «холостяжник» по вечерам, наведя блеск на пуговицы и сапоги, отправлялся в жиденский городской сквер. Его посещали студентки лесотехникума и учительницы двух имеющихся в городе десятилеток.

В этом скверике и встретились они. Чистенькая, сдержанная, любящая стихи, сухие воздушные волосы лежат на белом строгом воротничке глухого тёмного платья, с нежным и прозрачным лицом, Анна показала Павлу, только что вырвавшемуся из окопной грязи, фронтовых землянок, олицетворением семейного уюта. Опрятность, подчёркнутая безупречность девичьих воротничков сразу вызвала в воображении гардины на окнах, коврики у постели, ряды книг на полках, настольный покойный свет — всё, о чём стескалась душа в фронтовой бивуачной жизни.

Всё это было. Было даже и большее, чем семейный уют. После командировок, где приходилось расстраиваться из-за каких-то телег, задерживающих вывозку семенного материала, после совещаний, где приходилось слышать обидные упрёки, что пропагандист Коробков плохо провёл семинары агитаторов, Павел знал, что дома его ждёт предупредительная жена, что она сможет посочувствовать не просто для виду, а умно, от души, что у неё наверняка подготовлена интересная книга, которая заставит забыть и телеги без колёс и пропагандиста Коробкова.

Всё это было хорошо, пока деятельность не захватывала всей его жизни. В своей аккуратной, чистой, со вкусом, насколько можно это в Коршунове, обставленной квартирке Анна всегда умела спрятать Павла от неприятности.

Но вот вся жизнь его изменилась, а Анна осталась прежней. Как и раньше, он первое время ей жаловался:

— Чёрт его знает что такое! Проехал от Сорокина до Верхних Дворков — ни одного хорошего моста. Уборочная на носу, по этим мостам комбайны пропускать. Сутолоков, пока в шею не толкнёшь, не пошевелится.

Анна отвечала ему, как отвечала в те дни, когда он жаловался на разбитые телеги:

— Стоит ли портить кровь?

Прежде она была права: неудачи обрушивались на его голову неожиданно, вина в том, что телеги не подготовлены, была не его, а отвечать приходилось ему. Теперь он всюду хозяин, даже мосты, даже телеги касаются его. Стоит волноваться, стоит портить себе кровь! А она этого не понимала, не хотела понять, успокаивала попрежнему. Павел вдруг увидел, что они жили и живут разной жизнью. Ей не интересно, как он работает, ему не приходило в голову поинтересоваться, что делает Анна в школе. Жалобы её, вроде тех: «Никита Петрович, завуч наш, составил нелепое расписание. У меня четыре окна в неделю», или: «Наталья Ивановна требует с учеников в ответах книжной точности, прививает систему зубрёжки...» — Павел всегда пропускал мимо ушей.

Их, оказывается, объединяло немного: комната с ковриками, общий стол... Одна крыша — и только.

Встречаются разложившиеся семьи, где муж и жена живут каждый по отдельности; у мужа на стороне свои любовницы, у жены — любовники. Это — извращение, оно вызывает у людей чувство брезгливости. Но бывает иначе: муж и жена внешне живут порядочной жизнью, но взгляды у них разные, интересы разные, друг друга не понимают, чужды, а в то же время нужно встречаться день изо дня за столом, исполнять супружеские обязанности, дни, месяцы, долгие годы быть привязанными один к другому. И это никого не пугает, не удивляет, не возмущает, это считают нормальным.

Павел неожиданно начал замечать, как постарела Анна, что лицо её, прежде нежное, прозрачное, потускнело, что локти её рук слишком остры, что веки безнадёжно смяты морщинками...

Особенно ярко всё это бросилось в глаза, когда Анна надела то платье, в котором он недавно видел Катю Зеленцову. Ну, какое между ними может быть сравнение!



В прошлое лето в Демьяновском лесу, что подпирает поскотину «Сахалин», в самом глухом месте, сметали стожок сена. Зимой его вывезти не смогли: велик был снег, срывававшаяся с пробитой дороги лошадь тонула в сугробах по уши... Никто не пытался вывезти сено и весной, в распутицу. Теперь в лесу повыветрило, Игнат Егорович вспомнил о демьяновском стожке — не пропадать же добру, наказал Саше: вывези.

Саша хотел захватить с собой Лёшку Ляпунова. Парень — крикун, а на работу зол, с ним не застрянешь. Но Лёшка перешёл в плотницкую бригаду Фунтикова, заворачивал брёвна на сруб, лаялся при этом со всеми.

Евлампий Ногин, бригадир первой полеводческой, пощипывая густую бородку, долго соображал, кого бы выделить, и вдруг ухмыльнулся:

— Ладно, парень, найду тебе горяченького напарника, с таким не замёрзнешь... Когда отправляешься-то? После обеда... На конюшне ждать будет. Моё слово верно, не обману.

Саша не обратил внимания на ухмылку, вспомнил о ней, когда пришёл к конюшне и увидел этого напарника.

Лошади были выведены, запряжены, в телегах лежат слеги, деревянные вилы, верёвки — всё, как нужно, ничего не забыто, даже узелок с едой — платочек с игривыми цветочками — брошен на грядку. Рядом с лошадьми стояла Настя, в старых сапогах, в длинном, не по росту, мужском пиджаке, туго стянутом потрескавшимся ремнём. Она с весёлым вызовом взглянула на Сашу.

— Тронемся помаленьку, Степаныч?

— Ты едешь?

— Иль и тут не по нраву?

— Я бороду просил: парня дай.

— То и беда, что по нынешнему времени в парнях недостача.

— А, чёрт! Разговаривать! Иди домой лучше... Один поеду.

— Кто тебе, родненький, сразу двух лошадей доверит? У Островского оврага головы им свернёшь один-то.

Саша понял, что хочешь не хочешь, а Настю взять придётся. Бежать сейчас к бригадиру, заявить, а он, пряча в бороду знакомую ухмылочку, начнёт возражать: «Чем же плоха? Работяща, хоть с лошадьми, хоть с вилами парня за пояс заткнёт». Только для пересмешек и разговоров лишний повод.

Лесные дороги разнообразны. Есть просёлки с пылью в жару, с лужами после дождей, с грязными глубокими колеями, с колдобинами, с ухабами. Это дороги бойкие, они бегут от деревни к деревне, по ним ездят на дню несколько раз, случается видеть на них даже следы автомобильных скатов.

Есть дороги к вырубкам и покотинам: колёсные колеи отчётливы, они не заросли травой, а трава между ними притоптана копытами лошадей и скота... По таким не каждый день проходит колесо, но на неделе обязательно раз или два кто-нибудь проедет.

Есть дороги, ведущие к лугам: колеи еле заметны, поросли мягкой, нежной травкой. Их тревожат только во время сенокосов.

Но и ещё есть дороги... Как иногда в чистом небе бывает трудно различить, расплывшееся ли это облачко или просто марево, так не поймёшь, дорога ли тут или же редкий лес. Колей нет, бархатная, чистая, необмятая травка; часто там, где по расчёту должна проходить самая середина дороги, безмятежно растут юные ёлочки... Раза три в год, пригнув их верхушки, проскрипит по какой-то лесной оказии телега или же, приминая снег, протянутся сани. В остальное время всё живое здесь радуется солнцу и дождям в полном покое.

У такой дороги известно начало, но никто не знает конца. Незаметно для человеческого глаза она превращается в обычный лес.

С такой дороги легко «сорваться», потерять её, заблудиться вместе с лошадьёю.

Порой эта дорога удивляет каким-нибудь лесным сюрпризом: рухнула древняя осна, да ещё в самую чашу, ни объехать её, ни перескочить, и в сторону не отбросишь — тяжела, кончившая свой век, матушка, хоть поворачивай обратно. Есть и заведомо опасные места...

На одной из этих безымянных, неезженных дорог Демьяновского леса таким опасным местом был Островский овраг. Ничего дикого, необычного в нём не было, овраг как овраг, без обрывов, весь зарос кустарником, но попробуй-ка в этом кустарнике продраться с возом...

Порожняком проехали его легко. Настя на удивление всю дорогу была молчалива, шагала возле задней подводы, только изредка окликала Сашу:

— Правей держись! Собьёмся — не вылезем!

Будь она по своему обыкновению назойливой и весёлой, Саша легче бы переносил её общество.

На полянке — с одной стороны угрюмый частый ельник, с другой прозрачный, ясный осинничек — стоит стожок, потемневший, скосочившийся, похожий на старушку-горемыку, греющуюся на солнышке. Единственный во всём лесу стог — все остальные давно вывезены.

Лошади сами вплотную подошли к нему, с ходу зарылись в сено мордами.

— Не терпится! — прикрикнул Саша. Задирая лошадям головы, освободил от удил, сам надёргал из глубины несопевшее сено, бросил лошадям под ноги.

— Глянь-ко, сова! — негромко воскликнула Настя.

На верхушке стога, у самого шеста, пригаилась буро-рыжая птица, тревожно пучит слепые глаза, сердито растопорчила перья. Саша, схва-

тив с телеги деревянные вилы, потянулся к ней. Сова сорвалась, раскинув широкие, короткие, с грязножёлтой изнанкой крылья, полетела бесшумно через полянку, ткнулась в чащу ельника. Было слышно, как она забилась в нём.

— Ведьмачиха лесная! Спугнул, видно, кто-то её,— оживлённо заговорила Настя, пытливо и вопросительно заглядывая Саше в глаза, ожидая ответа.

Но Саша отвернулся, полез наверх раскрывать стог. И Настя снова притихла. Пока навивались воза, она не произнесла ни слова.

...С возами сквозь кусты пробираться было труднее. Время от времени то один воз, то другой угрожающе кренился, вот-вот опрокинется. Саша и Настя, придерживая их плечами, кричали на лошадей. Несколько раз руки их сталкивались; Саша поспешно отдёргивал, отворачивался от Насти...

Перед спуском в Островский овраг остановились. Из сухого валежника Саша выбрал толстый кол, просунул в задние колёса меж спиц — для тормоза, взял лошадей за поводья.

— Давай помаленьку,— приказал Насте.— Иди следом, поглядывай. Кричи в случае чего.

Неустойчивый, колеблющийся воз с медлительной нерешительностью пополз вниз меж кустов.

— Тихо, тихо, милая... Тяни помаленьку, не рви,— уговаривал Саша лошадь.

На самой середине спуска воз остановился. Саша сердито хлестнул лошадь, она дёрнулась, забилась, ломая копытами ветви кустов, и затихла, поводья боками.

— Тут под кустом яма выпрела — колесо провалилось. Что и делать, ума не приложу,— сообщила из-за воза Настя.

Саша оставил лошадь, обошёл вокруг накренившегося воза, хмуро приказал:

— Я сдам назад, ты слегу выдерни. Без тормоза спустимся.

— Спуск-то крутенок. Лошадь можем покалечить.

— Не сваливать же нам воз...

Напирая на морду лошади, Саша звонко, на весь лес, закричал:

— Н-но! Сдай! Сдай!

Хомут съехал на уши лошади. Несколько раз Саша чувствовал, что кованое копыто едва-едва не задевает его колена,— припечатает так с размаху, и останешься калекой.

— Сдай! Н-но, милая!.. Да скоро ты там?!

Настя суетилась у задних колёс.

Вдруг воз дрогнул, что-то смачно хряснуло, Саша едва успел отскокить, его задело концом оглобли в плечо, отбросило в сторону. Храп лошади, треск кустов, плачущий крик Насти... Лежащий на земле Саша увидел, как падающий высокий воз заслонил полнеба и обрушился, вдавил его в кусты, вплотную к влажной земле, своей мягкой, удушливой тяжестью.

Всё стихло.

Саша, обдирая о кусты пиджак, вылез из-под воза. Над ним нависло бледное, без кровинки, со вздрагивающими губами лицо Насти.

— Слава богу, жив. Думала, насмерть придавило... Говорила же... — Она, как ребёнок после сильного плача, глубоко, прерывисто вздохнула, бережно помогла подняться. — Зашибся, поди?

В глазах её ещё не исчез недавний испуг, но уже мягкая, нежная, какая-то родственная радость вместе с выступившей влагой заблестела под короткими жёлтыми ресницами.

— Цел,— смущённо и неуверенно ответил Саша.

Лошадь задыхалась в вывернутом хомуте. Её распрягли, подняли на ноги, ощупали со всех сторон. Лошадь была невредима, зато от заднего колеса телеги осталась одна втулка с торчащими спицами. Верёвка, стягивавшая воз, лопнула, сено развалилось по кустам.

Покалеченную телегу лошадь вытянула наверх. Второй воз — с сердитыми понуканиями, с лошадиным придушенным храпением — осторожно спустили вниз и так же осторожно, тормозя колёса колом, с передышками, вытянули из оврага, поставили рядом с разбитой телегой.

— Ты таскай наверх сено, я пойду берёзку подсматрю, слегу вырублю, вместо колеса пристроим,— сказал Саша, выпрастывая из-под верёвки топор.

От земли вместе с прохладной сыростью к сдержанно шумящим верхушкам поднимались синие сумерки. С каждой минутой лес становился мрачней, суровой, неуютней. Стук топора о дерево звучал в тишине вызывающе громко.

С обделанным стволом молодой берёзки на плече Саша вернулся к возам. Сено из оврага было сложено кучей возле порожней телеги.

— Настя! — окликнул Саша.

В ответ из сена послышались сдавленные рыдания.

— Настя, что с тобой?

Из кучи сена торчали старенькие, со сбитыми набок каблуками сапоги Насти.

— Вот ещё... Да что случилось? С чего ты?

Настя села — к платку, к выбившимся волосам пристало сено, лицо, осунувшееся, усталое, весь вид её, в мятом пиджаке, в грубых сапогах, какой-то обездоленный, горестный.

— Делай всё да едем,— произнесла она тихо.

— Обидел тебя чем?

— Коль сам знаешь, что обидел, нечего и распытывать.

Она снова закрыла лицо руками.

— Настя...

— Что — Настя? — резко откинула она руки. — На вот, радуйся! Слезы лью! Лестно, небось... Сама любого парня присушить могу, ты меня присушил... Чем только? Мало ли кругом меня увивалось...

— Настя, пойми...

Саша осторожно дотронулся до её руки. Рука Насти, худенькая, с нежной, мягкой кожей на тыльной стороне, была груба и шершава на ладони. Она схватила сашину руку, притянула его к себе.

— По ночам снился. Покою нет... Ты уж думаешь, что бесстыдная я, бессовестная... Пристаю... А что сделаю, коль тянет? Ни к кому так не тянуло. Упал нынче под воз — сердце остановилось. Подмяла бы тебя лошадь, рядом бы легла, кажись, умирать... Заплачешь тут, коль видишь — ты в тягость, ни взгляда ласкового, ни слова человеческого...

Саша чувствовал теплоту и чистый запах девичьего тела, к его щеке прижалась мокрая горячая щека Насти.

— Настя, сумасшедшая!..

— Верно, сумасшедшая... Ум помутился, не могу без тебя. Хоть на время, да мой... Ледышка ты, людской радости в тебе ни на капелю...

Она прижималась, горячие губы искали его губы, сухой туман окутал мозг, цветные пятна, как оранжевые совы, поплыли в глазах... Словно издали слышался шёпот:

— Иной раз думаю: рвал бы, кости ломал, не от боли, от счастья плакала бы...

Настя замолчала, только вздрагивающие губы обжигали лицо, без слов просили, умоляли...

Распряг лошадей, не стреножив, пустил по деревне, не развитые возы оставил у конюшни, сам, как вор, крадучись, направился к дому Игната Егоровича...

Избы сердито уставились ночными, чёрными, влажно поблёскивающими окнами. Казалось, не спит народ, из каждого окна глядят любопытные.

Случилось позорное. Какими глазами взглянуть теперь на Катю? Какой ценой искупить вину? Не говорить, затаить, спрятать позор? Разговоры пойдут, не спрячешься... Да что там разговоры, от своей совести нет прощения!

На следующий день он столкнулся с Настей у конторы. В белой, пышно облегающей плечи и грудь кофточке, в тесно обтягивавшей узкие бёдра чёрной юбке, Настя брезгливо, как чистоплотная домашняя кошечка, перебирала модными туфельками по грязному правленческому двору.

Старик пастух из деревни Большой Лес, дед Незадача, как всегда навеселе, увидев Настю, с пьяненьким изумлением развёл руками:

— Буточник мой сладенький! Пра слово, буточник...

Настя проплыла мимо восхищённого старика, бросила Саше улыбку горделивую, победную, ласковую...

А Саша вздрогнул от стыда, горя и ненависти к ней.

(Окончание следует)



МАРК МАКСИМОВ

★

ВСТРЕЧА ОДНОПОЛЧАН

Нам эта встреча виделась давно,
вся — от мужского строгого объята
до старой фляги — так вкусней вино,
до взгляда в окна — не затемнено,
до громкой песни — не запрещено,
до вальса с женщиной — какое платье!..

Острей мы ощутили тишину,
поскольку вместе гром смертельный знали,
но — удивляя женщин — и войну
не лихом, а добром мы поминали.

Казалось жёнам, что друзья мои,
которым очень солоно бывало,
победы помнят лучше, чем бои,
и лучше маршей — малые привалы,
что вся война — не ямка под бугром,
не кровь, не дым, не вражеские танки,
а письмоносец и трофейный ром,
салюты и гармоника в землянке:

то вспоминали мы смешной прыжок
на парашюте в талую водицу,
то вспоминали, как смешно дружок
был ранен, извините, в поясницу.

А ведь всё это было не смешно,
и прошлое смеялось нам при встрече
не оттого, что далеко оно,
не оттого, что время раны лечит,
что если и в шинельке день прошёл —
он завтра виден в праздничной одежде
и всё, что было прежде, хорошо
лишь потому, что это было прежде.

Нет, мы-то знали, как горька страда,
как хорошо, когда на землях тихо,
мы знали цену ратного труда,
и вес винтовки, и почём пуд лиха.
Но оттого нам весело теперь,
что и тогда — в бою и на привале —
не ныли мы перед лицом потерь
и, стиснув зубы, раны бинтовали.

А стали мы такими до войны —
уже не раз проверенные в деле,—
и, пламенем её освещены,
мы лишь ясней друг друга разглядели.
И потому нам дорог этот свет,
что бой идёт, что труден путь народа.

Проверка смертью шла четыре года,
проверка жизнью длится много лет.



ЛЕВ МОЧАЛОВ

★

ЖАВОРОНОК

Хоть бы тучка в небе грозовая.
Хоть бы тень в каком-нибудь лесу.
Точно слёзы тяжкие,
сползают

капли пота
по его лицу.

Взмокла
у солдата
гимнастёрка,

пятка
у солдата
стёрта...

Но идёт в строю,
дыша неровно,
паренёк нерослый городской,
о воде прозрачной
газированной

вспоминая,
может быть, с тоской.

А над ним,
над миром над зелёным,

где-то
с самым солнцем наравне
жаворонок

расплескался звоном
в синей

безэтажной вышине.
И не час, не два он в поднебесье,
без толку восторженный певец.
И солдата

это
глухо бесит —
хватит

пустозвонить,
наконец!

Но когда,
заданье отработав,
на ночлег расположилась рота
и сырой туман пополз над нивой,
лёг солдат
у верного огня,

позабыв
 младенчески-счастливо
все невзгоды
 пройденного дня.
И закрыл глаза солдат.
 Но снова
зазвенел настойчиво
 в ушах
жаворонок
 этот
 бестолковый —
крохотная
 певчая душа.
И звенит
 без отдыха и срока
и нисколько в том не виноват...
И, наверное,
 вдохнул глубоко,
улыбнулся
 и заснул
 солдат.



ЮРИЙ ЕФРЕМОВ

Капитану запаса Л. Б. Барашкову

★ ★
★

Как землянка
на переднем крае,
для однополчан
открыт твой дом.

Словно б не Москва,
а фронтовая,
вся в дыму,
дорога за окном.

Лампа
в абажуре розоватом —
в сто свечей
пылающий костёр.

У костра
бывалые солдаты —
ты да я —
заводим разговор,

в основном
о жёнах и о детях,
заодно гадаем
на внучат.

...Издавна
все войны на свете
у костров
о счастье говорят.



СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ

★

ПРИВАЛ

В глухом лесу нежданная полянка.
Над нею небо в полной синеве.
Разуешься.

На первый куст — портянки.
Пройдёшь, сжимая пальцы, по траве.

Малинник дикий раскалило лето,
Смолой и мёдом веет от сосны,
И тишина...
И мыслится, что это
Тот самый мир, в котором нет войны.



ВЛАДИМИР ГОРДЕИЧЕВ

★

НАШЕ ВРЕМЯ

Не могу отмалчиваться в спорах,
если за словами узнаю
циников, ирония которых
распалает ненависть мою.
И когда над пылом патриотов
тешатся иные остряки,
я встаю навстречу их острогам,
твёрдо обозначив желваки.
Принимаю бой! Со мною вместе
встаньте здесь, сыны одной семьи,
рыцари немедленного действия,
верные товарищи мои!
Встаньте вы, слепяще белозубы,
с вами я мужал и выросал,
станции Касторной жизнелюбы,
чьи ладони грубы, как металл.
Вас зову — в мерцании коптилок,
рёве гроз и топоте сапог, —
с кем потом судьба меня сводила
на вокзалах тысячи дорог.
Мы из тех, кто шёл босой за плугом,
помогая старшим в десять лет,
кто в депо грузил тяжёлый уголь,
чтоб пойти с любимой на балет.
Кто, в себя до дерзости поверив,
в двадцать лет пластуёт целину,
к зрелости обдуманно намерен
повести ракету на Луну.
Принимаем имя одержимых!
Нам дремать по-рыбьи не дано,
кровью, ударяющей по жилам,
сердце в наши будни влюблено.
Пусть во всём, что сделано моими
твёрдыми ладонями, живёт
душу озаряющее имя —
Патриот!



АЛЕКСАНДР БЕК

★

ЖИЗНЬ БЕРЕЖКОВА

*Роман**

24

Расскажу ещё об одной встрече с Ладосниковым. Ганьшин к тому времени жил уже отдельно от него, снимал для себя комнату.

Надо вам сказать, что каждое утро по пути на службу я заходил к Ганьшину пить кофе. Это были наши так называемые кофейные утра. Став сотрудниками лаборатории, мы считались «богачами» и частенько обходились без дешёвой студенческой столовки. Ганьшин умел очень вкусно варить кофе. К столу подавались какие-то замечательные булочки, только что из пекарни, ещё тёплые, с поджаристой, хрустящей корочкой. Мы пили кофе и разговаривали о математике, механике, аэродинамике. Как всегда, в моей голове бродили десятки технических фантазий, которые я с воодушевлением излагал Ганьшину, а он преспокойно рассматривал их в свете безжалостных законов физики.

В то же время мы не прочь были развлечься. Как-то я притащил из таинственного особняка стеклянную трубку длиной в метр и диаметром приблизительно в мизинец. Эта трубка стала нашим охотничьим снаряжением. Из бумаги делался небольшой фунтик, склеенный слюной. К его острию прикреплялось стальное писчее перо. Затем этот фунтик вкладывался в трубочку и кто-нибудь из нас — главный конструктор или начальник расчётного бюро — изо всей силы дул. Фунтик расправлялся, скользил, плотно прилегая к стенкам, и затем, согласно законам аэродинамики, вылетал в виде страшной смертоубийственной стрелы. Вороны были нашей излюбленной мишенью — их немало полегло у окон Ганьшина. Нам очень хотелось убить воробья, мы по очереди целились и выпускали стрелы, но ни одного не удалось уклонять. Это называлось утренней охотой.

И вот в одно из таких утр к Ганьшину кто-то постучался. В охотничьем азарте я не расслышал стука. Помнится, я стоял на табурете у раскрытой форточки и прицеливался из трубки. Ганьшин дёрнул меня за ногу. В дверях стоял Ладосников. Стараясь не выказать смущения, я лихо продемонстрировал Ладосникову нашу охотничью трубку, показал склеенный из бумаги фунтик, предложил полюбоваться моей меткостью. И вдруг встретил странный взгляд Ладосникова. Он смотрел из-под нависших лохматых бровей холодно, отчуждённо, зло. Меня пронял, ожёг этот взгляд. В самом деле, где-то в заиндевевшем, промозгом ангаре на Ходынке стоит под замком самолёт Ладосникова, стоит, уже всеми покинутый, оставленный, уже никто не выводит этот аэроплан на взлётную дорожку, никто больше не пытается поднять его над землёй. И вот к нам пришёл его создатель, конструктор, переживший великое горе, а я... До сих пор я вижу этот неприязненный, колючий взгляд.

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

Ладошников сказал, что по приглашению Николая Егоровича Жуковского на днях начинает читать для военных лётчиков курс лекций по аэродинамике. Он пришёл к Ганьшину за некоторыми материалами для лекции «Расчёт аэроплана». Разумеется, Ганьшин сейчас же принялся подбирать эти материалы. Свои бумаги Ганьшин содержал в полном порядке и теперь быстро находил всё нужное. Однако, взяв одну тетрадь в чёрной клеёнчатой обложке, он остановился в нерешительности. Я понял: это была тетрадь полного аэродинамического расчёта «Лад-1». Конечно, она причинит Ладошникову новую боль. Однако, мгновение поколебавшись, Ганьшин присоединил её к пачке материалов, отложенных для Ладошникова.

Но о самолёте «Лад-1» никто из нас ничего не вымолвил. Мне хотелось чем-то нарушить этот непреднамеренный тягостный заговор молчания, хотелось заговорить о самолёте, но слов не находилось.

Меня терзало бессилие. «Никогда не взлетит!» Опять звучало в ушах это зловещее пророчество.

Ладошников недолго у нас побыл. Захватив бумаги, он сумрачно ушёл.

25

События развивались дальше следующим образом.

От «бархатного кота» вдруг словно отвернулась фортуна. Если вы помните, он каким-то образом успокоил себя относительно судьбы амфибии, когда выяснилось, что «Гермес» недотягивает. «Что-нибудь придумаем!» — неопределённо воскликнул он. Оказалось, что на всякий случай он уже имел на примете другой двигатель для вездехода — немецкий мотор «Майбах», мощностью двести шестьдесят — двести семьдесят сил, который достался нам в качестве трофея из упавшего за нашей линией фронта «Цеппелина». Подрайский был уверен, что этот мотор ему удастся заполучить для «Касатки». Но просчитался — «Майбах» уплыл, был отдан для нового русского управляемого дирижабля. Другого «Майбаха», пока идёт война, конечно, не добыть.

В эти же дни неожиданно последовал и ещё один удар. Морское министерство, где утверждался наш проект, установило толщину броневоего листа, которая значительно превосходила ту, что мы запроектировали. Из-за этого вес нашей машины возрастал ещё на две тысячи пудов. Ганьшин тщательно пересчитал конструкцию.

И вот однажды утром он преподнёс мне новость. Расчёты показали, что мотор «Гермес» не потянет амфибии, отяжелённой усиленной бронёй. Не потянет даже и в том случае, если фирма «Гермес» предоставит двигатель, вполне отвечающий данным прейскуранта. Следовало сокращать диаметр колеса до семи метров или...

— Что или? — выкрикнул я.

Ганьшин пожал плечами.

— Или ставить мотор в триста сил.

Триста сил? В то время, насколько мы знали, никто ни у нас, ни за границей не сконструировал бензинового мотора такой мощности.

Подрайский не хотел и слышать о сокращении размеров колеса.

— Десять метров, и ни миллиметра меньше! — восклицал он. — Десять метров, или всё погибло!

Почему «погибло», каким образом «погибло», этого он нам не объяснял. Откровенно говоря, этого я до сих пор не понимаю. Ведь и семиметровые колёса были бы чудовищно грозными. Но восклицания Подрайского, его отчаяние, его шёпот действовали гипнотизирующе. Я ходил по Москве, заворожённый этими словами: «Десять метров, или всё погибло!»

По утрам Ганьшин и я на разные лады обсуждали положение. Подрайский мрачнел с каждым днём.

Но однажды, когда мы с Сергеем пили кофе, разговаривая всё о той же задаче, у меня вдруг загорелись уши.

— Идея! — закричал я. — «Касатка» пойдёт.

Ганьшин недоуменно на меня взглянул.

— Ты полагаешь, что «Гермес» всё-таки?..

— К дьяволу «Гермес»! Идея! «Касатка» пойдёт! И «Лад-1» взлетит! У нас будет мотор!

— Какой мотор? Что тебе взбрело?

— Новый мотор! Русский мотор! Мотор в триста сил!

26

Бережков с минуту помолчал. Его уши, загоревшиеся в тот давний день, и сейчас порозовели. Улыбаясь, он многозначительно поднял указательный палец.

— Вот тут-то и появляется на сцену, — продолжал он, — мой юношеский лодочный мотор. Помните, я вам о нём рассказывал. Помните, весна, река, на берегу — друзья, среди них моя любовь, я завожу мотор, раздаётся чудеснейший стук, я стою у руля, мой собственный мотор уносит лодку, с берега кричат и машут.

— Да, Алексей Николаевич, всё это записано.

В записях прежних бесед с Бережковым, что я с торжеством принёс в горьковский «кабинет мемуаров», уже были рассказаны многие приключения юного конструктора.

Уже было записано, как он изобрёл водяные лыжи и подводную лодку, как смастерил в консервной банке паровую турбину, которая, конечно, взорвалась, от чего едва не сгорел весь дом вместе с отчаянным мальчишкой-изобретателем;

как, уже учеником реального училища, он влюблялся, страдал, писал стихи; как пускал самодельные фейерверки, как был первым конькобежцем, первым танцором и первым забиякой; как подымался дым коромыслом всюду, куда он приходил, и как среди всего этого самими прекрасными были часы, проведённые в физическом кабинете реального училища, когда он не дышал, производя опыты; как не спал всю ночь после демонстрации паровой машины и перед ним в темноте двигались шатуны, поршни и валы;

как однажды он решил создать новый тип двигателя с небывалыми противовесами; как это стало его мальчишеской мечтой;

как каждое лето он ездил с Ганьшиным в деревню, где по соседству жил Николай Егорович Жуковский; как Николай Егорович, окружённый гурьбой мальчишек, пускал в небо бумажные воздушные шары, наполненные горячим воздухом; однажды Жуковский приехал в Нижний Новгород читать публичную лекцию об авиации, а мальчик Бережков стоял с тряпкой у доски, гордясь поручением Николая Егоровича стирать формулы и забывая это делать, воображая себя на самолёте, чувствуя, как горят уши и прохватывает дрожь;

как на пустыре, за городом, вместе с ровесниками и друзьями строил деревянный самолёт и приучался к высоте, натянув канат между верхушками двух огромных сосен и курсируя от одной сосны к другой в плетёной корзине, прикреплённой к канату;

как выдержал конкурсный экзамен в Московское Высшее техническое училище и как настал конец всякому учению, лишь только он увидел великолепные мастерские училища, литейную, механическую, кузницу, ибо там он мог наконец — теперь или никогда! — исполнить заветную мечту: построить мотор собственной конструкции, мотор, который понесёт его, Бережкова, в пространство;

как он жил, забросив лекции и зачёты, замороженный своим лодочным мотором; как, сработав чертежи, он затем сам сделал модели в деревообделочной, научился изготавливать отливки, сам выточил все части на станке, много дней подшавривал, подпиливал, пригонял по месту и, наконец, — о радость, о победа! — его мотор дал вспышку, застучал.

И вот весна, река, на берегу — друзья, он заводит свой мотор, раздаётся чудесный стук, он — шестнадцатилетний победитель — стоит у руля, его мотор уносит лодку, с берега кричат и машут.

Обо всём этом и о многом другом — о своей студенческой практике на Обуховском заводе, об участии в воздухоплавательном кружке, о новых изобретениях, новых приключениях, — обо всём этом Бережков уже рассказал в наши первые встречи.

Всё это было записано.

Выслушивая эти удалые рассказы, я мысленно делал некоторую «поправку на снос». От сестры Бережкова, Марии Николаевны, я знал, что его юные годы были вовсе не безоблачными. Воспитываясь без матери, он подолгу жил у дальних родственников и, дорожа независимостью, стал уже в старших классах зарабатывать себе на жизнь. Однако я видел, что самого Бережкова не заставишь жаловаться на пережитое.

— Всё записано, — повторил я.

— Интересно?

— Очень. Хочется скорее дальше. Вы крикнули: «Мотор будет!» А Ганьшин?

27

— Сергей? — переспросил Бережков. — Конечно, как вы сами сможете предположить, насмешливая физиономия Ганьшина не выразила никаких признаков воодушевления.

Зная по опыту, что сейчас ему предстоит выслушать одну из моих фантазий, излагаемую с адским темпераментом, Ганьшин поудобнее растянулся в кресле и, прищурясь, рассматривал меня с таким видом, словно я был неким забавным существом. Конечно, забавным. Ведь дело шло о моторе в триста лошадиных сил, в то время как немцы сумели дотянуть лишь до двухсот шестидесяти свой новейший двигатель для «Цеппелинов», а американский «Гермес» не выжимал даже, как мы видели, и двухсот пятидесяти.

Но передо мной буквально в одно мгновение — это одна из моих особенностей, сохранившаяся по сей день, — ясно вырисовалась конструкция нового мотора. Я как бы узрел эту вещь в воображении. В подобных случаях я готов защищать своё до обморока.

— Подожди! — Я вскочил. — Через полчаса вернусь.

Я выбежал, вскочил на первого проезжавшего извозчика и через полчаса втащил на плечах в комнату Ганьшина свой маленький лодочный мотор.

И вот тут, разглядывая в натуре мою конструкцию, Ганьшин наконец заинтересовался.

Однако у него оставалось множество сомнений. И не только технических... Ни с того ни с сего в нём заговорил философ.

— Ну, выстроим мотор. А для чего?

— Как для чего? Ты что, сам не знаешь?

— Разве люди станут счастливее от твоего мотора?

— Оставь ты свою меланхолию.

Но он упрямо повторил:

— Разве люди станут счастливее от твоего мотора? Зачем, для чего мы его будем строить?

Подобное настроение время от времени накатывало на Ганьшина. Послушать его, так не стоило работать, не стоило жить.

Я ему ответил:

— Во-первых, мы дадим мотор Ладошникову. То есть докажем, что «Лад-1» может взлететь. Ты представляешь, как это прогремит? Молодые русские конструкторы дали самый лучший самолёт и самый лучший мотор в мире...

— И что же? Для чего?

— Для покорения неба! Для развития авиации! Для России!

— Ну, что касается России, то... Кто в ней торжествует? Бархатный кот и подобные ему пройдохи... Ведь ты отдашь ему в руки свою вещь. Твой мотор— это его удача.

Разумеется, Ладошников на моём месте буркнул бы в ответ: «Не всегда эта нечисть будет верховодить у нас». Но я был очень далёк от политики, от революции, считал, что моя сфера — только техника, техническое творчество. В наших философских спорах, буде они возникали, Ганьшин почти всегда загонял меня в тупик своими скептическими силлогизмами. Сейчас, по его логике, выходило, что мой будущий мотор лишь укрепит царский деспотизм. А вдруг это в самом деле так? От всех этих вопросов я всегда в конце концов спасался бегством, уползал, как улитка в свою раковину, под прикрытые формулы «творчество для творчества».

— К чёрту философию! — закричал я Ганьшину. — Ничего не желаю знать. Желаю только выстроить мотор, который я придумал, какого ещё нет на земном шаре.

Должен сказать, несколько предваряя дальнейшее повествование, что и в новом, социалистическом мире я не так-то легко пришёл к иному пониманию законов творчества, таланта. А в те времена, о которых идёт речь, позиции индивидуализма, позиции «техники для техники» казались мне неуязвимыми. Во всяком случае, в те времена только они давали мне возможность погружаться в творчество. Это была моя броня, панцырь конструктора, панцырь, которого не пробивали стрелы Ганьшина.

Вдоволь пофилософствовав, с несомненностью установив, что жизнь не имеет никакого смысла, Ганьшин соблаговолил вновь обратить взор на мой лодочный двигатель.

— Принцип интересен, — сказал он, — но мы с тобой не справимся...

— Почему? Ведь сделал же я маленький мотор.

— Здесь ты всё пригонял по месту, а там придётся рассчитать... И всё неясно... Всё совершенно ново...

— Чудак! В этом и суть! Этим-то мы и победим все моторы мира.

— Нет, по всей вероятности, только осраимся.

Он перечислил массу технических неясностей, всяческих трудностей, которые возникнут у нас при проектировании такого авиационного двигателя. Он предполагал, что расчёты будут умопомрачительно сложными. Нет, он не берётся за математический анализ этой конструкции. Да и никто не возьмётся. Пожалуй, только Жуковскому по плечу такая задача.

— Жуковскому? Я пойду к нему...

— Ну, знаешь, надо иметь совесть. Не каждый способен беспокоить его из-за таких пустяков.

— Пустяков?! — заорал я.

Однако Ганьшин недолго пребывал в позиции скептика.

Мой накал в две тысячи градусов разогрел в конце концов и его. Ещё через час — впрочем, тут мы внезапно обнаружили, что пора зажигать свет, что день уже прошёл, что таинственная лаборатория обошлась сегодня без нашего присутствия, — я уже чертил за столом Ганьшина и мы уже обсуждали разные подробности конструкции авиадвигателя в триста лошадиных сил. Я остался ночевать у моего друга, но не мог заснуть и несколько раз поднимал его, ворчашего и сонного, чтобы выложить блеснувшие мне новые соображения. Под утро в уме появилось название мотора. Я опять немедленно разбудил Ганьшина.

- Ганьшин! Ганьшин! Ну, проснись же! Есть название для мотора...
- Отвяжись...
- Послушай, как оно звучит... Нет, ты послушай!
- Ганьшин сделал вид, что затыкает уши, но я продолжал:
- «Адрос». Авиационный двигатель «Россия». Что, подходяще?
- Угомонись! Никакого «Адроса» ещё нет, да и, наверное, не будет.
- Будет! Ты же сам согласился, что надо идти к Николаю Егоровичу.
- Иди, иди... Только дай, пожалуйста, поспать.
- Не дам! Говори, как тебе нравится название.

28

В пылу рассказа Бережков посмотрел на меня с вызовом, словно перед ним сидел не я, а несносный Ганьшин. Сложив руки на груди, Бережков стоял под портретом своего учителя — седобородого грузноватого профессора в болотных сапогах и широкополой шляпе. Мне хотелось побольше разузнать о Жуковском. Вновь услышав его имя, я сказал:

— У меня сделана заметка: «Жуковский с чёрной бородой». Вы просили напомнить.

— Да, да! — воскликнул Бережков.

Казалось, он даже обрадовался. У Бережкова-рассказчика была характерная особенность: он не любил плавного, ровного повествования и, случалось, моментально перескакивал с одной темы на другую.

— Да, да! — воскликнул он.— Это надо описать. Потом вы всё это расположите в порядке. Как я уже докладывал, каждое лето мой отец отсылал меня с сестрой, рано заменившей мне мать, в деревню, в гости к Ганьшиным. Рядом находилась родовая усадьба Жуковских. В этой усадьбе, совершенно доступной всем окрестным ребятишкам, Николай Егорович Жуковский всегда проводил лето. И моё первое воспоминание о Жуковском связано с усадьбой Орехово, с ореховским прудом. В этой яркой картинке, засевавшей в памяти, должно быть, с четырёхлетнего или пятилетнего возраста, я отчётливо вижу Жуковского с чёрной бородой. Помнится солнце, мутноватая тёплая вода, скользкое, немного страшное дно. Мы, мелюзга, плескались и барахтались у берега. Вдруг на плотине появился человек в просторном парусиновом кителе, в парусиновых брюках, большой, с брюшком, с чёрной и курчавой, как у цыгана, бородой. Он крикнул нам:

— Э, дети, вы, я вижу, совершенно не умеете купаться.

Затем быстро разделся и, разбежавшись, сделал огромный прыжок в воду, причём прыгнул ногами вниз. Вынырнув, он отфыркнулся, высоко поднял руки и в таком положении, с поднятыми руками, как бы стоя, переплыл весь пруд, рыча, фыркая и пуская фонтаны изо рта. Я, должно быть, смотрел, как замороженный, на это чудо техники, чудо природы.

Эту картину — солнечный день, темнобутылочную гладь воды, плакучие ивы на берегу, кое-где, у размывов, с обнажёнными толстыми корнями, дальше огромный, в несколько обхватов, вяз,— эту картину я и сейчас вижу: она удержалась, словно осколочек зеркала, запечатлевший момент детства.

Много лет по несколько месяцев в году мне, мальчику, подростку, юноше, довелось жить рядом с Жуковским. Его жизнь была исключительно размеренной. В деревне он регулярно вставал в девять часов утра и приблизительно через полчаса пил чай. После этого он уходил в цветник и долгое время сидел, как это называлось, «под часами». В цветнике находились им же самим сделанные солнечные часы, а рядом с этими солнечными часами стояла скамейка. Там располагался Жуковский. Я не раз тайком наблюдал за ним, мне хотелось узнать, что он делает там, «под часами». Но он ничего не делал. Он раскидывал вот так руки на скамье,

сидел и смотрел вдаль. Почти всегда у ног лежала Изорка, его собака. Иногда, машинально покачивая ногой, он задевал её и бормотал:

— Изорка, Изорка, эка мерзкая собака...

Изорка оживлялась, но Николай Егорович смотрел и смотрел в пространство.

Теперь я понимаю, что Жуковский «под часами» отдавался свободно-му течению мыслей.

Посидев час-полтора, Николай Егорович шёл в дом и брал свою бурку. У него была старая-престарая чёрная кавказская бурка с невероятно широкими плечами, которые стояли торчком. Брал он эту бурку, брал пачку белой бумаги и чернильницу, обыкновенную квадратную грошовую баночку с очень узким горлышком, которое закупоривалось самой простой пробкой. Я знал Жуковского в течение двадцати с лишним лет, но никакой другой чернильницы у него не вспоминаю. С этой квадратной баночкой и с тонкой круглой ученической ручкой, накинув бурку, в сопровождении неизменной Изорки, он шёл в сад. Это был редчайший старинный липовый сад, раскинувшийся на три десятины. В саду у Николая Егоровича была любимая берёза. Под берёзой на траве он расстилал свою бурку, устраивался, как ему было удобно, и, лёжа на животе или на боку, писал и писал свои формулы. Эти занятия Жуковского так и назывались: «Николай Егорович пишет формулы».

Мне приходилось видеть эти исписанные им листки. Текста на них почти не было — редко-редко попадались одна-две фразы, — а шла сплошная математика. Почерк был крупный, небрежный, строчки часто загибались вниз.

В шесть часов Николай Егорович обедал, а затем, после обеда, неуклонно-ложился спать. Спал он всегда два часа, затем пил чай и опять садился писать формулы.

На следующий день всё повторялось сызнова. Вместе с тем Жуковский был необычайно жизнерадостным и увлекающимся человеком.

Стоило, например, прийти пастуху и сообщить, что в округе появился волк, который зарезал и унёс ягнёнка, как тут же под руководством Николая Егоровича затевалась экспедиция, охота на волка. Николай Егорович был страстным охотником. У него в кабинете хранилась сабля, «сабля майора», как она называлась. Какого майора, почему майора — никто не знал. Эта сабля вместе с кавказской буркой от кого-то перешла к Николаю Егоровичу в наследство. Отправляясь на волка, он брал с собой не только ружьё, но и обязательно саблю. При этом он надевал какой-то немислимый охотничий костюм, в котором, однако, чувствовал себя превосходно: форменный китель, сохранившийся с дней молодости, который давно стал ему узок, когда-то чёрную, но ныне выгоревшую, порыжевшую фетровую шляпу, болотные сапоги выше колен и всё ту же кавказскую бурку.

Николай Егорович охотился с азартом, с увлечением.

Однако он редко оставался ночевать на охоте. Он всегда стремился спать дома, чтобы утром, как заведено, опять подняться в девять, выпить чаю и уйти «под часы», к своим формулам.

В Москве Николай Егорович жил в тихом Мыльниковом переулке, в небольшом очень тёплом доме. Туда постоянно звали гостей. Расположение и устройство комнат, обстановка, распорядок жизни — всё это у Николая Егоровича было странным, старомодным. Хозяйством правила старушка Петровна, прожившая до девяноста лет, помнившая чуть ли не прабабушку Николая Егоровича. Подрастала Леночка, дочь Николая

Егоровича; в ту пору, о какой я веду речь, то есть в наши студенческие годы, она была девушкой шестнадцати-семнадцати лет.

Вечерами в доме часто собиралась студенческая молодая компания, ученики Николая Егоровича с братьями и сёстрами. Мы, студенты, народ не очень сытый, не балованный, отогревались в этом уютном, гостеприимном доме. Там, в маленьких низких комнатах, затевались игры, танцы, музыка. Под эту музыку, под суматоху Николай Егорович работал у себя.

Из кабинета он появлялся к ужину — седобородый, благодушный, толстый, очень любивший угостить. Иногда после ужина он играл с нами в фанты и, увлечшись, с улыбкой удовольствия мог просидеть очень долго. Но чаще бывал рассеян, задумывался о чём-то своём и после ужина скоро уходил в кабинет.

Изо дня в день в десять часов утра в неизменной широкополой шляпе, в профессорском пальто-крылатке, каких никто теперь не носит, Жуковский выходил из дому и садился на извозчика. Все ближние извозчики знали профессора, знали его извечный маршрут — из дома в Московское Высшее техническое училище. Там Жуковский читал лекции, там производил опыты в аэродинамической лаборатории. К обеду он возвращался домой. После обеда обязательно спал два часа. Потом садился за письменный стол.

Когда он ходил в театр, это считалось таким событием, к которому дома готовились три дня и потом три дня переживали. Он любил иногда сходить поесть блинов в трактир Тестова, но и это случалось крайне редко, когда его приглашал кто-нибудь из приятелей-профессоров.

Я убеждён, что «формулы» — то есть работа, творчество — были единственной страстью Жуковского.

Однажды я его спросил:

— Николай Егорович, как вы можете всё писать и писать? Я, например, и часа не могу.

Он улыбнулся:

— Каждому хочется заниматься тем, что ему нравится.

Это ему нравилось. Я понимающе улыбнулся в ответ, но глаза Жуковского, выцветшие, зоркие, стали серьёзными. Он произнёс:

— И прежде всего это моя обязанность.

30

Изложение научных открытий Жуковского вы найдёте в книгах. Я останюсь только на одной особенности Жуковского-учёного.

Свою магистерскую диссертацию он посвятил теме «Кинематика жидкого тела». Следующая его научная работа носит название «О движении твёрдого тела, имеющего полости, наполненные однородной капельной жидкостью». Путь учёного, классически далёкого от жизни, был, казалось бы, предначертан Жуковскому.

Но примите во внимание характер Жуковского, живость его натуры, исключительную способность отвлекаться на разные задачи, которые как бы требовали его внимания, способность темпераментно, с душой, с азартом отдаваться увлечению.

Научный путь Жуковского с самого начала испещрён зигзагами, какими-то бросками в сторону, как будто бы незакономерными, случайными, непонятными для тех, кто не понимал самого Жуковского.

Например, в пору молодости Жуковского велосипеды были ещё новинкой. Велосипед, на котором Николай Егорович раскатывал по Орехову, моментально увлёк его, как задача теоретической механики. Жуковского, как говорят, «забрало». День за днём он вычислял на листах бумаги, как работают спицы и обод велосипедных колёс, писал и писал формулы, математически решая велосипед. В результате появилась небольшая

статья Жуковского «О прочности велосипедного колеса». Расчёт велосипедного колеса, сделанный Жуковским, является первым и единственным в мире. Жуковский исчерпывающе решил задачу.

Или ещё пример.

К Жуковскому, молодому профессору теоретической механики, автору работ о кинематике жидкого тела и о твёрдом теле с полостями, наполненными жидкостью, работ, где властвует чистая теория, однажды обратились по вопросу о водопроводе, о самом обыкновенном московском городском водопроводе. Этот водопровод был тогда только что проложен, только что введён в работу, но с первого же дня его немилосердно преследовали странные несчастья — загадочные разрывы труб. И наш теоретик, наш кабинетный учёный, погружённый в свои формулы, принимается за водопровод, принимается не с пренебрежением, не со скукой, а со всей живостью, свойственной Жуковскому. Он увлекается, волнуется, весь отдаётся увлечению. Как всегда, это игра всех его жизненных сил. Он строит специальный водопровод на поверхности земли для исследования загадки разрыва труб при быстром закрытии заслона. Он опять пишет и пишет формулы, исписывает сотни и, быть может, тысячи листов. И в результате даёт своё знаменитое решение задачи о гидравлическом ударе. Эта работа создала Жуковскому мировое имя ещё до того, как он стал заниматься аэромеханикой.

А известно ли вам, как случилось, что Жуковский увлёкся авиацией? Сам он никогда не любил летать. Лишь один раз, в начале девятисотых годов, на всемирной выставке в Париже, он поднялся на воздушном шаре и в воздухе почувствовал себя очень плохо. Но там же, на всемирной выставке, Жуковский увидел модель планёра. К тому времени уже были совершены первые полёты, но теории воздухоплавания, теории летательного аппарата не существовало.

Вам знакома изумительная чёрточка Жуковского — страстное любопытство к законам природы, к загадкам механики.

Что такое летание? Каковы его законы? Каковы теоретические основания самолёта? Жуковский поставил себе эти вопросы, и его опять «забрало». «Забрало» и до конца жизни уже не отпустило. Он пишет и пишет формулы в Мыльниковом переулке и в Орехове, математически решая самолёт, и через некоторое время даёт своё классическое решение задачи о подъёмной силе крыла. Лишь благодаря Жуковскому стало возможным развитие авиации. Он первый сделал понятными таинственные ранее явления, связанные с понятием «летание». Появилась новая наука — аэродинамика. Жуковский был её родоначальником и её величайшим, самым крупным представителем, главой русской школы.

31

На следующий вечер после спора с Ганьшиным я вошёл в кабинет Николая Егоровича с небольшим чертёжиком подмышкой.

— Николай Егорович, — сказал я, — к вам можно? Я хочу вам что-то показать.

— Да, да. Сейчас. Присаживайся.

В этот вечерний час Жуковский, как обычно, «писал формулы».

Листки бумаги, исписанные крупным почерком, лежали не только на поверхности стола, но и на пепельнице, на стопке книг, на подоконнике. Старинные часы, всегда стоявшие на письменном столе Жуковского, тоже были закрыты листками. Два-три листа были положены на пол, на потёртый коврик у ног Николая Егоровича.

Он сидел в домашних туфлях, в старенькой домашней тужурке. От жарко натопленной печки шло приятное тепло.

Некоторое время он продолжал писать. Тонкая вставочка в массивной морщинистой руке быстро ходила по бумаге. Он меня не стеснялся. Крупные губы под седыми усами чуть шевелились. На секунду перестав писать, он взглянул на пол, перегнувшись грузным корпусом через подлокотник кресла и, слегка закряхтев, поднял один листок. Затем перо опять заходило. Мне показалось, что в его лице мелькнула довольная улыбка.

— Николай Егорович,— снова сказал я.

— Сейчас, Алёша, сейчас...

Затем, всё ещё не отводя взгляда от недописанной страницы, Николай Егорович откинулся, вздохнул и повернулся ко мне. Выцветшие добрые глаза рассеянно смотрели на меня.

— Что у тебя такое? — мягко спросил он. — Выдумал что-нибудь?

— Да,— сказал я, сразу охрипнув от волнения. — Сейчас я вам что-то покажу. Но ради бога, никому ни слова.

— Ну, ну, только не пугай. И так сижу по уши в секретах.

В те годы Жуковского постоянно привлекали к консультации по вопросам военной авиации, а созданная им аэродинамическая лаборатория получала военные задания. Тут-то и сумел, заметим кстати, к нему проникнуть Подрайский. К этому же периоду, как легко можно установить по списку трудов Жуковского, относятся его работы о полёте снарядов и о полёте бомб.

Я развернул чертёж. На письменный стол Жуковского лёг первый набросок мотора «Адрос».

С мальчишеских лет я привык, зная доброту Николая Егоровича, делиться с ним всеми своими конструкторскими выдумками. В Орехове, бывало, изобразишь что-нибудь на бумаге и — к нему. До конца жизни Жуковский сохранил способность удивляться. Рассматривая мои детские проекты, он обычно с удивлением прищёлкивал языком. Потом говорил: «Знаешь, Алёша, это интересно. Очень интересно». Или иначе: «Знаешь, это сомнительно. Это, пожалуй, не пойдёт». Затем начинались необыкновенно увлекательные для меня разговоры.

Объясняя Жуковскому идею мотора, я с волнением ожидал, что же он скажет: «интересно» или «не пойдёт»?

— Интересно, очень интересно! — произнёс Николай Егорович. — Оставь-ка это мне до завтра, чтобы я подумал.

Но по его глазам я видел, что Жуковский не заинтересовался. Он смотрел на меня ласково, но рассеянным, отсутствующим взглядом, думая явно о другом.

— Оставь это до завтра,— повторил Николай Егорович.

В его тоне слышалась просьба. Он словно просил меня, стесняясь сказать это прямо: «Сделай милость, не мешай мне, пожалуйста, сейчас».

Однако страсть, как известно, беспощадна, и страсть конструктора тоже. Уловив деликатную просьбу Жуковского, я, не дрогнув, произвёл новый натиск.

— Николай Егорович, это не пустая выдумка. Есть коммерсант, который потратится на такой мотор. Эту вещь возьмёт Подрайский для амфибии.

— Как? Для чего?

У Жуковского невольно вырвался этот вопрос, но взгляд попрежнему был умоляющим, взглядом он опять попросил: «Избавь меня от этого!» Нет, Николай Егорович, не могу избавить.

— Разве вы не знаете? Только, Николай Егорович, это абсолютнейшая тайна. Меня отправят пожизненно на каторгу, если... Видите ли, Николай Егорович, придумана такая штука...

Тут же на листке бумаги я нарисовал амфибию с десятиметровыми колёсами и постарался пострашнее рассказать, как это чудище будет действовать на войне.

— Интересно,— вяло проговорил Жуковский.

— Для этой махины пока нет мотора. «Гермес» слабоват... А я, Николай Егорович, сконструирую свой мотор так, чтобы по габаритам он сразу годился бы и для самолёта Ладощникова...

— Для Ладощникова?

Пристально взглянув на меня, Жуковский взял со стола принесённый мной набросок и стал его рассматривать, отодвинув на вытянутую руку от слегка дальнозорких глаз. Я поспешил объяснить придуманную мной новую схему. И вот наконец-то, наконец-то Жуковский несколько раз удивлённо прищёлкнул языком. Потом оглядел меня, опять перевёл взгляд на эскиз и опять прищёлкнул.

— Знаёшь, Алёшка, это...— произнёс он и приостановился.

По его взгляду, по тону я уловил: он уже не отсутствовал, он ясно видел чертёж.

— Это интересно! Это очень интересно! — с тем же выражением закончил Жуковский.

Третий раз он повторял эти слова, но теперь они были сказаны так, что меня словно подбросило ударом электрического тока. Захлёбываясь, я выложил Жуковскому свои затруднения.

— Ганьшин отказывается делать расчёт,— говорил я.— Сомневается в себе... А я ничего не могу, если нет расчёта.

— Ну, это у него меланхолия,— сказал Николай Егорович.— Он отлично с этим справится... Хотя...

Вновь вытянув перед собой руку с эскизом, Жуковский опять всмотрелся. Потом вдруг засмеялся.

— Ай-ай-ай, что выдумал! — воскликнул он.— Да, тут есть кое-какие сложности. Интересно! Ты сам не понимаешь, до чего эта задачка интересна...

Его глаза загорелись. Жуковский был пойман. Жуковский увлёкся.

Он поглядел на письменный стол, на листки, лежавшие у его ног, что-то досадливо пробормотал, расчистил на столе перед собой место, положил чистую страницу и сказал:

— Ладощникову ещё ничего не говорил? Ну, пока не говори. Оставь мне это до завтра. Я этим немного позаймусь.

Выходя из его кабинета, я едва удерживался, чтобы не подпрыгнуть.

32

Рассказывая вам об этих давно ушедших временах, о приключениях моей юности, я порой сам поражаюсь, как удержались в памяти всякие мелочи.

Например, отлично помнится, что на следующий день пришлось воскресенье. А по воскресеньям Николай Егорович никуда не ездил. Утром я явился в Мыльников переулок и чёрным ходом проник в кухню. Старушка Петровна жарила в шипящем масле пирожки — Николай Егорович любил это блюдо к завтраку.

— Здравствуйте,— произнёс я.— Николай Егорович не вставал?

Старушка всегда знала, что делается в доме. Увидев меня, она разволновалась.

— Как вам не стыдно, Алексей Николаевич? Что вы с ним сделали? Что вы ему дали?

— А что случилось?

— Вы ему что-то дали, и он не спал до пяти часов утра. Все мы бережём Николая Егоровича, а вы... Идите, пожалуйста, из кухни...

Ускользнув от разгневанной Петровны, я уселся в столовой на диван. Там адски медленно накрывали на стол. Появился кипящий самовар, появилась Леночка, я отвечал ей невпопад, слыша сквозь стены, как ходит,

как умывается Николай Егорович. Наконец он вышел к завтраку. Я встретил его умоляюще-вопросительным взглядом.

— Не готово, Алёша, не готово,— улыбаясь, сразу объявил он.— Придётся ещё сегодня посидеть.

И, посматривая на пирожки, Жуковский с удовольствием потёр руки.

Всё воскресенье он просидел над задачей. Я целый день дежурил в доме в Мыльниковом переулке. К вечеру Жуковский сам разыскал меня в какой-то комнате.

— Пойдём, Алёша. Готово,— сказал он.

Я увидел его довольную улыбку. Глаза были добрыми-добрыми. В кабинете Жуковский протянул мне исписанную стопку листов. Это был полный расчёт моего мотора. Я моментально заглянул в последние страницы, то есть, как говорят школьники, «в ответ». Заглянул — и обмер. Оказалось, что при вращении моих противовесов они описывают сложную кривую. Я и не подозревал об этой кривой, хотя собственноручно, как вы знаете, построил лодочный мотор по такой же схеме. Но одно дело маленький мотор, где я всё подгонял по месту, и совсем другое — самый мощный по тем временам авиационный двигатель. Если бы Жуковский не отыскал на своих листках этой кривой, вся конструкция не работала бы... На этих же листках Жуковский вычислил размеры всех основных частей мотора, рассчитал скорости вращения, исходя из мощности в триста лошадиных сил,— в общем, если сказать коротко, благословил моё дерзание. Я излил Николаю Егоровичу восторг и благодарность.

— Ну, ну, чего там,— сказал он и улыбнулся.— Теперь можешь идти к Ладосникову.

— Ещё бы! — вскричал я. — «Лад-1» теперь взлетит... И «Касатка» пойдёт.

— «Касатка»? А, амфибия...

— Кстати, Николай Егорович, как вы думаете: эта амфибия сможет действовать на войне?

— Не знаю... Машина будет двигаться, а как она станет действовать на войне, в этом, Алёша, я ничего не понимаю.— И, сразу помрачнев, нахмурившись, он повторил, отрывисто буркнул, ясно отстраняя разговор о войне: — Не понимаю...

У меня почему-то сжалось сердце. До той поры я не сознавал, что Жуковский действительно страдал, но в этом его коротком восклицании прорвалось что-то очень болезненное. В дальнейшем всё это стало мне гораздо яснее. Жуковский, великий учёный России, постоянно сталкивался с преступлениями царского правительства, подавлявшего русские таланты, угнетавшего народ. Что мог он думать о войне? Она не воодушевляла и никого из нас, молодёжи, собиравшейся в доме Жуковского. Не знаю, слышал ли он тогда о лозунгах большевиков, но чувствовалось, что его мучили думы о путях родной страны.

А тут меня ещё дёрнуло сказать:

— Николай Егорович, Подрайский должен обязательно заплатить за это вам...

Я поднял драгоценные листки. Жуковский недовольно на меня взглянул.

— Глупости, не надо... Не хочу связываться с этим жулябией.

— Нет, Николай Егорович. Вы должны взять с него по крайней мере тысячу рублей. Или знаете что? Может быть, лучше десять процентов дивиденда?

— Оставь. К чему мне это? Проценты, дивиденды...

— Как «к чему»? Вы же сами часто жалуетесь, что не дают денег на лабораторию?

— Ну что ж? А на чай я не беру.

Я примчался к Ганьшину с листками Жуковского в руках и вручил их моему другу для внимательнейшего изучения. Мы условились, что все переговоры с Подрайским относительно мотора буду вести я.

— Где вы пропадаете? — нервно спросил Подрайский, разыскав меня в лаборатории.

Как вам известно, в эти дни, после того как обнаружилось, что у нас нет двигателя для амфибии, «бархатный кот» не мурлыкал и не потирал лапок. Я спокойно объяснил:

— Дело в том, что вчера было воскресенье...

— А в другие дни? Куда вы исчезали?

— Сидел у Ганьшина... Обсуждали неприятность.

— Тссс... Здесь ни звука. Пойдёмте в кабинет.

В кабинете сидел Ганьшин.

Своим тонким нюхом Подрайский уже чуял, что мы неспроста не появлялись в лаборатории, и, перебегая взглядом по нашим лицам, ждал, чтобы мы выложили план спасения.

Но Ганьшин непроницаемо молчал. В его глазах за стёклами очков лишь один я мог уловить тонкую усмешку. А я разыгрывал мрачную подавленность.

— Не знаю. Не нахожу решения. Подумаю. Придётся, может быть, закрыть «Полянку», — отвечал я на нервные вопросы Подрайского.

Закрыть «Полянку»? Нет, об этом он не мог и думать. Ещё несколько дней он поджаривался у меня на медленном огне, что-то чуя и ничего не зная. Тем временем я наседаю на Ганьшина, требуя поскорее детальных расчётов, лихорадочно изготавливая основные чертежи.

Наконец в один прекрасный день, или, говоря точнее, в сырую весеннюю ночь, часа в три, когда все добропорядочные люди спали, я неистово затрезвонил у подъезда Подрайского.

В доме вспыхнул свет, кто-то разговаривал со мной через дверь. Я твердил, что мне немедленно нужен Подрайский. Меня впустили.

Хозяин вышел в туфлях и в халате.

— Что стряслось?

— Сейчас же одевайтесь. Нас ждёт извозчик.

— Куда? Зачем?

— Тссс... Здесь ни звука.

Эти слова так подействовали на Подрайского, что через десять минут мы уже сидели в извозчицкой пролётке.

— Что такое? — шёпотом допытывался Подрайский.

Но я, ткнув пальцем в спину извозчика, опять прошипел:

— Тссс...

Так мы молчали до тех пор, пока не вошли в комнату Ганьшина.

Мне очень хотелось сказать: «Закройте дверь», но это было бы чрезмерно. Я сам, сохраняя полнейшую серьёзность, проверил, нет ли за дверью шпионов, и сам повернул ключ в замке.

На столе торжественно высился мой лодочный мотор. Рядом, сунув руки в карманы и покуривая трубку, молчаливо стоял Ганьшин.

Подрайский дошёл до белого каления.

— Ну, говорите, что у вас?

— Снимайте пальто, — ответил я.

Затем я подошёл к мотору, взялся за верхнюю крышку и внезапно кинулся к окну, сделав предостерегающий знак. Но тревога, как вы догадываетесь, оказалась ложной: за окном не было ничьей подглядывающей физиономии.

Я поднял верхнюю крышку.

— Видите?

— Вижу.

— Что это?

— Лодочный мотор.

— Этот мотор перевернёт историю. Этот мотор раскроет все двери перед нами.

Подрайский с недоумением воззрился на меня, потом оглядел Ганьшина.

Я стал проворачивать вал, начались вспышки, и мотор запыхтел. Ганьшин поднёс к мотору настольную электрическую лампу, и мы втроём уставились на моё мальчишеское изобретение. Через минуту в стену возмущённо забарабанила хозяйка, разбуженная среди ночи. Я немедленно перестал проворачивать и снова шепнул:

— Тссс...

Когда за стеной все уgomонились, я спросил:

— Что вы об этом скажете?

— О чём?

— О моторе.

— О каком?

— О том, которому под силу колёса в десять метров.

— Вы что-нибудь придумали?

— Да. Вы сами видели.

Подрайский ничего не понимал. Перед ним был маленький лодочный мотор для увеселительных прогулок.

— По этому же принципу,— с должной торжественностью изрёк я,— мы построим мотор мощностью в триста сил.

Водевиль окончился, завязался серьёзный разговор. Мы показали Подрайскому эскиз будущего двигателя, разъяснили принцип его действия, предъявили рукопись Николая Егоровича Жуковского, детальные расчёты, сделанные Ганьшиным, и мои чертежи.

И наконец я жёстко заявил:

— Перед вами Вещь. Вещь с большой буквы. Договор пятьдесят на пятьдесят.

Ганьшин рассказывал потом, что в ту минуту в моём голосе были металлические нотки. Думается, лишь после этого Подрайский уверовал наконец в мой двигатель. Он принял ультиматум и, уходя, покорённый, радостный, нас чуть не расцеловал.

Однако на прощание он всё-таки спросил:

— Но почему вы подняли меня ночью?

Я ответил с самым серьёзным видом:

— О таких делах лучше говорить по ночам.

— По ночам? — Подрайский немного подумал. — Пожалуй, вы правы. Пожалуй, вы совершенно правы.

Закрывая дверь за Подрайским, я не удержался, чтобы не шепнуть ещё раз:

— Только тссс... Ради бога, тссс...

На следующий день Подрайский заключил с нами договор из расчёта пятьдесят на пятьдесят, выдал аванс и, кроме того, в знак признательности и расположения презентовал каждому из нас по великолепной мотоциклетке.

Заказ на постройку «Адроса» был сделан московскому заводу «Динамо», причём Подрайский платил потрясающие деньги за срочность исполнения.

Я бывал на заводе каждый день, устраивал скандалы из-за малейшей задержки, давал указания мастерам и рабочим.

А в «Полянке» всё шло своим чередом.

Разные агрегаты огромной колесницы были заказаны крупнейшим заводам — Коломенскому, Сормовскому, Путиловскому. Под видом кессонов изготовлялись ободья десятиметровых колёс, под видом частей ледокола — нос и корма «Касатки».

В Москве мы заняли под мастерские большой манеж для приёмки и контрольной сборки агрегатов, прибывающих с заводов. Отсюда металл отправлялся в «Полянку».

Там зимой, под открытым небом, клепались чудовищные стальные колёса. На лесистом берегу реки была выстроена кузница и механическая мастерская, где обтачивались, подшабривались разные детали. Люди жили в сырости, работали на морозе, среди дыма костров, которые никого не согревали. Народ, попавший в этот ад, прозвал наше чудище «не-топырём». В «Полянке» работали три роты сапёрно-инженерных войск, то есть, говоря попросту, несколько сот мобилизованных рабочих, одетых в солдатскую форму. Люди попадали туда, как на фронт, или, вернее, как в дисциплинарный батальон, — никаких отпусков, хотя бы на двадцать четыре часа, не полагалось, часовые никого не выпускали за проволочные заграждения.

С первых же дней существования «Полянки» людей стали пожирать блохи, называемые лесными, необыкновенные по величине. Но ненавистнее блох было начальство. В «Полянку» подбирали каких-то особо бесчеловечных офицеров. Людей заставляли работать по шестнадцати часов, били по зубам, дубасили прикладами. Из-за этого Ганшин и я два раза устроили скандал Подрайскому и заявили, что не будем ездить в «Полянку», если там не прекратятся зуботычины. После этого начальство — во всяком случае, насколько мы могли проверить, — не давало рукам воли.

Колёса росли, оплетённые дощатыми лесами, как возводимый дом. Предполагалось, что, когда опытный экземпляр будет закончен и испытан, в тот же час на Путиловском, Обуховском и Сормовском заводах приступят к изготовлению нескольких десятков машин, которые затем в разобранном виде на платформах под брезентом будут завезены к Чёрному морю, там в две недели собраны и пущены в дело.

А на заводе уже шла сборка «Адроса». В ходе сборки многие детали приходилось переливать и перетачивать, пригонять, подчищать вручную. Я пропадал на заводе, переделывал чертежи, сам в нетерпении орудовал напильником и молотком. Чем ближе дело подходило к испытанию, тем я отчаяннее волновался. Верна ли конструкция? Пойдёт ли мотор? Покажет ли он мощность в триста сил?

35

Миновал год с того момента, когда Подрайский таинственно спросил: «Что вы скажете о колесе диаметром в десять метров?»

Сооружение «Касатки» близилось к концу, и мотор «Адрос» был уже построен. Запуск двигателя прошёл блестяще, «Адрос» сразу заработал. Однако присутствующие могли восхищаться лишь в течение трёх минут — через три минуты мотор сломался.

Исправив через несколько дней поломку, мы снова запустили «Адрос». На этот раз он работал шесть минут и опять сломался.

Начались муки так называемой «доводки». В те времена мы имели весьма смутное представление о том, что такое доводка. А проблема серийного выпуска авиационных моторов была для нас вовсе книгой за семью печатями. Всё казалось очень лёгким: мотор создан, надо скорее ставить его на рабочее место, потом быстро изготовлять ещё сотни таких же и пускать в дело. Но не тут-то было. Мы исправляли, запускали, «Адрос» опять работал и опять ломался. После месяца адски напряжённого труда мы заставили мотор работать двадцать минут. На двадцать первой он сломался.

Но терпения уже не хватало. Скорее, скорее испытать его под рабочей нагрузкой! Испытать в воздухе! Впрячь его в самолёт Ладощникова! Попытаться поднять в небо «Лад-1»!

А что, если мотор сломается в полёте? Какой лётчик согласится испытывать самолёт на таком ещё совершенно недоведённом моторе? Но мне верилось: лётчик рискнёт!

А Подрайский? Что запоёт он? Ведь по законам купли-продажи, законам Российской империи, Подрайский был собственником, хозяином моего мотора. Среди дикого количества трудностей, с которыми приходилось сражаться, была и такая: как подкатиться к Подрайскому, чтобы он разрешил установить мотор на самолёте? Нет, он ни за что не разрешит! Ведь мотор один-единственный, он должен сдвинуть амфибию, как только та будет готова. Нет, нечего и заикаться — Подрайский не позволит! Как же поступить? Мы с Ганьшиным не находили ответа.

Неожиданно на помощь явилось некоторое стечение обстоятельств.

36

Дело было так. В конце 1916 года был расклеен приказ о призыве в армию студентов. Всякие отсрочки объявлялись недействительными. Я доложил Подрайскому, что меня забирают в армию, что необходимо добыть освобождение.

— Да, да, обязательно,— сказал он.— Мы это уладим.

Но проходили дни, а Подрайский ничего не предпринимал. Я ещё раз напомнил ему, он ещё раз промурлыкал:

— Пустяки, устроим.

Наконец наступил день, когда мне принесли повестку: завтра в десять часов утра явиться с вещами в школу прапорщиков для отправки из Москвы. Бросить «Адрос»? «Касатку»? «Лад-1»? С повесткой в кармане я полетел к Подрайскому.

— Они кушают,— сказала горничная.

Кушает? Хорошо. Удачный момент для разговора! Я ожидал узреть «бархатного кота» блаженствующим, почмокивающим, с ослепительной салфеткой вокруг шеи. К удивлению, он ел без аппетита. На отодвинутой тарелке стыло жаркое, повидимому, едва тронутое вилок. А салфетка была небрежно заткнута за ворот сорочки. Что с нашим патроном? Чем он расстроен?

Я решительно положил на скатерть свою повестку.

— Это ерунда,— проговорил Подрайский.— Сегодня это будет выяснено. Сегодня решится всё.

— Всё? Что-нибудь случилось?

«Бархатный кот» по привычке оглянулся — не приоткрыта ли дверь — и доверительно сказал:

— Сегодня я принимаю одно очень важное лицо. От этой встречи для нас зависит очень многое.

— Очень многое? Для нас?

Подрайский наклонился ко мне ближе и едва слышно прошептал:

— Всё в руках этого лица... Или он подпишет новое ассигнование, или... Ну, вы понимаете... Дальше строить не на что... Только тсс... Ради бога, тсс...

— Как не на что? А ваш миллион?..

Подрайский негромко присвистнул и сказал:

— Затраты... Колоссальные затраты...

— В таком случае... Почему же он не подпишет?

— Потому что... Потому что кое-кто постарался восстановить его против меня... Он может назначить генеральную ревизию. А это, знаете ли...

Я не дал Подрайскому досказать фразу. «Теперь или никогда!» — подумал я.

— Но ведь у вас есть потрясающий козырь!

Подрайский быстро на меня взглянул...

— Что вы имеете в виду?

— Конечно, это, может быть, лишь игра ума...

— Пожалуйста, пожалуйста... У вас, Алексей Николаевич, очень светлый ум...

— Благодарю... Так вот, на все неприятные вопросы, касающиеся амфибии, есть великолепнейший ответ...

— Какой, какой?

— У вас есть готовый к взлёту самый мощный самолёт и есть мотор...

На лице Подрайского я прочёл внимание. Он, видимо, взвешивал эту мысль. Я торопился его убедить:

— В самом деле, почему нам, пока не готова «Касатка», не испытать «Лад-1»? Это же будет необычайное событие! Взлетел новый русский самолёт, самый лучший в мире! Его поднял русский мотор!

— Гм... Гм... И вы думаете, «Лад» взлетит?

— Безусловно. Абсолютно в этом убеждён...

— Да, тут есть материал для размышлений...

«Ого, Подрайский пойман!»

— Вот что, дорогой,— говорит он.— Когда, по-вашему, это можно совершить?

— В ближайшие же дни...

— Так... Я попрошу вас, Алексей Николаевич, будьте сегодня дома. Я к вам пришлю посыльного.

37

Оставив Подрайскому повестку, я вернулся домой. С нетерпением жду от него вызова. Заканчивается день, наступает вечер — меня никто не спрашивает... Наконец, в десять часов вечера, появляется посыльный и вручает мне совершенно загадочную записку от Подрайского.

В записке говорилось: «Алексей Николаевич, сейчас же садитесь на мотоциклетку и приезжайте в манеж. Обратите особенное внимание на то, чтобы у вас хорошо действовал фонарь».

Странно, почему фонарь? Но размышлять некогда. Моментально выхожу, заправляю фонарь и мчусь полным ходом в манеж.

Подъезжая, ещё издали вижу необыкновенную картину: стоит один часовой, другой часовой, третий — какое-то загадочное оцепление. Здесь же замечаю роскошную автомашину «роллс-ройс», каких в Москве ещё не видели.

Дорогу преграждает часовой.

— Ваш пропуск.

Достаю пропуск, но тотчас же подбегает блестящий офицер.

— Вы Бережков?

— Да.

— Пожалуйста, проезжайте в ворота.

Охваченный любопытством, въезжаю в тёмный манеж. Сейчас мне кажется ультрадикимом: почему мы не провели в манеже электричества, почему при нашей спешке не работали в две смены. Чёрт знает, какая кустарщина была во всём этом великом предприятии Подрайского!

Мой фонарь выхватил из темноты смутные очертания металлических конструкций. Я никого не увидел, но вдруг уловил тонкий аромат табака.

Повернув голову на запах, вижу в неосвещённом пространстве две раскалённые красные точки — это были две сигары.

В этот момент раздаётся голос Подрайского:

— Стоп! Идите сюда.

Подхожу и в очень бледном отсвете моего фонаря, направленного в другую сторону, различаю какого-то военного с седыми усами.

Подрайский представил меня:

— Это Бережков, мой главный конструктор, тот самый, который сконструировал мотор «Адрос».

— А, очень приятно,— суховато прозвучал голос военного.

— Вот на его моторе и поднимется этот самолёт, о котором я говорил вашему превосходительству.

— Когда же это будет?

— В самые ближайшие дни... Мы полагали известить об этом вас уже после успеха... Сделать вам этот маленький сюрприз.

— Что же, если всё будет удачно...

— В успехе мы не сомневаемся. Убедитесь, ваше превосходительство, в ближайшие же дни,— уверенно продолжал Подрайский.— У нас всё подготовлено. Затраты, конечно, меня не останавливали. Шутка ли, имеем собственный превосходный двигатель, который отлично показал себя на заводских испытаниях. Только вот, ваше превосходительство... этого молодого человека, моего главного изобретателя, забирают в школу прапорщиков...

— Ну, это пустое...

Военный достал какую-то маленькую белую бумажку из бокового кармана шинели — при этом я успел заметить красную генеральскую подкладку — и сказал:

— Где бы тут можно было написать?

Подрайский попросил меня подвести мотоциклетку поближе. Затем он подал старику самопишущее перо — «бархатный кот» всегда носил в кармане это последнее слово техники,— и генерал, что-то написав при свете моего фонаря, вручил это мне, сказав:

— Передайте эту карточку начальнику школы прапорщиков.

Затем они стали говорить об амфибии. Я водил рулём своей мотоциклетки и освещал отдельные металлические части, оказавшиеся в тот день в манеже. Через некоторое время, отойдя в сторону, они о чём-то поговорили, едва освещённые смутным отблеском фонаря, и направились к воротам.

Услышав шум отъезжающего «роллс-ройса», я вскочил на свою машину и отправился домой. Но, отъехав метров пятьдесят, я вспомнил о вручённой мне записке, остановился, слез с мотоциклетки и поднёс к фонарю визитную карточку. Свет упал на строку мелкой печати. Я нагнулся и разобрал: «Михаил Васильевич Алексеев». Ого, кого залучил к себе Подрайский! Начальник штаба Верховного Главнокомандующего. На обороте я прочёл: «Студента Бережкова в школу прапорщиков не зачислять. О нём последует особое распоряжение».

На другой день я отправился в школу прапорщиков. Меня с почтением отпустили, начальник на прощание козырнул. Однако никаких документов мне не дали, и распоряжения обо мне не последовало до сегодняшнего дня.

...Опять бескрайнее, ничем не огороженное снежное поле — Московский аэродром. Январское утро 1917 года. Редкая в январе погода — голубое небо, солнце. По снегу будто рассыпаны мельчайшие алмазные кристаллики, рассыпаны неравно — где щедрее, полной горстью, так что невольно жмуришься, где поскупее, чуть-чуть. До сих пор вижу этот блистающий простор и круг белого, сплавленного с серебром золота на небе. В те часы почти никакие впечатления до меня не доходили, я ничего не

воспринимал, если это не касалось самолёта и мотора, но солнышко дошло. Подумалось: добрая примета...

Приближалась минута, когда самолёт «Лад-1» с моим мотором будет выведен на расчищенную взлётную дорожку. Взлетит ли? Взлетит ли? Никто не произносил этих слов; я, поглощённый множеством мелочей подготовки к лётным испытаниям, тоже забывался в работе, как бы забывал, что нам предстоит.

Ночь перед испытанием все мы — монтажная бригада вместе с солдатами аэродромной команды, которые пришли нам помогать, — провели в ангаре. Слесари-сборщики ещё раз пересмотрели каждый узел, каждое сочленение самолёта, кое-что заменяли, кое-что заново крепили. Все распоряжения исходили лишь от одного человека — Михаила Михайловича Ладосникова.

Ему была свойственна одна особенность, о которой я, кажется, ещё не говорил. Присущие ему насупленность, угрюмость оставляли его на работе. Здесь он держал себя свободнее, выглядел словно красивее. В заиндеветшем ангаре, в котором жаровни с тлеющим углем едва поддерживали температуру в несколько градусов тепла, у необыкновенно большого самолёта, раскинувшего от стены к стене свои лёгкие темнозелёные крылья, командуя десятком слесарей, Ладосников чувствовал себя вполне в своей стихии. В коротком полушубке, в тёплой шапке, в валенках, с кронциркулем, с гаечным ключом в руках, он неутомимо обследовал самолёт, строго проверял всё сделанное, был чётко, ровен, немногословен в каждом своём указании и, казалось, ни в малой степени не нервничал.

И только в последний момент, когда мы уже взялись за специальные тросики, чтобы вести самолёт на волю, Ладосникова «прорвало».

Почти ничего вокруг не замечая, сосредоточенный мыслями только на машине, я вдруг услышал его крик:

— Не допущу! Все уходите, кто мешает. Все!

Оказывается, пока мы работали в ангаре, Подрайский, приехавший утром на аэродром, заметил ужаснейшее упущение: никто не подумал о молебне! Нет, неприлично начинать испытание без господнего благословения. Попа! Немедленно попа! Но где же его взять? Ехать в город, тащить оттуда солидного московского священника — это было бы сложно, долго, дорого. Подрайский сообразил, что в такую рань проще всего разыскать поблизости от Ходынского поля скромного деревенского батюшку и привезти сюда.

И в тот самый момент, когда мы уже выводили самолёт, в ангаре появился седенький, сухонький священник в чёрной скуфейке и в епитрахили, надетой поверх шубы. Тут-то Ладосников не сдержал себя, вспылал, закричал на весь ангар:

— Не допущу! Все уходите, кто мешает!

Попик оробел. Подрайский тоже приостановился, но сказал:

— Как же так? Священник в облачении... Михаил Михайлович, прошу вас не препятствовать...

Ладосников вдруг расхохотался. Глядя на испуганного старика в потёртой плохонькой епитрахили, он махнул рукой:

— Ну, служите, батюшка... Только поскорей...

После молебна мы снова повлекли самолёт к раскрытым воротам ангара, подкладывая катки под огромные лыжи.

Наконец самолёт под открытым небом. Нас встретило солнце, и мороз, и искрящийся ослепительный снег, кое-где прорезанный то свежей, то уже заплывающей лыжней. Тут, конечно, были и следы «Лад-1». Его опять, как и в прошлом году, много раз гоняли по этому полю, проверяя машину

в пробежках. Для этих пробежек был использован мотор «Гермес». А наш трёхсотсильный «Адрос» мы приберегали для взлёта. Мы знали: «Адрос» неизбежно сломается. Но когда? На какой минуте? Последний раз «Адрос» проработал на заводском стенде тридцать четыре минуты и остановился из-за поломки кулачкового валика. Сменив эту деталь, тщательно перебрав мотор, испробовав, хорошо ли он запускается, мы привезли его в ангар и поставили на самолёт на место «Гермеса». Если «Адрос» продержится хотя бы четверть часа, этого вполне хватит для взлёта и посадки.

А если не продержится? Если сломается, когда самолёт лишь набирает скорость? Это гибель машины, это, по всей вероятности, и гибель лётчика.

И всё-таки лётчик-испытатель, георгиевский кавалер, герой войны, штабс-капитан Одинцов идёт на такой риск.

Мне запомнилась минута, когда он, взобравшись по приставной лесенке в кабину самолёта, повернулся к нам, прежде чем закрыть за собой дверцу. Плечистый, неторопливый, несколько даже неповоротливый в унтах и оленьей полудошке, он посмотрел на Ладошникову, стоявшего возле машины, и улыбнулся ему. Этот штабс-капитан, который согласился поднять в воздух новый русский самолёт на совершенно недоведённом, конечно, ещё не пригодном ни для каких полётов двигателе, этот лётчик-испытатель чувствовал себя спокойнее всех.

Так он мне и запомнился: выглядывающим из раскрытой дверцы самолёта, с улыбкой на широком, немного скуластом лице.

Ещё миг — и дверь захлопнулась. Теперь надо лишь запустить мотор. Я сам крутнул изо всей силы пропеллер. Нет, мотор не подхватил. Ещё раз! Снова ни одного выхлопа. Ещё раз! И опять не завёлся... Господи, а если мы так и не запустим двигатель? Ведь он стоял на холоде столько часов, ведь я не догадался согреть его паяльной лампой... Я уже был готов проklinать себя, как вдруг мотор взял, взревел, зарокотал на всё поле.

Но вот перебой, один, другой — оглушительные выстрелы в выхлопной трубе. На миг я потерял способность двигаться, не мог вздохнуть, грудную клетку заломило. Наконец «Адрос» загудел ровно.

Ну, теперь всё в руках лётчика. От меня уже ничего больше не зависит. Я отошёл к Ладошникову. Он стоял, сжав губы, тоже уже ничем больше не распоряжаясь. Покосившись на меня из-под бровей, он отвернулся. Конечно, сейчас он не хотел ничьих слов, ничьих взглядов.

Несколько минут лётчик прогрел мотор. Затем «Лад-1» стронулся, заскользил по снегу. Машина уходила от нас всё быстрее, быстрее. Тёмный силуэт самолёта на сверкающем белом покрове становился всё меньше. Я нагнулся, чтобы не пропустить момента, когда бороздящие целину лыжи вдруг поплывут над полем, нагнулся и... Лыжи действительно покачивались над снегом, плыли в воздухе. Хотелось что-то крикнуть, но от волнения пропал голос. А «Лад-1» уже летел — вы представляете момент?! — летел над Ходынским полем. Мотор «Адрос» распевал свою песню в небе.

Я кинулся к Ладошникову, увидел смеющиеся яркоголубые глаза, ставшие большими. Он дружески ткнул меня кулаком в живот, но этот тычок, который Ладошникову показался на радостях, разумеется, лёгким, буквально сбил меня с ног. Не взвидев света, охнув, я на несколько секунд, кажется, перестал дышать. Ладошников кинулся ко мне, но я взмолился:

— Подальше... Отойдите подальше...

Тотчас же позабыв боль, я отыскал в небе «Лад-1», описывающий круг над аэродромом, и с наслаждением вслушался в гул мотора. Да, этого момента уже нельзя отнять! Что бы ни случилось дальше, но самолёт Ладошникову поднялся! И это совершено на моём моторе!

Но что это? Почему вдруг смолк мотор? Сломался? Да, видимо, так... Сумеет ли лётчик посадить машину? Достаточен ли запас высоты?

Все напряжённо следили за самолётом. Вдалеке, на самом краю поля, лыжи коснулись земли, самолёт понёсся, вздымая каскады снежной пыли, обо что-то как будто споткнулся, задрал хвост, тяжело осел на один бок и замер.

Мы побежали туда. На месте выяснилось, что при посадке самолёт угодил в канаву. Герой лётчик Одинцов был жив и невредим,

40

Всё это было записано ещё в Москве у Бережкова. Теперь мы с ним стояли в лесу, среди обширной вырубki, где возвышалась огромная амфибия, заросшая почти по ступицу молодым березняком.

— Ну-с,— лукаво улыбаясь, произнёс Бережков.— «Лад-1» я вам, не взыщите, показать не смог. А «Касаточку» — извольте... Пожалуйста, любуйтесь...

— Но сдвинулась ли когда-нибудь эта машина?

— О, об этом надо рассказать. Это тоже было потрясающее переживание... Амфибию мы испытывали той же зимой. Доставили сюда «Адрос», который был заново перебран, вмонтировали его в брюхо «Касатки». Во всю ширь реки была продолблена прорубь для испытания вездехода на плаву. Перед пуском мы проверили все крепления машины. Я дико волновался. Приближалась минута, когда решится вопрос, правильно ли сконструирована вещь, пойдёт ли она, не развалится ли на первых оборотах.

Мотор долго не запускался. Наконец он забился внутри бронированной коробки. Вся тяжёлая, вмёрзшая в землю колесница задрожала. У руля сел я, рядом — Подрайский.

Я перевёл рычаг с холостого хода на первую скорость и осторожно, не дыша, ощущая нервами и спинным мозгом, как возрастает нагрузка, стал отпускать сцепление. Вдруг что-то хряснуло. У меня упало сердце. Но в ту же секунду я понял, что с этим звуком примёрзший металл оторвался от земли, что колёса повернулись и двинулись, двинулись вперёд.

Народ кинулся в стороны, освобождая путь. Люди, построившие это чудовище, которые здесь намучились, в эту минуту кричали «ура» и бросали шапки. А я слышал и чувствовал лишь одно: биение мотора и напряжение металла в решающих узлах. Мотор, выдержавший колоссальную нагрузку в момент трогания с места, теперь работал ровно и легко. Я прибавил скорость, колёса слушались меня. Громящая и гудя, мы обгоняли бегущих по снегу людей. Невдалеке стояла вековая берёза. Я направил вездеход прямо на неё. Подрайский сжал моё плечо, я увидел его встревоженные глаза, но меня охватило озорство победы. Берёза надвигается... Едва ощутимый толчок и... берёза сломалась, как спичка. Ну-ка, сейчас я её найду.

Чуть припадая на хроющую ногу, Бережков легко побежал в лес.

— Пожалуйте сюда! — прокричал он.

Я прибавил шаг. Бережков с торжеством продемонстрировал пень обломанной толстой берёзы, уже трухлявый, крошащийся под ударами ноги.

— Ну-с,— лукаво улыбаясь, произнёс Бережков,— что вы скажете о колесе диаметром в десять метров?

— Действительно... А что же случилось дальше?

— Хочется дальше?

— Ещё бы! Берёза сломалась, а потом?

— Потом оказалось,— ответил Бережков,— что со всеми моими адскими переживаниями, с ускорением хода, с рухнувшей берёзой я проехал

всего-навсего шестьдесят метров. Оказалось, что вездеход находился в движении всего-навсего полторы минуты, или, точнее, восемьдесят восемь секунд. Ганьшин засек время на секундомере. А на восемьдесят девятой мы засели. Мотор работал, огромные колёса буксовали, выбрасывая куски мёрзлой почвы, а вездеход — ни с места. Потом со страшным треском сломался мотор. Я соскочил с машины. Осмотрелся. Массивный задний каток, прокопав глубокую чёрную полосу, ушёл по уши в землю. До проруби наше земноводное чудовище так и не добралось. Здесь же на месте мы приняли решение — увеличить диаметр заднего катка.

Но мотор-то ведь всё-таки сдвинул колёса! И поднял в воздух машину Ладошника! Он всё-таки был уже создан, уже существовал, наш русский мотор «Адрос», тогда самый сильный в мире бензиновый двигатель авиационного типа, новой, совершенно оригинальной, ни у кого не заимствованной конструкции. Теперь надо лишь скорее исправлять поломку, строить серию «Адросов».

Увы, в то время я совсем не понимал, что значат эти два простых слова: «мотор создан». Сейчас я не буду развивать вам эту тему, а скажу кратко: без промышленности, первоклассной индустрии, самая замечательная, самая талантливая конструкция мотора не станет надёжно действующим серийным механизмом.

Многого я тогда не понимал. Очень скоро выяснилось, что история была повернута не колесом диаметром в десять метров, не мотором в триста лошадиных сил, а силами совсем иного порядка, о которых я тогда не имел и понятия.

Шёл год тысяча девятьсот семнадцатый... Стыдно сказать, я даже не пытался осмыслить происходившие события. В дни Февральской революции просто толкался по улицам, глазел... И больше всего меня волновал вопрос о судьбе моего «Адроса».

Кстати, им заинтересовались американцы.

41

Дело было весной 1917 года, ещё до Советской власти, когда в России процветал частный капитал и велись всякие капиталистические операции. Однажды я и Ганьшин получили записку от Подрайского. Он загадочно сообщал, что придёт завтра к Ганьшину в Трубниковский переулок для разговора необыкновенной важности.

В назначенное время он явился, но, представьте, не один, а с уже известным нам американцем мистером Робертом Вейлом, представителем фирмы «Гермес». Вейл попрежнему держался добрым малым, охотно к случаю и не к случаю хохотал. Его подвижная физиономия и раньше была украшена веснушками, теперь, весной, их ещё прибавилось. Подрайский представил нам американца (хотя однажды это уже было сделано), посидел несколько минут и ретировался. На прощание он приложил палец к губам, как бы издавая своё излюбленное «тссс»...

Мы остались с гостем. Роль переводчика взял на себя Ганьшин, отлично знавший языки. Вейл заговорил о новинках американской техники. Кстати, о технике — он слышал о нашем «Адросе».

— Мне хотелось бы ознакомиться с вашим мотором, — сказал он. — Америка умеет ценить хорошие вещи.

Потом он наговорил нам комплиментов и попросил завтра же навестить его.

— Интересно, за сколько Подрайский собирается нас запродать? — сказал Ганьшин, когда мы проводили американца. — Только не видать Америке нашего «Адроса».

Ганьшин категорически заявил, что ни с какими визитами к американцу не пойдёт. Но я взволновался. Я потребовал всестороннего обсуждения вопроса. Мы устроили при закрытых дверях конференцию вдвоём

и приняли решение: чертежей из России не выпускать. Но построить у нас с привлечением американских капиталов большой завод для производства моторов русской конструкции — это, как мне тогда казалось, другой разговор.

Размечтавшись, я уже видел себя то главным конструктором этого завода, то директором-распорядителем всей будущей фирмы и энергично восклицал, что возьму всё дело в свои руки. Ганшин издевался надо мной:

— Смотри, сам станешь Подрайским, — предупреждал он.

Но меня уже ничем нельзя было удержать. На следующий день я отправился с визитом к мистеру Вейлу в гостиницу «Националь».

42

Помните ли вы прежнюю Москву, какой она была до реконструкции? Помните ли, каким был этот район, где расположена гостиница «Националь», самый центр столицы, созвездие наших знаменитых площадей. — Красной, Театральной, имени Дзержинского, которая звалась тогда Лубянской, имени Революции (представьте, я уже запомнил её прежнее название) и Манежной (которой, кстати сказать, в прежней Москве не было вовсе)? Помните ли узенькую кривую Тверскую, мощённую булыжником, Охотный ряд, тесно уставленный лотками, где дотемна стоял гомон уличного торжища и ютилась какая-то церквушка, — ах, да, Параскевы Пятницы; книжные развалы стариков букинистов у Московского университета; какие-то переулочки, лабазы, магазинчики, трактиры там, где ныне расстилается асфальтовый простор Манежной площади, открывающей взгляду Кремлёвскую стену?

Весной 1917 года, в те времена, о которых у нас с вами идёт речь, у чугунной ограды Московского университета, где торговали букинисты, постоянно бурлил водоворот, возникали стихийные митинги, споры. Спорили люди, покупавшие здесь книги, и студенты, собиравшиеся в университете, и случайные прохожие, забывшие, куда они идут, и солдаты.

Вот по такой бурлящей улице, мимо Московского университета, я добрался до гостиницы, где обосновался мистер Вейл. Помню, как сейчас, это посещение. Вейл умывался, когда я пришёл. Нисколько не стесняясь, он, голый до пояса, появился из ванной, извинился и, добродушно улыбаясь, продолжал крепко растирать мохнатым полотенцем своё розоватое, с изрядным слоем жирка тело. Одеваясь, он поставил на стол бутылку русского коньяка, бутылку виски и сифон с зельтерской водой. Потом заказал завтрак.

Уже после двух или трёх рюмок он предложил мне, как конструктор конструктору, называть его попросту Бобом. Я немного знал по-английски, Вейл — столько же по-русски. Мы объяснялись ломаными фразами, жестами и даже рисунками. Закурив сигарету, Вейл положил ноги на стол. Меня всё больше разбирала злость. Кто я, чёрт возьми, ему? Туземец, как они там выражаются в своих романах? Как он смеет так себя со мной вести? Делать нечего: положил ноги на стол и я. Вейлу это как будто очень понравилось. Вскочив, хлопнув меня по плечу, он с помощью небольшого наброска объяснил, что такая поза наиболее соответствует конструкции человеческого организма. Пририсовав к этому чертёжику мою физиономию (так, во всяком случае, следовало понимать его намерение), Вейл возгласил:

— Мистер Бережков в Америке!

И показал жестами, что приглашает меня с собой туда.

— Дудки, — возразил я, — мы ещё потягаемся с Америкой.

Вейл никак не мог понять этой фразы, сколько я ни старался её растолковать. Тогда я, полушутя, но всё же в иной момент давая волю

злости, стал с ним боксировать, направляя удары в выпуклый животик Боба и покрикивая:

— Как конструктор конструктору? Понятно?

Я загнал его к дивану и повалил на подушки. Сдавшись, Боб, как кутёнок, поднял лапки. Потом, потирая свой жирок в тех местах, куда угодили мои кулаки, он долго хохотал, уразумев наконец смысл русского слова «потягаемся». Вероятно, ему это в самом деле казалось смешным.

Перейдя к деловому разговору, я постарался развить свою идею постройки грандиозного завода в России для выпуска наших моторов. Почему бы не выстроить такой завод, например, в Москве? Я даже вывел печатными буквами название будущего предприятия: «Московский завод «Адрос». Уразумев, Вейл отрицательно повёл головой.

— Почему же? — воскликнул я.

Он взял меня под руку, подошёл со мной к окну и показал на улицу, где в стихийно возникавших толпах митинговали, спорили солдаты, женщины с кошёлками, люди в солидных котелках и в простецких кепках.

— Нельзя! — сказал Вейл. — Русский беспорядок.

Повернувшись ко мне, он продолжал:

— Мистер Бережков — большой талант. Большому таланту нужен большой... — Вставив английское слово, он изобразил жестами размах. — И большая техника... Америка... Россия не годится...

Я подумал: «Чёрта с два! Мы ещё покажем, что такое Россия!» У меня опять зачесались кулаки, захотелось потягаться, но я не дал себе воли, удержался.

Как вы понимаете, мы не договорились. Фирма «Гермес» не предоставила конструктору «Адроса» капиталов, на которые он по наивности рассчитывал. С мистером Робертом Вейлом я больше не встречался.

43

Доскажу историю фантастического колеса.

После Февральской революции «бархатный кот» не растерялся. На некоторое время он, казалось, ещё более расцвёл. Его круглая мордочка блаженно лоснилась, он улыбался и чмокал в предвкушении необыкновенных дивидендов. От Временного правительства ему удалось заполучить новую субсидию. Но вскоре он стал раздражаться. Рабочие в солдатских шинелях, жившие в бараках «Полянки», избрали комитет солдатских депутатов и потребовали человеческих условий. Некоторые офицеры, возбудившие к себе особенную ненависть, были жестоко избиты и выброшены за проволочные заграждения. В «Полянку» явился Подрайский с красным шёлковым бантом на отвороте пиджака, собрал митинг и, взобравшись на задний каток, завёл речь о войне до победного конца. Его сволокли с «нетопыря» и вывезли на тачке.

Солдатский комитет выбрал меня техническим руководителем работ и даже кооптировал в свой состав. У меня до сих пор сохранилось удостоверение, что я являюсь членом исполнительного комитета Совета солдатских депутатов. Однако в вихре событий фантастическая колесница скоро оказалась забытой и заброшенной. Увлечённый новыми замыслами, я перестал ездить в «Полянку». А мотор мы с Ганьшиным ещё долго доводили. Но это уже иные приключения, иная эпопея.

— Вот, собственно говоря, — закончил Бережков, — и вся эта история. Впрочем...

Вспомнив что-то ещё, он улыбнулся и многозначительно поднял палец. Это был знак, что сейчас опять последует нечто любопытное.

— Впрочем, судьба «нетопыря» имела некоторое продолжение. Однажды в напряжённейшее время, когда в стране шла гражданская война, мне в Московское бюро изобретений — я там служил по совместитель-

ству — принесли повестку: явиться к такому-то часу дня на площадь Дзержинского (тогда ещё Лубянскую), в Вечека, в отдел по борьбе с экономической контрреволюцией. Не зная за собой никаких провинностей, я всё же волновался, отправившись по указанному адресу. Мне выписали пропуск, я вошёл. Некоторое время пришлось ждать в коридоре. Затем пригласили к следователю. Он встретил меня исключительно любезно.

— Садитесь. Вы тот самый Бережков, который строил амфибию в лесу?

— Да, тот самый.

— Очень рад с вами познакомиться. Известно ли вам, что эта машина до сих пор стоит в лесу?

— К сожалению, я давно туда не ездил. Но я представляю, что её мудрено извлечь оттуда.

— Однако ведь ей угрожает разрушение. Нам сообщают, что население растаскивает её по частям. Что с ней делать? Считаете ли вы технически оправданной идею этой машины?

Я ответил, что сейчас эта вещь представляет лишь исторический интерес. Вездеход-амфибия с полыми колёсами — это курьёз. Интересен лишь мотор, который я продолжаю доводить.

— Но что же нам всё-таки делать с этой амфибией? — спросил следователь.

— По моему мнению, — ответил я, — было бы очень полезно водворить её где-нибудь на пустыре. Или, скажем, у Москвы-реки, на Воробьёвых горах. Пусть народ её посмотрит. Пусть эта громадина-амфибия послужит эмблемой царского строя, который пытался защитить страну с помощью этаких чудищ.

Меня поблагодарили за совет и отпустили с миром.

Мы шли по поляне к мотоциклету, под ногами мягко пружинил мох, негромко шумели молодые берёзы, играли солнечные зайчики, пахло прелым и свежим листом, влажной разогретой корой. Бережков с явным удовольствием вдыхал эти запахи леса. У мотоциклета он воскликнул:

— Хватит на сегодня! Едем! Отвезу вас домой!

— Алексей Николаевич, когда же мы увидимся в следующий раз?

— Хотите продолжения?

— Очень.

— Что ж, приходите опять в воскресный день. Продолжение будет.

Часть вторая

Ночь рассказов

1

В обещанный день встреча с Бережковым не состоялась. «Беседчик» явился в назначенное время, но ему сказали:

— Алексей Николаевич уехал из Москвы.

— Куда?

— Куда послали. Нам он этого не говорит.

— Когда же он вернётся?

— Сказал, что сам не знает.

Пришлось откланяться. Что поделаешь? Надобно запастись терпением. Сегодня Бережкова нет, завтра нет, но послезавтра... Послезавтра Бережков наконец у телефона.

— Алексей Николаевич? Вы? Здравствуйте. Я без вас извёлся. Я жажду продолжения.

— До двадцать пятого, к сожалению, ничего не выйдет. А потом сразу наступит облегчение.

— Алексей Николаевич, нельзя ли, чтобы облегчение наступило раньше?

— Не скрою от вас, что мне самому этого хочется.

— Когда же к вам прийти?

— Прошу пожаловать в первое воскресенье после двадцать пятого.

На этот раз, «в первое воскресенье после двадцать пятого», многоопытный «беседчик» явился пораньше, чтобы наверняка застать Бережкова. Мне объявили, что Бережков ещё спит. Это был добрый знак.

— Хорошо. Не беспокойте, пожалуйста, его. Я подожду, пока он встанет.

Меня провели в кабинет.

Что рассказывала эта комната о её обитателе? Здесь я как бы видел Бережкова таким, каким он порой мне представлял: без мишуры. Ничего лишнего, ни одной ненужной вещицы. На письменном столе так много свободного места, что на ум невольно приходило выражение: фронт работы. У стен — приятные для глаза, очень удобные книжные шкафы, конструкция которых была, очевидно, продумана самим хозяином. Над столом висел большой фотопортрет Николая Егоровича Жуковского, тот самый, уже нами описанный, где старый профессор стоял во весь рост в широкополой шляпе и в болотных сапогах, с охотничьим ружьём.

За стеной, в спальне, раздался телефонный звонок. Затем донёлся знакомый голос:

— Слушаю... Зазоры? В каком цилиндре? А как маслоподача?

Бережков ещё некоторое время расспрашивал, употребляя малопонятные технические термины, затем сказал:

— Встаю, встаю... Через час буду на аэродроме.

Мне сразу стало грустно. Минут десять спустя Бережков появился — свежесбрившийся, одетый, улыбающийся.

— Я слышал, как вы тут напевали,— сказал он, здороваясь.

Я изумился.

— Разве? Я как будто скромно молчал.

Бережков пропел:

— «Ах, попалась, птичка, стой, не уйдёшь из сети».— Глядя на меня смеющимися зеленоватыми глазами, он развёл руками, изображая извинение.— Но птичка, к сожалению, улетает.

— Вы шутите, а я в самом деле огорчён.

— Ничего, после пятого станет гораздо легче.

— Но ведь вы обещали: после двадцать пятого...

— Не вышло. Небольшая авария.

— У меня тоже авария. Но я мрачен, а вы поёте.

Бережков рассмеялся.

— Конечно, не очень приятно, когда на испытаниях в твоей машине что-нибудь ломается, но я в таких случаях всегда говорю: «Если бы здесь не треснуло сегодня, то завтра развалилось бы в полёте. А теперь нам видно, что у неё болит». Сейчас поеду. Разберёмся.

— А мне с вами нельзя, Алексей Николаевич?

— Нельзя.

— Секрет?

Кивнув, Бережков предостерегающе поднял указательный палец.

— Тсс... Ни звука.

Его глаза опять смеялись. Давно минули приключения его молодости, он был уже крупным конструктором, и всё-таки в нём жил, в нём играл прежний Бережков.

— Нельзя,— сказал он серьёзно.— Но после пятого...

— Что — после пятого?

— После пятого, если не помешают сверхъестественные силы, всё можно будет рассказать.

Он пригласил меня в столовую.

— Позавтракайте со мной...

Из кухни на шипящей сковородке принесли нарезанную ломтиками ветчину с зелёным горошком. На глубокой тарелке подали нашинкованную свежую капусту.

— Эликсир молодости! — возгласил Бережков, глядя на капусту. — Моё ежедневное утреннее блюдо.

Мне, однако, было ясно: нет, не капуста является для него «эликсиром молодости». Таким искрящимся, таким молодым в сорок лет его делало, несомненно, упоение творчеством, огромной работой и, в частности, какой-то, ещё не известной мне, большой задачей, о которой он только что молвил: «Ни звука».

Я сказал:

— Может быть, Алексей Николаевич, вы что-нибудь пока расскажете? Используем эти десять минут, а?

— Хорошо. Только не больше десяти минут. Хотите, один потрясающий эпизод 1919 года?

2

— После небезызвестной вам истории с мотором «Адрос», — начал Бережков, — в моей жизни был период, когда я брался то за одно, то за другое, а затем развернулась грандиознейшая эпопея под общим наименованием «Компас»... Подробно обо всём этом я вам доложу особо, а пока сообщу лишь самое необходимое о «Компасе». Однажды весной 1919 года ко мне влетел Ганьшин.

— Бережков, ты нужен. Бери мотоциклетку, едем.

— Куда? Зачем?

— К Николаю Егоровичу Жуковскому. Он получил письмо от Совета Народных Комиссаров. Просят, чтобы он помог построить эскадрилью аэросаней для Красной Армии. Сегодня у него первый раз соберётся «Компас».

— «Компас»? Что такое?

— Комиссия по постройке аэросаней. Сокращённое название. Ты тоже зачислен туда членом. А я, как видишь, послан за тобой.

— Пожалуйста, готов... Хотя у меня есть одно маленькое «но»...

— Только одно? Какое же?

— Я никогда не занимался аэросанями.

— А кто ими занимался? Только Гусин и Ладошников. А теперь впервые на земном шаре нам предстоит начать постройку аэросаней в промышленном масштабе. На войне такой род оружия ещё никогда не применялся. Это будет механическая конница на лыжах.

— Чёрт возьми, замечательная мысль!

— Посмотрим, что ты запоёшь, когда у нас ничего не выйдет. А по всей вероятности, так оно и будет.

— Ну, ну, не каркай... Едем!

И мы отправились к Николаю Егоровичу.

Жуковский был основателем, так сказать, духовным отцом «Компаса», а практически руководителем, председателем комиссии стал другой выдающийся профессор Московского Высшего технического училища, глава кафедры двигателей внутреннего сгорания, специалист по авиационным моторам Август Иванович Шелест.

И вот спустя несколько месяцев после того, как мы взялись за постройку аэросаней (интереснейшие перипетии этих месяцев ваш покорный слуга изложит в следующий раз), как-то ночью, во время заседания «Компаса», — а должен вам сказать, что мы заседали невероятно часто и главным образом по ночам, — раздался телефонный звонок. К телефону подошёл Шелест. После первых же фраз он повернулся к нам и ожесто-

чѐнно замахал рукой, требуя полнейшей тишины. Все смолкли. Был слышен только голос Шелеста:

— К башне Кутафье? В шесть утра?

Мы видели: Август Иванович делает усилие, чтобы говорить спокойно.

— Да, горячее есть... Кто? Да, да, понятно.

Положив трубку, Шелест повернулся к нам и проговорил:

— Кончено...

Насколько я помню Шелеста, ему вовсе не было свойственно уныние. В ту пору нашему председателю уже шѐл пятый десяток, но он ничуть не отяжелел и оставался любимцем женщин, спортсменом, страстным поклонником мотоциклета. Даже седина с благородным блеском алюминия не старила его. Он обладал огромным запасом энергии, жизнерадостности и юмора. Только такие люди, скажу кстати, могли строить в те времена аэросани.

Однако в эту минуту Шелест был растерян.

— Кончено,— произнёс он.

— Что кончено? Что произошло?

Шелест ответил:

— В шесть часов утра надо подать аэросани к Кремлю, к башне Кутафье.

— Для чего?

— Срочное задание. Пробег на сто — сто пятьдесят вѐрст. Пункт не указан.

— А кого везти?

— Члена Реввоенсовета 14-й армии. Сказали, что он приехал с фронта всего на несколько часов. Одно из его дел в Москве — ознакомиться с аэросанями.

3

Выдержав паузу, Бережков продолжал:

— Надо вам сказать, что аэросани, рождаемые «Компасом», находились в периоде так называемой конструкторской доводки. Когда-нибудь я вам особо опишу, какая это дьявольская, мучительная штука — доводить! Доводка у нас непомерно затянулась. А ведь аэросани нужны были армии этой же зимой.

Как только выпал снег, мы чуть ли не каждый день производили испытания, после которых что-то исправляли в конструкции, но наши сани упорно капризничали: раз ходили, раз не ходили.

Попадая с ходу на камень или на трамвайную рельсу, они издавали зубовный скрежет и застревали. В таких случаях все пассажиры вместе с водителем должны были наклоняться из стороны в сторону, раскачивая этим сани, на которых ревел мотор и бешено крутился пропеллер. Наконец вновь раздавался страшный скрип — и сани двигались. Нередко случалось, что в пути глох мотор и никак не заводился, случалось, что ломался пропеллер,— тогда приходилось вызывать лошадей и волочить сани на верѐвках в мастерские.

Но уж зато если разгонишь, то никакими силами не остановишься, особенно с горы. На санях не было тормозов, вернее, они существовали в виде клыков или тормозных досок, которые вылезали из-под лыж, но почти не тормозили.

Положение, как видите, было незавидным. Что мог Шелест ответить на требование подать сани? Доложить, что у нас нет саней,— значило расписаться в собственном банкротстве. Доложить, что у нас есть сани,— значит: подавай их к шести часам утра, вези, выполняй распоряжение.

Все молча сидели и думали. Наконец Шелест вскинул голову.

— Друзья! — воскликнул он.— Мы забыли, что у нас есть Бережков. Предлагаю принять постановление: задание выполняет Бережков.

Я вскочил:

— Что вы? Ни в коем случае! Сани надо раскачивать, пропеллер бьёт, мотор глохнет, тормозов нет. Надо быть безумцем, чтобы продемонстрировать их кому-то, пойти в дальний пробег...

— Поэтому-то мы к вам и обращаемся,— ответил Шелест.

Члены «Компаса» во главе с Шелестом принялись уговаривать меня. Ведь надо же кому-то ехать. И не кому-то, а именно мне, ибо я что-нибудь да придумаю, если понадобится. Но я решительно отказывался. Наконец Шелест, зная меня, сказал:

— До сих пор я был о вас другого мнения. Неужели боитесь? Неужели вы действительно не сможете повести сани?

Неожиданно для самого себя я выпалил:

— Смогу!

Я тотчас понял, что меня поймал умница Шелест, но было поздно об этом раздумывать: слово вылетело, я согласился.

Однако, согласившись вести сани, я потребовал, чтобы со мной в качестве помощника ехал Ганьшин и чтобы для связи за нами следовала мотоциклетка-вездеход. Такую мотоциклетку с выдвигными лыжами мы изобрели в «Компасае». Беда её, однако, заключалась в том, что на цельном снегу она не выдерживала веса взрослого мужчины. Её освоил только один наш рабочий-подросток, очень способный и сообразительный, принимавший, кстати сказать, некоторое участие в изобретении этой штуки. Я потребовал немедленно поднять на ноги парнишку, чтобы он явился предо мной, как лист перед травой.

Конечно, мои условия были моментально приняты.

А уже шёл второй час ночи! Вся комиссия немедленно отбыла в мастерские, которые помещались на Ленинградском шоссе, в копошнях бывшего ресторана «Яр». По пути мы заезжали на квартиры наших мотористов и забирали их с собой, извлекая прямо из постелей.

До утра, не заснув ни на одну минуту, мы провозились с аэросанями, проверяя все узлы и регулируя работу винтомоторной группы.

В шестом часу утра мы с Ганьшиным уселись в сани и осторожно тронулись в ворота. Вся комиссия провожала нас.

Здесь произошло первое несчастье. Кто-то поспешил прикрыть за нами ворота и задел пропеллер, который на аэросанях укреплен сзади. Конечно, пропеллер — пополам. Это было очень скверное предзнаменование.

Пришлось снять запасной пропеллер, укрепленный на борту саней, и поставить вместо сломанного. Все с мрачными лицами наблюдали за этой операцией, на которую ушло около получаса.

Наконец, уже запаздывая, мы — аэросани впереди, мотоциклетка сзади — двинулись к Кремлю. Ещё не светало. Луна освещала нам путь.

Башня Кутафья, как всем известно, расположена возле Манежа. К ней ведёт каменный мостик, перекинутый над Александровским садом. Здесь мы остановились. Над зубцами Кремлёвской стены возвышался верхний этаж каменного дома с узкими маленькими окнами. Кажется, в своё время это был терем, где обитали царевны. А теперь перед этим теремом стоят, сотрясаются аэросани с невыключенным двигателем; оттуда, из этого дома, из этих неясно виднеющихся раскрытых ворот сию минуту выйдет один из комиссаров Красной Армии — армии, которая только что, три-четыре недели назад, остановила белогвардейские войска.

Было излишне докладывать о прибытии, ибо наш мотор ревел на всю округу. Я не выключил его, опасаясь, чтобы он не застыл на тридцатиградусном морозе.

Кого-то мне предстоит везти? Каков он, этот член Реввоенсовета 14-й армии? Ждать пришлось недолго. Сквозь облака мелкой белой пыли, которую вздымал пропеллер, я разглядел, как из ворот Кремля к саням за-

шагал человек в овчинном тулупе, почти волочащемся по снегу. Подойдя, он быстро обошёл вокруг саней, оглядел их по-хозяйски. Он остановил и на мне блестящие, чёрные, как спелая вишня, глаза. Ему было тридцать два—тридцать три года. Несмотря на тяжёлую одежду, походка была стремительной, лёгкой. В лунном полусвете я увидел шлем-будёновку на его голове. Будёновка была свободно распахнута внизу, у подбородка. И ворот тулупа не был поднят.

Член Реввоенсовета стоял в вихре снежной пыли, поднимаемой крутящимся винтом, и не прятался за овчинный ворот, не кутался, а, наоборот, словно чуть улыбаясь, подставлял налетающим колючим снежинкам своё смуглое, характерное кавказское лицо с чёрными густыми бровями, с чёрными усами, кончики которых, как мне показалось, были слегка закрученными, острыми.

Осмотрев сани, он подошёл к нашей водительской кабине. Подавшись ко мне, спросил, сколько у нас с собой горючего.

— Часа на четыре,— сказал я.

— Очень хорошо. Выезжайте, пожалуйста, на Серпуховское шоссе.

Наш пассажир сел в кабину саней, я поддал газу и, чувствуя, что эту поездку запомню навсегда, что переживаю какой-то исторический момент, посмотрел на часы. Было...

О, наши десять минут давно прошли. О том, что случилось во время поездки, я расскажу в другой раз отдельным эпизодом.

— Алексей Николаевич, неужели ждать до пятого? Ведь это пытка!

— Интересно?

— Очень!

— В таком случае... Знаете что? Мне, быть может, предстоит вскоре одна ночь, когда я не смогу заснуть. Хотите, я тогда вам позвоню?

— Ещё бы!

— Договорились! Ждите!

4

Прошло обещанное пятое, прошло десятое, пятнадцатое — от Бережкова не было звонка.

Признаться, «беседчик» не верил, что Бережков когда-нибудь позвонит сам, и считал нужным время от времени напоминать о своём существовании.

Однако Бережков был в эти дни неуловим. Он опять сутками пропадал из дому и из служебного кабинета, опять уезжал куда-то из Москвы. Лишь один или два раза мне удалось с ним соединиться.

— Ни одного часа не могу выкроить,— отвечал он по телефону.— Теперь самые ответственные дни.

— И бессонные ночи?

— Не намекайте, помню. Мы всё-таки скоро, может быть, устроим ночь рассказов. Если удастся, позвоню.

Тайна напряжённой работы Бережкова раскрылась неожиданно, однажды утром, при взгляде на свежую газету. В этот день в московских газетах было напечатано сообщение о том, что на рассвете советский самолёт с мотором «Д-41» стартовал в полёт по замкнутому кругу на расстоянии 12—13 тысяч километров. Всё ясно. Вот они, бессонные ночи Бережкова. «Д-41» — это его мотор.

Недавно был совершён блистательный, вписанный золотыми буквами в историю Советской страны перелёт Валерия Чкалова и его друзей. Теперь наша авиация подвергается ещё одному испытанию. Конечно, в полёте по замкнутой кривой нет той притягательности, романтичности, как в могучем прыжке из одной точки земного шара в другую — прыжке, что доступен самолёту. И всё же 12—13 тысяч километров по замкнутому кру-

гу — это мировой рекорд. Только что прославилась краснокрылая машина «ЦАГИ-25», в новом полёте покажет свои качества другой советский авиадвигатель конструкции Бережкова.

Мне представилось, как Бережков проверял, готовил в путь свой мотор, сидел и слушал — пятьдесят, восемьдесят, сто часов, — сидел и слушал могучий звук мотора. Вероятно, он, думалось мне, имел в виду нескончаемые эти часы, когда обещал позвонить ночью. Что поделаешь, не вышло!

На другой день газеты опять сообщали о перелёте. Уже вторые сутки самолёт находился в воздухе. Вечером, в девять часов, по радио была передана очередная сводка с борта самолёта: «Покрыли девять с половиной тысяч километров... Земля закрыта туманом. Всё в порядке. Продолжаем полёт».

Я подумал о Бережкове. Не позвонить ли ему? Как он, должно быть, волнуется, ожидая сводок. Нет, теперь к нему не время приставать.

И вдруг в одиннадцатом часу вечера меня позвали к телефону. Снял трубку, я не поверил собственным ушам — звонил Бережков.

— Приходите! Сегодня я в вашем распоряжении до утра.

Сборы были недолги. Через двадцать минут я входил к Бережкову.

5

Там я застал его гостей. Позволю себе не всех упомянуть. Но нельзя умолчать о сестре Бережкова, Марии Николаевне.

Сдержанная, спокойная, она, конечно, очень отличалась от брата, но всё же, не раз сопоставляя их, я легко мог заметить и общие фамильные, «бережковские», черты. Природа наградила их совершенно одинаковой приветливой, открытой улыбкой. Требовалось большое усилие воображения, чтобы представить сестру или брата раскисшими, ноющими, в так называемом дурном расположении духа.

Жену Бережкова я до сих пор видел лишь однажды, да и то мельком. Помнится, она вошла с улицы решительным шагом, со свёртком чертежей, с объёмистым портфелем в руках, серьёзная и, как мне подумалось, усталая. Бережков как-то сказал, что она в своё время оставила учёбу, чтобы работать вместе с ним над созданием, над заводкой его авиамотора. Теперь она навёрстывала упущенное, заканчивала курс в авиационном институте. Сегодня она была совсем не такой серьёзной и строгой, какой показалась прежде. Вон она какая — эта тоненькая светловолосая студентка, жена известного конструктора, — скромная, простая, весёлая и всё-таки очень серьёзная.

В углу сидел один из гостей приблизительно лет на десять моложе Бережкова — синеглазый, в сером летнем костюме. Знакомся со мной, он встал, сдержанно улыбнулся, протянул руку. Я обратил внимание на его несколько расплывчатые, неочерченные резкой линией губы, словно свидетельствующие о мягкости натуры, и вдруг при рукопожатии ощутил неожиданно широкую, твёрдую, крепкую кисть. Конечно, тогда я лишь безотчётно отметил этот контраст руки и лица, но впечатление вспомнилось потом.

Со стены на нас смотрели старческие добрые глаза профессора Николая Егоровича Жуковского, заснятого в аудитории у доски.

Поздоровавшись со всеми, я увидел в углу на диване какую-то свернувшуюся калачиком фигуру. Оттуда доносилось мерное дыхание спящего.

— Это небезызвестный Ганьшин, — кивнул туда Бережков. — Пока могу представить вам его только в таком виде.

Затем Бережков принялся за прерванное моим приходом занятие.

На электрической плитке он поджаривал кофейные зёрна.

Придавая торжественность столу, там красовались три бутылки шампанского с массивными пробками в нетронутой серебряной обёртке.

— Батарея для салюта! — объяснил Бережков. — Дадим залп, когда побьют рекорд. А пока... Скоро я вам предложу попробовать, что такое чудесно приготовленный кофе.

Ловко встряхнув зёрна, он объяснил, что кофе надо поджаривать непосредственно перед заваркой, что тут непригодна ни алюминиевая, ни эмалированная сковорода, нужна обязательно чугунная.

— Только чугунная, — повторил он. — И чтобы на жару обязательно потрескивало.

Наклоняясь к сковороде, он прислушался и вдруг сказал:

— Вот и я сейчас поджариваюсь на чугунной сковородке...

Родные смеялись его шуткам, отвечали шутками же, но, конечно, тут ни на минуту никто не забывал, что где-то над среднерусскими просторами сейчас летит самолёт с его мотором.

Через некоторое время мне налили стакан кофе, подвинули какую-то снедь. Я попросил:

— Расскажите, Алексей Николаевич, о перелёте...

— Когда-нибудь потом... Не могу, пока не приземлились. Сегодня будем рассказывать про другое.

• Он сел на диван в ногах у спящего и удобно привалился в угол.

— Начинается ночь кофе и рассказов, — объявил он.

Все в ожидании притихли, но Бережков вскочил. Из соседней комнаты он принёс телефонный аппарат и, воткнув в розетку длинный шнур, поставил на стул около себя. Устроив аппарат, он протянул руку к трубке, но вздохнул и не стал звонить.

— Прогнали оттуда...

— Откуда?

— Из штаба перелёта. Прогнали, как оно и следует. Велено спать. Велено на мой звонок не отвечать.

Снова вздохнув, он обвёл взглядом комнату, подошёл к стулу, на котором висел лёгкий цветной шарф, принадлежавший, видимо, одной из женщин, и набросил его на телефон. Затем снова сел.

— Ну-с... Начнём, как начинаются хорошие старые романы: давайте вашу руку, читатель.

Все смотрели на Бережкова. Однако ему не сиделось. Снова вскочив, он прошёл к полуоткрытой двери и плотно прикрыл её.

— Почему вы закрыли? — спросил я.

— Флюиды улечиваются, — объяснил Бережков.

Он опять опустился на диван, откинулся на подушку и посидел так с минуту, глядя куда-то невидящим взглядом. Я сказал:

— Алексей Николаевич, прошлый раз вы не закончили про поездку на аэросанях. Что же случилось дальше, когда вы поехали? Расскажите для всех эту историю.

— Для всех? — Бережков усмехнулся. — Этот случай давно тут известен всем, исключая вас. Я прошу извинения, если некоторым из присутствующих придётся выслушать кое-что знакомое.

В ответ раздались просьбы:

— Расскажи про баночку эмалевой краски.

— И про бюро изобретений...

— Нет, про Кронштадт.

— Всё расскажу, — обещал Бережков. — Все необыкновенные истории из жизни вашего покорного слуги будут сегодня вам доложены. Но, с вашего позволения, примем за основу хронологический порядок.

«Беседчик» придвинул блокнот и взял карандаш.

— Дойдём и до поездки, — обращаясь ко мне, сказал Бережков.

— Итак, начнём по порядку,— продолжал он.— Шёл 1918 год. Тогда я очень мало смыслил в совершающихся событиях. Как вам известно, меня всегда безумно увлекала техника, а большевики казались мне людьми, лишёнными всякого интереса к технике. Занятия политикой я считал напрасной тратой времени. Какое отношение имеют большевики, политика, к тем невероятным конструкциям, которые я мечтал создать?

Впрочем, я не философствовал. Мне было двадцать два года; из меня, словно под напором в тысячу атмосфер, фонтанировали всяческие проекты, идеи и фантазии; я готов был с жадностью взяться за работу, лишь бы что-нибудь выдумывать, создавать.

В эти дни в газетах появилось обращение Советского правительства, призывающее всех инженеров и техников заняться работой по специальности.

Прочтя воззвание, я вышел из дому и стал раздумывать: чем заняться, куда направиться?

В воззвании было сказано: по специальности. Но какова же моя специальность?

Конструктор-фантазёр. Хорошо бы иметь свою контору с очень скромной вывеской: «Принимаю заказы. Конструкторски разрабатываю всякие фантазии». Нет, с таким предложением никуда не явишься, с такой специальностью погонят. Но куда же мне всё-таки определиться? Пожалуй, больше всего на свете я люблю моторы. Где же занимаются моторами?

Размышляя таким образом, я бродил по улицам Москвы, уже усыпанным снегом. По пути я рассеянно разглядывал плакаты, афиши, объявления и приказы, расклеенные всюду.

Вдруг у одного подъезда я увидел вывеску: «Центральная моторная секция РСФСР».

Ого, моторы... Это, пожалуй, мне по сердцу. Я вошёл.

Учреждение являло собою несколько пустых и холодных комнат, в которых сидели два или три товарища в шинелях.

Я отрекомендовался, как студент последнего курса Московского Высшего технического училища, предъявил документы, немного рассказал о себе, и меня тут же приняли на службу в качестве заведующего организационным отделом. Я раздобыл лист бумаги и красиво вывел: «Организационный отдел центральной моторной секции РСФСР». Этот лист я прикрепил к дверям одной из комнат и расположился в ней.

Моторной секции принадлежал гараж на двенадцать — пятнадцать автомашин. Мы выдавали ордера на пользование этими автомобилями. Однако получить у нас машину было адски трудно, даже по записке из Совета Народных Комиссаров, ибо наши машины были вечно в разгоне или вечно чинились.

На должности заведующего организационным отделом мне пришлось заниматься чисто бумажной, конторской работой — я писал какие-то планы, какие-то отчёты. Однако через месяц-другой, несколько попривыкнув, я нашёл случай развернуться во всём блеске и представил грандиознейший проект устройства в Москве центрального распределительного гаража на тысячу машин. Это был совершенно замечательный труд, толщиной не менее как в дюйм. Там до мельчайших подробностей описывались функции обслуживающего персонала, от директора до подметальщика, и были приложены десятки чертежей и схем. Проект предусматривал сооружение круглого двухэтажного здания для гаража с подъёмными машинами, с автоматической сигнализацией. Машина выехала — в сигнальной комнате на пульте вспыхивает красный огонёк, вернулась — светится зелёный. В учреждении, где нужна машина, нажимают кнопку, в сигнальной комнате на распределительной доске выскакивает соответствующий

номерок. Чертёж этой комнаты был исполнен в красках. Я изобразил, как на вращающемся стуле сидит одна девушка и управляет всем автомобильным хозяйством города Москвы.

Конечно, весь этот проект мог иметь реальное значение только в будущем. Но заглянуть в будущее так приятно. Я писал и чертил с искренним воодушевлением, совершенно отрываясь от земли.

А на земле... А на земле у Александровского вокзала раскинулось кладбище автомобилей. Там машины сваливали и вверх колёсами, и боком, и одну на другую, и как угодно. Под открытым небом лежало несколько тысяч разбитых и сломанных машин. Их привезли в Москву с Западного фронта, куда они, купленные у союзников, попали во время войны. Ремонтировать было негде и нечем, запасные части пропали или вовсе не прибыли, и всякий, кто хотел, бесцеремонно раздевал эти машины.

Бензина почти не было. Ездили на керосине, на газолине, на спирту и даже иногда на коньяке. Спиртом заправлялись в Лефортове на спиртовом заводе. Открывались ворота, машина въезжала во двор к крану, который был выведен наружу, чтобы не выдавать пропусков в здание. Из крана бежал чистый спирт. Это было невероятнейшее расточительство из-за нищеты.

Мой мотоциклет ходил на керосине. Перед отправлением в путь приходилось паяльной лампой раскалять карбюратор докрасна, и после этого машина шла как миленькая. По дороге мотор отказывал, снова пускалась в ход паяльная лампа, снова карбюратор раскалялся докрасна и — снова в путь.

Но часто не оказывалось ни спирта, ни керосина, ни бензина. Заводы стояли, здания не отапливались, электричество не действовало, годных автомобилей почти не было.

Бережков помолчал, улыбнулся и неожиданно сказал:

— А ведь они летят! Летят, чёрт побери!

«Беседчик» понял его чувство, его мысль. Да, как кратко и как вместе с тем велико расстояние от тех годов разрухи до этой ночи, когда, описывая огромные круги, третьи сутки без посадки летит советский самолёт с мотором Алексея Бережкова, устанавливая новый мировой рекорд.

Как же был пройден этот путь? Сумеет ли Бережков рассказать об этом?

Бережков потянулся к телефону, но, сдержав себя, опять не позвонил.

7

— У той эпохи имеется, как вам известно,— продолжал Бережков,— общепринятое наименование: военный коммунизм. Помню лозунг того времени, повторявшийся в газетах, на плакатах, в речах: «Социалистическое отечество в опасности!»

Люди шли и шли на фронт. В Москве не хватало хлеба, не хватало топлива, многие заводы замерли, трамваи почти не ходили. И всё-таки эти дни остались в памяти, как время кипучего подъёма, созидания! Сколько нового возникало тогда; закладывался новый мир! Как раз в эти годы был, например, создан Центральный аэро- и гидродинамический институт имени Жуковского. Изумительное время! Мы подголаживали, но не унывали. «Мировой скорбью» чело не омрачалось. Напротив, никогда раньше столько не смеялись. И сейчас вспоминается много смешного.

Например, посмотрели бы вы, как мы зимой добирались на службу на мотоциклетах. Приходилось приспособливать ноги к функции лыж и маневрировать таким образом между сугробами. Ух, какие были тогда сугробы! Даже центр Москвы — Тверская и Кузнецкий мост — был заметен сугробами.

И, представьте, я не помню, чтобы я мёрз на мотоциклетке. Мы были молоды и не ёжились от холода в самые свирепые морозы. Холодно, когда стар. А весь наш новый мир был миром молодости. В те времена я ходил зимой в коротком овчинном тулупчике, подпоясанный широким военным ремнём, в крагах и в папахе, подаренной мне Ладошниковым. Мотоциклетка была моим неразлучным другом, участником и помощником во всех моих приключениях и романах. Выберешь свободный вечер и летишь, летишь куда-то против ветра — счастливый, молодой, уверенный, что тебе предстоит что-то великое.

Скоро у меня появилась новая интересная работа. В один прекрасный день явился Ганьшин...

— Ганьшин, ты до утра, что ли, решил спать? — прервал вдруг рассказ Бережков и без церемонии схватил за ногу прикорнувшего друга.

Тот заворочался. «Беседчик» увидел заспанную, удивительно добродушную и действительно курносую, как описывал Бережков, физиономию. Приподнявшись, Ганьшин близоруко огляделся.

— Чего тебе? — проворчал он.

— Сегодня у нас ночь рассказов. Познакомься.— Бережков представил меня.— Если я что-нибудь совру, подымай ногу!

— Заранее поднимаю!

И в воздухе заболталась нога в коричневой штанине. Бережков поймал её, прижал к дивану, но нога тотчас снова поднялась. Все рассмеялись. С Ганьшина сошла сонливость. Поджав обе ноги под себя, он нашарил в кармане очки и принялся их протирать. К нему сразу протянулось несколько рук со стаканами вина и кофе, с бутербродами и пирожками. Ганьшина, видимо, любили в этом доме.

8

— Итак,— продолжал Бережков,— в один прекрасный день ко мне пришёл сей муж и, как всегда, сказал:

— Бережков, ты нужен.

— Рад служить. Что, куда, где?

— Нам нужен председатель технического совета при Бюро изобретений. Нужно организовать совет, который рассматривал бы изобретения, давал бы им оценку, устраивал бы испытания,— короче говоря, нам нужен ты.

Мне так наскучила бумажная работа в организационном отделе автосекции, что я немедленно согласился на совместительство.

Грядущие поколения, вероятно, не поймут этого магического слова. В годы военного коммунизма можно было служить по совместительству хотя бы в десяти местах. Кто имел меньше трёх-четырёх совместительств, того мы считали просто лодырем.

Бюро изобретений помещалось в Замоскворечье, на Ордынке, в новом, очень высоком и страшно холодном доме. Там, на пятом этаже, я занял несколько комнат, где расположились машинистки, секретари, консультанты,— всё честь честью.

Я принимал заявки, рассматривал изобретения, организовал экспериментальную мастерскую и со всей добросовестностью старался всякое мало-мальски стоящее изобретение оценить, солидно опробовать и рекомендовать.

Весьма полезное дело — штамповка жестяных мисок и тарелок — было третьим занятием, третьим совместительством вашего покорного слуги. Предложение о штамповке металлических мисок тоже прошло через Бюро изобретений, было рассмотрено и принято. «Изобретатель» (в данном случае трудновато произнести это слово без кавычек) получил патент и полукустарный заводик в Москве для производства своих мисок.

Однако дело почему-то не пошло. Из-под пресса почти сплошь выходил брак. Почему? Никто этого не понимал. Я смело взялся поправить беду, пошёл по совместительству и на завод мисок.

Прежде всего я переконструировал пресс. Получилась изящная и сильная машинка. Но как ни поставлю металл — рвёт. Опять повозился над прессом — нет, не его вина, пресс был рассчитан правильно.

Я стал вертеть в руках и разглядывать рваные миски. Вижу, что металл покрыт как будто наждаком, а наждак, как известно, создаёт огромное трение. Странно — откуда тут наждак? Стали чистить керосином пресс, но миски опять выходили рваные и опять будто посыпанные наждаком.

Не злодейское ли это дело? Не подбрасывает ли какой-нибудь мерзавец наждаку под пресс? Но меня вдруг осенило. Я вспомнил, что когда на металлургическом заводе прокатывают раскалённые листы, то они покрываются тончайшей окалиной. И в тот момент, когда мы под прессом начинали тянуть металл, эта тончайшая окалина отделялась и превращалась в некое подобие наждака.

Вот где, оказывается, таилось злодейство! В неопытности, в невежестве, в незнании элементарнейших вещей.

Что же, однако, делать? Как избавиться от наждака? Я устроил ванну из соляной кислоты и опускал в кислоту каждый листик металла перед тем, как дать его под пресс. В результате пошли идеальные миски, ибо кислота начисто съела окалину.

Эти штампованные жестяные миски тогда пользовались большим успехом.

Сейчас я не совсем точно представляю, на каких юридических основах существовали мисочный и другие подобные заводики, приютившиеся под крылышком Бюро изобретений. Это не были частные предприятия, но они не считались и всецело государственными. Действовало какое-то право патента, авторское право изобретателя. В наше время это кажется невероятным, но тогда «изобретатель» мисок получал по закону в собственные руки какую-то долю продукции в натуральном виде и сбывал её на Сухаревском рынке.

Со мной же на фабрике расплачивались, к счастью, не мисками, а «дензнаками», как говорилось тогда, и я иной раз позволял себе роскошь угощаться и угощать своих друзей на той же Сухаревке, где главным лакомством была колбаса, поджаренная в кипящем сале.

Сейчас пам ясно, что вместе с мисками и скипидаром, вместе с жареной сухаревской колбасой лез и пролезал капитализм, запрещённый, изгнанный, но чертовски цепкий и живучий.

Знаете, что иногда мне приходит в голову, когда я обдумываю всё пережитое? Если бы в России в те годы всё-таки восторжествовал капитализм, то я стал бы или фантазёром-неудачником, или, в лучшем случае, кем-либо вроде фабриканта мисок. Из дальнейшего рассказа вам это будет яснее.

9

Итак, Россия летела вперёд, летела в будущее, летела через рытвины, сугробы, как летят аэросани по снежной целине.

К грандиозной эпопее с аэросанями я, с вашего разрешения, теперь и перейду.

Как я вам уже говорил, ко мне однажды вошёл всё тот же Ганьшин и сказал:

— Бережков, едем!

Тотчас на мотоциклетах мы отправились к Николаю Егоровичу Жуковскому. Это произошло весной 1919 года — не то в начале, не то в середине мая. Кажется, именно в те дни газеты сообщили о наступлении

Юденича на Петроград. Коммунистическая партия снова обратилась к армии, к рабочим, к крестьянам, ко всем гражданам России с призывом напрячь силы на фронте и в тылу, чтобы отразить Юденича.

Вот в такие времена Жуковский получил письмо от Совета Народных Комиссаров с просьбой помочь в создании нового вида оружия для Красной Армии — аэросаней.

В его домик в Мыльниковом переулке мы приехали под вечер. Николай Егорович примостился на крыльце особнячка. На широких перилах он поставил чернильницу, разложил листки бумаги и, не замечая ничего вокруг, быстро писал. Он ловил последние минуты угасающего дневного света, ибо с электричеством постоянно случались перебои, а работать при коптилке Николай Егорович не мог. Ему уже исполнилось семьдесят два года, зрение стало сдавать, он надевал очки, когда писал. Здесь же, на крыльце, лежал раскрытый огромный зонтик Николая Егоровича — видимо, просушивался после прошедшего дождя.

Никакая погода не могла задержать Жуковского по утрам дома. В восемнадцатом—девятнадцатом годах трамваи почти не ходили, от извозчиков осталось лишь воспоминание. Жуковский каждый день отправлялся пешком на Коровий брод в Московское Высшее техническое училище, где попрежнему читал курс механики и аэродинамики. Зимой он шагал в медвежьей шубе и в бобровой шапке. Весной он выходил в старой профессорской крылатке, в широкополой серой шляпе, а в ненастье — с зонтиком и в больших резиновых ботах.

Несмотря на преклонный возраст, он много работал, совершал новые открытия. На восьмом десятке он пережил новый творческий расцвет после Великой революции. По предложению и проекту Жуковского Советское правительство в декабре 1918 года утвердило решение о строительстве ЦАГИ (Центрального аэро- и гидродинамического института). В первое время одним из помещений института была комната, прежняя столовая, в квартире Николая Егоровича — эту комнату наименовали залом заседаний. Там же, в Мыльниковом переулке, на письменном столе Николая Егоровича были составлены первые учебные программы будущей Академии Красного Воздушного Флота, которая теперь носит имя Жуковского.

Необычайно деятельный, многосторонний — «почти университет», по выражению одного из его учеников, — Жуковский в эти же годы занимался ещё множеством проблем. При его участии был организован экспериментальный институт Народного Комиссариата путей сообщения. По просьбе железнодорожников Жуковский создал ряд замечательных работ, например, «О снежных заносах», где исследовал траекторию несущейся снежинки и выяснил характер снежных отложений перед преградой и за ней. С того времени и до сих пор борьба со снежными заносами всюду происходит «по Жуковскому».

Так с новым увлечением, с вдохновением старый Жуковский служил своей родине, революционной России.

Сейчас мы видели его, как всегда, за работой. Он сидел на крыльце и исписывал листок за листком. Кругом в палисаднике всё зеленело, пахло свежестью, распускались первые веточки сирени. Поставив свои мотоциклетки, мы пошли к дому, перепрыгивая через многочисленные лужицы.

Теперь, друзья, внимание. Сейчас я должен рассказать историю, которая в наших авиапреданиях фигурирует под заголовком «Николай Егорович и строгая девочка».

Последние слова Бережкова вызвали непонятное мне весёлое оживление гостей, но рассказчик невозмутимо продолжал:

— На дорожке, ведущей к крыльцу, разлилась большая лужа. Это озадачило двух маленьких товарищей — мальчика и девочку, которые стояли перед лужей, раздумывая, как им обойти препятствие. Ребятам было лет по двенадцати-тринадцати. Они были одеты в одинаковые серые курточки, обуты в одинаковые сапожки.

Жуковский продолжал писать, не замечая детей. Девочка строго на него поглядывала. Вообще, как выяснилось, это была очень строгая девочка.

Шум мотоциклеток давно известил Николая Егоровича о нашем прибытии. Заслышав, что мы подходим к дому, он проговорил, не отрываясь от работы:

— Я сейчас, сейчас... Идите... Вся картина скольжения аэросаней мне совершенно ясна... Сейчас я о ней вам доложу.

— А разве бывают аэросани? — вдруг сказала девочка.

Николай Егорович смущённо огляделся.

— Вы ко мне, дети?

— Мы не дети, товарищ Жуковский, — поправила его девочка. — Мы к вам.

— Так проходите же, проходите... товарищи...

Тут ваш покорный слуга совершил ужасную оплошность. Видя, что мальчик ступил в лужу, направляясь напрямик к крыльцу, я осмелился приподнять серьёзную девочку и перенести её на ступеньки. Боже, каким осуждающим взглядом я был награждён.

Затем дети объяснили Николаю Егоровичу, что они являются представителями детского дома, расположенного неподалёку, представителями юных коммунистов. Мальчик говорил несмело, было видно, что его волновала встреча со знаменитым учёным. Порой он поглядывал на свою спутницу, как бы набираясь у неё решимости.

— Юных коммунистов? — переспросил Жуковский. — Интересно... Очень интересно... Чем могу служить?

— Мы просим вас сделать доклад о происхождении жизни на Земле.

— Происхождение жизни? Признаться, я не особенно силен...

— Не может быть, — перебила девочка. — Вы же известный профессор.

— Деточка... То есть, извините меня, товарищ... Я прочитаю вам лекцию о развитии авиации. Это мне ближе.

— Вы должны думать не только о себе... Пожалуйста, заострите тогда такой вопрос: авиация против религии.

— Я приду к вам и расскажу, как человек летает и будет летать. И если не подведёт электричество, мы устроим лекцию с туманными картинками.

— Обязательно с туманными! — воскликнула девочка, но, словно спохватившись, тотчас опять сделалась строгой. — Но, пожалуйста, не слишком погружайтесь в технику. Сейчас учёные должны уделять внимание общим вопросам мировоззрения.

Жуковский смиренно глядел на девочку, только глаза его улыбались.

— Постараюсь, — сказал он.

Затем юные делегаты договорились с Николаем Егоровичем о дне и часе его лекции.

Кивнув на прощание Жуковскому, ребята вскинули правые руки. Интересно, что впоследствии схожий жест стал общепринятым у пионеров.

В лице Жуковского выразилось любопытство.

— Что сие значит? — спросил он.

— Это наш знак, — ответил мальчик.

— Руку поднимаем выше головы, — пояснила девочка. Серьёзно взглянув на Жуковского, она добавила: — Чтобы всегда помнить: общественные интересы выше личных.

— Вот как! — удивился Жуковский и тоже, по примеру ребят, приподнял согнутую в локте руку. — До свидания, товарищи.

Круто повернувшись, дети стали спускаться по ступенькам. На секунду они остановились перед злополучной лужей, но, взглянув на меня, вспыхнув, девочка решительно пошла вперёд, прямо по воде, увлекая за собой товарища. Не оглянувшись, они зашагали к калитке, по возле наших мотоциклеток остановились, замерли. Они считали недостойным излишнее увлечение техникой, но пройти мимо таких притягательных, таких диковинных машин было невысказано.

Я подмигнул Ганьшину. Видя, что Жуковский опять склонился над работой, мы мигом очутились возле мотоциклеток. Сергей скомандовал мальчику:

— Садись... Покажешь дорогу к детскому дому.

Малец быстро взобрался на багажник.

Сильно робея, я предложил презиравшей меня девочке место на моём багажнике. Представьте, она согласилась...

Слушатели долго смеялись над этой историей, но поглядывали почему-то не на рассказчика, а на его жену.

11

Бережков продолжал:

— Угадайте-ка, с чего началось наше заседание? Разумеется, с того, что Сергей Ганьшин изложил некоторые свои сомнения.

Не провалим ли мы задание Совета Народных Комиссаров? Стоит ли нам браться не за своё дело — за серийное производство машин, в данном случае аэросаней? Кто из нас обладает опытом промышленного производства? Никто. В чём же, если трезво рассудить, должна выразиться наша помощь? Мы можем дать конструкцию, теорию, чертежи, расчёты, дадим даже опытный экземпляр аэросаней, а заводским производством, серийным выпуском пусть займётся какой-либо завод. Не будет ли это вернее? К тому же все мы, говорил Ганьшин, загружены и перегружены другими крайне важными делами, прежде всего созданием ЦАГИ, постройкой новых самолётов, организацией моторного отдела и так далее и так далее.

Совещание происходило в просторной тёплой кухне, которую Леночка, дочь Николая Егоровича, сумела сделать самой привлекательной, уютной комнатой большого, почти не топившегося зиму дома. Мы все уверяли Жуковского, что ни одна комната так не располагает к работе, к дружеским разговорам, как этот наш «малый конференц-зал».

Овальный стол, покрытый вязаной скатертью, плюшевая кушетка, большие старинные часы красного дерева — всё это было сейчас скрыто сумерками. Электрического тока в этот вечер все близлежащие кварталы не получили. Огонь из плиты озарял наше собрание. Другим источником света был каганец на большом блюде, поставленный на стол около Леночки, которая вела протокол на листах-четвертушках, вырванных из старых тетрадок.

Мы расположились возле плиты, на которой уже шумел чайник, обещавший нам вскоре по стакану горячего чаю. Было бы жарко, если бы в открытое окно не врывался прохладный, свежий воздух, пахнувший после дождя сырой землёй, садом.

Сидевший на кушетке Николай Егорович повернулся боком к Ганьшину, продолжавшему излагать свои неопровержимые доводы, вытаскивая носовой платок и, держа его в опущенной руке, стал машинально им помехивать. Это был явный знак, что Жуковскому пришлось не по душе то, что он слышал. В неверном полусвете нельзя было разглядеть его лица, но движение руки, в которой белел платок, заметили мы все.

У самой топки на полу устроился Ладосников. Казалось, он был поглощён лишь обязанностями истопника. Время от времени он подбрасывал в печь то берёзовые сыроватые полешки, то кусочки фанеры и досок. Он это делал ловко, умело. Вот помешал в топке кочергой, вот отодрал немного коры от берёзового полена, кинул берёсту в огонь. Она мгновенно вспыхнула, свернулась трубочкой, отсветы огня ярче заплескали на лице и на руках, испещрённых, как и прежде, мелкими шрамами, царапинами. Как-то случилось так, что из всех учеников Жуковского забступ о его нуждах в трудные годы разрухи взял на себя Ладосников. Сам крайне неприхотливый, не искавший никаких привилегий для себя, он лично доставлял Жуковскому повышенный продовольственный паёк, получал и привозил для Жуковского дрова, которые здесь же, во дворе, пилил, колол и складывал, а иногда даже притаскивал на собственных плечах связку щепы из мастерских ЦАГИ.

Сейчас Ладосников неотрывно глядит в топку. Его лицо, озарённое пламенем, кажется чудным, не таким, как обычно. Странно — чему он улыбается? Определённо, на лице то и дело возникает лёгкая, почти незаметная улыбка. Или, может быть, это лишь шутки огня?

А Ганьшин продолжает говорить, находит всё новые доводы. Гусин — наш неуёмный славный «Гуся», — щеголявший в ту пору в грубошёрстном свитере и огромных, так называемых «австрийских» ботишках, не выдерживает, вскакивает, пытается перебить Ганьшина. Но профессор Август Иванович Шелест, который по просьбе Николая Егоровича вёл собрание, неизменно останавливает Гусю, охраняя права оратора.

Когда Ганьшин закончил, Шелест попросил всех помолчать и заговорил сам. Как всегда остроумный, чуть поседевший, но всё ещё молодой, он с тонкой усмешкой начал своё слово.

— Я берусь предсказать, — заявил он, — что произойдёт, если мы, по совету уважаемого Сергея Борисовича Ганьшина, передадим заказ на аэрсанеи какому-нибудь заводу. На заводе обязательно найдётся свой Ганьшин. И знаете, что он там скажет? «У меня, товарищи, есть серьёзные сомнения. Не провалим ли мы задание Совета Народных Комиссаров? Стоит ли нам братья не за своё дело? Зачем нам строить то, что сконструировано не нами?»

Под общий смех Шелест продолжал свою саркастическую речь. Он превосходно показал, что предполагаемый заводской Ганьшин предложит, исключительно ради интересов дела, переслать заказ правительства снова Николаю Егоровичу Жуковскому и его ученикам, конструкторам аэросаней.

— А в итоге армия, — говорил Шелест, — останется без аэросаней. Времени у нас не много, всего до первого снега, до зимы. Предлагаю поэтому подшить к делу сомнения уважаемого Сергея Борисовича и приступить к производству аэросаней нашими силами... И дать их в срок...

Так остроумно и абсолютно убедительно Шелест разбил Ганьшина. Впрочем, наш посрамлённый скептик недолго переживал поражение. Под конец он махнул рукой и стал смеяться со всеми.

12

Николай Егорович был доволен.

И только Ладосников... Вот удивительно! Несколько минут назад он как будто улыбался. А сейчас, когда все смеялись, он единственный сидел без всякого признака улыбки. Сидел, кидал в огонь кусочки фанеры и берёсты, смотрел, как они свёртывались от жары.

Жуковский обратился к нему:

— Михаил Михайлович, как твоё мнение на сей счёт?

Ладосников повернул голову к Николаю Егоровичу и некоторое время молча смотрел на него, потом быстро встал.

— Простите, Николай Егорович... Я всё прослушал. Думал о другом.

— Может быть, позволительно узнать о чём?

— Николай Егорович, не гневайтесь... Я давно ломаю себе голову, а сейчас сообразил... Сообразил, как сделать прочную конструкцию из фанеры. Трубчатая конструкция — вот решение! Лёгкие полые трубки из фанеры... Словно трубчатые кости птиц...

Николаю Егоровичу было трудно сердиться на своего любимца, особенно в такой момент, когда тот узрел в воображении новую конструкцию. По должности Ладошников в то время был преподавателем на курсах красных лётчиков. Эти курсы, первые в республике, возникли в 1918 году при участии Жуковского. Но главным в жизни Ладошникова было иное. Его увлекло создание ЦАГИ. Вместе с другими учениками Николая Егоровича он разрабатывал проект этого исследовательского института авиации, а потом, после того как правительство утвердило проект, каждый день, чуть ли не с рассветом, а зимой даже и затемно, приходил в выделенное институту помещение, где был оборудован отдел опытного самолётостроения.

Теперь ему уже не было надобности запродаваться какому-нибудь коммерсанту, зависеть от жалких подачек. Теперь не в промозглом ангаре с кустарной мастерской в углу, а в центральном научном институте авиации, которому, несмотря на отчаянную разруху, молодая Республика давала материалы, средства, топливо, Ладошников создавал свой новый самолёт. Приноравливаясь к возможностям, он работал над конструкцией лёгкого, быстроходного боевого самолёта, несложного в производстве, сделанного из самых доступных материалов. Одновременно он проводил разные свои исследования в нашей старой аэродинамической лаборатории.

— Интересно,— произнёс Жуковский. В его голосе уже не слышалось ноток недовольства.— Очень интересно... Об этом мы с тобой ещё поговорим. А пока сообщу для твоего сведения, что все собравшиеся здесь единодушно...— Жуковский взглянул на Ганьшина, и тот смущённо кивнул,—...единодушно решили взяться за постройку аэросаней для Красной Армии.

— Правильно. Поддерживаю. Но я, Николай Егорович, буду заниматься самолётом...

— Конечно, будешь. Но сейчас мы решаем вопрос об аэросанях. Нас интересует одно: твоё участие в этом деле.

— Николай Егорович, я не смогу... Не смогу отвлекаться...

Жуковский ничего не ответил. В полусумраке мы видели его грузноватую фигуру, патриархальную седую бороду, огромный куполообразный лоб. Носовой платок, который он держал за самый кончик опущенной рукой, снова заходил.

На этот раз никто не стал удерживать Гусю. Вскочив, он воскликнул:

— Зачем же ты пришёл? Ведь мы с тобой изобретатели аэросаней!.. Мы с тобой первые в России, первые в мире поехали на аэросанях... И если уж ты отказываешься, то кто поверит в это дело? Скажи, пожалуйста, зачем же ты пришёл?..

— Будем считать меня отсутствующим.

Ладошников подошёл к столу, взглянул на список присутствующих, аккуратно составленный нашим секретарём, отобрал карандаш у оторопевшей Леночки и вычеркнул свою фамилию.

— Мало ли что я придумывал,— пробурчал он.— Тот же вездеход... Но на него потом не отвлекался...

Вот тут-то и заговорил Николай Егорович. Заговорил очень тонким голосом, тончайшим фальцетом, что с ним случалось, когда что-либо возмущало его до глубины души. Он даже перешёл на вы.

— Вы позволяете себе считать, что в трудное для страны время вам дано право отсутствовать?

— Николай Егорович, впервые в жизни я получил полную возможность делать то, что я хочу...

— А... Вы убеждены, что великие события в истории нашей родины произошли лишь для того, чтобы дать вам возможность конструировать то, что хочется... На каком же основании? На том, что вы обладаете талантом? Но талант, милостивый государь, это обязанность! Обязанность перед народом!

Оборвав свою отповедь, Жуковский помолчал и вдруг мягко добавил: — Ты помоги товарищам. И на самолёт у тебя время останется...

Ладошников неожиданно расхохотался. Он снова взял злополучный карандаш и чётко вписал свою фамилию. Потом в скобках поставил две буквы: М. Г. Леночка спросила о значении этих букв.

— Это значит «милостивый государь», — сказал Ладошников и вновь рассмеялся.

— И знаешь, Миша, — самым мирным тоном произнёс Николай Егорович, — почему бы тебе не соорудить аэросани трубчатой конструкции? Будем рассматривать аэросани, как бескрылый фюзеляж самолёта. Ну-ка, как покажут себя там твои трубки из фанеры?.. Леночка, чайку бы...

Леночка стала разливать чай. Николай Егорович взглянул в раскрытое окно, с удовольствием втянул носом весенние запахи сада и, улыбаясь, сказал:

— А хорошие были эти ребятки из детского дома. Девушка очень серьёзная. Как это она? Общественное выше личного.

И Жуковский чуть приподнял над головой свою старческую руку.

В тот же вечер я вписал в тетрадь, куда заносил разные понравившиеся мне афоризмы, изречение Николая Егоровича: «Талант — это обязанность».

13

Так создалась наша комиссия. Она называлась «Компас» — комиссия по постройке аэросаней.

Я тоже был включён в состав комиссии, участвовал в обсуждении множества организационных и технических вопросов, выдвигал разные предложения, иной раз, поглощённый другими занятиями, пропускал заседания, то есть, говоря по правде, лишь походя помогая делу.

Однако месяца через два после учреждения «Компаса» у меня опять появилась Ганьшин. Опять прозвучал его возглас:

— Бережков, ты нужен! Погибаем без тебя!

Надо сказать, что Ганьшин стал мало-помалу энтузиастом «Компаса». Вам, если не ошибаюсь, уже известна эта особенность моего друга: он сначала сомневается, киснет, брюзжит, потом соглашается, потом влезает в дело с головой.

Мы с ним отправились на внеочередное заседание «Компаса». На заседании все переругались, потому что дело не ладилось, а когда дело не ладится, люди обязательно переругаются. Но выяснилось следующее. Аэросани, как я уже упоминал, изобрели два друга, два русских конструктора — Ладошников и Пантелеймон Степанович Гусин. Гусин был одним из способнейших учеников Жуковского, милейшим человеком, бесстребником. Как сказано, он был изобретателем, однако таким, которого нельзя подпускать на пушечный выстрел к мастерским. Раньше, чем там успеют что-нибудь построить, у Гусина рождаются новые идеи, он прибегает в мастерские, ввёт чертежи и суёт другие. Так строили, строили, и ничего не выходило.

На заседании в конце концов решили, что нужен главный конструктор, который поставит производство. Пост главного конструктора был

предложен мне. Я сказал, что внимательно ознакомлюсь с положением на месте и завтра дам ответ.

На другой день я отправился в мастерские, где уже и раньше не однажды побываю.

В мастерских стоял дикий холод и полнейший хаос. Я обнаружил там Гусина, который ходил среди верстаков, хватал у рабочих инструмент и начинал сам пилить или строгать.

На первый взгляд казалось, что дело совершенно безнадежно. Но я всегда был стихийным оптимистом, всегда верил, что можно одолеть все трудности.

Вечером на заседании «Компаса» я заявил, что если мне окажут доверие, дадут полную, непререкаемую власть в мастерских, то я берусь организовать производство аэросаней. Вопреки протестам Гусина, это было принято.

Комиссия решила отстранить Гусина от производства и предоставила мне право единолично принимать все решения в мастерских, технические и организационные. Меня назначили директором заводууправления «Компас».

Впервые в жизни я полностью отвечал за дело. И тут, отвечая головой, делая ошибки и исправляя их, я прошёл настоящую жизненную и техническую школу. «Компас» был для нас школой. И не только школой...

Какое знаменательное слово «Компас», правда? Для меня оно — это слово и это дело — было поистине компасом: оно, как намагниченная стрелка, указало мне, — ещё не знавшему самого себя, не знавшему, что я хочу и что могу, — указало: вот твой путь!

Впрочем, я понял это лишь значительно позднее, после многих событий, которые в своё время будут вам изложены.

14

А теперь скажу всё что. С юности я был не только изобретателем, не только витал в фантазиях, но вместе с тем был человеком практики.

Ещё до «Полянки» я прошёл дьявольскую школу у Жуковского. Мы — несколько студентов, участников авиационного кружка, — вместе с Жуковским собственными руками выстроили его аэродинамическую лабораторию. Мы пилили, вытачивали, слесарили, мастерили из дерева и из железа. Всё оборудование там было сделано нашими руками.

Когда мне теперь приходится иногда бывать в том помещении, где зародилась лаборатория имени Жуковского, ныне безмерно разросшаяся, эти посещения страшно волнуют, потому что, глядя на какое-нибудь устройство, вспоминаешь, как когда-то сам это мастерил. Ведь в этой лаборатории, где ты строгал доски и забивал гвозди, потом учились, прошли курс сотни и тысячи студентов, ныне лётчиков и инженеров авиации.

Далее следовала уже известная вам эпопея мотора «Адрос» в триста лошадиных сил. Причём должен сказать, что этот мотор вовсе не был похоронен после крушения Подрайского, после развала покинутой всеми «Полянки». В течение двух лет в сарае Высшего технического училища мы с Ганьшиным время от времени собственными руками крутили его. Обливаясь потом, изнемогая от усталости, мы вручную запускали его для того, чтобы он, сделав несколько сот или тысяч вспышек и при этом начав так, что в сарае нельзя было дышать, через несколько минут заглох или сломался.

Мы исправляли его и снова, как мученики, запускали. На этом мы так развили себе мускулы, что рукава чуть не лопались от бицепсов.

Вот что такое школа конструктора! Надо почувствовать технику не только в лаборатории, в учебниках, на чертежах, но и собственной спиной, собственными бицепсами.

Миски, сколь бы они ни были презренны, тоже многому меня научили. Это тоже была неплохая школа — моя первая школа массового производства. Штампуя миски, я понял, что с массовым производством шутить нельзя. Вы повольничали, понервничали, ошиблись, и вся партия в несколько тысяч штук выходит в брак.

Но аэросани — это не миски. Мне доверили ответственное военное задание, новое заводское производство. Здесь закрепились, утвердились во мне качества и хватка практика. Здесь я вполне осознал истину, что дело конструктора не только чертёж, не только конструкторский замысел, но и производство, но и вещь в металле, со всей её последующей судьбой. Дальше вы увидите, что на другом, решающем этапе моей жизни это сыграло огромную роль.

Так некоторыми счастливыми обстоятельствами своего развития я был подготовлен к тому, чтобы понять, что нашу страну преобразуют, превратят в великую индустриальную державу не только изобретения, но, главное, заводы, множество заводов, массовое, серийное производство машин; понять, что нам нужна фантазия, нужна мечта, нужно преодоление невозможного, но преодоление невозможного в серийном, обязательно в серийном масштабе.

15

В мастерских моё первое распоряжение было таково: никаких улучшений, никаких усовершенствований, никаких изменений в чертежах, пока из мастерской не выйдет первая партия аэросаней.

Быть может, самое трудное, самое мучительное испытание для конструктора — не поддаться соблазну сделать лучше, когда конструкция уже запущена в серию.

Милейший Гусин продолжал чуть ли не каждый день приносить усовершенствования, иногда адски соблазнительные. Из меня тоже буквально фонтанировали новые блестящие идеи, я в воображении видел, осязал новые потрясающие конструкции аэросаней, иногда я ловил себя на том, что рука вычерчивает эскизы, и я рвал и прятал чертежи; «наступал на горло собственной песне», не позволял ни себе, ни кому другому вносить ни одной поправки, пока не будут готовы первые десять машин, которые мы строили для Красной Армии.

Это был период, когда во мне закалялся дух конструктора. Я иногда мечтаю написать книгу под таким названием «Как закалялся дух конструктора».

И, представьте себе, буквально через месяц, к первому снегу, мы выпустили десять аэросаней, десять машин, крайне несовершенных, без тормозов, с плохонькими моторами Холл-Скотт, но всё-таки машин, на которых можно ездить, хоть очень трудно остановиться.

Только теперь я понимаю, как я был прав тогда. Только теперь, будучи главным конструктором завода, выпускающего авиационные моторы, я понимаю, что достаточно поколебаться, отступить перед трудностями, склониться к мысли, что эту вещь лучше бросить, а сделать вместо неё новый мотор, — «перекинуться», как я называю, на новый мотор, — достаточно поддаться этому соблазну, и вы погубили свой мотор, своё доброе имя конструктора, вы и завод пустили под откос.

«Компас» для меня — чудесное время закали.

В бывших конюшнях роскошного ресторана я работал до двенадцати, до часу ночи, потом садился на мотоциклетку и, усталый, но ощущающий подъём и счастье творчества, уезжал домой. Вскоре я совсем переехал на жительство в «Компас», облюбывал себе комнатку в подвале, рядом с котельной, где было теплее, и почти полгода не появлялся дома.

Помню, я сочинил чуть ли не целую поэму под названием «Компас». У меня, к сожалению, она не сохранилась, но у Пантелеймона Гусина, наверное, есть...

16

Бережков взглянул на часы. Было около двух.

Он плутовски подмигнул и сказал:

— А не потревожить ли нам Гусю? Он такой добряк, что не рассердится. Пусть по телефону прочтёт мою поэму, мы её запишем.

Бережков достал из кармана записную книжку, нашёл фамилию Гусина, повторил два раза вслух номер телефона и, откинув с аппарата подушку, поднял трубку. Дождавшись голоса телефонистки (в Москве тогда ещё не было автоматического телефона), он вдруг, вероятно неожиданно для самого себя, назвал совершенно другой номер.

— Алло. Это Бережков. Я сплю. Клянусь, что сплю. Даю слово, как только скажете, сейчас же опять засну. Что? Над Уралом? Как мотор? Спасибо. Засыпаю, сплю...

Он положил трубку. Его глаза блеснули. Я видел, что его прошибла слеза волнения, но он, сдерживая себя, спокойным тоном объявил:

— Летят над Уралом. Там уже светает. Земли не видно. Из облаков торчат вершушки гор. Моторная часть работает великолепно.

С минуту он помолчал, потом снова взял трубку, назвал номер телефона Гусина:

— Пантелеймон Степанович? Разбудил тебя? Это Бережков. Спал? Тогда извини, бросай трубку, переворачивайся на другой бок — ничего спешного. Всё-таки хочешь знать? Не надо, не хочу тебя тревожить... Что? Да, только что получили от них последние сообщения. Извини, засыпай, узнаешь утром. Очень хочется? Но только при одном условии. Разыщи мою поэму «Компас» и прочти мне по телефону. Или нет — отложим, Гуся, до утра. В один момент разыщешь? Стоит ли? Не надо.

— Ну, скажу, скажу, что с тобой сделаешь, — продолжал Бережков в трубку. — Летят над Уралом... Там уже показалось солнышко. Земли не видно. Из облаков торчат вершушки гор. Садиться, Гуся, некуда. Но мотор рокошет, всё в порядке. Они передают: моторная часть работает великолепно. Не сплю, не могу заснуть... Тут у нас ночь воспоминаний. Хорошо, давай поэму, жду.

Бережков победоносно повернулся к нам:

— Ищет, — смеясь, объявил он.

Измучаясь, я смотрел на Бережкова. В течение последних двух-трёх минут промелькнули разные грани его личности. Только что в нём всколыхнулись поистине высокие чувства, но тотчас же, в разговоре с Гусиным, появился совсем другой Бережков: Бережков-хитрец, Бережков-дока. У нас на глазах, как по нотам, он разыграл своего Гусю. Нельзя было не улыбнуться, увидев, как искренне расстроился конструктор мощных моторов, узнав, что Гусин не разыскал поэмы.

— Припомни хоть что-нибудь, — потребовал Бережков. — Неужели ничего не осталось в памяти?

Тут же он, просяив, сообщил нам.

— О себе-то Гусенька запомнил!

Гусин, видимо, стал по памяти приводить отрывок. Повторяя за ним, Бережков со вкусом прочёл строфы, которые рассказывали, как Гусин демонстрировал тормоза своей конструкции.

— Я начинаю! — крикнул Гусин и на педали враз нажал.

Хотя напор был очень силен, но тормоз доску не прижал.

— Ах, не прижал? Ну, и не надо, — он равнодушно нам сказал. —

Так я нажму вторично, слабо. — И из последних сил нажал.

Катил с него пот крупный градом. «Компас» от хохота стонал,

А тормоз, как под вражьем флагом, недвижно-мертвенно стоял.

— Славно? — спросил Бережков присутствующих.

— Ладно, ложись спать, — милостиво разрешил он Гусину. — Ещё раз извини, дорогой.

17

— Буду, как обещано, придерживаться хронологической последовательности, — продолжал Бережков. — Первую партию аэросаней, выпущенную к первому снегу 1919 года, мы не решились сдать Красной Армии — это было бы преступлением, — но, запустив в производство вторую партию, несколько усовершенствованную, сами мы, члены «Компаса», на свой риск и страх с увлечением испытывали аэросани, курсируя во всех направлениях, устраняя всяческие неполадки, нередко терпя и аварии. В иных случаях, как я уже, кажется, докладывал, приходилось раздобывать лошадей и с позором волочить аэросани в мастерские.

На таких санях я и повёз члена Реввоенсовета. С вашего разрешения напомним предисторию этого события.

И Бережков сжато рассказал о том, что уже было известно мне; о том, как председатель «Компаса» профессор Шелест, взяв телефонную трубку, вдруг изменился в лице; как на заседании водворилось полное уныние; как Шелест воскликнул, юмористически блеснув глазами: «Мы забыли, что у нас есть Бережков»; как члены «Компаса» провозились всю ночь над предназначенными для поездки аэросанями; как при выезде из ворот был разбит пропеллер.

— От Кутафы, — продолжал рассказчик, — мы тронулись около семи часов утра. Миновав Серпуховскую площадь и Даниловку, аккуратно проскользнув сквозь тесный проезд под мостом Московской окружной железной дороги, я вывел сани, как мне было сказано, на Серпуховское шоссе. Стоял сильный мороз при ясном небе. Навстречу выкатилось красноватое солнце, не режущее глаз. Сани легко скользили по широкой пустынной дороге. Позади осталось несколько фабрик и заводов, расположенных в Нижних и Верхних Котлах. Редко-редко кое-где курилась одна-другая заводская труба. Над остальными не виднелось дымков; в те годы царила разруха, не хватало топлива, множество предприятий было заморожено.

Сани легко скользили по широкой пустынной дороге. За Верхними Котлами, как хорошо известно московским автомобилистам, идёт очень крутой спуск.

Взлетев на гребень, я увидел, что навстречу движется в гору длиннейший обоз. Сблизившись, я спокойно налёг на руль, чтобы обойти обоз справа, но передняя лошадь в этот момент обезумела при виде летящего на неё чудовища с быстро крутящимся, сверкающим на солнце пропеллером (на аэросанях, как я уже говорил, пропеллер укреплен позади, но его длинные лопасти, обшитые медью, сливающиеся при вращении в прозрачный сияющий диск, видны и встречным). Обезумев, лошадь кинулась в ту сторону, куда я плавно направлял сани, и преградила дорогу.

Тормоза ненадёжны, затормозить нельзя. Я резко повернул и... — в такие моменты соображаешь молниеносно — дал полный газ. Мотор взревел, скорость сразу прыгнула. Я попытался на крутом вираже обойти взбесившуюся лошадь. Правый полоз оказался над канавой. Чтобы привести сани в равновесие, я всем телом сделал бросок влево, и на меня тотчас смаху навалился Ганьшин, понимавший жуть момента. Сани накрепко наклились, и правый полоз в вираже несколько мгновений оставался в воздухе.

Всё это происшествие заняло лишь две-три секунды — правда, очень отчётливые, как всегда при серьёзной опасности, — затем мы опять мирно заскользили по шоссе. Вдруг я почувствовал, что кто-то хлопает меня по

плечу. Обернувшись, я увидел чёрные весёлые глаза нашего пассажира. Он подался ко мне и прокричал на ухо, чтобы я услышал в шуме мотора: — Молодец! Я первый раз сегодня полетал.

Сразу стало веселее вести сани.

Мы проехали несколько деревень и опять стали спускаться с горы. На горах нас всегда подкарауливал рок. Как гора — обязательно приключение.

Я стал осторожно спускаться, притормаживая своеобразным способом: положив один полоз в санную колею, а другой — в рыхлый снег обочины. Спускаясь, мы обогнали буро-пегую лошадку, запряжённую в розвальни, на которых сидел бородач, разглядывавший нашу машину.

Мы медленно скользили. Под горой виднелась деревня. Над запорошёнными крышами вились мирные дымки. Чудесно голубело небо. И вдруг...

Я услышал — трах! Какой-то неприятный сухой треск. Машину затрясло, и в ту же минуту сзади раздался дикий вопль.

Выключив мотор, я уперся во все тормоза, перевёл и другой полоз на обочину, ибо на малой скорости в рыхлом снегу тормоза кое-как действовали, и, прокатившись около сотни метров, всё-таки остановился.

Поглядев назад, я увидел непонятную картину: крича во всю глотку, размахивая руками, возница топтался около лошади, недвижно лежавшей на снегу. Одновременно я с ужасом заметил, что одна из лопастей пропеллера имеет необычный вид: у неё недостаёт примерно одной трети; вместо изящно закруглённого конца торчит оборванная обшивка и обломанное дерево.

Что за чертовщина? Ехали как будто осторожно, никаких твёрдых тел не задевали и вдруг — пропеллера нет.

Я вылез из саней, осмотрелся и неподалёку от лошади увидел на дороге какой-то блестящий предмет — это был обломок нашего пропеллера. Но я увидел и другое. Размахивая кнутом и что-то крича, к нам бежал возница.

Из его воплей и ругательств мы уяснили, что наш пропеллер убил лошадь. Оказывается, когда мы медленно спускались, возница полюбостраивал разглядеть поближе, что за чудо-юдо проскользнуло около него, и, нахлёстывая лошадь, стал нагонять нас. Пропеллер, укреплённый на аэросанях сзади, при вращении сливается в прозрачный поблёскивающий круг, и неопытному взгляду почти незаметен, особенно против солнца. Получив кнута, несчастная лошадушка, несясь под гору, сумела нас догнать, и её голова попала под пропеллер.

Я покосился на члена Реввоенсовета. Он сидел, приоткрыв заднюю дверцу и полуобернувшись к бородачу. В ответ на мой взгляд у него вырвалось:

— Вот угораздило!

Возница кричал, что лошадушка у него одна, что он получил её от комитета бедноты, когда делили барское имение, что теперь без лошади ему лучше не жить на белом свете, а пойти с вожжами в лес и там повеситься.

На его крик стал выбегать народ из близлежащих изб. В короткий срок мне стало ясно, что дело принимает плохой оборот.

Я сжал руку Ганьшину и шепнул:

— Немедленно отъезжаем!

Сказать-то я сказал, а сам подумал: как же мы будем запускать мотор, когда кусок пропеллера валяется где-то на дороге? Всем известно, что неуравновешенность пропеллера вызывает колоссальное биение винтомоторной группы, что мотор при таких условиях может просто отскочить. Однако приказываю:

— Ганьшин, запускай!

— Что ты? Как тут запускать?

— Запускай! Видишь, что творится.

Не вступая в перебранку, не отвечая на выкрики и на вопросы из толпы, я решительно направился на своё место, но меня остановил член Реввоенсовета.

— Куда вы?

Я поспешно ответил:

— Надеюсь, удастся стронуть машину под гору. Кое-как отмахаем версты три, а там посмотримся.

Член Реввоенсовета посмотрел на меня пристальным недоумевающим взглядом. И вдруг его смуглое лицо, раскрасневшееся на морозе, покраснело ещё гуще. Это был мгновенно охвативший его гнев. Однако я не успел осознать этого, ибо тут стряслось ещё одно происшествие: внезапно раздался детский плач и крик.

Как потом выяснилось, Ганьшин заметил, что из-под саней торчат две пары шевелящихся валенок. Он тотчас выволок за ноги двух мальчуганов, которые, пользуясь моментом, забрались под диковинные сани, где можно было поглядеть, потрогать, повертеть всякие любопытнейшие шестерни и гайки.

Мальчишки заорали; гул толпы сразу стал враждебнее; выделялся чей-то голос, настойчиво повторявший, что за убитую лошадь надо снять с нас шубы. Я видел, что в толпе эта мысль воспринималась, как вполне деловое предложение. И я снова крикнул:

— Ганьшин, запускай!

— А как же с лошадьё? И с этим дядькой?

— Запускай!

Член Реввоенсовета, быстро высвободившись из овчинного тулупа, соскочил с саней. Он стоял передо мной в длинной кавалерийской шинели, которая оказалась под тулупом, в будёновке, распахнутой у подбородка. Существует выражение: «глаза метали молнии». Пожалуй, в тот момент я впервые увидел, ощутил, как это бывает. Гневное, возмущённое сверкание его чёрных, на редкость больших глаз заставило меня отвести взгляд.

— Как вы посмели? — вскричал он. — Опозорить себя бегством? Удрать? Кто же вы, чёрт возьми, такой? Откуда у вас это?

Он был возмущён, и всё в нём — слегка откинута голова, складка губ, ставшая сразу отчуждённой, неприязненной, и даже, казалось, крылья горбатого нервного носа, — всё, всё выражало это движение души.

— Откуда у вас это? — повторил он. — Такая бесчеловечность, полное равнодушие к человеку?

Я слушал, потупившись... За меня вступился Ганьшин.

— Товарищ комиссар, надо принять во внимание...

— Что? — резко спросил член Реввоенсовета.

— То, что он отвечает за благополучный исход и безопасность поездки. А также и за вашу безопасность, товарищ комиссар.

— Не ищите оправданий для постыдного бегства!..

Круто оборвав разговор, член Реввоенсовета повернулся к крестьянам, стоявшим близ саней.

Тем временем обстановка изменилась. В толпе слышали, как он, никому здесь не известный военный, говорил со мной. Этого оказалось достаточно. Угрожающий гул затих. Бородатый дядька, лишившийся лошади, перестал размахивать кнутом и, заметно успокоившись, подошёл к нашему пассажиру.

Я мрачно стоял около саней. Как же я повезу его дальше? Неужели не сдвинемся? Осмотрел пропеллер. Нет, двигаться нельзя, если не придумать чего-нибудь невероятного.

Вскоре прибыла наша связная мотоциклетка. На седле, держа подмышкой обломок пропеллера, подобранный в снегу, сидел прозябший паренёк, Федя Недоля, которого я взял в эту поездку.

— Вот он! — неожиданно воскликнул Бережков и указал на одного из своих гостей.

Это был тот самый синеглазый, светлорусый человек с очень нежным, почти девичьим лицом, с виду лет тридцати—тридцати двух, в летнем сером костюме, человек, у которого при рукопожатии обнаружилась такая крепкая, не соответствующая, казалось бы, нежному лицу, широкая в кости, сильная рука.

— Я, кажется, забыл его представить,— продолжал Бережков.— Фёдор Иванович Недоля, мой друг, а теперь и мой первый заместитель в конструкторском бюро.

Тот ничего не сказал, но лицо чуть порозовело.

— Покраснел! — засмеялся Бережков.— Если бы вы знали, как он краснел мальчишкой. Во времена «Компаса» мы с ним построили трёхколёсный автомобиль с мотоциклетным мотором и с фанерным кузовом. Представьте, эта штука бегала. Я её прозвал «беременная каракатица». Но Федя ни разу не произнёс этого названия и всегда краснел, когда я так именовал нашу диковинку. Ему было тогда пятнадцать лет, он работал у нас учеником слесаря и был необыкновенно любознательным и сообразительным парнишкой. Я перевёз в мастерские мой «Адрос» и время от времени пытался там запускать его. Этот мотор в триста лошадиных сил притянул Федю. Много вечеров после рабочего дня он то со мной, то с Ганышиным, а потом и сам разбирал и собирал «Адрос», вытачивал для него во внеурочные часы разные детали. Иногда в котельной «Компаса», где я устроил себе пристанище, он засиживался у меня за полночь, слушал всякие мои фантазии и, случалось, краснея, показывал собственные чертежи. Он задумал тогда потрясающую... Ну, Фёдор Иванович, не буду, не буду... Знаешь, каким ты был в тот день, когда, держа подмышкой обломанный кусок пропеллера, слез с мотоциклетки?

Разрешите, друзья, я вам опишу того Недолю. На нём были чёрные обмотки, из-за чего он казался тонконогим, и огромные, не по ноге, солдатские ботинки, которые шнуровались сырмятными ремешком. Они были хороши в мороз, когда требовалось обернуть ступню газетой и суконкой, надеть вязаные тёплые носки. Но Федя всё-таки продрог. Аккуратно перешитая солдатская шинелька, конечно, плохо грела. Над коротким носиком, заалевшимся от встречной позёмки, от стужи, который Федя то и дело вытирал,— то-бишь, Феденька, прости — то и дело оттирал толстой рукавицей, торжественно торчало остриё красноармейского стёганного на вате шлема-будёновки, явно слишком большого для его головы.

Вот таким был тогда наш Фёдор Иванович! Сойдя с мотоциклетки, он посмотрел на изуродованную лопасть, потом на меня и побежал ко мне, протягивая обломок, словно я мог приклепать или пришить этот оторванный кусок. И, представьте, было видно по его глазам: он верит, что я немедленно что-то соображу, придумаю, найду.

Нет, ничего не придумаешь! В ответ на расспросы Феде я лишь сквозь зубы выругался. Взятыми с собой одеялами мы закутали мотор, чтобы сохранить его теплоту. Я проделывал это мрачно, ибо никаких надежд на продолжение поездки не было.

А наш пассажир, опять подойдя к саням, о чём-то живо разговаривал с обступившими его людьми — повидимому, отвечал на их расспросы. Но я не посмел даже прислушаться. Меня жгла мысль: как же быть, неужели мы не сдвинемся?

Федя ждал моей команды. Притопывая ногами не то от холода, не то от нетерпения, он всё смотрел на меня своим верящим взглядом, надеялся, что я вот-вот скажу: «за работу, делать то-то».

Нет, ни черта не подделаешь! Неужели я сейчас пошлю его в Москву на мотоциклетке с сообщением об этом злосчастном происшествии? Язык не поворачивался произнести такое приказание. Неужели я так и посрамлю перед членом Реввоенсовета нашу работу, наши сани, весь наш «Компас»? А народ, крестьяне, собравшиеся тут? Для них эти невиданные аэросани являлись, конечно, в какой-то степени символом революционного города, Москвы, нового мира! Эх, чёрт возьми, как нехорошо...

И вдруг сверкнула идея. А что, если изуродовать и другую лопасть, отпилив от неё равный кусок? Не уравновешу ли я этим пропеллер? Нет, это маловероятно. Таких случаев, таких операций, насколько я знал, ещё нигде не бывало. Ну и что же, почему не попробовать?

Через мгновение со всем свойственным мне пылом я был уже абсолютно убеждён, что нашёл правильный выход, абсолютно поверил в успех.

— Федя, — крикнул я, — постарайся найти как можно быстрее поперечную пилу!

— Зачем, Алексей Николаевич?

— Быстрее, быстрее... Объясню потом...

Но Федя уже сообразил.

— Уравнять? — проговорил он.

— Да, да... Лети...

Федя понёсся. Член Реввоенсовета обернулся. Я подошёл к нему. Мне всё ещё было неловко после тех резких, гневных слов, которые я от него услышал.

— Товарищ комиссар, сейчас мы кое-что сделаем с пропеллером. Минут через пятнадцать, надеюсь, можно будет ехать.

— Ехать? Насколько я понимаю, с таким пропеллером двигаться нельзя.

Я вскинул голову.

— Двинемся! Двинемся и доберёмся куда надо.

Наш пассажир опять посмотрел на меня пристально, посмотрел так, будто увидел меня наново. На его лице, так изумительно передающем движения души, проступило выражение заинтересованности.

— Посмотрим, — сказал он, — как это вам удастся.

Нетерпеливо поджидая Федю, я подошёл к мотору и, сунув под одеяло руку, с тревогой проверил, не остыл ли мотор.

19

Я нервно ждал: скоро ли явится Федя? Наконец он примчался с пилой.

Я залез на мотор, Федя встал внизу, и мы принялись перепиливать здоровую лопасть, чтобы отрезать от неё точно такой же кусок, какого не хватало у противоположной. Пилить пришлось по медной обшивке, и я один раз хватил себе пилой по пальцам. Показалась кровь, но в горячке я не чувствовал боли. После дьявольских усилий медь всё же подалась, и обе лопасти оказались одинаково изувеченными.

— Прощу садиться, — обратился я к члену Реввоенсовета.

Он посмотрел на пропеллер и недоверчиво покачал головой. Я твёрдо повторил:

— Прощу садиться. Сейчас тронемся.

А сам подумал: вдруг не тронемся? Но смело сделал приглашающий жест.

С мотора были сняты одеяла и тулуп. Наш пассажир подтолкнул мужичка в сани и сел рядом с ним, как бы говоря своим весёлым видом: всё будет отлично.

Занял своё место и я. Ганьшин встал у пропеллера. Ну, теперь будь что будет. Я прокричал:

— Запускай!

Запускали мы обычно так. Ганьшин подпрыгивал, цеплялся руками за верхнюю лопасть и, увлекая пропеллер весом своего тела, делал четверть оборота; затем, выпрямляясь, — вторую четверть и кричал: «Контакт!» Я отвечал: «Контакт!»—и давал газ. Мотор или забирал, или не забирал. Говоря по правде, почти в ста случаях из ста он не забирал. Тогда мы опять и опять начинали заново; опять и опять перекликались: «контакт» — «контакт», пока наконец не раздавался первый выхлоп.

Однако на этот раз нам адски повезло. Мотор был ещё тёплый и забрал сразу, причём как-то особенно бойко и весело.

Воздух сотрясся частыми оглушительными выхлопами, и народ в первый момент шархнул, как от пулемёта. Я осторожно прибавил газку и легко сдвинул машину, благо она стояла на спуске.

Сани плавно убыстряли ход. За нами в восторге побежали мальчишки. Ганьшин догнал сани на ходу и, перевалившись через борт, сел рядом со мной. Я показал Ганьшину поднятый большой палец. У нашего брата, механика, это означает: «на большой», «на ять», «великолепно». Пропеллер был уравновешен. Я поддавал и поддавал газку, поднимая скорость. В какой-то момент я оглянулся. Все глядели нам вслед. Впереди толпы, положив одну руку на руль мотоциклетки, стоял Недоля в своей старенькой перешитой шинельке. Великоватую ему будёновку он сдвинул на затылок, чтобы не мешал большой суконный козырёк, и восторженно смотрел, как вертелись укороченные лопасти, уже сливавшиеся в единый почти прозрачный круг, как удалялись сани.

На миг я взглянул назад. В глазах члена Реввоенсовета я уже не прочёл неприязни. Как видно, его сердце отошло. Он одобрительно кивнул и, слегка отогнув воротник шубы, улыбаясь, что-то крикнул мне. По движению губ я видел, что это было одно какое-то слово, но не разобрал его в гуле мотора. Мне, однако, почудилось — впоследствии я тут не ручался за точность,— почудилось, что он крикнул:

— Контакт!

И я, уже опять повернувшись к ветровому стеклу, глядя на быстро набегающую снежную дорогу, во всю глотку проорал в ответ:

— Контакт!

Ганьшин подозрительно покосился на меня, но ничего не проговорил.

20

Замолчав, рассказчик встал, подошёл к окну и некоторое время вглядывался в ночную Москву, в мерцание её редких в этот час огней. Затем Бережков резко повернулся и сказал:

— Попробую воскресить настроение тех минут.

...Впереди, за ветровым стеклом,— всё снег и снег. От бесконечного белого блеска порой набегают слеза. Давно наш бородач сошёл в каком-то большом селе. Член Реввоенсовета вместе с ним побывал в исполкоме и вернулся в сани.

Мы несёмся и несёмся по Серпуховскому шоссе, по накатанной санной дороге. Иногда глаз отдыхает на мелькающих избах, дымках, на далёкой темнеющей полосе леса, который вдруг, не успеешь оглянуться, уже встал по обочинам, навис лапами хвои или голыми сучьями над быстро скользящими санями. А потом снова простор, наш особенный русский снежный простор с лёгкими тенями заметённых оврагов и речек, с чуть чернеющей в стороне деревушкой.

Внимательно смотришь вперёд, управляешь санями, слушаешь мотор, ощущаешь биение винта, привычно, на глаз, определяешь скорость и лишь в какие-то редкие моменты, окидывая взглядом даль, вдруг сознаёшь: это она, Россия.

Показались фабричные трубы Серпухова — мы, следовательно, уже покрыли свыше ста километров от Москвы. Ай да саночки! Не подвели!

По сторонам появились домики, я снизил скорость, сани на тихом ходу покатали вдоль широкой улицы, в которую влилось шоссе. Сбоку тянулись железнодорожные пути, виднелись составы красных товарных вагонов. Вот и надписи: «Вход на платформу», «Кипяток», ещё дореволюционные, с твёрдыми знаками; вот и каменное массивное здание вокзала. Оно украшено гириляндами хвой, на красных полотнищах начертаны приветы недавно исполнившейся второй годовщине Великой революции и призыв разгромить Деникина. С большого портрета смотрит Ленин.

В этот час здесь, видимо, грузилась на колёса какая-то воинская часть. На вокзальной площади расположились подводы, спарядные двуколки, пушки, походные кухни... Молодой боец, устроившись на тюках прессованного сена, с жаром играл на гармошке. Внизу, вероятно, плясали, но спины красноармейцев, папахи и будёновки заслоняли от нас пляску.

Лица поворачиваются к нам на звук мотора, даже гармонист, кажется, замирает в неподвижности, возмущенный рокочущие невиданные сани. Мы с Ганьшиным мгновенно приосаниваемся. Тут нам и пронестись бы, оставив за собой лишь взвихренную пыль! Но вместо этого приходится изо всей силы нажимать на тормоза. Чёрт возьми, проедем ли мы здесь?

К счастью, член Реввоенсовета, коснувшись рукой моего плеча, показывает на боковую улицу. Следуя его указаниям, я вывел сани почти на окраину и по его знаку затормозил у приметного белого каменного особняка.

За оградой стояло на привязи несколько оседланных коней. Велев нам подождать, он пошёл в дом.

Изувеченный, но честно послуживший нам пропеллер продолжал крутиться. Я чувствовал, как дрожит машина, чувствовал и иную дрожь — озноб радости, волнения. Как хорошо всё получилось! Мы не посрамили «Компаса». В немыслимо трудном положении я всё же нашёл выход, сумел доставить члена Реввоенсовета сюда, к штабу. Я не ощущал абсолютно никакой усталости; хотелось получить ещё задание, мчаться дальше.

Но нам было велено ждать. Приоткрыв дверцу, я поглядел вокруг. Позади, за два-три квартала от нас, пересекая улицу, где мы остановились, двигались ряды красноармейцев. Они держали равнение, за спинами блестели винтовки, над головами проплыл огненный шёлк знамени. Чувствовалось, что они шагали под песню, но в гуле мотора нельзя было её слышать.

Внезапно Ганьшин схватил меня за руку.

К нам подходил наш пассажир, приветливый, улыбающийся.

— А что, товарищи,— спросил он,— нельзя ли продолжить нашу поездку до Тулы?

— До Тулы? Хоть сейчас!

— Отлично... Сначала подкрепитесь, пообедайте... Будьте готовы через два часа...

В сопровождении вестового, который был прислан, чтобы указывать нам дорогу, мы подъехали к другому дому, завели сани во двор и там дали наконец передохнуть мстору. Тут подоспел на мотоциклетке Федя. Закутав мотор одеялами и всякой ветошью, мы отправились в дом перекусить. Нам подали грандиознейший обед: мясные щи и огромные порции прекраснейшей гречневой каши. На сладкое был настоящий чай с настоящим сахаром.

Переволокновавшиеся, не спавшие предыдущую ночь, мы втроём забрались после обеда на огромную русскую печь и моментально уснули. В назначенный срок нас разбудили и скомандовали: «По коням!»

Весёлые и бодрые, мы принялись запускать мотор, но не тут-то было. Как выдолбленная тыква абсолютно лишена способности произвести хоть единый выхлоп, так и наш мотор, сколько мы его ни крутили, не давал ни одной вспышки. Открыли карбюратор. Оказалось, что туда не поступает горючее. Для запуска у нас был прилажен отдельный бачок с эфиром. Открыли этот бак, отвинтив гайки, трубы, проделывая всё это голыми руками на морозе. Из бачка не течёт. Выяснилось, что эфир (как известно, очень жадно поглощающий влагу) напитался водой, которая осела на дно эфирного бачка и там замёрзла, наглухо закупорив трубку.

Так как эфир нельзя греть огнём, то мы кипятили воду и тряпками, намоченными в кипятке, отогревали бачок. Кипяток моментально стыл, мы совершенно заледенели, руки сковало морозом.

Член Реввоенсовета несколько раз подходил к саням и молча смотрел, как мы хлопотали около мотора. Наконец он потерял терпение, сказал, что поедет в Тулу на паровозе. Для нас это был жуткий конфуз. Однако он дружески попрощался с нами, не намекнув мне ни единым словом на мою провинность, из-за которой он вспылал в пути.

Он уехал, а мы ещё долго возились с тряпками и кипятком, лелея блаженную надежду, что мотор наконец оживёт. Но всё было тщетно. Когда стемнело, я завёл мотоциклетку, Федя уселся на заднее седло, и мы поехали в Москву, чтобы прислать на выручку другие сани.

21

Через некоторое время мы выпустили вторую, усовершенствованную партию аэросаней (на этот раз с работающими тормозами) и с торжеством передали десять машин Красной Армии.

Экипажи этой первой боевой эскадрильи аэросаней были сформированы из команд броневтомобилей. Это был народ, побывавший на фронте. По нашему мнению, все они отчаянно придирались к саням. Командира этой группы, молодого рабочего, украинца, у нас так и прозвали «Смерть Бережкову». Новые хозяева ходили вокруг машин, запускали моторы, выверяли механизмы, испытывали сани на ходу, иной раз застревали в сугробах или опрокидывались на крутом вираже и тогда костили нас на чём свет стоит за недостатки конструкции.

Вскоре на подмосковной станции Перово мы провожали этот отряд, отправлявшийся на фронт, и помогали грузить аэросани на платформы, прицепленные к бронепоезду. Командир, прозванный «Смерть Бережкову», расцеловал на прощание меня, Бережкова.

— Спасибо,— сказал он.— Будем вам писать. И когда-нибудь, наверное, ещё свидимся.

Такое «спасибо» вознаграждает за всё. Позади столько трудов, рабочих будней, мелких изматывающих неполадок, всяких споров, заседаний, ссор, курьёзов, неприятностей — всего, что изо дня в день составляет жизнь конструктора, занимающегося доводкой машины, этой нескончаемой доводкой, которую иногда хочется проклясть, и вот...

Мы стоим на перроне, отправляем наши сани. Гудок паровоза. Медленно трогается бронепоезд, направляющийся на фронт, проходят тяжёлые бронеплощадки, изготовленные на московском заводе «Серп и молот», из люков выглядывают стволы орудий, затем проплывают открытые платформы с нашими аэросанями, на которых уже укреплены пулемёты, сбёрнутые сейчас брезентом, и тускло сверкает в свете зимнего солнца медная обшивка на пропеллерах. Блестит и воронёная сталь штыков на

винтовках у часовых — они сидят и стоят на платформах в тяжёлых бараньих тулупах, в валенках и тёплых шапках.

Поезд развивает скорость, мелькает хвостовой вагон, последняя теплушка, с тормозной площадки на нас смотрит молодой командир отряда. Он снимает ушанку и на прощание машет ею нам. Ещё некоторое время видны его тёмные вьющиеся волосы, улыбка, тяжеловатый подбородок, потом всё сливается, всё поглощает даль.

— Когда-нибудь, наверное, ещё свидимся, — сказал он мне.

И, знаете ли, так оно и вышло. Бывают же такие замечательные совпадения, замечательные встречи. Мы снова встретились шесть — нет, виноват! — семь лет спустя при необыкновенных обстоятельствах, когда я... Но, впрочем, об этом у нас будет речь в надлежащем месте.

22

За окном светало.

— Третий рассвет, — сказал Бережков.

В комнате все понимали, что означали эти слова «третий рассвет». Мотор Бережкова был уже двое суток в работе, нёс и нёс без единой остановки советский самолёт по огромному замкнутому кругу.

«Беседчик» ждал, не скажет ли Бережков ещё что-нибудь о перелёте — об этом так хотелось услышать. Самого Бережкова то и дело подмывало перейти на эту тему, но он и теперь сделал отстраняющий жест, опять «выключился», по его выражению.

— На чём мы остановились? — спросил он.

— Вы не закончили о «Компасе».

— О, «Компас» поработал не зря. Я уже вам говорил, как мы проводили со станции Перово первый отряд аэросаней. Этот отряд не раз отличился в боях. Наши войска гнали разбитую белую армию всё дальше на юг, к Чёрному морю. Экипажи аэросаней пересели опять на броневики. А наши славные аэросани, вся первая партия, прибыла для ремонта к нам в Москву. Некоторые были расщеплены, пробиты осколками и пулями.

В 1920 году мы выпустили ещё две серии по тридцати штук, но в боях этого года аэросани больше не участвовали. Война с Польшей, взятие белопольской армией Киева, затем наше контрнаступление, волнующие дни похода на Варшаву — всё это было летом. Далее, тоже ещё до зимы, последовал героический прорыв укреплений Перекопа, за которым отсиживался Врангель. Как вы знаете, разгромом Врангеля окончилась гражданская война.

Однако несколько месяцев спустя, в марте 1921 года, вспыхнул контрреволюционный мятеж в Кронштадте. В историческом штурме Кронштадта приняла участие колонна аэросаней, выпущенных «Компасом». Вы найдёте в центральном архиве Красной Армии приказ военного командования, отмечающий роль аэросаней в кронштадтской операции. Мы, группа работников «Компаса», тоже побывали там, на льду Финского залива. С вашего разрешения, я расскажу об этом.

Помню, как сейчас, весенний мартовский денёк, когда во дворе мастерских «Компаса» ко мне подбежал Федя и, запыхавшись, волнуясь, проговорил:

— Алексей Николаевич, мы едем!

— Куда?

— В Петроград. На штурм Кронштадта.

— С чего ты взял?

— Пойдёмте. К нам приехал комиссар бронесил республики. Он ищет вас.

— Ну... А почему ты вздумал о Кронштадте?

— Потому что он спросил, пройдут ли аэросани по такому снегу до Петрограда. И я сразу догадался.

— До Петрограда?

В Москве стояла оттепель. Глубокий ещё снег всюду осел. На корпусах аэросаней, облупленных и поцарапанных, которые без моторов и пропеллеров находились тут, во дворе, под навесом, ожидая ремонта, блестела влага. Опилки, груды лежавшие у циркульной пилы, отволгли, потемнели. Небо было сплошь затянуто низкой ровной облачностью. В таких днях есть своя прелесть. Я люблю этот запах талого снега, весны. Но как отправиться по такой оттепели в пробег до Петрограда? А что, если по пути, на Валдайской возвышенности, на её грядках, уже вовсе сошёл снег?

Федя нетерпеливо ждал, что я скажу. Он был уже не тем пятнадцатилетним парнишкой в огромных, не по ноге, солдатского образца ботсах, в стёганной на вате, тоже великоватой для него будёновке, каким в нашей «Тысяче и одной ночи» впервые появился перед вами. Носик, конечно, был попрежнему коротковат, что, однако, не мешало нашему юному... Федя, не буду! Клянусь, о сердечных тайнах не скажу ни слова! Можно продолжать? На погах, как и тогда, были обмотки, чёрные армейские обмотки, но уже новые, не те. Если не ошибаюсь, Федю немного обмундировали на курсах всеобща — всеобщего военного обучения, куда он одно время ходил по вечерам вместе с группой молодёжи «Компаса» и, кстати сказать, отличился там, как пулемётчик. Ботинки, кепка, гимнастёрка — всё на нём было ладно пригнано. Он и теперь выбежал во двор в этой защитного цвета гимнастёрке, слинявшей в стирках, выбежал прямо с работы, не застегнув ворота. Разговаривая со мной, он зачерпнул пятернёй снегу и сырых опилок и, по свойственной ему привычке к чистоте, стал оттирать замасленные руки. Я смотрел, как с его рук падал сразу потемневший мокрый снег.

— По такому снегу? — сказал я. — Боюсь, что не пробьёмся.

— Как же так, Алексей Николаевич?

— Попытаться можно.

— Пойдёмте же! — воскликнул Федя. — Пойдёмте к комиссару.

Но комиссар уже сам появился во дворе, уже шёл к нам. Я поспешил ему навстречу.

23

Знаете, кто это был? Родионов. Дмитрий Иванович Родионов, которого впоследствии все мы знали как командующего авиацией, начальника Военно-Воздушных Сил страны. Тогда, в 1921 году, он был политическим комиссаром бронесил республики.

В тот день я его увидел впервые. Помню, ещё издали что-то поразило меня в этом человеке. Что же именно? Попробую дать себе отчёт. Лицо? Да, пожалуй, и лицо — чисто выбритое, с каким-то особым выражением собранности, сдержанности в складке губ, покрытое ровным красноватым загаром. Лишь позже я узнал, что он провёл зиму под солнцем Средней Азии и, будучи членом Революционного Военного Совета Туркестанского фронта, воевал там с басмачами. На вид ему было приблизительно лет тридцать. Впрочем, ещё до того, как я разглядел в подробностях лицо, внимание привлёк весь его облик, удивительная прямота стана, в чём, однако, не чувствовалось никакой нарочитости или напряжения, чёткость походки и такая же чёткость, строгость воинской формы. Звезда красного сукна ярко выделялась на его будёновке, ни в малой степени не сдвинутой на затылок или набекрень. На груди, на серой шинели, стянутой в талии ремнём, проходили наискось, с одного борта на другой, три широкие тёмные нашивки, которые служили и застёжками. Помните ли вы такую форму? Вы можете её увидеть на некоторых известных портретах Михаила

Васильевича Фрунзе, который тоже носил подобную шинель с косыми нашивками. Всем своим видом приехавший к нам комиссар, казалось, подчеркнул: воинский долг есть воинский долг, дисциплина есть дисциплина.

Рядом с ним шли два-три работника наших мастерских.

— Здравствуйте,— сказал он, обращаясь ко мне.— Вы товарищ Бережков?

— Да, я.

Он достал из внутреннего кармана шинели бумажник, вынул небольшую твёрдую книжечку — удостоверение — и протянул мне. В развороте книжечки я увидел заверенную, как полагается, круглой печатью фотографию, на которой он выглядел ещё моложе, и впервые прочёл его фамилию. Упомяну ещё одну подробность. В бумажнике, который он держал раскрытым, я заметил какой-то красный билет и невольно разобрал строчку жирного шрифта: «Решающий голос». В тот момент я ни о чём не догадался и только в дальнейшем, пожалуй, уже под Кронштадтом, где встретился с Родионовым снова, сообразил, что видел у него билет делегата десятого съезда партии, происходившего тогда в Москве.

Возвращая удостоверение, я сказал:

— Слушаю вас, товарищ Родионов.

Без всяких введений он приступил к делу.

— Сколько у вас в данный момент аэросаней?

— На ходу?

— Да. Нуте-с...

— Немного, товарищ Родионов. Всего шесть или семь.

— Почему «или»?

— Потому что «на ходу» это весьма условное понятие, товарищ Родионов. И восемнадцать штук в ремонте.

— Так... До Питера пройдёте по такому снегу?

— Сомневаюсь... Можно попытаться. Но на любой обнажившейся гряде, на любой плешине застрянем.

— В таком случае... Суть вот в чём, товарищ Бережков. В Питере у нас есть колонна аэросаней. Но они потрёпаны и частью повреждены. Кроме того, они легко опрокидываются на морском льду. Нужны, следовательно, механики, знающие толк в этих машинах и очень искусные водители. Найдутся ли у вас такие?

— Конечно, товарищ Родионов. Скажу без ложной скромности, что и я сам...

— Искусные механики-водители,— перебил он,— которые смогли бы быстро отремонтировать сани и повести их в бой? Нуте-с?

В его речи появлялось время от времени это словечко «нуте-с», которому он придавал самые разные оттенки. Признаться, я предполагал было сообщить о некоторых своих достоинствах, о том, что имею основания считать себя всероссийским чемпионом по аэросаням, но вместо этого в ответ на вопросительное, подстёгивающее «нуте-с» коротко проговорил:

— Понятно, товарищ Родионов... Смогу.

Он воспринял это так же сдержанно, как вёл весь разговор. Казалось, никакого другого ответа он от меня и не ждал.

— Так. И надобно ещё человек десять. Выдержанных, смелых, искусных в этом деле.

Выдержанных... Я покосился на секретаря нашей партячейки Авдошина, который вышел во двор вместе с Родионовым. По профессии ткач, не попавший в армию из-за возраста и, кажется, из-за болезни, высокий, сутулый, с острыми лопатками, обрисовывающимися под пальто, с желтоватым исхудалым лицом, Авдошин был к нам послан с какой-то остановившейся московской ткацкой фабрики и работал в «Компасе» уже при-

близительно полгода. Совсем недавно он имел со мной крупный разговор, резко упрекнул за оторванность от общественных организаций, назвал «политически невыдержанным». Что-то он скажет сейчас? Может быть, вернёт что-нибудь такое, от чего меня бросит в жар...

— И побольше коммунистов, комсомольцев,— продолжал Родионов.

Недоля, стоявший возле нас, начал переминаться с ноги на ногу, то есть, фигурально выражаясь, бить копытцами. Он покраснел, явно хотел что-то воскликнуть и лишь в силу дисциплинированности и природной деликатности не решился прервать наш разговор.

Авдошин вынул карандаш и потрёпанный блокнот.

— Бережков,— произнёс он,— помоги прикинуть список... Как ты думаешь, кто ещё вызовется сам?

24

Родионов сказал:

— Да, давайте-ка сейчас наметим список. Выезжать надо сегодня вечером. И пусть товарищи успеют побывать дома, проведут часок с семьёй. Возглавлять группу будет...

Он посмотрел на меня и неожиданно спросил:

— Вы знаете их лозунги?

— Чьи?

— Кронштадтцев. Вам ясен смысл восстания?

Признаюсь, я почувствовал, что краснею, и чуть не ляпнул, что некогда было в эти дни прочесть газету. Чёрт их знает, что у них за лозунги. Как будто «долой коммунистов» и «вольная торговля» или что-то в этом роде. В оттенках контрреволюции я не разбираюсь, раз навсегда уяснив одно: где контрреволюция, там иностранная рука.

— Смысл? — переспросил я.— Англичанка гадит.

Родионов рассмеялся.

— В качестве введения в философию это, пожалуй, правильно. Итак, товарищ Бережков, вы будете возглавлять группу. Наметим-ка её.

Мы с Авдошиным занялись списком. Родионов тем временем раскрыл дверцу аэросаней, присел на место стрелка, потрогал кронштейн, служивший для крепления пулемёта, пригнулся, прищурил один глаз.

— Никогда ещё не ездил на такой штуковине,— произнёс он.

И обратился к нам:

— Нуте-с...

Список уже был начерно составлен. Однако, едва Авдошин стал называть фамилии, Федя, не отходивший от нас, снова вспыхнул. Невольно вытянувшись, отчего его тонконогая фигурка стала как будто ещё тоньше, он проговорил:

— Прошу записать меня.

Родионов оглядел его.

— Вы хорошо водите аэросани?

— Нет, не то чтоб хорошо... Я буду ремонтировать. И потом... Могу быть за пулемётчика.

— Знаете пулемёт?

— Да.

— Какой системы?

— Знаю «Максима», знаю «Кольт».

— Хорошо стреляете?

— Последний раз на стрельбище поразил десятью пулями три поясные мишени.

— На какой дистанции?

— Пятьсот метров.

Федя, извини, может быть, я что-нибудь спутал, но у них тут пошёл свой разговор о поясных и ростовых мишенях, о прицельных рамках, о ди-

станциях и так далее, словно у заправских пулемётчиков. И спустя минуту, Федя действительно спросил:

— Товарищ Родионов, разве вы пулемётчик?

— Да. Даже учился в пулемётной школе. Но не пришлось окончить.

— Почему же? — вырвалось у Феде.

— Арестовали в 1916 году. Так и не получил законченного пулемётного образования.

— Вы были солдатом?

— Солдатом. И никогда с незастёгнутыми пуговицами не щеголял.

Поднявшись, Родионов быстро и ловко застегнул две пуговицы на вороте фединой рубахи. Федя, как вы понимаете, стоял совершенно пунцовый. Ласково глядя на него, Родионов спросил:

— Нуте-с... Фамилия?

— Недоля.

— Комсомолец?

— Да.

— Что же, товарищи, не возражаете? Запишем?

Взяв у Авдошина карандаш и блокнот, Родионов сам вписал туда фамилию Недоли. Через несколько минут мы утвердили поимённый список небольшой группы водителей и мотористов для выезда в район Кронштадта. Затем были быстро решены вопросы о получении документов, о месте сбора и тому подобное. Всё это обсуждалось так деловито и спокойно, что я всё ещё не мог проникнуться мыслью, что мы здесь готовимся к бою, не ощущал ещё никакой лихорадки или трепета перед этим боем, лихорадки, которую узнал потом.

Покончив с делом, Родионов побарабанил по обшивке саней и снова сказал:

— Никогда ещё не ездил на такой машине. Как-то не пришлось. Что же, на месте всё будет видней. Там встретимся, товарищи.

Он поднёс руку к козырьку будёновки, прощаясь с нами, но я сказал:

— Товарищ Родионов, а не попробуете ли вы сейчас? У нас тут в гараже стоят аэросани наготове. Разрешите, я сам их поведу.

— Нет, нет... До вечера у вас не так много времени. А вам ещё надо собраться, повидать близких.

Я промолчал. Близких... Ну, нет... Сестре я пошлю с кем-нибудь из друзей самую безобидную записку. Экстренно уезжаю, мол, в командировку на несколько днейков... Нельзя же так, без подготовки, объявить Маше, что я отправляюсь на штурм Кронштадта. Недавно, в ноябре, она потеряла своего Станислава, погибшего под Перекопом. Нет, лучше свидеться с ней, когда вернусь.

Родионов стал прощаться.

— До вечера вы, товарищ Бережков, свободны.

— Хорошо... Одного человека, товарищ Родионов, я действительно хотел бы повидать, прежде чем уехать.

— Кого же?

— Николая Егоровича Жуковского.

— Профессора Жуковского? Вы близко его знаете? Как он?

— Плох... Был второй удар. Он ещё пытается работать, но...

— Как его лечат? Кто ухаживает за ним? Где он сейчас?

— Он в санатории «Усово». Там и врачи и сиделки... Да и ученики не забывают его...

Я запнулся, сказав это... Ведь я давно не навещал больного учителя.

— Товарищ Родионов, мне не хотелось бы уехать, не попрощавшись с ним... Тем более, туда для аэросаней хороший путь. Через четверть часа я буду там.

— На аэросанях?

— Да... Хотите, товарищ Родионов, сейчас испытать их? Конечно, это не совсем как на морском льду, но всё-таки и здесь вы сможете судить, каков этот род оружия.

Отогнув обшлаг шинели, Родионов взглянул на часы.

— Нуте-с... Поедем.

25

Не буду описывать эту нашу поездку на аэросанях.

Главный врач санатория разрешил мне пройти к Николаю Егоровичу и посидеть у него четверть часа. Родионов остался с врачом.

Дверь палаты Жуковского была полуоткрыта. Впрочем, эта дверь вела не прямо в светлую большую комнату — спальню Николая Егоровича, — а сначала в маленькую прихожую. Подойдя, я хотел постучать, но увидел в передней комнате Ладошникова.

Устроившись поближе к свету, он монтировал какую-то вещицу из новых, блестящих свежим лаком планок и брусочков, энергично ввинчивал шурупы. Работал он удивительно тихо, бесшумно. Что же он мастерит? Неужели даже и тут, возле больного Жуковского, возится с какой-нибудь моделью? Я негромко окликнул его. Ладошников оторвался от работы, приветливо кивнул мне, жестом позвал в комнату.

— Вот чёрт, заедает, — проговорил он. — Погляди... Что ты посоветуешь?

Я разглядел очень остроумную конструкцию наклонного вращающегося столика, который Ладошников сделал для Николая Егоровича, чтобы тому было удобнее читать полужёла. Что-то не ладилось в конструкции, столик плохо откидывался, и Ладошникову пришлось здесь заняться его доводкой.

— Извините, Михаил Михайлович, некогда... Николай Егорович не спит?

— Кажется, просто сидит... Отдыхает. Сегодня он много диктовал.

— Он каждый день работает?

— Да... Большею частью записываю я. — Ладошников грустно добавил: — Спешит закончить.

Мы помолчали.

— А я приехал попрощаться... Сегодня уезжаю.

— Куда?

— Под Кронштадт... Понадобились наши аэросани. А кстати, и водители. Повидимому, пойдём в бой...

— Кто же ещё едет?

Я перечислил работников «Компаса», включённых нами в список.

— Почему же меня не записали?

— Михаил Михайлович, вы... Мы вас не пустим...

— Чепуха... Ты на чём сюда приехал?

— На аэросанях... Захватил с собой комиссара бронесил республики, продемонстрировал ему нашу машину... Кажется, он будет нами командовать.

— Где же он?

— Наверное, где-то тут... Я его оставил у врача...

Отложив отвёртку, ничего больше не промолвив, Ладошников вышел.

26

Я постучал к Жуковскому. Мне открыла сиделка. Едва ступив через порог, я вдохнул запах яблок, чудесный аромат спелой антоновки. Николай Егорович любил такие яблоки. Должно быть, ему прислали сюда целый ящик. Это мне сразу напомнило домик в Мыльниковом переулке, где всегда зимой стоял этот приятный, уютный дух антоновки, которую привозили из Ореховской усадьбы. Белая кафельная печка сразу обдала

теплом. Это тоже вызвало какие-то воспоминания о кабинете Николая Егоровича, о его осиротевшем старом доме. Да, осиротевшем. Не так давно умерла Леночка, его двадцатилетняя единственная дочь. Жуковского сразило это горе. Последовал сначала один, потом второй апоплексический удар, кровоизлияние в мозг. Николай Егорович пытался бороться, продолжал работать, диктовал незаконченный труд, но вернуться домой, где раньше постоянно звенел голос дочери, уже не мог.

Когда я вошёл, он сидел лицом к окну в высоком и глубоком кресле, установленном на четырёх маленьких колёсиках. Очевидно, услышав мои шаги, он заворочал головой. Оглянуться ему было трудно, я быстро очутился перед ним.

— А, Алёша! Здравствуй,— проговорил он.— Наконец-то ты... навестил меня.

С болью в сердце я заметил, как затруднена его речь. Он радостно мне улыбнулся, и я увидел, как перекошено любимое седобородое лицо: парализованная сторона оставалась неподвижной. Лишь глаза жили попрежнему, смотрели ясно, ничуть не были замутнены. Колени были укрыты коричневым клетчатым пледом. На тёмной материи лежала жёлтая, будто восковая, тоже парализованная, старческая, морщинистая крупная рука.

Мне стало стыдно, что я давно не навещал Жуковского. Последний раз я был здесь у него вместе с другими учениками и близкими Николая Егоровича, в день пятидесятилетия его научной деятельности. Мы торжественно прочли Николаю Егоровичу декрет за подписью Владимира Ильича Ленина, где Жуковский был назван отцом русской авиации, горячо приветствовали его. Он сидел в этом же кресле, хотел встать, ответить на приветствие. И не смог. И заплакал.

— Здравствуйте, Николай Егорович! — бодро сказал я.— Как вы себя чувствуете?

— Садись... Расскажи, что у тебя нового...

Но я повторил:

— Как вы себя чувствуете?

Здоровой рукой он показал на стол, где лежали книги и, главным образом, объёмистые стопки рукописей.

— Вот... Диктую курс механики... Хочу обязательно закончить. Не очень утомляюсь... Смотрю в окно. Видишь, как рано прилетели в этом году грачи... Наверное, и в Орехове они уже разгуливают.

Он прикрыл глаза, потом они снова открылись, ясные, живые.

— Ну, а ты как? Как твой мотор?

— Забросил, Николай Егорович.

— Жалко... Ты его замечательно придумал. Поработай ещё, поработай над ним. Обещаешь?

— Обещаю.

— А чем ты теперь занимаешься? Что ещё выдумал?

Я сказал, что сегодня вечером уезжаю в Петроград, где колонна аэросаней будет участвовать в штурме Кронштадта.

— И ты тоже?

— Ещё не знаю,— успокоительно ответил я.— Сначала буду занят ремонтом.

Но Жуковский понял, что мне предстоит, — я это увидел по его глазам,— понял, что я приехал проститься. Он опять помолчал, задумался. Потом спросил:

— А как там? Ещё держится лёд?

— Да... Но, наверное, очень скользко. Мокро. И мне говорили, что аэросани там легко опрокидываются.

— Конечно, опрокидываются! — живо воскликнул Жуковский. На минуту исчезла затруднённость его речи.— На скользкой ледяной глади

поворот произойдёт не так, как следует по его кинематическим условиям. Ты понимаешь?

Я кивнул. Однако Николай Егорович этим не удовлетворился. Он попытался повернуться к рукописям, которые находились на столе, не смог, и на его немного перекошенном лице отразилось страдание. С готовностью подошла сиделка.

— Нет, не вы... Позовите...

Он явно утомился. Ему уже было трудно говорить.

— Николай Егорович, не надо,— сказал я.

Сиделка поняла его желание.

— Михаила Михайловича?

Жуковский наклонил голову.

Вскоре явился Ладосников. Николай Егорович обрадовался.

— Вот, вот... Достань, пожалуйста... мой доклад... «О динамике автомобиля»... Там, Алёша, ты найдёшь... теорию... скольжения при гололедице... на поворотах... Возьми... Там тебе это пригодится.

Опять утомившись, он замолк. Потом, передохнув, обратился к Ладосникову:

— Миша... Знаешь, куда он уезжает?

— Николай Егорович,— сказал Ладосников.— Я тоже уеду...

— А ты куда?

— Тоже под Кронштадт. Уже решено. Я договорился с комиссаром...

— Как же это ты? А твой самолёт? Не доведёшь до испытаний?

— Вернусь и доведу. Николай Егорович, милостивый государь помнит, что вы ему сказали... И не будет... отсутствовать!

В дверь тихо постучали. Вошёл, неслышно ступая, Родионов. Он был без шинели, в форменной военной гимнастёрке. Николай Егорович беспокойно взглянул на него.

— Вы... Вы тоже под Кронштадт?

— Да,— ответил Родионов.

— Ну, дай вам бог...

Парализованная жёлтая рука не шевельнулась, но другую руку Жуковский поднял, словно благословляя нас. Потом рука тяжело опустилась. Жуковский закрыл глаза. Сиделка сделала нам знак, чтобы мы оставили больного. Неловко, рывком, Ладосников поклонился любимому учителю и, круто повернувшись, пошёл к двери.

Сиделка сказала:

— Николай Егорович, может быть, вам почитать?

— Нет, не надо... Я посижу так, подумаю о деревне. Скоро там, наверное, зажурчит под снегом, побегут ручейки в пруд. Помнишь, Алёша, наш пруд?

Я вспомнил, как двадцать лет назад видел Жуковского с чёрной курчавой, как у цыгана, бородой; как он крикнул нам, ребятам, с ореховской плотины: «А вы, деги, я вижу, совершенно не умеете купаться», как моментально сбросил просторный парусиновый костюм, прыгнул в воду и переплыл весь пруд с поднятыми над головой руками, фыркая и пуская изо рта фонтаны. Теперь это сильное, большое тело, сломленное годами, личным горем, параличом, неотвратимо угасало. Я ничего не ответил, не мог говорить.

Мы на цыпочках вышли. Больше я не видел Жуковского. Он тихо скончался через несколько дней, на рассвете 17 марта 1921 года, почти до последнего вздоха не теряя сознания.

(Продолжение следует)



АРТУР МИЛЛЕР

★

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ТАК ВЕЗЛО

Кой-какие частные разговоры в двух действиях и рекем

Американский драматург Артур Миллер начал свою литературную деятельность в годы второй мировой войны. Его первая пьеса «Все — мои сыновья», знакомая советскому читателю и зрителю, сразу же принесла ему мировую известность. Две его следующие пьесы — «Человек, которому так везло» («Смерть коммивояжера») и «Салемский процесс» («Суровое испытание») — сделали его крупнейшим драматургом США.

Пьеса «Человек, которому так везло» показывает трагедию рядовой американской семьи, которая переживает крушение своей веры в спасительную силу системы «частного предпринимательства». Герой пьесы, Вилли Ломен, ищет в своей биографии объяснения той катастрофы, к которой он пришёл к концу жизни, и его воспоминания органически входят в действие пьесы. Сцены прошлого вклиниваются в события сегодняшнего дня, раскрывая их глубокий смысл, расширяя и обобщая действие. В этом — своеобразие драматической формы пьесы.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

БИЛЛИ ЛОМЕН.

ЛИНДА, его жена.

БИФ

ХЭППИ } его сыновья.

БЕН, его брат.

ЧАРЛИ, сосед Вилли Ломена.

БЕРНАРД, сын Чарли.

ДЖЕННИ, секретарь Чарли.

ГОВАРД, владелец фирмы.

СТЭНЛИ, официант.

ВТОРОЙ ОФИЦИАНТ.

Мисс ФОРСАЙТ.

ЛЕТТА, её подруга.

ЖЕНЩИНА.

Действие происходит в наши дни, в доме и во дворе у Вилли Ломена, а также в различных местах в Бостоне и Нью-Йорке, которые он посещает.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Слышна мелодия, которую играют на флейте. Она мила, незамысловата, поёт о траве, о небесном просторе, о лстве. Занавес поднимается.

Перед нами домик коммивояжера. Позади него со всех сторон громоздятся огромные угловатые силуэты зданий. Дом и авансцену освещает синий отсвет неба; всё вокруг словно тлеет в зловещем оранжевом жару. На сцене становится светлее, и мы видим тяжёлые склепы больших зданий вокруг маленького и по виду такого хрупкого домика. Всё вокруг кажется сном, но сном, порождённым действительностью. Кухня посреди сцены выглядит совсем настоящей, потому что в ней стоят кухонный стол, три стула и холодильник. Ничего, кроме этого, однако, не видно. В задней стене кухни дверь, скрытая портьерой, ведёт в гостиную. Справа от кухни, на небольшом возвышении, — спальня, в которой стоят металлическая кровать и стул. На полочке над кроватью — серебряный призовой кубок. Из окна виден фасад жилого дома.

Позади кухни, на высоте шести с половиной футов, в мансарде, — спальня мальчиков, которая сейчас почти не освещена. Смутно вырисовываются две кровати и окно под крышей. (Эта спальня находится над гостиной, которую мы не видим.) Слева из кухни сюда ведёт винтовая лестница.

Все декорации либо совсем, либо кое-где прозрачные. Линия крыши только очерчена; под ней и над ней видны надвигающиеся каменные громады домов. Перед домом — просцениум, который за рампой спускается в оркестр. Это дворик Ломена. Тут же проходят все сцены, вспоминаемые Вилли, и все сцены в городе. Когда действие происходит в настоящем времени, актёры соблюдают воображаемые границы стенных перегородок и входят в дом только через дверь слева. Но в сценах, рассказывающих о прошлом, все ограничения нарушаются и действующие лица входят и выходят из комнаты, ступая «сквозь» стену на просцениум.

Справа входит коммивояжёр Вилли Ломен. В руках у него два больших чемодана с образцами. Флейта продолжает играть. Он её слышит, но не отдаёт себе в этом отчёта. Вилли за шестьдесят, он скромно одет. Даже пока он пересекает сцену, направляясь к дому, можно заметить, как он изнурён. Он отпирает дверь, входит в кухню и с облегчением опускает на пол свою пошу, потирая натруженные ладони. Слышно, как он издаёт не то восклицание, не то вздох — может быть, «господи, господи...» Закрывает дверь, относит чемоданы в гостиную.

Справа в спальне проснулась его жена Линда. Она встаёт с постели и, прислушиваясь, надевает халат. От природы мягкая, Линда выработала в себе железную выдержку к выходкам Вилли. Она ведь не только его любит, но и восхищается им. Его неугомонный нрав, вспыльчивость, тягостные мечты и невольные жестокости кажутся ей лишь внешним проявлением обуревающих его высоких страстей, которые ей самой не дано ни выразить, ни испытать как следует.

Линда (*слыша шаги Вилли, окликаёт его с беспокойством*). Вилли! Вилли (*входит в спальню*). Всё в порядке. Я вернулся.

Линда. Почему? Что случилось? (*Короткое молчание.*) Что-нибудь случилось, Вилли?

Вилли. Да нет, ничего не случилось.

Линда. Ты что, разбил машину?

Вилли (*с деланным раздражением*). Говорю тебе, ничего не случилось! Разве ты не слышишь?

Линда. Ты себя плохо чувствуешь?

Вилли. До смерти устал. (*Флейта стихла. Вилли сидит на краю постели, словно одеревенев.*) Никак не мог... Понимаешь, не мог — и всё.

Линда (*очень мяко*). Где ты был весь день? У тебя ужасный вид.

Вилли. Я доехал почти до самого Йонкерса. Остановился, чтобы выпить чашку кофе. Может, всё дело в кофе?

Линда. Что именно?

Вилли (*помрачнев*). Я вдруг не смог больше вести машину. Она шла вбок, понимаешь?

Линда (*желая ему помочь*). Наверно, опять что-нибудь стряслось с рулём. По-моему, Анжело ничего не смыслит в «студебеккерах».

Вилли. Нет, тут я... я сам. До меня вдруг дошло, что я делаю сто километров в час и уже несколько минут не понимаю, что со мной... Я не могу... совсем не могу сосредоточиться.

Линда. Всё дело в очках. Ты забываешь получить новые очки.

Вилли. Глаза у меня в порядке. Назад я ехал со скоростью двадцать километров в час. От Йонкерса добирался чуть ли не четыре часа.

Линда (*покорно*). Тебе придётся отдохнуть, Вилли. Так больше нельзя.

Вилли. Но я только что вернулся из Флориды!

Линда. Мозги-то у тебя не отдыхают? Ты постоянно думаешь, думаешь, а ведь всё дело в голове.

Вилли. Утром опять поеду. Может, утром буду чувствовать себя

лучше. *(Линда снимает с него ботинки.)* Проклятые супинаторы! Они меня убивают.

Линда. Прими аспирин. Дать таблетку? Тебе станет легче.

Вилли *(недоумевая)*. Понимаешь, я ехал и хорошо себя чувствовал. Даже разглядывал окрестности. Можешь себе представить, как надоедает природа, когда всю жизнь только едешь, едешь... Но там красиво, Линда,— густой лес и светит солнце. Я опустил ветровое стекло, и меня обдувало тёплым ветерком. И вдруг ни с того ни с сего я съезжаю с дороги! Говорю тебе, у меня просто из головы выскочило, что я сижу за рулём. Если бы я заехал за белую линию, мог бы кого-нибудь и задвинуть. Поехал дальше, но через пять минут снова забылся и чуть было... *(Прижимает пальцами глаза.)* Что у меня делается в голове? Такая путаница...

Линда. Послушай, Вилли, поговори ещё разок в конторе. Не понимаю, почему бы тебе не работать здесь, в Нью-Йорке?

Вилли. Разве я нужен им в Нью-Йорке?.. Я специалист по Новой Англии. Я позарез нужен им в Новой Англии.

Линда. Но тебе шестьдесят лет! Стыдно, что они всё ещё заставляют тебя жить на колёсах!

Вилли. Надо послать телеграмму в Портленд. Завтра, в десять утра, я должен был встретиться с Броуном и Моррисоном, показать им наши товары. О господи, сколько бы я мог им продать! *(Принимается надевать пиджак.)*

Линда *(отнимая у него пиджак)*. Завтра тебе надо сходить в контору и объяснить Говарду, что ты должен работать в Нью-Йорке. Ты чересчур покладист.

Вилли. Если бы старик Вагнер был жив, мне бы давно поручили здешнюю клиентуру. Вот это был человек! Титан! А его сынок никого не ценит. Когда я первый раз поехал на север, фирма Вагнер понятия не имела, где эта самая Новая Англия.

Линда. Почему ты не скажешь всего этого Говарду?

Вилли *(приободрившись)*. И скажу. Непременно скажу. У нас есть сыр?

Линда. Я сделаю тебе бутерброд.

Вилли. Спи. Я выпью молока. Сейчас вернусь. Мальчики дома?

Линда. Спят. Сегодня Хэппи водил с собой Бифа куда-то в гости.

Вилли *(оживляясь)*. Да ну?

Линда. Так приятно было видеть, как они бреются, стоя один позади другого в ванной. И вместе уходят в гости. Ты заметил? Весь дом пропах одеколоном!

Вилли. Только подумай: работаешь, всю жизнь работаешь, чтобы выплатить за дом. А когда он наконец твой, в нём некому больше жить.

Линда. Что поделаешь, родной, молодые всегда поднимают якорь и уходят в плавание. А старики остаются на берегу.

Вилли. Неправда! Люди добиваются удачи, никуда не уходя. Что говорил Биф, когда я уехал?

Линда. Не надо было его ругать — ведь он только что вернулся. Не стоит из-за него так нервничать.

Вилли. А я и не думаю нервничать. Я просто спросил у него, зарабатывает ли он деньги. Разве это ругань?

Линда. Дружочек, как же он может зарабатывать деньги?

Вилли *(взволнованно и зло)*. У него всегда припасён камень за пазухой. Стал какой-то нехороший, злой. Понимаешь? Он хотя бы извинился?

Линда. Мальчик был просто в отчаянии. Ты ведь знаешь, как он к тебе относится. Скорей бы он нашёл своё место в жизни. Тогда вы оба успокоитесь и перестанете ссориться.

Вилли. Разве его место на ферме? Разве это жизнь? Батрак! Когда он был мальчишкой, я думал: что поделаешь, молодость! Пускай побродит по свету, поищет себе работу по душе. Но прошло десять лет, а он всё ещё еле-еле зарабатывает тридцать пять долларов в неделю.

Линда. Он ещё не нашёл себя, Вилли.

Вилли. Не найти себя в тридцать четыре года — это просто позор!

Линда. Тссс!

Вилли. Беда в том, что он лентяй, чёрт бы его подрал!

Линда. Вилли!

Вилли. Биф — лодырь! Подонок!

Линда. Они спят. Сходи вниз, поешь.

Вилли. Зачем он приехал домой? Хотел бы я знать, что его сюда принесло?

Линда. Мне кажется, что он никак не найдёт себе настоящего места, он какой-то совсем потерянный.

Вилли. Биф Ломен не может найти себе места? Молодой человек с таким... обаянием не может найти себе места в величайшей стране мира? И какой работник! О нём можно сказать всё что угодно, но он не лентяй.

Линда. Конечно, нет.

Вилли *(с жалостью, решительно)*. Я поговорю с ним завтра же утром! Поговорю по душам. Выхлопочу ему место коммивояжёра. Господи, да он в пять минут мог бы стать большим человеком! Боже мой! Помнишь, как его обожали в школе? Стоило ему улыбнуться, и все сияли. Когда он шёл по улице... *(Погружается в воспоминания.)*

Линда *(стараясь вернуть его к действительности)*. Вилли, дружок, я купила сегодня какой-то новый сыр. Взбитый.

Вилли. Зачем ты покупаешь американский сыр, если я люблю швейцарский?

Линда. Для разнообразия...

Вилли. При чём тут разнообразие? Хочу швейцарский сыр. Почему мне всё делают назло?

Линда *(скрывая смех)*. Я хотела сделать тебе сюрприз.

Вилли. Господи боже мой, почему ты не открываешь окон?

Линда *(с беспредельным терпением)*. Окна открыты, родной.

Вилли. Здорово они нас здесь замуровали. Кирпич и чужие окна. Чужие окна и кирпич.

Линда. Надо было нам прикупить соседний участок.

Вилли. Вся улица заставлена машинами. Ни глотка свежего воздуха. Трава и та не растёт, нельзя посеять на своём дворе даже морковки. Надо было запретить строить эти каменные гробы. Помнишь, какие красивые два вяза там стояли? Мы с Бифом привязывали к ним качели.

Линда. Да, казалось, что до города миллион километров!

Вилли. Надо было четвертовать того, кто срубил эти деревья! Всё истребили кругом! *(Печально.)* Я всё больше и больше думаю о прошлом. В это время года у нас цвели сирень и глицинии. А потом распустались пионы и нарциссы. Какой запах стоял в комнате!

Линда. В конце концов и другим ведь тоже надо жить...

Вилли. Стало куда больше людей.

Линда. Не думаю, чтобы людей стало больше. Мне кажется...

Вилли. Больше! Вот что нас губит! Население всё время растёт. Сумасшедшая конкуренция! Дышишь только вонюю чужого жилья. Смотри, с той стороны строят ещё один дом... А как это взбивают сыр?

На последней реплике Вилли в своих постелях поднимаются Биф и Хэппи; они прислушиваются к разговору.

Линда. Ступай вниз, попробуй его. И не шуми.

Вилли (*поворачивается к Линде, виновато*). Ты обо мне не беспокойся, хорошо, родная?

Биф. Что там такое?

Хэппи. Слышишь?

Линда. Ты всё принимаешь слишком близко к сердцу.

Вилли. А ты — мой покой и единственная опора, Линда.

Линда. Отдохни, дружок. Не расстраивайся.

Вилли. Я больше не буду с ним ссориться. Если хочет ехать опять в Техас, пусть едет.

Линда. Он уgomонится.

Вилли. Конечно. Некоторые люди просто позже становятся на ноги, вот и всё. Взять хотя бы Томаса Эдисона... Или миллионера Гудрича. Кто-то из них был глухой. (*Идёт к двери.*) Я не побоюсь поставить на Бифа всё моё состояние.

Линда. Слушай, если в воскресенье будет тепло, давай поедem за город. Опустим стёкла и возьмём с собой еду...

Вилли. В новых машинах стёкла не опускаются.

Линда. Но ты же опустил их сегодня!

Вилли. Я? Ничего подобного. (*Пауза.*) Нет, подумай, как странно! Просто удивительно!.. (*Замолкает от изумления и испуга. Вдалеке слышна флейта.*)

Линда. Что именно, дружок?

Вилли. Разве не странно?..

Линда. Что?

Вилли. Я думал о «шевви». (*Маленькая пауза.*) В тысяча девятьсот двадцать восьмом году... когда у меня был тот красный «шевроле»... (*Молчит.*) Ей-богу, смешно! Я мог бы поклясться, что сегодня я правил тем самым «шевроле»...

Линда. Ну и что же, дружок? Что-то тебе его, видно, напомнило.

Вилли. Удивительно! (*Прищёлковая языком.*) Помнишь? Помнишь, как Биф обхаживал ту машину? Покупатель потом не поверил, что она прошла сто тридцать тысяч километров. (*Качает головой.*) Вот! (*Линде.*) Закрой глаза, я сейчас вернусь. (*Выходит из спальни.*)

Хэппи (*Бифу*). Господи, неужели он снова угробил машину?

Линда (*вслед Вилли*). Осторожнее спускайся по лестнице, дружок! Сыр на средней полке. (*Подходит к кровати, берёт пиджак и выходит из спальни.*)

В комнате мальчиков загорается свет. Вилли теперь не видно, слышно только, как он разговаривает сам с собой: «Сто тридцать тысяч километров...», и его тихий смехок. Биф поднимается с постели и внимательно прислушивается. Он на два года старше своего брата Хэппи и хорошо сложен, но у него усталое лицо и куда меньше самоуверенности. Он не так преуспел в жизни, как брат, желания его глубже и мечты труднее осуществимы. Хэппи — высокий, крепкий. Его чувственность — словно отличительный цвет или запах — явственно доходит до большинства женщин. Он, как и брат, чувствует себя растерянным, но совсем по другой причине. Он не решаетея взглянуть в лицо неудаче, всё ему кажется зыбким и враждебным, хотя мир и представляется ему куда более приемлемым, чем Бифу.

Хэппи (*поднимаясь с постели*). Если так будет продолжаться, у него отнимут права. Знаешь, он меня очень беспокоит.

Биф. У него портится зрение.

Хэппи. Нет, я с ним ездил. Видит он хорошо. У него просто рассеивается внимание. На прошлой неделе я поехал с ним в город. Он останавливался перед зелёным светом, а когда светофор загорался красным, включал газ. (*Смеётся.*)

Биф. Может, у него дальтонизм?

Хэ п п и. У папаши? Что ты, у него такой тонкий глаз на оттенки. Ещё бы, при его профессии... Неужели ты не помнишь?

Б и ф (*садится на кровать*). Я, пожалуй, засну.

Хэ п п и. Ты на него ещё сердисься?

Б и ф. Нет. Чего там...

В и л л и (*снизу, из гостиной*). Да, сэр, сто тридцать тысяч километров, даже сто тридцать три!

Б и ф. Ты куришь?

Хэ п п и (*протягивая ему пачку*). Бери.

В и л л и. Вот это уход за машиной!

Хэ п п и (*с чувством*). Смешно ведь, а, что мы с тобой опять спим вместе? На тех же кроватях. (*Нежно похлопывает свою постель.*) Чего они только не слышали, эти кровати! О чём только не было переговороно... Вся жизнь тут прошла.

Б и ф. Угу. Все наши мечты и думы.

Хэ п п и (*с утробным, чувственным смешком*). Не меньше пятисот женщин хотели бы знать, о чём говорилось в этой комнате. (*Оба беззвучно смеются.*)

Б и ф. Помнишь ту, большую Бетси, иль как там её? Чёрт возьми, как же её звали? Ту, что с Башуик-авеню?

Хэ п п и (*причёсываясь*). У неё была собака?

Б и ф. Та самая. Я тебя к ней привёл, помнишь?

Хэ п п и. Да, это, кажется, была моя первая... Ну и свинья же она была! (*Смеются, уже грубо.*) Ты научил меня всему, что я знаю о женщинах. Помнишь, это ты меня научил!

Б и ф. Как ты тогда стеснялся. Особенно с девушками.

Хэ п п и. Да я с ними и сейчас стесняюсь.

Б и ф. Рассказывай!

Хэ п п и. Я просто не показываю виду, вот и всё. Но, по-моему, я теперь стесняюсь меньше, а ты больше. Почему это, Биф? Где твоя бывшая удаль, твоя уверенность? (*Шлёпает Бифа по колену. Биф встаёт и беспокойно шагает по комнате.*) Что с тобой?

Б и ф. Почему отец надо мной издевается?

Хэ п п и. Да он не издевается, он просто...

Б и ф. Что бы я ни сказал, у него на лице издёвка. Между нами стена.

Хэ п п и. Ему хочется, чтобы из тебя вышел толк, вот и всё. Я давно собираюсь с тобой о нём поговорить. С папашей что-то неладно... Он сам с собой разговаривает.

Б и ф. Я заметил сегодня утром. Но он всю жизнь бормотал себе под нос.

Хэ п п и. Не так. Дело дошло до того, что я послал его отдохнуть во Флориду. И знаешь? Он почти всегда разговаривает с тобой.

Б и ф. И что он обо мне говорит?

Хэ п п и. Не могу разобрать.

Б и ф. Я спрашиваю, что он обо мне говорит?

Хэ п п и. Да про то, что ты ещё не устроен, что ты вроде как висишь в воздухе...

Б и ф. Его гложет не только это.

Хэ п п и. А что?

Б и ф. Ничего. Только не вали всё на меня.

Хэ п п и. Уверен, как только ты встанешь на ноги... Послушай, там у тебя есть на что рассчитывать?

Б и ф. А почём я знаю, Хэп, на что человек должен рассчитывать? Почём я знаю, чего мне, собственно говоря, добиваться?

Хэ п п и. То есть как это так?

Б и ф. Да очень просто. После школы я шесть или семь лет пытался выбиться в люди... Транспортный агент, коммивояжёр, приказчик... Со-

бачья жизнь. Лезешь душным утром в подземку... Тратишь лучшие годы на то, чтобы с товаром всё было в порядке, висишь на телефоне, продаёшь, покупаешь... Мучаешься пятьдесят недель в году, чтобы получить несчастные две недели отпуска. А что тебе нужно? Скинуть с себя всё и выйти на вольный воздух. Но ты постоянно ловчишь, как бы обойти, обскакать другого... Для чего? Чего ты добьёшься?

Хэ п п и. Значит, тебе и в самом деле хорошо на ферме? Ты доволен?

Б и ф (*с возрастающим жаром*). Послушай, с тех пор как я ушёл из дому, я переменял двадцать или тридцать мест, и всюду было одно и то же. Я понял это совсем недавно. В Небраске, где я пас скот, в Дакоте, в Аризоне, а теперь и в Техасе... Потому я и приехал домой, что понял это. Ферма, где я работаю... там сейчас весна, понимаешь? Там целый табун молоденьких жеребят. До чего же хорошо смотреть на кобылиц с их детёнышами, разве есть на свете что-нибудь красивее! Там сейчас прохладно, понимаешь? В Техасе сейчас очень прохладно — там весна. А когда туда, где я живу, приходит весна, меня вдруг начинает мучить, что я ещё ничего не достиг! Какого дьявола я валяю дурака возле лошадей за двадцать восемь долларов в неделю? Мне уже тридцать четыре года, и мне пора подумать о будущем. И вот я мчусь домой, а приехав домой, не знаю, что с собой делать. (*Помолчав.*) Всю жизнь я хотел одного: не жить зря. А вернувшись сюда, понимаю, что жизнь моя прошла зря, попусту.

Хэ п п и. Да ты вроде как поэт, Биф! Ты настоящий идеалист...

Б и ф. Куда там, в голове у меня туман, каша. Может, мне надо жениться. Может, мне надо прибиться к какому-нибудь берегу, за что-нибудь уцепиться... Не знаю. В том-то и беда. Я всё ещё как мальчишка. Не женат. Не привязан ни к какому делу, живу себе да живу... Совсем как мальчишка. А ты доволен своей судьбой, Хэп? Ты ведь счастливчик, правда? Ты-то доволен?

Хэ п п и. Чёрта с два!

Б и ф. Почему? Ты ведь хорошо зарабатываешь?

Хэ п п и (*энергично расхаживая по комнате и жестикулируя*). Всё, что мне осталось, это ждать его смерти. Начальника торгового отдела. Ну, предположим, меня поставят на его место. А что с того? Он мой приятель, только что отгрохал себе шикарную виллу на Лонг-Айленде. Пожил два месяца, продал, сейчас строит другую. Как только у него что-нибудь доведено до конца, сделано, оно ему перестаёт доставлять удовольствие. И со мной, знаю, будет то же самое. Убей меня бог, если я понимаю, для чего я работаю. Иногда вот сидишь у себя дома, один, и думаешь: «Сколько же денег швыряешь ты на квартиру!» С ума сойти можно! Но ведь я всю жизнь этого и добивался: собственной квартиры, машины и женщин, вдоволь женщин. Да пропади они пропадом: всё равно одинок, как пёс!

Б и ф (*горячо*). Послушай, почему бы тебе не поехать со мной на Запад?

Хэ п п и. Мне? С тобой?

Б и ф. Ну да, купим ранчо. Будем разводить скот, работать своими руками. Таким богатырям, как мы, нужно работать на вольном воздухе.

Хэ п п и (*с увлечением*). Братья Ломен, а?

Б и ф (*с большой нежностью*). Конечно! А какая о нас пойдёт слава!..

Хэ п п и (*с увлечением*). Вот об этом-то я всегда и мечтаю! Мне иногда становится прямо невмоготу. Так бы и содрал с себя костюм тут же, посреди магазина, и стукнул этого проклятого заведующего торговым отделом! Пойми, ведь я могу побить любого из них и в боксе, и в беге, и в борьбе, а мне приходится быть у них на побегушках, у этих хамов, у этих хлипких сукиных детей. Тошно!

Б и ф. Ей-богу, малыш, вот было бы здорово, если бы ты поехал со мной!

Х э п п и (*восторженно*). Понимаешь, Биф, все тут такие двуличные, что уж ни во что не веришь!..

Б и ф. Детка, вдвоём нам никто не страшен, разве мы не постоим друг за друга?

Х э п п и. Если бы я был с тобой...

Б и ф. Беда в том, что нас не приучали хапать деньги. Я этого делать не умею.

Х э п п и. Да и я тоже.

Б и ф. Так давай, поедем?

Х э п п и. Важно знать одно: сколько там можно заработать?

Б и ф. Вспомни о своём приятеле. Выстроил себе виллу, а покоя в душе не было и нету.

Х э п п и. Но когда он входит в магазин, все перед ним расступаются — вошли пятьдесят две тысячи долларов в год! А ведь у меня в мизинце больше ума...

Б и ф. Да, но ты сам говоришь...

Х э п п и. Я хочу доказать этим чванным, надутым жабам, что Хэп Ломен ничуть не хуже их. Я хочу войти в магазин так, как входит он. Вот тогда я поеду с тобой, Биф. Клянусь, мы ещё будем вместе. Послушай, а эти сегодняшние девочки... шикарные, правда?

Б и ф. Самые шикарные, какие были у меня за много лет.

Х э п п и. У меня их сколько душе угодно. Когда становится уж очень тошно жить... Жаль только, что эта возня так похожа на игру в кегли. Сбиваешь одну за другой, а на душе пусто. У тебя их попрежнему много?

Б и ф. Нет. Мне хотелось бы встретить девушку, постоянную, настоящую, чтобы у неё было хоть что-нибудь тут, внутри...

Х э п. А я, думаешь, об этом не мечтаю?..

Б и ф. Рассказывай! Тебя всё равно никто не привяжет к дому.

Х э п п и. Ничего подобного! Если бы мне попалась девушка с характером, с выдержкой, ну, хотя бы такая, как мама... Я ведь подлец, если говорить начистоту. Та девчонка, с которой я был вечером, она ведь скоро выходит замуж. Через месяц. (*Примеряет новую шляпу.*)

Б и ф. Ты шутишь!

Х э п п и. Ей-богу. Её парня должны назначить заместителем директора нашего магазина. Не знаю, какая муха меня укусила: может, просто из спортивного интереса... Я испортил девчонку, а теперь не могу от неё отвязаться. Понимаешь, какой у меня характер? И в конце концов мне ещё приходится ходить на их свадьбы! (*С негодованием, но всё же не сдерживая смеха.*) Получается, как со взятками. Брать их не положено, а фабрикант сунет тебе стодолларовую бумажку, чтобы ему подкинули заказ... Знаешь, я человек честный... Но вот так же, как с этой девчонкой... ненавидишь себя, а берёшь.

Б и ф. Давай спать.

Х э п п и. Так мы ни до чего и не договорились?

Б и ф. Мне пришла в голову одна мысль...

Х э п п и. Какая?

Б и ф. Помнишь Билла Оливера?

Х э п п и. Конечно, помню. У Оливера теперь большое дело. Ты хочешь опять у него работать?

Б и ф. Нет, но когда я от него уходил, он положил мне руку на плечо и сказал: «Биф, если тебе что-нибудь понадобится, обратись ко мне».

Х э п п и. Помню. Из этого может что-нибудь выйти.

Б и ф. Попробую к нему сходить. Если я достану десять тысяч долларов или хотя бы семь или восемь, я куплю хорошее ранчо.

Хэ п п и. Он тебе их даст! Ручаюсь. Он так тебя ценил. Все были от тебя без ума. Ты пользуешься успехом, Биф. Ты нравишься. Вот почему я и говорю: переезжай сюда, будем жить вместе, в одной квартире. И помни, Биф, какую бы девочку ты ни захотел...

Б и ф. Будь у меня ранчо, я мог бы делать то, что мне нравится, стать человеком! Интересно... Интересно, думает ли Оливер и сейчас, что это я украл коробку с бейзбольными мячами...

Хэ п п и. Господи, да он давно об этом забыл! Ведь прошло чуть ли не десять лет. Ты слишком мнительный. Да, в сущности говоря, он тебя и не выгонял...

Б и ф. Собирался. Поэтому я от него и ушёл. Я так тогда и не понял, знает он или нет. Правда, он был обо мне очень высокого мнения, даже доверял запирать свою лавочку на ночь...

В и л л и (*внизу*). Ты помоешь машину, Биф?

Хэ п п и. Тссс! (*Биф смотрит на Хэппи; тот, прислушиваясь, глядит вниз. Вилли что-то невнятно бормочет в гостиной.*) Слышишь?

Они прислушиваются. В и л л и ласково посмеивается.

Б и ф (*сердясь*). Как же он не понимает, ведь мама его слышит!..

В и л л и. Смотри, Биф, не выпачкай свитера.

Лицо Б и ф а искажает болезненная гримаса.

Хэ п п и. Какой ужас! Не уезжай больше, ладно? Работа найдётся и здесь. Ты должен остаться. Прямо не знаю, что с ним делать. Так неловко перед людьми...

В и л л и. Вот это уход за машиной!

Б и ф. Ведь мама же слышит!

В и л л и. Без шуток, Биф. У тебя и в самом деле свидание? Чудно!

Хэ п п и. Ложись спать. Но поговори с ним утром, ладно?

Б и ф (*с неохотой укладываясь в постель*). А мама тут же, рядом. Что же это делается, братишка?

Хэ п п и (*ложась в постель*). Я хочу, чтобы ты с ним серьёзно поговорил!

Свет у них в комнате начинает меркнуть.

Б и ф (*самому себе, в полусне*). Эгоист... глупый эгоист...

Хэ п п и. Тише... Спи.

Свет у них в комнате совсем гаснет. Ещё до того, как они перестают разговаривать, внизу, в тёмной кухне, становится видна фигура Вилли. Он открывает холодильник, шарит в нём, вынимает бутылку молока. Силуэты домов тают, и теперь всё вокруг дома Ломена закрыто густой листвой. Музыка звучит явственнее.

В и л л и. Будь осторожней с девчонками, Биф. В этом вся соль. Ничего им не обещай. Никаких обязательств, слышишь? Они всегда верят всему, что им говорят, а ты слишком молод, чтобы разговаривать с ними всерьёз. Понял?

В кухне зажигается свет. В и л л и, разговаривая, захлопывает холодильник и подходит к кухонному столу. Наливает молоко в стакан. Он целиком погружён в свои мысли и чуть-чуть улыбается.

• В и л л и. Уж больно ты молод, Биф. Тебе сперва нужно кончить учение. А когда ты встанешь на ноги, для такого парня всегда найдётся сколько угодно девушек. Только выбирай. (*Широко улыбается кухонному столу.*) Ведь так? Девчонки за тебя платят, а? (*Смеётся.*) Вот это успех, мальчик!

В и л л и переключает своё внимание на что-то за сценой и говорит через стену кухни. Голос его постепенно усиливается.

Вилли. Я вот всё думаю, для чего это ты так надраиваешь машину? Ха! Не забудьте протереть головки втулок, ребята. Почистите их замшей, слышите? А ты, Хэппи, протри газеткой стёкла. Покажи ему, Биф, как это делается. Видишь, Хэппи? Скомкай газету, сожми её в комок. Так, так, правильно! Вот и действуй. *(Замолкает, несколько секунд одобрительно кивает, потом смотрит наверх.)* Послушай, Биф, первое, что надо сделать, это подрезать вон ту большую ветку над домом. Не то она отломится во время бури и попортит нам крышу. Знаешь что? Возьмём верёвку и оттянем ветку в сторону, а потом взберёмся наверх и спилим её совсем. Кончайте, ребята, с машиной, а потом идите ко мне. У меня для вас большущий сюрприз!

Биф *(за сценой)*. Скажи что, па! Скажи!

Вилли. Сперва сделай своё дело. Помни: никогда не бросай ни одного дела, пока ты его не кончил. *(Смотрит на большие деревья.)* Знаешь, Биф, там, в Олбэни, я видел чудный гамак. В следующую поездку я его куплю, и мы повесим его тут, между двумя вязами. Разве плохо, а? Покачаться среди ветвей... Парень, вот будет...

Подростки Биф и Хэппи появляются оттуда, куда смотрел Вилли. Хэппи несёт тряпки и ведро с водой. На Бифе свитер с буквой «С», в руке у него футбольный мяч.

Биф *(показывая на машину за сценой)*. Ну как, па?! Принимаешь работу? Не хуже ведь, чем в гараже?

Вилли. Блеск. Блестящая работа, мальчики. Молодец, Биф!

Хэппи. А где же твой сюрприз?

Вилли. Под задним сиденьем.

Хэппи. Ура! *(Убегает.)*

Биф. Что там, папа? Скажи, что ты купил?

Вилли *(шутливо его шлёпает)*. Потерпи.

Биф *(бежит вдогонку за Хэппи)*. Что там такое, Хэп?

Хэппи *(за сценой)*. Боксёрская груша!

Биф. Папа!

Вилли. На ней автограф Джини Танни!

Хэппи выбегает на сцену с боксёрской грушей.

Биф. Почему ты узнал, что мы мечтаем об этой штуке?

Вилли. А что может быть лучше для тренировки?

Хэппи *(ложится на спину и делает вид, что крутит ногами педали)*. Я худею, ты заметил, папа?

Вилли. Очень полезно прыгать через верёвочку.

Биф. Ты видел мой новый футбольный мяч?

Вилли *(разглядывая мяч)*. Откуда у тебя этот мяч?

Биф. Тренер велел мне упражняться в пасовке.

Вилли. Да ну? И дал тебе мяч?

Биф. Нет... Я его позаимствовал в клубной кладовой. *(Весело смеётся.)*

Вилли *(дружелюбно посмеиваясь вместе с ним)*. Ах ты, плут! Положи его на место.

Хэппи. Я тебе говорил, что отец рассердится.

Биф *(со злостью)*. Ну и что? Я отнесу его обратно.

Вилли *(желая прекратить вздорный спор, Хэппи)*. Ему ведь нужно было потренироваться с настоящим мячом! *(Бифу.)* Тренер тебя только похвалит за самостоятельность.

Биф. Он меня всегда за это хвалит.

Вилли. Он тебя любит. Сколько было бы крику, если бы мяч взял кто-нибудь другой! Ну, а что слышно вообще, мальчики?

Биф. Где ты был, папа? Мы по тебе здорово соскучились.

Вилли (*очень счастливый, обнимает мальчиков за плечи и выходит с ними на просцениум*). Правда, скучали?

Биф. Ей-богу!

Вилли. Неужели? Скажу вам, мальчики, по секрету... Только чур — никому ни слова, ладно? Скоро у меня будет собственное дело, и тогда мне никогда не придётся уезжать из дому.

Хэппи. Как у дяди Чарли?

Вилли. Куда там вашему дяде Чарли! У Чарли нет обаяния. Он, конечно, нравится людям, но не так...

Биф. Куда ты в этот раз ездил, папа?

Вилли. На север, в Провиденс. Виделся там с мэром.

Биф. С мэром города?

Вилли. Он сидел в холле гостиницы.

Биф. А что он сказал?

Вилли. Он сказал: «Доброе утро». А я сказал: «Славный у вас городок». Потом мы пили кофе. Оттуда я поехал в Уотербери. Это тоже красивый город. Он славится своими часами. Знаменитые часы из Уотербери. Продал приличную партию товара. А потом махнул в Бостон. Бостон — это колыбель нашей революции. Прекрасный город. Заглянул ещё в парочку городов штата Массачусетс, заехал в Портленд, Бангор, а от туда прямым ходом вернулся домой!

Биф. Ей-богу, хотел бы я хоть разок с тобой прокатиться!

Вилли. Погоди, придёт лето...

Хэппи. Ты нас тогда возьмёшь?

Вилли. Мы поедем троём — я, ты и Хэппи, и я покажу вам столько интересного! В Америке уйма красивых городов, где живут хорошие, достойные люди. И меня там знают, мальчики, меня все знают в Новой Англии — от мала до велика. Самые лучшие люди. Когда мы приедем туда, ребята, для нас будут открыты все двери, потому что у меня там повсюду друзья. Я могу оставить машину на любом перекрёстке, и полицейские будут охранять её, как свою собственную. Так летом катнём, а?

Биф и Хэппи (*вместе*). Непременно!

Вилли. Возьмём с собой купальные костюмы.

Хэппи. Мы будем носить твои чемоданы.

Вилли. Вот здорово! Вхожу в магазин, где-нибудь в Бостоне, а двое парней несут мои образцы. Ну и картина!

Биф прыгает вокруг отца, упражняясь в пасовке мячом. ♣

Вилли. Ты волнуешься перед матчем?

Биф. Нет, если ты рядом...

Вилли. Что говорят о тебе в школе теперь, когда ты стал капитаном футбольной команды?

Хэппи. На каждой перемене за ним бегают целая орава девчонок.

Биф (*берёт Вилли за руку*). В эту субботу, папка, в эту субботу только для тебя я вобью гол в их ворота.

Хэппи. Это не твоё дело. Твоё дело пасовать.

Биф. Я буду играть для тебя, папа. Следи за мной, и когда я сниму шлем, это будет знаком, что я вырываюсь вперёд. Тогда ты увидишь, как я прорву их защиту.

Вилли (*целует Бифа*). Ну и будет же мне что рассказать в Бостоне. Входит Бернард в коротких штанах. Он моложе Бифа. Это серьёзный, преданный своим друзьям мальчик; он встревожен.

Бернард. Биф, где же ты? Ты ведь сегодня должен со мной заниматься.

Вилли. Эй, Бернард, почему у тебя такой малокровный вид?

Берн ар д. Ему надо заниматься, дядя Вилли! У нас на той неделе попечительский совет.

Хэ п п и (*дразнит Бернарда, вертит его во все стороны*). А ну, давай поборемся!

Берн ар д (*отбивается*). Биф! Послушай, Биф, мистер Бирнбом сказал, что если ты не будешь заниматься по математике, он тебя провалит и ты не получишь аттестата. Я сам слышал, как он говорил.

Вил ли. Иди позанимайся с ним, Биф! Ступай.

Берн ар д. Я сам слышал!

Биф. Папа, а ты видел мои новые ботсы? (*Поднимает ногу.*)

Вил ли. Здорово разукрашены!

Берн ар д (*прогирая очки*). За красивые ботсы аттестата не дадут.

Вил ли (*сердито*). Что ты болтаешь! Кто посмеет его провалить? Ему предлагают стипендию три университета.

Берн ар д. Но я сам слышал, как мистер Бирнбом сказал...

Вил ли. Ну, что ты пристал, как пиявка! (*Своим мальчишкам.*) Вот малокровный!

Берн ар д. Ладно. Я жду тебя дома, Биф. (*Уходит. Ломены смеются.*)

Вил ли. Бернарда не слишком-то у вас любят, а?

Биф. Любят, но не очень...

Хэ п п и. Нет, не очень.

Вил ли. В том-то и дело. Берн ар д в школе может получать самые лучшие отметки, а вот в деловом мире вы будете на пять голов впереди. Понимаете? Я не зря благодарю бога, что он создал вас стройными, как Адонис. В деловом мире главное — внешность, личное обаяние, в этом залог успеха. Если у вас есть обаяние, вы ни в чём не будете нуждаться. Возьмите хотя бы меня. Мне никогда не приходится ждать покупателя. «Вилли Ломен приехал!» И я иду напролом.

Биф. Ты опять положил всех на обе лопатки, папа?

Вил ли. Да, в Провиденсе я уложил на обе лопатки, а в Бостоне сделал нокаут.

Хэ п п и (*снова ложится на спину и вертит ногами*). Ты замечаешь, папа, как я теряю в весе?

Входит Лин да, какой она была в те годы, с волосами, перетянутыми лентой. Она несёт корзину с выстиранным бельём.

Лин да (*с молодым жаром*). Здравствуй, родной.

Вил ли. Голубка моя!

Лин да. Как себя вёл наш «шевви»?

Вил ли. «Шевроле» — лучшая машина на всём белом свете! (*Мальчишкам.*) С каких это пор мама должна носить наверх бельё?

Биф. Хватай, братишка!

Хэ п п и. Куда нести, мама?

Лин да. Развесьте на верёвке. А ты бы лучше спустился к своим приятелям, Биф. Погреб полон твоих мальчишек — не знают, чем бы им заняться.

Биф. Ну, когда папка приезжает домой, они могут и подождать!

Вил ли (*с довольным смешком*). Ты бы придумал для них какое-нибудь дело.

Биф. Скажу им, чтобы подмели котельную.

Вил ли. Молодчина!

Биф (*проходит через кухню к задней двери и кричит*). Ребята! А ну-ка, подметите котельную. Мигом! Я сейчас к вам спущусь.

Г о л о с а. Хорошо! Ладно, Биф!

Биф. Джордж, Сэм и Фрэнк, идите сюда! Мы будем вешать бельё. А ну-ка, Хэп, бегом марш! (*Биф с Хэппи уносят корзину.*)

Линда. Ты подумай, как они его слушаются!

Вилли. Это всё футбол, всё футбол! Я и сам стремглав летел домой, хотя торговля шла у меня на диво!

Линда. Весь квартал побежит смотреть, как он играет. Ты много продал?

Вилли. Пятьсот grossов в Провиденсе и семьсот grossов в Бостоне.

Линда. Не может быть! Погоди. У меня здесь карандаш. *(Из кармана передника вынимает бумагу и карандаш.)* Значит, твои коммиссионные будут... двести долларов! Господи! Двести двенадцать долларов!

Вилли. Ну, я ещё точно не подсчитывал, но...

Линда. Вилли, сколько ты продал?

Вилли. Видишь ли, я... что-то около ста восьмидесяти grossов в Провиденсе. Или нет... Словом, вышло почти двести grossов за всю поездку...

Линда *(спокойно)*. Двести grossов. Это будет... *(Высчитывает.)*

Вилли. Беда в том, что три магазина в Бостоне были закрыты на учёт. Не то я побил бы все рекорды.

Линда. Ну что ж, и так получается семьдесят долларов и несколько центов. Совсем неплохо.

Вилли. Сколько мы должны?

Линда. Первого надо внести шестнадцать долларов за холодильник...

Вилли. Почему шестнадцать?

Линда. Потому что порвался ремень вентилятора, а это стоило ещё доллар восемьдесят.

Вилли. Но ведь он совсем новый!

Линда. Монтер говорит, что это — обычное дело. Так всегда бывает вначале, потом наладится.

Они проходят в кухню.

Вилли. Надеюсь, нас не надули с этим холодильником.

Линда. Его так рекламируют...

Вилли. Ну да, это очень хороший аппарат. Что ещё?

Линда. Девяносто шесть центов за стиральную машину. А пятнадцатого надо внести три пятьдесят за пылесос. Потом за крышу... Осталось заплатить ещё двадцать один доллар.

Вилли. Она теперь не течёт?

Линда. Ну нет! Они починили её на славу... Ты должен Фрэнку за карбюратор.

Вилли. И не подумаю платить! Проклятый «шевроле», когда им наконец запретят выпускать эту машину?

Линда. Ты должен ему три пятьдесят. Со всякими мелочами к пятнадцатому числу нам надо внести сто двадцать долларов.

Вилли. Сто двадцать долларов! Бог ты мой! Если дела не поправятся, прямо не знаю, что делать!

Линда. На той неделе ты заработаешь больше.

Вилли. Конечно! На той неделе я из них выпотрошу душу. Поеду в Хартфорд. Меня очень любят в Хартфорде... Знаешь, Линда, беда в том, что я не сразу прихожусь по душе.

Они выходят на просцениум.

Линда. Какие глупости!

Вилли. Я это чувствую.. Надо мной даже смеются.

Линда. Почему? С чего бы это им над тобой смеяться? Не говори таких вещей, Вилли.

Вилли подходит к краю сцены. Линда идёт на кухню и берётся штопать чулки.

Вилли. Не знаю почему, но иногда на меня просто не обращают внимания. Я какой-то незаметный.

Линда. Но ведь у тебя всё идёт так хорошо, дружок. Ты зарабатываешь от семидесяти до ста долларов в неделю.

Вилли. Но я бьюсь до этого по десяти—двенадцати часов в день! Другие... не знаю, право... но другим эти деньги достаются легче. Не понимаю почему... Наверно, потому, что я слишком много разговариваю. Не могу удержаться. В моём деле лучше помалкивать. Надо отдать справедливость Чарли. Он человек молчаливый. И его уважают.

Линда. Ты совсем не болтун. Ты просто очень живой.

Вилли (*улыбаясь*). Да в общем, ерунда, ну их всех к чёрту! Жизнь так коротка, едва успеешь отпустить пару шуток, и крышка! (*Самому себе*.) Я слишком много шучу. (*Улыбка сходит с его лица*.)

Линда. Да почему? Ты...

Вилли. Я толстый. Понимаешь, у меня смешной вид. Я тебе никогда не рассказывал, но на рождество захожу я к своему покупателю, Стюартсу, а там сидит один знакомый парень, тоже коммивояжёр. Не знаю, что он обо мне говорил, я только услышал одно слово — «морж». Я взял да и стукнул его по физиономии... Я не позволю себя оскорблять. Не позволю! Но они надо мной смеются.

Линда. Дружочек...

Вилли. Я должен их от этого отучить. Я знаю, мне надо это преодолеть. Может, я недостаточно хорошо одет?

Линда. Вилли, ты самый красивый на свете...

Вилли. Что ты...

Линда. Для меня ты самый красивый. (*Маленькая пауза*.) Самый что ни на есть. (*Из темноты слышен женский смех. Вилли не смотрит в ту сторону, откуда доносится смех, но этот смех сопровождает слова Линды*.) И для мальчиков тоже. Ты когда-нибудь видел отца, которого бы так обожали дети?

Слева от дома, за перегородкой, слышна музыка. Виден неясный силуэт Женщины. Она одевается.

Вилли (*с большим чувством*). А ты лучше всех на свете. Линда, ты настоящий друг, понимаешь? В дороге... в вечных разъездах мне часто хочется схватить тебя и зацеловать до смерти...

Женский смех звучит громче, и Вилли проходит на освещённую теперь часть сцены слева, где стоит Женщина, вышедшая из-за кулис, и, глядя в зеркало, надевает шляпу. Она смеётся.

Вилли. Мне бывает так тоскливо... особенно, когда дела идут плохо и не с кем поговорить. Кажется, что больше никогда ничего не продашь, не сможешь заработать на жизнь, сколотить денег на собственное дело, обеспечить мальчиков... (*Слова его постепенно заглушает смех Женщины. Женщина прихорашивается перед зеркалом*.) Мне так хочется добиться успеха.

Женщина. У меня? Вы меня и не думали добиваться. Я сама вас выбрала.

Вилли (*польщён*). Вы меня выбрали?

Женщина (*она очень прилично выглядит, ей столько же лет, сколько Вилли*). Ну да. Я сижу у своей конторки и изо дня в день наблюдаю вашего брата, коммивояжёра. Вы ведь ездите тут и днём и ночью. Но у вас, Вилли, столько юмора, нам с вами весело... Правда?

Вилли. Да, да, конечно. (*Обнимает её*.) Неужели вам пора уходить?

Женщина. Уже два часа ночи...

Вилли. Пойдём! (*Тащит её за собой*.)

Женщина. ...мои сёстры будут в ужасе. Когда вы приедете снова? "

Вилли. Недельки через две. А вы ко мне подниметесь?

Женщина. Непременно. С вами так весело. Мне полезно посмеяться. *(Она обнимает и целует его.)* Вы удивительный человек!

Вилли. Так, значит, это вы меня выбрали, а?

Женщина. Конечно. Вы такой милый. Шутник!

Вилли. Ну что ж, в следующий приезд увидимся опять.

Женщина. Я направлю к вам всех покупателей.

Вилли. Отлично! Не вешать носа!

Женщина *(смеясь, легонько шлёпает его в ответ)*. Помереть от вас можно, Вилли! *(Он внезапно хватает её и грубо целует.)* Помереть, да и только! Спасибо за чулки. Обожаю, когда у меня много чулок. Ну, спокойной ночи.

Вилли. Спокойной ночи. Дышите глубже!

Женщина. Ах, Вилли!..

Женщина разражается смехом, и с ним сливается смех Линды. Женщина исчезает в темноте. Освещается та часть сцены, где стоит кухонный стол. Линда сидит на прежнем месте у стола; она чинит пару шёлковых чулок.

Линда. Ты самый красивый на свете. С чего ты взял...

Вилли *(возвращаясь с той части сцены, где только что была Женщина и где сейчас темно, и подходя к Линде)*. Я всё искуплю, Линда! Я отплачу...

Линда. Тебе нечего искупать, дружок. У тебя и так всё идёт хорошо. Лучше, чем у других...

Вилли *(заметив, что она штопает)*. Что это?

Линда. Штопаю чулки. Они такие дорогие...

Вилли *(сердито отнимает у неё чулки)*. Я не позволю тебе штопать чулки! Выбрось их сейчас же! *(Линда прячет чулки в карман.)*

Бернард *(вбегая в кухню)*. Где он? Если он не будет заниматься...

Вилли *(выходит на авансцену, с сердцем)*. Ты подсказешь ему ответ!

Бернард. Я всегда ему подсказываю, но не перед попечителями. Ведь это выпускной экзамен. Меня могут посадить в тюрьму.

Вилли. Где он? Я его высеку!

Линда. И пусть он вернёт этот мяч, Вилли. Нехорошо.

Вилли. Биф! Где он? Почему он хватается чужое?

Линда. Он слишком груб с девочками. Все матери говорят о нём со страхом...

Вилли. Я его высеку!

Бернард. Он ездит на машине, не имея прав.

Слышен смех Женщины.

Вилли. Заткнись!

Линда. Все матери...

Вилли. Заткнись!

Бернард *(опасливо удаляясь)*. Мистер Бирнбом говорит, что он совсем зазнался...

Вилли. Убирайся отсюда!

Бернард. Если он не нагонит, он провалится по математике. *(Уходит.)*

Линда. Бернард прав. Вилли, ты должен...

Вилли *(взрываясь)*. Что вы к нему пристали? Ты хочешь, чтобы он был такой же глистой, как Бернард? У мальчика темперамент, он не похож на других...

Линда, едва сдерживая слёзы, уходит в гостиную. Вилли остаётся один в кухне. Он согорбился и пристально смотрит в темноту. Листва вокруг дома исчезла. Снова ночь, и со всех сторон на него надвигаются громады жилых домов.

В и л л и. Замучили! Совсем замучили. Разве он крадёт? Ведь он же отдаёт обратно. Почему он крадёт? Что я ему говорил? Всю жизнь я учил его только хорошему.

Х э п п и в пижаме спускается вниз по лестнице. В и л л и видит его.

Х э п п и. Хватит тебе здесь сидеть одному. Пойдём.

В и л л и (*присаживаясь к столу*). Господи! Зачем она натирает полы? Каждый раз, когда она натирает полы, она прямо валится с ног. И ведь знает, что ей нельзя!

Х э п п и. Тссс! Спокойно. Почему ты вернулся?

В и л л и. Перепугался. В Йонкерсе чуть не переехал ребёнка. Боже мой! Почему я тогда не поехал с братом Беном на Аляску? Бен! Вот это был гений, сама удача! Какую я сделал ошибку! Ведь он меня так звал.

Х э п п и. Ну, теперь бесполезно...

В и л л и. А вы чего стоите? Вот человек, который начал с пустыми руками, а кончил алмазными приисками!

Х э п п и. Хотел бы я знать, как у него это получилось.

В и л л и. Подумаешь, какая загадка. Человек знал, чего хочет, и добился своего. В двадцать один год Бен отправился в джунгли, а когда он оттуда вышел, парень уже был богачом. Жизнь — твёрдый орешек, его не раскусишь, лёжа на перине.

Х э п п и. Папа, я хочу, чтобы ты бросил работу!

В и л л и. А кто меня будет кормить? Ты? На свои семьдесят долларов в неделю? А твои бабы, твоя машина, твоя квартира? Всё на те же семьдесят долларов? Господи Иисусе, я не мог сегодня доехать до Йонкерса! Где вы, мальчики, где вы? На помощь! Я больше не могу управлять машиной!

В дверях появляется Ч а р л и. Это грузный человек с медленной речью, упорный, многословный. Во всём, что он говорит Вилли, чувствуется глубокая жалость, а теперь и душевное волнение. Поверх пижамы на нём надет халат, на ногах домашние туфли.

Он входит в кухню.

Ч а р л и. У вас всё в порядке?

Х э п п и. Да, Чарли, как будто в порядке.

В и л л и. А в чём дело?

Ч а р л и. Мне послышался шум. Я думал, у вас что-то случилось. Проклятые стены! Неужели с ними ничего нельзя сделать? Стоит вам здесь чихнуть, как у меня в доме с головы слетает шляпа.

Х э п п и. Пойдём, отец, спать.

Ч а р л и делает Х э п п и знак, чтобы тот ушёл.

В и л л и. Ступай. Я не устал.

Х э п п и (*Вилли*). Не расстраивайся, ладно? (*Выходит.*)

В и л л и. Ты почему не спишь?

Ч а р л и (*усаживаясь у стола, напротив Вилли*). Не могу заснуть. Изжога.

В и л л и. Ешь что попало...

Ч а р л и. Ем, что дают.

В и л л и. Тёмный ты человек! Небось, понятия не имеешь про витамины и всякое такое...

Ч а р л и. Давай сыграем. Может, нагонит сон.

В и л л и (*нерешительно*). Пожалуй... У тебя есть карты?

Ч а р л и (*вытаскивает из кармана колоду*). А как же. Всегда при мне. А что там слышно про эти самые витамины?

В и л л и (*сдавая*). Они укрепляют кости. Химия!

Ч а р л и. При чём тут кости, у меня же изжога.

В и л л и. Ни черта ты не смыслишь!

Чарли. Не лезь в бутылку.

Вилли. А ты не болтай о том, чего не понимаешь!

Играют. Пауза.

Чарли. Почему ты дома?

Вилли. Маленькая неполадка с машиной.

Чарли. А-а... (Пауза.) Хотелось бы мне съездить в Калифорнию.

Вилли. С чего это вдруг?

Чарли. Хочешь, я дам тебе работу?

Вилли. У меня есть работа, я тебе сто раз говорил. (После небольшой паузы.) Какого чёрта ты мне съешь свою работу?

Чарли. Не лезь в бутылку.

Вилли. А ты меня не зли.

Чарли. Не понимаю, зачем ты за неё держишься. Не понимаю, зачем тебе так мучиться.

Вилли. У меня хорошая работа. (Маленькая пауза.) И чего только тебя сюда носит?

Чарли. Хочешь, чтобы я ушёл?

Вилли (помолчав и сникнув). Зачем ему ехать обратно в Техас? Почему? Какого дьявола...

Чарли. Пусть едет.

Вилли. Мне нечего дать ему, Чарли. Я гол, как сокол.

Чарли. Ничего, не помрёт. Никто у нас с голоду пока не умирает. Забудь о нём.

Вилли. Тогда о чём же мне помнить?

Чарли. Ты слишком близко принимаешь это к сердцу. К чёртовой матери! Если бутылка с трещиной, залог за неё всё равно не вернут.

Вилли. Легко тебе рассуждать.

Чарли. Нет, нелегко.

Вилли. Ты видел, какой потолок я сделал в гостиной?

Чарли. Да, это работа! У меня бы наверняка ничего не вышло. Расскажи, как тебе это удалось?

Вилли. А тебе-то что?

Чарли. Да просто так, интересно.

Вилли. Ты что, тоже собираешься делать новый потолок?

Чарли. Да разве я сумею?

Вилли. Тогда какого же чёрта ты ко мне пристаёшь?

Чарли. Вот ты опять лезешь в бутылку.

Вилли. Человек, который не может управиться с чепуховым инструментом, — не человек. Даже противно!

Чарли. С чего это я стал тебе противен?

Из-за правого угла дома на авансцену выходит Бен с зонтиком и чемоданом. Это положительный и властный усатый мужчина лет за шестьдесят. Он твёрдо уверен в своём предназначении; на нём лежит отпечаток дальних странствий.

Вилли. Я так невыносимо устал, Бен.

Слышна музыка Бена. Бен оглядывается кругом.

Чарли. Ладно, играй, лучше спать будешь. Почему ты назвал меня Беном?

Бен смотрит на часы.

Вилли. Смешно. Ты вдруг напомнил мне моего брата Бена.

Бен. В моём распоряжении всего несколько минут.

Прохаживается, разглядывая всё вокруг. Вилли и Чарли продолжают играть.

Чарли. Ты больше ничего о нём не слышал? С тех самых пор?

Вилли. Разве Линда тебе не говорила? Несколько недель назад мы получили письмо от его жены. Из Африки. Он умер.

Чарли. Вот как?

Бен (*хихикая*). Так вот он какой, ваш Бруклин, а?

Чарли. Может, вам от него перепадёт немножко денег?

Вилли. Держи карман шире! У него самого было семеро сыновей. С этим человеком я упустил только одну возможность...

Бен. Я спешу на поезд, Вильям. Мне надо посмотреть кой-какую недвижимость на Аляске.

Вилли. Да, да... Если бы я тогда поехал с ним на Аляску, всё было бы совсем по-другому.

Чарли. Не морочь голову, ты бы там превратился в сосульку.

Вилли. Глупости!

Бен. На Аляске невиданные возможности разбогатеть, Вильям. Поражаюсь, что ты ещё не там.

Вилли. Невиданные возможности...

Чарли. Что?

Вилли. Это был единственный человек, который знал секрет успеха.

Чарли. Кто?

Бен. Как вы тут поживаете?

Вилли (*забирая деньги из банка и улыбаясь*). Хорошо, очень хорошо.

Чарли. Больно ты сегодня хитёр.

Бен. А мать живёт с тобой?

Вилли. Нет, она давно умерла.

Чарли. Кто?

Бен. Очень жаль. Достойная женщина была наша мать.

Вилли (*Чарли*). Что?

Бен. А я-то надеялся повидать старушку.

Чарли. Кто умер?

Бен. От отца были какие-нибудь вести?

Вилли (*растерянно*). То есть как это «кто умер»?

Чарли (*забирая выигрыш*). О чём ты говоришь?

Бен (*глядя на часы*). Вильям, уже половина девятого!

Вилли (*словно для того, чтобы справиться со своей растерянностью, сердито хватая Чарли за руку*). Это моя взятка!

Чарли. Я положил туза...

Вилли. Если ты не умеешь играть, я не намерен швырять на тебя деньги!

Чарли (*поднимаясь*). Но, господи боже мой, туз ведь был мой!

Вилли. Не буду с тобой больше играть. Ни за что!

Бен. Когда умерла мама?

Вилли. Давно... Ты никогда не умел играть в карты.

Чарли (*собирает карты и направляется к двери*). Ладно. В следующий раз я принесу колоду с пятью тузами.

Вилли. Разве это я жульничаю?

Чарли (*оборачиваясь к нему*). Тебе должно быть стыдно!

Вилли. Да ну?

Чарли. Вот тебе и ну! (*Уходит.*)

Вилли (*захлопывая за ним дверь*). Что с тебя спрашивать — темнота!

Бен (*Вилли, который подходит к нему сквозь угол кухни*). Так это ты, Вильям?

Вилли (*пожимая ему руку*). Бен! Я давно тебя ждал. В чём секрет? Как ты добился успеха?

Бен. Это длинная история...

Ещё молодая Линда выходит на авансцену, неся корзину с бельём.

Линда. Вы Бен?

Бен (*галантно*). Как поживаете, милая?

Линда. Где вы столько лет пропадали? Вилли всегда удивлялся, почему вы...

Вилли (*нетерпеливо отводя Бена от Линды в сторону*). Где отец? Разве ты не поехал за ним? С чего ты начал?

Бен. Не знаю, всё ли ты помнишь...

Вилли. Конечно, я был ребёнком, мне тогда было три года...

Бен. Три года одиннадцать месяцев.

Вилли. Ну и память же у тебя, Бен!

Бен. У меня много разных предприятий, а я не веду бухгалтерских книг.

Вилли. Я сидел под фургоном... Где это было, в Небраске?

Бен. В Южной Дакоте. Я принёс тебе букетик полевых цветов.

Вилли. Помню, как ты шёл по безлюдной дороге...

Бен (*смеясь*). Я отправился на Аляску искать отца.

Вилли. Где он теперь?

Бен. В те годы у меня были смутные представления о географии. Через несколько дней я понял, что иду не на север, а на юг, и вместо Аляски попал в Африку.

Линда. В Африку!

Вилли. На Золотой Берег?

Бен. На алмазные прииски.

Линда. Алмазные прииски?!

Бен. Да, милая. Но в моём распоряжении всего несколько минут...

Вилли. Нет! Нет! Мальчики!.. Мальчики! (*Появляются Биф и Хэппи — подростки.*) Вы только послушайте! Это ваш дядя Бен! Он необыкновенный человек! Расскажи моим мальчикам, Бен!

Бен. Ну что же, послушайте. Когда мне было семнадцать лет, я попал в джунгли, а когда мне стукнуло двадцать один, я оттуда вышел... (*Смеётся.*) И, видит бог, я уже был богачом!

Вилли (*мальчикам*). Понимаете теперь, что я вам всё время твердил? Человеку может выпасть на долю самая невероятная удача!

Бен (*взглянув на часы*). У меня в четверг деловое свидание в Кетчикане.

Вилли. погоди, Бен! Расскажи об отце. Я хочу, чтобы мальчики знали, что у них за предки. Помню только, это был человек с большой бородой. А я сижу, бывало, у мамы на коленях возле костра и слушаю какую-то нежную музыку...

Бен. Флейта. Он играл на флейте.

Вилли. Конечно, флейта. Теперь я помню!

Теперь и в самом деле слышна музыка. Высокие ноты задорной мелодии.

Бен. Отец был большим человеком с неукротимой душой. Запряжёт, бывало, фургон в Бостоне, посадит в него семью и гонит упряжку через всю страну — по Огайо, Индиане, по Мичигану, Иллинойсу и по всем западным штатам... Останавливаемся в городах и продаём флейты, которые он сделал в дороге. Великий выдумщик был отец. На одном маленьком изобретении он зарабатывал в неделю больше, чем ты за всю свою жизнь.

Вилли. Вот в этом духе я и воспитываю своих мальчиков, Бен. Крепкими, обаятельными, мастерами на все руки...

Бен. Да? (*Бифу.*) А ну-ка, ударь, парень. Бей как можно сильнее! (*Показывает на свой живот.*)

Биф. Что вы, сэр!

Бен (*становясь в позу боксёра*). А ну-ка, давай! (*Смеётся.*)

Вилли. Ступай, Биф! Покажи ему!

Биф. Ладно! (*Сжимает кулаки и наступает.*)

Линда (*Вилли*). Зачем ему драться, дружок?

Бен (*парируя удары Бифа*). Молодец! Ай да молодец!

Вилли. Ну-ка, Бен, как?

Хэппи. Дай ему левой, Биф!

Линда. Почему вы дерётесь?

Бен. Молодчага! (*Внезапно делает выпад и подножку, Биф падает. Бен стоит над ним, занеся остриё зонтика над его глазом.*)

Линда. Берегись, Биф!

Биф. Ай!

Бен (*похлопывая Бифа по колену*). Никогда не дерись честно с незнакомым противником, мальчик. Не то ты не выберешься из джунглей. (*Берёт руку Линды, кланяется.*) Я был искренне рад с вами познакомиться. Большая честь.

Линда (*холодно отнимая руку, с испугом*). Счастливого пути.

Бен (*Вилли*). Желаю тебе успеха... Кстати, чем ты занимаешься?

Вилли. Я коммивояжёр

Бен. Вот как! Что ж... (*Прощально машет всем рукой.*)

Вилли. Бен, я не хочу, чтобы ты думал... (*Тащит его за руку.*) Погляди, тут у нас всего-навсего Бруклин, но и мы ходим на охоту!

Бен. Позволь...

Вилли. Да, тут у нас и змеи и зайцы... вот почему я сюда переехал. А Биф, стоит ему захотеть, и он может срубить любое из этих деревьев. Мальчики! А ну-ка, ступайте туда, где строят большой дом, и принесите песку. Мы сейчас переделаем всю нашу веранду. Ты только погляди, Бен!

Биф. Слушаю, сэр! А ну-ка, Хэп, бегом!

Хэппи (*убегая вместе с Бифом*). Я теряю в весе, папа, правда?

Входит Чарли в коротких брюках.

Чарли (*Вилли*). Не позволяй Бифу...

Бен трясётся от смеха.

Вилли. Видел бы ты лес, который они притащили на прошлой неделе. Чуть не дюжину брёвен. За них пришлось бы заплатить кучу денег!

Чарли. Но если сторож...

Вилли. Я им задал, конечно, трёпку. Но понимаешь, что это за бесстрашные ребята?

Чарли. Такими бесстрашными ребятами полны тюрьмы.

Бен (*хлопнув Вилли по спине, смеивается над Чарли*). Но и биржа тоже!

Вилли (*вторит смеху Бена*). Кто это тебе так обкорнал штаны, Чарли?

Чарли. Жена купила мне такие короткие.

Вилли. Тогда бери клюшку для гольфа и ступай спать. (*Бену.*) У него золотые руки: ни он, ни его сынок гвоздя вбить не умеют.

Бернард (*вбегаёт на сцену*). За Бифом гонится сторож.

Вилли (*сердито*). Молчи! Он ничего не украл!

Линда (*в тревоге бежит налево*). Где он? Биф, мальчик!

Вилли (*отходит налево, подальше от Бена*). Ничего страшного.

Бен. Горячий парень. Нервная натура, это хорошо.

Вилли (*смеётся*). У моего Бифа стальные нервы.

Чарли. Прямо не пойму, что же это получается?.. Мой человек вернулся из Новой Англии, словно побитая собака. Они его там совсем доконали.

Вилли. Всё дело в личных отношениях, Чарли! У меня, например, повсюду связи.

Чарли (*язвительно*). Рад за тебя. Приходи попозже, сыграем в карты. Я отниму у тебя часть твоего заработка. (*Смеётся над Вилли и уходит.*)

Вилли (*оборачиваясь к Беню*). Дела идут из рук вон плохо. Конечно, не у меня...

Бен. Я заеду к тебе на обратном пути.

Вилли (*с тоской*). А ты не можешь остаться хоть на несколько дней? Ты мне так нужен, Бен... Положение у меня, правда, хорошее, но отец уехал, когда я был ещё совсем ребёнком, и я не мог ни разу с ним поговорить. А я всё ещё чувствую себя в жизни... как бы это выразиться... вроде временного постояльца...

Бен. Я опоздаю на поезд.

Они стоят в противоположных концах сцены.

Вилли. Бен, мои мальчики... Неужели ты не можешь остаться? Правда, они для меня готовы в огонь и в воду, но я, видишь ли...

Бен. Вильям, ты отлично воспитываешь своих мальчиков. Это незаурядные, мужественные парни.

Вилли (*с жадностью глотая его слова*). Ах, Бен, как я рад, что ты так думаешь! Ведь иногда меня просто ужас берёт, что я учу их не тому, что надо... Бен, чему мне их учить?

Бен (*многозначительно подчёркивая каждое слово, с какой-то злой удалью*). Вильям, когда я вошёл в джунгли, мне было всего семнадцать лет. А когда я оттуда вышел, мне едва исполнилось двадцать один. Но, видит бог, я уже был богат! (*Скрывается за тёмным углом дома.*)

Вилли. Богат!.. Вот что я хочу им внушить: не бойтесь войти в джунгли! Я был прав! Я был прав! Я был прав!

Бена уже нет, но Вилли всё ещё с ним разговаривает. В кухню входит Линда, в ночной рубашке и халатике, ищет Вилли, потом подходит к двери, выглядывает на двор и видит его.

Линда. Вилли, родной! Вилли!

Вилли. Я был прав!

Линда. Ты поел сыру? (*Он не в силах ответить.*) Уже очень поздно. Пойдём спать, дружок, а?

Вилли (*закинув голову и глядя на небо*). Шею себе свихнёшь, прежде чем увидишь хоть одну звезду над этим двором.

Линда. Ты идёшь домой?

Вилли. Куда делась та алмазная цепочка для часов? Помнишь, её привёз Бен, когда приехал из Африки. Разве он тогда не подарил мне цепочку для часов с алмазом?

Линда. Ты заложил её, дружок. Двенадцать или тринадцать лет назад. Нужно было внести плату за заочные радиокурсы для Бифа.

Вилли. Боже мой, какая это была красивая вещь! Пойду прогуляюсь.

Линда. Но ты в домашних туфлях!

Вилли (*обходя вокруг дома слева*). Я был прав! Прав! (*Не то Линде, не то себе, качая головой.*) Что за человек! Вот с кем стоило поговорить. Я был прав!

Линда (*кричит ему вслед*). Ты же в домашних туфлях, Вилли...

Вилли уже почти скрылся. По лестнице спускается Биф в пижаме и входит в кухню.

Биф. Что он там делает?

Линда. Тссс!

Биф. Господи боже мой, мама, давно это с ним?

Линда. Тише, он услышит.

Биф. Что с ним творится? Это же чёрт знает что!

Линда. К утру всё пройдёт.

Б и ф. Неужели ничего нельзя сделать?

Л и н д а. Ах, дорогой мой, тебе столько нужно было сделать, а теперь делать нечего. Поэтому иди-ка ты лучше спать.

Х э п п и спускается сверху и садится на ступеньку.

Х э п п и. Мама, я ещё ни разу не слышал, чтобы он так громко разговаривал.

Л и н д а. Что ж, приходи почаще — услышишь. *(Садится к столу и принимается чинить подкладку на пиджаке Вилли.)*

Б и ф. Почему ты мне об этом не писала?

Л и н д а. Как я могла тебе писать? У тебя больше трёх месяцев не было адреса.

Б и ф. Да, я переезжал с места на место... Но, знаешь, я всё время думал о тебе. Ты мне веришь, дружок?

Л и н д а. Верю, милый, верю. А он так любит получать письма. Тогда и он верит, что всем нам будет лучше...

Б и ф. Но он не всё время такой, а, мама?

Л и н д а. Когда ты приезжаешь домой, он всегда становится хуже.

Б и ф. Когда я приезжаю домой?

Л и н д а. Когда ты пишешь, что скоро приедешь, он весь расцветает от счастья и всё время говорит о будущем... тогда он просто замечательный! Но чем ближе твой приезд, тем больше он нервничает, а когда ты здесь, он всё время сам с собой спорит и на тебя сердится. Наверно, потому, что он не может заставить себя открыть тебе душу. Почему вы так нетерпимы друг к другу? Ну, почему?

Б и ф *(уклончиво)*. Разве я нетерпим?

Л и н д а. Стоит тебе войти в дом, и вы начинаете грызться!

Б и ф. Не знаю, как это получается. Я ведь хочу стать другим, я так стараюсь, мама, понимаешь?

Л и н д а. Ты вернулся домой совсем?

Б и ф. Не знаю. Вот осмотрюсь, погляжу...

Л и н д а. Биф, нельзя же осматриваться весь век!

Б и ф. Я не могу ни за что зацепиться, мама. Я не могу найти свою дорогу.

Л и н д а. Но человек — не птица. Он не может улетать и прилетать вместе с весной!

Б и ф. Твои волосы... *(Притрагивается к её волосам.)* Волосы у тебя стали совсем седые...

Л и н д а. Господи, они стали седеть, когда ты ещё был в школе! Я просто перестала их красить, вот и всё.

Б и ф. Покрась их опять, ладно? Я не хочу, чтобы мой дружок старел. *(Улыбается.)*

Л и н д а. Ты ещё совсем ребёнок! Тебе кажется, что ты можешь уехать на целые годы и за это время ничего не случится... Имей в виду, однажды ты постучишь в эту дверь, и тебе откроют чужие люди...

Б и ф. Не надо так говорить! Тебе ведь нет ещё и шестидесяти, мама.

Л и н д а. А отцу?

Б и ф *(неловко)*. Ну да, я говорю и о нём тоже.

Х э п п и. Он обожает отца.

Л и н д а. Биф, дорогой, если ты не любишь его, значит ты не любишь и меня.

Б и ф. Я очень люблю тебя, мама.

Л и н д а. Нет. Ты не можешь приезжать только ко мне. Потому что я люблю его. *(С оттенком, только с оттенком слёз в голосе.)* Он мне дороже всех на свете, и я не позволю, чтобы он чувствовал себя нежеланным, униженным, несчастным. Лучше решай, как тебе быть, сразу. У тебя больше нет лазеек. Либо он тебе отец и ты его уважаешь, либо

уходи и больше не возвращайся! Я знаю, с ним нелегко... кто же это знает лучше меня? Но...

В и л л и (*слева, со смехом*). Эй, Биффо!

Б и ф (*поднимаясь, чтобы пойти к нему*). Что с ним творится? (*Хэппи его задерживает.*)

Л и н д а. Не смей! Не смей к нему подходить!

Б и ф. А ты его не оберегай! Он всегда тобой помывал. Не уважал тебя ни на грош!

Х э п п и. Он всегда её уважал...

Б и ф. Что ты в этом понимаешь?

Х э п п и (*сварливо*). Только не вздумай называть его сумасшедшим!

Б и ф. У него нет воли... Чарли никогда бы себе этого не позволил. В своём собственном доме... Выплёвывать всю эту блевотину из души!

Х э п п и. Чарли никогда не приходилось терпеть столько, сколько ему.

Б и ф. Многим людям бывало куда хуже, чем Вилли Ломену. Уж ты мне поверь, я их видел.

Л и н д а. А ты возьми Чарли себе в отцы. Что, не можешь? Я не говорю, что твой отец такой уж необыкновенный человек. Вилли Ломен не нажил больших денег. О нём никогда не писали в газетах. У него не самый лёгкий на свете характер... Но он человек, и сейчас с ним творится что-то ужасное. К нему надо быть очень чутким. Нельзя, чтобы он так ушёл в могилу... Словно старый, никому не нужный пёс... Чуткости заслуживает этот человек, понимаешь? Ты назвал его сумасшедшим...

Б и ф. Да я и не думал...

Л и н д а. Нет, многие думают, что он потерял... рассудок. Не надо большого ума, чтобы понять, в чём тут дело. Он просто выбился из сил.

Х э п п и. Верно!

Л и н д а. Маленький человек может выбиться из сил так же, как и большой. В марте будет тридцать шесть лет, как он работает для своей фирмы. Он открыл для их товаров совсем новые рынки, а когда он постарел, они отняли у него жалованье.

Х э п п и (*с негодованием*). Как? Я этого не знал.

Л и н д а. Ты ведь не спрашивал, милый. Ты теперь получаешь карманные деньги из другого источника.— чего же тебе беспокоиться об отце?

Х э п п и. Но я дал вам денег...

Л и н д а. На рождество? Да, пятьдесят долларов. А провести горячую воду стоило девяносто семь пятьдесят. Вот уже пять недель, как он работает на одних комиссионных, словно начинающий, прямо с улицы!

Б и ф. Ах, неблагодарные! Мерзавцы!

Л и н д а. А чем они хуже его собственных детей? Когда он был молод, когда он приносил хозяину доходы, хозяин его ценил. А теперь прежние друзья, старые покупатели, — они так любили его и всегда старались сунуть ему заказ в трудную минуту, — все они умерли или ушли на покой. Прежде он легко мог обойти за день в Бостоне шесть-семь фирм. А теперь стоит ему вытащить чемоданы из машины и втащить их обратно, как он уже измучен. Вместо того чтобы ходить, он теперь разговаривает. Проехав тысячу километров, он вдруг видит, что никто его больше не знает, он ни от кого не слышит приветливого слова. А чего только не передумает человек, когда едет тысячу километров домой, не заработав ни цента? Поневоле начнёшь разговаривать с самим собой! Ведь ему приходится каждую неделю ходить к Чарли, брать у него в долг пятьдесят долларов и уверять меня, будто он их заработал. Долго так может продолжаться? Видите, почему я сижу и его дожидаясь? И ты мне говоришь, что у этого человека нет воли? У него, кто ради вас проработал всю жизнь? Когда ему

дадут за это медаль? И в чём его награда теперь, когда ему стукнуло шестьдесят три года? Он видит, что его сыновья, которых он любил больше жизни, один из них просто потаскун...

Хэппи. Мама!

Линда. Вот и всё, что из тебя вышло, детка! *(Бифу.)* А ты? Куда девалась твоя любовь к нему? Вы ведь были такими друзьями! Помнишь, как ты с ним каждый вечер разговаривал по телефону? Как он скучал без тебя!

Биф. Ладно, мама. Я буду жить тут с вами, я найду работу. Постараюсь с ним не связываться, вот и всё.

Линда. Нет, Биф. Ты не можешь здесь жить и ссориться с ним без конца.

Биф. Это он выгнал меня из дому, не забывай.

Линда. За что? Я ведь так до сих пор и не знаю.

Биф. Зато я знаю, какой он обманщик, а он не любит, когда это знают.

Линда. Обманщик? В каком смысле? Что ты хочешь сказать?

Биф. Не вини меня одного. Вот всё, что я тебе скажу. Я буду давать свою долю. Половину того, что заработаю. Чего ему тогда расстраиваться? Всё будет в порядке. А теперь пойду-ка я спать. *(Идёт к лестнице.)*

Линда. Ничего не будет в порядке.

Биф *(поворачиваясь на ступеньке, в ярости)*. Я ненавижу этот город, но я останусь. Чего ты хочешь ещё?

Линда. Он погибает, Биф.

Хэппи смотрит на неё с ужасом.

Биф *(помолчав)*. Погибает? Отчего?

Линда. Он хочет себя убить.

Биф *(с непередаваемым ужасом)*. Как?!

Линда. Знаешь, как я теперь живу: день прошёл — и слава богу!

Биф. Что ты говоришь?

Линда. Помнишь, я писала тебе, что он снова разбил машину? В феврале?

Биф. Ну?

Линда. Пришёл страховой инспектор. Он сказал, что у них есть свидетели. Все несчастные случаи в прошлом году... не были несчастными случаями.

Хэппи. Откуда они могут это знать? Ложь!

Линда. Дело в том, что одна женщина... *(У неё сжимается горло.)*

Биф *(резко, но сдержанно её прерывает)*. Какая женщина?

Линда *(в одно время с ним)*. ...эта женщина... Что ты сказал?

Биф. Ничего. Говори.

Линда. Что ты сказал?

Биф. Ничего. Я просто спросил: какая женщина?

Хэппи. Ну и что же эта женщина?

Линда. Говорит, что она шла по дороге и видела его машину. Говорит, что он ехал совсем не быстро и что машину и не думало заносить. Он подъехал к мостику, а потом нарочно врезался в перила... Его спасло то, что речка обмелела.

Биф. Да он, наверно, опять заснул.

Линда. Я не верю, что он заснул.

Биф. Почему?

Линда. В прошлом месяце... *(С большим напряжением.)* Ох, мальчики, как тяжело говорить такие вещи! Ведь для вас он просто старый, глупый человек... А я повторяю вам: он куда лучше многих других... *(Глотает слёзы, вытирает глаза.)* Как-то перегорела пробка. Свет погас, и я

спустилась в погреб. За предохранительной коробкой... он оттуда просто выпал... был спрятан кусок резиновой трубки...

Хэппи. Ты шутишь!

Линда. И на конце её маленькое приспособление... Я сразу всё поняла. И действительно, к трубке газовой горелки под котлом был приделан новый маленький ниппель.

Хэппи (*зло*). Какое свинство!

Биф. Ты заставила его это убрать?

Линда. Мне... стыдно. Как я могу ему сказать? Каждый день я спускаюсь вниз и ношу эту трубку. Но когда он приходит домой, я снова кладу её на место. Разве я могу его обидеть? Не знаю прямо, что и делать. Не знаю, как дожить до утра. Ах, мальчики, если бы вы понимали... Ведь я знаю всё, что он думает. Каждую его мысль. Может, то, что я говорю, глупо, старомодно, но, ей-богу, он отдал вам всю свою жизнь, а вы от него отвернулись. (*Она уронила голову на колени и плачет, закрыв лицо руками.*) Биф, клянусь тебе богом, слышишь, Биф? Его жизнь в твоих руках.

Хэппи (*Бифу*). Как тебе нравится этот старый дурак?

Биф (*целуя её*). Ладно, дружочек, ладно. Решено и подписано. Я знаю, мама. Я был неправ. Но теперь я останусь и, клянусь тебе, примусь за дело всерьёз. (*Становится перед ней на колени, в лихорадочном самобичевании.*) Дело в том... Понимаешь, мамочка, я не очень-то приспособлен к торговому делу. Но не думай, что я не буду стараться. Я буду стараться, я своего добьюсь!

Хэппи. Конечно, добьёшься. У тебя ничего не выходило с коммерцией, потому что ты не очень старался нравиться людям.

Биф. Я знаю, я...

Хэппи. Помнишь, например, когда ты работал у Харрисона? Боб Харрисон сначала говорил, что ты высший сорт! И надо же было тебе делать такие несусветные глупости! Насвистывать в лифте, как клоуну!

Биф (*с раздражением*). Ну и что? Я люблю свистеть.

Хэппи. Никто не поручит ответственного поста человеку, который свистит в лифте!

Линда. Стоит ли спорить об этом сейчас?

Хэппи. А разве ты не бросал работу посреди дня и не уходил ни с того ни с сего плавать?

Биф (*с возрастающим возмущением*). А ты разве то и дело не убегаешь с работы? Ты ведь тоже устраиваешь себе отдых? В погожий летний денёк?

Хэппи. Да, но меня на этом не поймаешь!

Линда. Мальчики!

Хэппи. Если уж я решил смыться, хозяин может позвонить в каждое из мест, где мне полагалось быть, и всюду ему поклянутся, что я был и только что вышел. Мне очень неприятно тебе это говорить, Биф, но в коммерческом мире думают, что ты ненормальный.

Биф (*рассердившись*). Да ну её к чёрту, твою коммерцию!

Хэппи. Правильно. Только надо уметь прятать концы в воду.

Линда. Хэп! Хэп!

Биф. Плевать мне на то, что они обо мне думают. Они вечно смеялись и над отцом, а знаешь, почему? Потому что мы чужие в этом бедламе! Нам бы класть цемент где-нибудь на воле или... или плотничать. Плотник имеет право свистеть!

Вилли появляется у входа в дом слева.

Вилли. Даже твой дед и тот не был плотником. (*Пауза. Они за ним наблюдают.*) Ты так и не стал взрослым. Поверь мне, Бернарду и в голову не придёт свистеть в лифте.

Б и ф (*хочет развеселить Вилли и обратить всё это в шутку*). Да, но ты-то свистишь, папа!

В и л л и. Никогда в жизни я не свистел в лифте! И кто это в коммерческом мире думает, что я ненормальный?

Б и ф. Да я совсем не то хотел сказать. Давай не будем делать из мухи слона, ладно?

В и л л и. Езжай обратно к себе на Запад. Работай плотником, ковбоем в своё удовольствие!

Л и н д а. Вилли, он как раз говорил...

В и л л и. Я слышал, что он говорил.

Х э п п и (*стараясь утихомирить Вилли*). Послушай, папа, брось ты...

В и л л и (*перебивая Хэппи*). Они смеются надо мной, а? А ну-ка зайди в Бостоне к Файлину, к Хэбу, к Слаттери... Назови имя Вилли Ломена, посмотри, что будет!.. Вилли Ломен — известная личность!

Б и ф. Ладно, папа.

В и л л и. Известная, слышишь?

Б и ф. Ладно.

В и л л и. Почему ты меня всегда оскорбляешь?

Б и ф. Да я не сказал ни одного обидного слова. (*Линде.*) Разве я что-нибудь говорил?

Л и н д а. Он не сказал ничего плохого, Вилли.

В и л л и (*подходя к двери в гостиную*). Ну ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи.

Л и н д а. Вилли, родной, он как раз решил...

В и л л и (*Бифу*). Если тебе завтра надоест ничего не делать, покрась потолок в гостиной.

Б и ф. Я уйду рано утром.

Х э п п и. Он хочет повидаться с Биллом Оливером, папа.

В и л л и (*с интересом*). С Оливером? Для чего?

Б и ф (*сдерживаясь, делая над собой усилие, стараясь изо всех сил*). Он говорил, что меня поддержит. Я хочу начать какое-нибудь дело, может, он примет во мне участие...

Л и н д а. Разве это не замечательно?

В и л л и. Не прерывай. Чего тут замечательного? В Нью-Йорке найдётся человек пятьдесят, которые с радостью дадут ему капитал. (*Бифу.*) Спортивные товары?

Б и ф. Думаю, что да. Я кое-что в этом смысле, а...

В и л л и. Он кое-что смыслит! Господи Иисусе, да ты знаешь спортивные товары лучше, чем сам Сполдинг! Сколько он тебе даёт?

Б и ф. Не знаю. Я его ещё не видел, но...

В и л л и. Так о чём же ты разговариваешь?

Б и ф (*начиная сердиться*). А что я сказал? Я сказал, что хочу его повидать, вот и всё!

В и л л и (*отворачиваясь*). Опять делишь шкуру неубитого медведя!

Б и ф (*направляясь к лестнице*). А, чёрт! Я пошёл спать.

В и л л и (*ему вдогонку*). Не смей ругаться!

Б и ф (*поворачиваясь к нему*). С каких это пор ты стал таким праведником?

Х э п п и (*пытаясь их успокоить*). Погодите...

В и л л и. Не смей так со мной разговаривать! Не позволю!

Х э п п и (*хватая Бифа за руку, кричит*). Погодите минутку! У меня идея! Первоклассная идея! Поди сюда, Биф, поговорим, давай поговорим разумно. Когда я прошлый раз был во Флориде, мне пришла в голову мысль, как продавать спортивные товары. Сейчас ты мне напомнил... Я и ты, Биф,— у нас будет своя специальность. Мы будем торговать по-своему... Фирма Ломен. Потренируемся несколько недель, устроим парочку состязаний. Понятно?

Вилли. Вот это идея!

Хэппи. Погоди. Организуем две баскетбольные команды, понимаешь? Потом две команды водного поло. Играем друг против друга. Представляешь, какая реклама? Брат против брата, понимаешь? Братья Ломен. Витрина в «Королевских Пальмах», во всех лучших отелях... И транспаранты над стадионом: «Братья Ломен». Детки, вот это будет торговля спортивными товарами!

Вилли. За такую идею можно дать миллион!

Линда. Блестяще!

Биф. Мне она тоже по душе, если за этим стало дело.

Хэппи. И вся прелесть в том, Биф, что это совсем не похоже на обыкновенную торговлю. Словно мы снова ребята, играем в футбол...

Биф (*загоревшись*). Вот это да!..

Вилли. Золотая мысль!

Хэппи. И тебе не надоест, Биф, и семья снова будет как семья. Близость, взаимная поддержка — всё, как когда-то. А если тебе и захочется удрать, чтобы поплавать,— пожалуйста, это твоё право! И никто тебе на хвост не наступит!

Вилли. Ох, и заткнёте же вы всех за пояс! Вы, мальчики, вдвоём можете хоть кого заткнуть за пояс!

Биф. Завтра же повидаюсь с Оливером. Эх, если бы у нас с тобой, Хэп, это вышло...

Линда. Может, даст бог, всё образуется...

Вилли (*в бешеном возбуждении, Линде*). Не прерывай! (*Бифу*.) Но когда пойдёшь к Оливеру, не вздумай надеть спортивный костюм:

Биф. Нет, я...

Вилли. Строгий деловой костюм, разговаривай как можно меньше и не смей отпускать свои шуточки.

Биф. Он меня любил. Он меня очень любил.

Линда. Он тебя обожал!

Вилли (*Линде*). Ты замолчишь? (*Бифу*.) Войди сдержанно. Солидно. Ты ведь не пришёл просить работу. Речь идёт о больших деньгах. Держись с достоинством. Будь немногословен. Людям нравятся остряки, но никто не даёт им в кредит.

Хэппи. Я тоже постараюсь достать денег, Биф. И, наверно, смогу.

Вилли. Мальчики, вас ждёт блестящее будущее! Все наши горести теперь позади. Но помните: большому кораблю большое плавание. Приси пятнадцать. Сколько ты думаешь попросить?

Биф. Ей-богу, не знаю...

Вилли. И не божись! Это не солидно. Человек, который просит пятнадцать тысяч долларов, не божится!

Биф. Десять, по-моему, никак не больше...

Вилли. Не скромничай. Ты всегда слишком мало запрашивал. Входи веселей. Не показывай, что ты волнуешься. Расскажи ему для начала парочку анекдотов, чтобы дело пошло как по маслу. Не важно, что ты говоришь,— важно, как ты это говоришь. Личные качества, личное обаяние — вот что всегда побеждает!

Линда. Оливер был о нём самого высокого мнения.

Вилли. Дашь ты мне вставить хоть слово?

Биф. А ты на неё не кричи, слышишь?

Вилли (*сердито*). Я ведь разговаривал, правда?

Биф. А мне не нравится, что ты на неё всё время кричишь.

Вилли. Ты здесь хозяин, что ли?

Линда. Вилли...

Вилли (*накидываясь на неё*). Что ты ему всё время поддакиваешь, чёрт бы тебя побрал!

Б и ф (*в ярости*). Перестань на неё орать!

В и л л и (*внезапно обмякнув, словно побитый, мучаясь угрызениями совести*). Передай привет Биллу Оливеру; может, он меня помнит. (*Уходит в гостиную.*)

Л и н д а (*понижив голос*). Зачем ты всё это снова затеял? (*Биф отворачивается.*) Разве ты не видел, какой он был хороший, когда ты дал ему хоть капельку надежды? (*Подходит к Бифу.*) Пойдём наверх, пожелай ему спокойной ночи. Не надо, чтобы он лёг спать в таком состоянии.

Х э п п и. Пойдём, Биф, приободрим старика.

Л и н д а. Ну, пожалуйста, милый, скажи ему спокойной ночи. Ему так мало нужно. Пойдём. (*Идёт в гостиную и кричит оттуда наверх.*) Твоя пижама в ванной, Вилли!

Х э п п и (*глядя ей вслед*). Вот это женщина! Таких больше не делают. Правда, Биф?

Б и ф. Его сняли с жалованья. Работать на одних комиссионных!

Х э п п и. Давай смотреть на вещи трезво: как коммивояжёр он уже вышел в тираж. Правда, надо признаться, он ещё умеет быть обаятельным.

Б и ф (*решаясь*). Дай мне в долг долларов десять, можешь? Я хочу купить парочку новых галстуков.

Х э п п и. Я сведу тебя в одно местечко. Прекрасные товары. Надень завтра одну из моих рубаш в полоску.

Б и ф. Мама так поседела. Она стала ужасно старенькая. Господи Иисусе, мне и вправду нужно пойти завтра к Оливеру и выбить из него эти...

Х э п п и. Пойдём наверх. Скажи об этом отцу. У него станет легче на душе. Идём.

Б и ф (*распаляясь*). Представляешь, малыш, если мы получим эти десять тысяч долларов!

Х э п п и (*входя вместе с Бифом в гостиную*). Вот это разговор. Наконец-то я вижу прежнюю удаль! (*Из гостиной, всё тише, по мере того как он удаляется.*) Нам с тобой, братишка, надо жить вместе. Какую девочку ты бы ни захотел, скажи только слово... (*Теперь его едва слышно. Они поднимаются по лестнице в спальню родителей.*)

Л и н д а (*входя в спальню и обращаясь к Вилли, который находится в ванной. Она перестилает его постель*). Можешь ты что-нибудь сделать с душем? Он опять протекает.

В и л л и (*из ванной*). В один прекрасный день всё вдруг портится сразу. Проклятые водопроводчики, на них надо подать в суд! Не успеваешь привести в порядок одно, как ломается что-то другое... (*Продолжает невнятно бормотать.*)

Л и н д а. Интересно, узнает ли его Оливер. Как ты думаешь, он его помнит?

В и л л и (*выходя из ванной в пижаме*). Его? Да ты что, совсем спятила? Если бы он не ушёл от Оливера, он был бы его правой рукой. Пусть только Оливер на него взглянет. Ты совсем потеряла всякое соотношение. Не знаешь, какие теперь пошли молодые люди?... (*Укладывается в постель.*) Ни черта не стоят! Только и могут что шалопайничать.

В спальню входят Б и ф и Х э п п и. Маленькая пауза.

В и л л и (*прерывая себя на полуслове, глядит на Бифа*). Я очень рад за тебя, мальчик.

Х э п п и. Он хотел пожелать тебе спокойной ночи.

В и л л и (*Бифу*). Хорошо! Положи его на обе лопатки, мальчик. Что ты хотел мне сказать?

Б и ф. Не расстраивайся, отец. Спокойной ночи. *(Хочет уйти.)*

В и л л и *(не в силах удержаться)*. И если, когда ты будешь там, что-нибудь ненароком свалится со стола — пакет или какая-нибудь другая вещь, — не вздумай её поднимать. Для этого у них есть рассыльные.

Л и н д а. Я приготовлю завтрак плотнее...

В и л л и. Дашь ты мне говорить? *(Бифу.)* Скажи ему, что на Западе ты работал не на ферме, а по торговой части.

Б и ф. Ладно, папа.

Л и н д а. Надеюсь, всё теперь...

В и л л и *(словно её не слышит)*. И смотри не продешеви себя. Проси не меньше пятнадцати тысяч.

Б и ф *(не в силах всего этого вынести)*. Хорошо. Спокойной ночи, мама. *(Идёт к двери.)*

В и л л и. Помни, в тебе есть масштаб, Биф, ты можешь выйти в люди. В тебе есть дар божий... *(Откидывается в изнеможении на подушку. Биф выходит из комнаты.)*

Л и н д а *(ему вслед)*. Спи спокойно, мой дорогой.

Х э п п и. Я решил жениться, мама. Имей это в виду.

Л и н д а. Ступай спать, милый.

Х э п п и *(уходя)*. Я просто хотел, чтобы ты имела в виду.

В и л л и. Действуй. *(Хэппи уходит.)* Господи... Помнишь матч на стадионе «Эббетс»? Городской чемпионат?

Л и н д а. Отдохни. Хочешь, я тебе спою?

В и л л и. Ага. Спой мне. *(Линда тихо напевает колыбельную.)* Когда их команда вышла на поле... он был самый высокий, помнишь?

Л и н д а. Да. И весь золотой...

Б и ф входит в тёмную кухню, вынимает сигарету и переступает порог дома. Он появляется в золотом пятне света. Курит, глядя в ночную мглу.

В и л л и. Как молодой бог. Геркулес или кто-нибудь в этом роде. И вокруг него сияло солнце, весь он был им озарён. Помнишь, как он помахал мне рукой? Прямо оттуда, с поля, где стояли представители трёх университетов. Тут же были мои покупатели, я их пригласил... Как ему кричали, когда он вышел: Ломен! Ломен! Ломен! Господи, он ещё будет большим человеком. Такая яркая звезда, разве она может погаснуть бесследно?

Свет в спальне Вилли меркнет. В кухонной стене, возле лестницы, загорается ярким огнём газовая горелка. Из раскалённых докрасна трубок поднимаются синие языки пламени.

Л и н д а *(робко)*. Вилли, дружок, а что он имеет против тебя?

В и л л и. Я так устал. Помолчи.

Б и ф медленно возвращается на кухню. Останавливается, пристально смотрит на горелку.

Л и н д а. Ты попросишь Говарда, чтобы тебе дали работу в Нью-Йорке?

В и л л и. Первым делом, с утра. Всё будет хорошо.

Б и ф протягивает руку за горелку и достаёт оттуда кусок резиновой трубки. Он с ужасом глядит в сторону всё ещё тускло освещённой комнаты Вилли, откуда доносится монотонное и горестное пение Л и н д ы.

В и л л и *(пристально глядя в окно на лунный свет)*. Боже ты мой, погляди, как гуляет луна между теми домами.

Б и ф обёртывает вокруг руки резиновую трубку и торопливо поднимается по лестнице.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Слышна весёлая, бодрая музыка. Когда музыка стихает, занавес поднимается. Вилли без пиджака сидит у кухонного стола, прихлёбывая кофе. На коленях у него лежит шляпа. Линда, когда ей это удаётся, подливает ему кофе.

Вилли. Замечательный кофе. Очень питательная еда!

Линда. Сделать тебе яичницу?

Вилли. Нет. Посиди.

Линда. У тебя такой отдохнувший вид.

Вилли. Спал как убитый. Первый раз за несколько месяцев. Ты только подумай: проспать до десяти во вторник! Мальчики рано ушли, а?

Линда. В восемь часов их уже и след простыл.

Вилли. Молодцы!

Линда. Так приятно было видеть их вместе! У меня даже защемило сердце. И весь дом пропах кремом для бритья!

Вилли (*улыбаясь*). М-м-м...

Линда. Биф сегодня утром был совсем другой! У него и в голосе и в глазах было столько надежды. Ему просто не терпелось поскорее попасть в город и повидать Оливера.

Вилли. Теперь у него всё переменится. Есть люди, которые поздно... остепеняются. Вот и всё. Что он надел?

Линда. Синий костюм. Он в нём такой красивый. В этом костюме он просто необыкновенный!

Вилли встаёт из-за стола. Линда подаёт ему пиджак.

Вилли. Да, да, вот именно. Именно... По дороге домой надо купить семян.

Линда (*смеясь*). Вот будет славно! Но теперь к нам так редко заглядывает солнце. Боюсь, что здесь ничего не будет расти.

Вилли. Потерпи, детка, мы ещё купим себе клочок земли в деревне, я буду сажать овощи, разводить цыплят...

Линда. Конечно, будешь, дружок.

Вилли вытаскивает руки обратно из рукавов пиджака, который она ему подаёт, и отходит. Линда идёт за ним следом.

Вилли. Они женятся и будут приезжать к нам с субботы на воскресенье. Я построю маленький флигелёк для гостей. У меня ведь столько прекрасных инструментов. Всё, что мне надо, это немножко досок и душевный покой.

Линда (*радостно*). Я подшила тебе подкладку...

Вилли. Можно построить даже два флигеля, чтобы они приезжали оба. Он решил наконец, сколько попросить у Оливера?

Линда (*натягивая на него пиджак*). Он мне ничего не сказал, но я думаю, десять или пятнадцать тысяч. А ты сегодня поговоришь с Говардом?

Вилли. Да. Я поставлю вопрос ребром. Ему придётся перевести меня с разъездной работы.

Линда. Вилли, не забудь попросить немножко денег вперёд... Нам надо заплатить по страховому полису. Льготный период кончается.

Вилли. Это сто...

Линда. Сто восемь долларов шестьдесят восемь центов. Мы ведь опять чуточку в долгу.

Вилли. Почему?

Линда. Ты отдавал машину в ремонт...

Вилли. Ох, уж этот проклятый «студебеккер»!

Линда. И остался последний взнос за холодильник...

Вилли. Но он ведь опять сломался!

Линда. Что поделаешь, родной, он уже старенький.

Вилли. Говорил я тебе, что надо покупать известную марку. Чарли купил «Дженерал электрик», ему уже лет двадцать, а он, сукин сын, всё ещё работает!

Линда. Да, но...

Вилли. Разве кто-нибудь знает холодильники Хэстингса? Раз в жизни хотел бы я получить в собственность вещь прежде, чем она сломается! Вечно я состязаюсь со свалкой утиля: только успеешь выплатить за машину, а она уже при последнем издыхании. Холодильник пожирает запчасты, как бензый. Они нарочно так делают свои товары: когда вы за вещь наконец выплатили, она уже никуда не годится.

Линда (*застёгивая его пиджак, который он сейчас же расстёгивает*). В общем, мы выйдем из положения, если у нас будет хотя бы двести долларов. Но сюда уже входит и последний взнос по закладной. После этого дом будет наш.

Вилли. Не прошло и двадцати пяти лет!

Линда. Да, Бифу было девять, когда мы его купили.

Вилли. Ну что ж, это большое дело. Двадцать пять лет выплачивать по закладной...

Линда. Большое достижение.

Вилли. А сколько цемента, леса и труда я вложил в этот дом. В нём теперь нет ни единой трещинки.

Линда. Да, он сослужил нам службу.

Вилли. Сослужил... Скоро въедет в него чужой человек — и всё. Вот если бы Биф взял этот дом и народил в нём детей... (*Собирается уходить*.) Прощай, я опаздываю.

Линда (*внезапно вспомнив*). Совсем забыла! Тебе надо встретиться с ними, они хотят с тобой пообедать!

Вилли. Со мной?

Линда. В ресторане Фрэнка на Сорок восьмой улице, возле Шестого авеню.

Вилли. Да ну? А ты?

Линда. Нет, только вы втроем. Они решили поставить тебе хорошее угощение!

Вилли. Скажи, пожалуйста! Кто это придумал?

Линда. Утром пришёл ко мне Биф и говорит: «Скажи папе, что мы хотим поставить ему хорошее угощение». Ты должен быть там ровно в шесть. Пообедаешь со своими мальчиками.

Вилли. Красота! Вот это здорово! Уж теперь-то я наяду на Говарда! Вырву у него аванс и добьюсь работы в Нью-Йорке. Теперь-то я уж этого добьюсь, чёрт бы его побрал!

Линда. Правильно, Вилли, так и надо!

Вилли. Никогда в жизни больше не сяду за руль!

Линда. Времена меняются, Вилли. Я чувствую, что они меняются!

Вилли. Безусловно! Прощай, я опаздываю. (*Снова направляется к выходу*.)

Линда (*окликает его, подбежав к кухонному столу за носовым платком*). Очки не забыл?

Вилли (*щупает карман, потом возвращается*). Нет, не забыл.

Линда (*даёт ему носовой платок*). Возьми платок.

Вилли. Ага, платок.

Линда. А твой сахарин?

Вилли. Ага, сахарин...

Линда. Осторожнее спускайся в подземку.

Целует его. Вилли замечает, что на руке у неё висит шелковый чулок.

Вилли. Ты перестанешь наконец штопать чулки? По крайней мере когда я дома. Мне это действует на нервы, ужасно! Прошу тебя.

Линда прячет чулок в кулаке, провожая Вилли по авансцене перед домом.

Линда. Не забудь: ресторан Фрэнка.

Вилли (*проходя мимо просцениума*). Может, здесь будет расти свёкла.

Линда (*смеясь*). Ты ведь пробовал уже столько раз!

Вилли. Верно. Смотри не возись сегодня слишком много. (*Исчезает за правым углом дома.*)

Линда. Будь осторожнее! (*Машет ему вслед. Звонит телефон. Линда бежит через сцену в кухню и поднимает трубку.*) Алло! Это ты, Биф? Я так рада, что ты позвонил, я как раз... Да, конечно, только что сказала. Да, он будет ровно в шесть. Нет, как я могла забыть! Послушай, я умираю от желания тебе рассказать... Помнишь, я говорила тебе про резиновую трубку? Трубку к газовой горелке? Сегодня утром я наконец решила её выбросить. Но я её не нашла! Понимаешь? Он её взял, её больше нет! (*Слушает.*) Ах, это ты её взял? Нет, ничего... Я надеялась, что он взял её сам. Нет, я теперь не беспокоюсь, дорогой. Сегодня он ушёл в таком хорошем настроении, совсем как в прежние дни. Я больше не боюсь. Тебя принял мистер Оливер?.. Ничего, подожди ещё. И постарайся произвести на него хорошее впечатление. Пожалуйста, не волнуйся. И желаю вам с отцом повеселиться. У него ведь тоже могут быть сегодня хорошие новости!.. Вот именно, работа в Нью-Йорке. И прошу тебя, родной, будь сегодня с ним поласковее. Покажи, что ты его любишь. Ведь он маленький кораблик, который ищет тихой пристани. (*К радости её примешивается печаль. Голос её дрожит.*) Ах, как это замечательно, Биф! Ты спасёшь ему жизнь. Спасибо тебе, родной. Обними его, когда он войдёт в ресторан. Улыбнись ему. Вот и всё, что от тебя требуется. Так, мой мальчик... До свидания, дорогой мой... Ты не забыл свою расчёску?.. Хорошо. До свидания, Биф.

Посреди её монолога Говард Вагнер, тридцати шести лет, вкатывает на колёсиках столик для пишущей машинки, на котором стоит звукозаписывающий аппарат, и включает его. Это происходит слева, на авансцене. Свет, освещающий Линду, медленно меркнет и переносится на Говарда. Говард очень озабочен, налаживая магнитофон, и при появлении Вилли лишь искоса взглядывает на него через плечо.

Вилли. Можно?

Говард. Здравствуйте, Вилли, входите.

Вилли. Мне хотелось бы сказать вам пару слов.

Говард. Простите, что заставляю вас ждать. Одну минуточку.

Вилли. Что это такое?

Говард. Как, вы никогда не видели? Магнитофон!

Вилли. Ага... Можно с вами поговорить?

Говард. Он записывает всё что хотите. Мне привезли его только вчера. Я долго по нему ходил с ума, ведь это самое дьявольское изобретение, какое я видел. Из-за него я не спал всю ночь.

Вилли. А для чего эта штука?

Говард. Я купил его, чтобы диктовать письма, но он годится для чего угодно. Послушайте! Я брал его на ночь домой. Послушайте, что мне удалось записать. Сперва моя дочь. Вот. (*Поворачивает рычаг, и становится слышно, как кто-то насвистывает «Катились в лодку бочки».*) Здорово свистит девчушка, а?

Вилли. Совсем как в жизни.

Говард. Ей только семь лет. Вы слышите, какой тон?

Вилли. Ай-ай-ай! Хотел попросить у вас маленькое одолжение...

Свист прерывается и слышен голос дочери Говарда.

Голос дочери Говарда. Теперь ты, папочка.

Говард. Она меня просто обожает! (*Снова слышится, как насвистывают ту же самую песню.*) Это я! Ха-ха-ха! (*Подмигивает.*)

Вилли. Здорово!

Свист снова прерывается. Минуту аппарат работает беззвучно.

Говард. Тссс! Слушайте внимательно, это мой сын!

Голос сына Говарда. Столица Алабамы — Монтгомери, столица Аризоны — Феникс, столица Арканзаса — Литл-Рок, столица Калифорнии — Сакраменто... (*Продолжает перечислять столицы штатов.*)

Говард (*показывая растопыренную ладонь*). А ему всего-навсего пять лет, Вилли!

Вилли. Он будет диктором, как пить дать!

Голос сына Говарда (*продолжает*). Столица Огайо...

Говард. Заметили: в алфавитном порядке! (*Аппарат внезапно перестаёт работать.*) Обождите минутку. Горничная нечаянно вытащила штепсельную вилку.

Вилли. Вот это действительно...

Говард. Тише, Христа ради!

Голос сына Говарда. Сейчас ровно девять по моим карманым часам. Поэтому мне надо итти спать.

Вилли. Это на самом деле...

Говард. Обождите минутку. Сейчас вы услышите мою жену.

Они ждут.

Голос Говарда. Ну чего же ты? Скажи что-нибудь! (*Пауза.*) Ты будешь говорить или нет?

Голос жены Говарда. Я ничего не могу придумать.

Голос Говарда. Ну говори же, лента крутится зря.

Голос жены Говарда (*робко, униженно*). Алло! (*Молчание.*)

Ох, Говард, я не могу разговаривать в эту самую штуку...

Говард (*резко выключая магнитофон*). Это была моя жена.

Вилли. Поразительная машина! Можно мне...

Говард. Клянусь, Вилли, теперь я выброшу все мои игрушки! И фотоаппарат, и ленточную пилу, и всё остальное. Это самое увлекательное развлечение, какое можно придумать!

Вилли. Надо бы купить его и мне.

Говард. Конечно, он стоит всего полтора доллара. Без него вам не обойтись. Например, вам захотелось послушать Джека Бенни. Но, когда его передают, вас нет дома. Тогда вы просите горничную включить радио, и когда Джек Бенни выступает, магнитофон автоматически его записывает...

Вилли. ...А когда вы приходите домой...

Говард. Вы можете прийти домой в двенадцать, в час, когда угодно... Берёте бутылку кока-кола, садитесь, поворачиваете рычаг и слушаете среди ночи всю программу Джека Бенни!

Вилли. Непременно заведу себе такую штуку. Уйму времени проводишь в разъездах и горюешь, сколько интересного ты пропустил по радио!

Говард. Неужели у вас в машине нет радио?

Вилли. Есть, но кому придёт в голову его включать?

Говард. Послушайте, но вы ведь, кажется, сегодня должны были быть в Бостоне?

Вилли. Об этом-то я и хотел с вами поговорить, Говард. У вас найдётся свободная минутка? (*Приносит из-за кулис стул.*)

Говард. Что случилось? Почему вы здесь?

Вилли. Видите ли...

Г о в а р д. Надеюсь, вы не разбились опять, а?

В и л л и. Нет... Но...

Г о в а р д. Господи, а я уж испугался. Так что же случилось?

В и л л и. Я вам скажу правду, Говард. Я думаю, что мне больше не следует разъезжать.

Г о в а р д. Не следует разъезжать? Так что же вы будете делать?

В и л л и. Помните, на рождество, когда мы все здесь собрались... вы обещали, что постараетесь подыскать мне какую-нибудь работёнку в городе.

Г о в а р д. У нас?

В и л л и. Ну конечно.

Г о в а р д. А-а... Припоминаю. Да, но я так и не смог ничего для вас придумать, Вилли.

В и л л и. Послушайте, Говард. Ребята мои подросли. Мне самому много не надо. Если я смогу принести домой... ну, хотя бы шестьдесят пять долларов в неделю, я сведу концы с концами.

Г о в а р д. Да, но видите ли...

В и л л и. Поймите меня, Говард. Говоря честно и строго, между нами, я немножко устал.

Г о в а р д. Я вас понимаю, Вилли. Но вы ведь разъездной работник, а наша фирма торгует с провинцией. У нас тут всего полдюжины служащих.

В и л л и. Видит бог, Говард, я никогда ни у кого не просил одолжений. Но я работал в вашей фирме ещё в ту пору, когда ваш отец вас носил на руках.

Г о в а р д. Знаю, Вилли...

В и л л и. Ваш отец — упокой, господи, его душу! — подошёл ко мне в тот день, когда вы родились, и спросил меня, нравится ли мне имя Говард.

Г о в а р д. Я это очень ценю, Вилли, но у меня просто нет ни одного свободного места. Если бы оно у меня было, я бы вас сразу же назначил, но, ей-богу, у меня здесь нет ни единого местечка.

Ищет зажигалку. В и л л и ему подаёт её. Пауза.

В и л л и (*с нарастающим гневом*). Говард, всё, что мне нужно, чтобы прокормиться, это пятьдесят долларов в неделю.

Г о в а р д. Но куда же я вас дену, миленький?

В и л л и. Послушайте, ведь вы не сомневаетесь в том, что я умею продавать товар?

Г о в а р д. Да, мой милый, но дело есть дело, и человек должен себя оправдывать.

В и л л и (*в отчаянии*). Дайте-ка я вам что-то расскажу, Говард.

Г о в а р д. Вы ведь не можете отрицать, что дело есть дело?

В и л л и (*со злостью*). Дело, конечно, есть дело, но вы послушайте, что я вам скажу. Вы, наверно, кое-чего не понимаете. Когда я был ещё мальчишкой — мне было восемнадцать или девятнадцать лет, — я уже работал коммивояжёром. И уже тогда меня мучил вопрос, тут ли моё будущее. Мне так хотелось уехать на Аляску. В один только месяц там в трёх местах открыли золото, и я мечтал туда уехать. Хотя бы поглядеть своими глазами...

Г о в а р д (*без всякого интереса*). Подумать только!

В и л л и. Ведь отец мой прожил много лет на Аляске. Он был человек рискованный. Наверно, и мы с братом пошли в него — непоседливые, неутомные. Вечно гонялись за удачей. Я собирался поехать туда со своим старшим братом, разыскать отца, а может, и поселиться на Севере вместе со стариком. И я чуть было не уехал, если бы не встретил одного коммивояжёра. Звали его Дэви Синглмен. Было ему восемьдесят четыре года,

и он торговал разными товарами в тридцати одном штате. Старый Дэви поднимется, бывало, к себе в комнату, сунет ноги в зелёные бархатные шлёпанцы — никогда их не забуду, — возьмёт трубку, созвонится со своими покупателями и, не выходя из комнаты, заработает себе на жизнь. В восемьдесят четыре года... Когда я это увидел, я понял, что торговое дело — самая лучшая для человека профессия. Что может быть приятнее, когда тебе восемьдесят четыре года, чем возможность заехать в двадцать или тридцать разных городов, поднять телефонную трубку и знать, что тебя помнят, любят, что тебе поможет множество людей? Разве не так? А когда он умер — а умер он, между прочим, смертью настоящего коммивояжёра: в зелёных бархатных шлёпанцах, сидя в вагоне для курящих на линии Нью-Йорк—Нью-Хэвен—Хартфорд, по пути в Бостон, — и когда он умер, на его похороны съехались сотни коммивояжёров и покупателей. Во многих поездах в тот день можно было видеть опечаленные лица. *(Он встаёт. Говард на него не смотрит.)* В то время в нашем деле важна была личность, Говард. В нашем деле было уважение друг к другу, товарищество, признательность. А теперь всё построено на голом расчёте, дружбы больше нет, и личность не играет никакой роли. Понимаете, что я хочу сказать? Меня теперь больше не знают.

Г о в а р д *(отходя от него направо)*. Вот то-то и оно, Вилли.

В и л л и. Если бы у меня было сорок долларов в неделю, больше мне не надо... Всего сорок долларов, Говард.

Г о в а р д. Миленький, не могу же я выжать сок из камня...

В и л л и *(его уже охватило отчаяние)*. Говард, в тот год, когда губернатором выбрали Эла Смита, твой отец пришёл ко мне и...

Г о в а р д *(собираясь уйти)*. Мне нужно кое-кого повидать, милый. Меня ждут.

В и л л и *(удерживая его)*. Но я ведь говорю о твоём отце! За этим самым письменным столом мне сулили золотые горы. Зачем вы мне говорите, что вас кто-то ждёт? Я вложил в эту фирму тридцать четыре года жизни, а теперь мне нечем заплатить за страховку! Вы меня выжали, как лимон, и хотите выбросить кожуру? Но человек не лимон! *(Помолчав.)* Слушайте внимательно! Ваш отец... Двадцать восьмой год был для меня хорошим годом — я имел одних комиссионных до ста семидесяти долларов в неделю...

Г о в а р д *(нетерпеливо)*. Бросьте, Вилли, вы никогда столько не зарабатывали...

В и л л и *(стукнув кулаком по столу)*. В двадцать восьмом году я зарабатывал до ста семидесяти долларов в неделю. И ваш отец пришёл ко мне... вернее, я был как раз тогда в конторе... разговор был здесь, у этого стола. Он положил мне руку на плечо...

Г о в а р д *(поднимаясь с места)*. Вам придётся извинить меня, Вилли, но мне надо кое-кого повидать. Возьмите себя в руки. *(Выходя из комнаты.)* Я скоро вернусь.

После ухода Говарда свет над его стулом становится неестественно ярким.

В и л л и. Возьмите себя в руки!.. А что я ему сказал? Господи, повидимому, я на него накричал! Как я мог до этого дойти? *(Замолкает, пристально глядя ваясь в свет, горящий над стулом, который от этого кажется словно одушевлённым. Вилли подходит к нему поближе и останавливается.)* Фрэнк, Фрэнк, разве вы не помните, что вы тогда сказали? Как вы положили мне руку на плечо? Фрэнк... *(Облакачивается на стол и в тот миг, когда он произносит имя покойного, нечаянно включает магнитофон. Оттуда сейчас же слышится.)*

Г о л о с с ы н а Г о в а р д а. ...штата Нью-Йорк — Олбэни, столица Огайо — Цинцинатти, столица Род-Айленда... *(Декламация продолжается.)*

Вилли (*в ужасе отскакивая в сторону, кричит*). Ай! Говард! Говард! Говард!

Говард (*вбегая*). Что случилось?

Вилли (*показывая на магнитофон, который продолжает гнусава, по-детски перечислять столицы штатов*). Выключите! Выключите!

Говард (*вытаскивая вилку из штепселя*). Побойтесь бога, Вилли...

Вилли (*зажав глаза руками*). Я должен выпить чашку кофе... Мне надо выпить немножко кофе...

Вилли идёт к выходу. Говард его останавливает.

Говард (*свёртывая в моток провод*). Вилли, послушайте...

Вилли. Я поеду в Бостон.

Говард. Вилли, вы не поедете в Бостон.

Вилли. Почему?

Говард. Я не хочу, чтобы вы там нас представляли. Я давно собирался вам это сказать.

Вилли. Говард, вы меня выгоняете?

Говард. Я считаю, что вам нужно основательно отдохнуть.

Вилли. Говард...

Говард. А когда вы почувствуете себя лучше, приходите, и я подумаю, что можно сделать.

Вилли. Но я должен зарабатывать деньги. У меня нет средств...

Говард. А где ваши сыновья? Почему ваши сыновья вам не помогут?

Вилли. Они затеяли большое дело.

Говард. Сейчас не время для ложного самолюбия, Вилли. Пойдите к вашим сыновьям и скажите им, что вы устали и не можете работать. У вас ведь двое взрослых сыновей, не так ли?

Вилли. Так, так, но пока что...

Говард. Значит, договорились?

Вилли. Ладно, завтра я поеду в Бостон.

Говард. Нет.

Вилли. Я не могу сесть на шею моим сыновьям. Я не калека!

Говард. Послушайте, милый, я ведь сказал вам, что я сегодня занят...

Вилли (*хватая Говарда за руку*). Говард, вы должны позволить мне поехать в Бостон!

Говард (*жёстко, стараясь сдерживаться*). Мне сегодня утром надо повидать множество людей. Садитесь, даю вам пять минут, чтобы вы взяли себя в руки и пошли домой. Понятно? Мне нужен мой кабинет, Вилли. (*Собирается выйти, оборачивается, вспомнив про магнитофон, отодвигает столик, на котором он стоит.*) Да, кстати, зайдите на этой неделе и занесите образцы. Когда сможете. Вы поправитесь, Вилли, не сомневаюсь. Тогда и поговорим. Возьмите себя в руки, милый, тут рядом люди.

Говард идёт налево, толкая перед собой столик. Вилли бессмысленно смотрит в пространство, он совершенно обессилен. Слышится музыка — музыка Бена, — сначала издали, потом всё ближе и ближе. Когда Вилли начинает говорить, справа входит

Бен. В руках у него чемодан и зонтик.

Вилли. Ах, Бен, как же ты этого добился? Открой мне секрет. Ты уже уладил свои дела на Аляске?

Бен. Много ли для этого нужно, если знаешь, чего добиваешься? Небольшая деловая поездка. Через час я отплываю. Зашёл попрощаться.

Вилли. Бен, я должен с тобой поговорить.

Бен (*взглянув на часы*). У меня нет времени, Вильям.

Вилли (*пересекая просцениум*). Бен, у меня ничего не выходит. Я не знаю, что делать.

Бен. Послушай: я купил лесной участок на Аляске, и мне нужен человек, который мог бы за ним присмотреть.

Вилли. Господи боже мой, настоящий лес! Мы с мальчиками сможем жить на таком приволье!

Бен. За твоим порогом лежат новые земли, Вильям. Брось свои города — здесь одна болтовня, платежи в рассрочку, судебные тяжбы... Сожми кулаки, и там, вдалеке, ты добьёшься богатства.

Вилли. Да! Да! Линда! Линда!

Входит прежняя Линда с корзиной выстиранного белья.

Линда. Как, ты уже вернулся?

Бен. У меня очень мало времени.

Вилли. Подожди, подожди! Линда, он мне предлагает поехать на Аляску.

Линда. Но у тебя здесь... *(Бену.)* У него такая прекрасная служба.

Вилли. Детка, на Аляске я смогу...

Линда. Тебе хорошо и здесь, Вилли!

Бен *(Линде)*. Так ли уж хорошо, дорогая?

Линда *(боясь Бена и сердясь на него)*. Не говорите ему таких вещей! Разве ему мало того, что он счастлив теперь здесь? *(Вилли, стараясь заглушить смех Бена.)* Неужели все обязаны покорять мир? К тебе хорошо относятся, мальчики тебя любят, и в один прекрасный день... *(Бену.)* Старик Вагнер недавно обещал ему, что, если он будет так работать, его сделают компаньоном фирмы. Ведь он тебе обещал, правда, Вилли?

Вилли. Конечно, конечно. Я уже заложил фундамент своего будущего в этой фирме, Бен, а если человек что-нибудь строит, он ведь на верном пути?

Бен. Что ты построил? Ну-ка, потрогай рукой.

Вилли *(нерешительно)*. А ведь правда, Линда, под рукой ничего нет.

Линда. Почему? *(Бену.)* Например, человеку восемьдесят четыре года...

Вилли. Верно, вот это верно! Когда я смотрю на этого человека, я всегда думаю, что мне нечего бояться!

Бен. Ха!

Вилли. Святая правда, Бен. Всё, что ему требуется, это заехать в любой город, поднять телефонную трубку, и вот он уже заработал себе на жизнь. А знаешь почему?

Бен *(поднимает свой чемодан)*. Мне надо идти.

Вилли *(удерживая его)*. Посмотри на этого мальчишку!

Биф в свитере вносит чемодан. Хэппи несёт наплечники Бифа, его золотой шлем и футбольные трусы.

Вилли. Ни гроша за душой, а за него дерутся три знаменитых университета! Разве такого парня что-нибудь остановит? А почему? Потому что дело не в том, что ты есть, дело в твоей улыбке, в обаянии, в личных связях. Все богатства Аляски переходят из рук в руки за обеденным столом в отеле «Коммодор». В этом удивительная особенность нашей страны, её чудо. Человек у нас может заработать алмазные россыпи, если у него есть обаяние! *(Поворачивается к Бифу.)* Вот почему так важно, что ты сегодня выйдешь на поле! Тысячи людей будут тебя приветствовать, они будут тобой восхищаться! *(Бену, который снова направляется к выходу.)* И слышишь, Бен? Когда он войдёт в торговую контору, его встретят колокольным звоном, перед ним раскроются все двери! Так будет, Бен, я это видел тысячу раз! Ты не можешь этого пощупать, как дерево в лесу, но это так, это существует!

Бен. Прощай, Вильям.

Вилли. Скажи мне: я прав? Ты думаешь, я прав? Я так ценю твоё мнение.

Бен. За твоим порогом лежат новые земли, Вильям. Ты можешь унести оттуда богатство! Богатство! *(Уходит.)*

Вилли. Мы добьёмся его здесь, Бен! Слышишь? Мы добьёмся его здесь.

Вбегает Бернард. Слышна весёлая музыка мальчиков.

Бернард. Господи Иисусе, я так боялся, что вы ушли!

Вилли. Почему? Который час?

Бернард. Половина второго.

Вилли. Ну что ж, пойдёмте! Следующая остановка — стадион «Эббетс»! Где флажки? *(Пробегает через стену кухни в гостиную.)*

Линда *(Бифу)*. Ты взял чистое бельё?

Биф *(разминаясь)*. Давай, пойдём!

Бернард. Биф, я понесу твой шлем, ладно?

Хэппи. Нет, шлем понесу я.

Бернард. Биф, ведь ты мне обещал!

Хэппи. Я понесу шлем.

Бернард. Как же я тогда попаду в раздевалку?

Линда. Пусть он несёт наплечники. *(Надевает пальто и шляпу.)*

Бернард. Можно, Биф? А то я всем сказал, что буду в раздевалке!

Хэппи. Биф!

Биф *(помолчав немного, великодушно)*. Пусть несёт наплечники.

Хэппи *(передавая Бернарду наплечники)*. Теперь смотри, держись поближе.

Вбегает Вилли с флажками.

Вилли *(раздавая всем флажки)*. Машите как следует, когда Биф выйдет на поле! *(Хэппи и Бернард убегают.)* Готовы, мальчики?

Музыка замирает.

Биф. Готовы, папка. Каждый мускул готов.

Вилли *(у края просцениума)*. Ты понимаешь, что это для тебя значит?

Биф. Конечно, папа!

Вилли *(щупая его мускулы)*. Сегодня к вечеру ты вернёшься домой капитаном сборной команды школ города Нью-Йорка.

Биф. Непременно. И помни, папа, когда я сниму шлем, я буду приветствовать тебя одного!

Вилли. Пойдём! *(Направляется к двери, обняв Бифа за плечи. Входит Чарли в коротких штанах.)* У меня нет для тебя места, Чарли.

Чарли. Места? Какого места?

Вилли. В машине.

Чарли. Вы едете кататься? Я думал, не сыграть ли нам в карты.

Вилли *(в ярости)*. В карты? *(Не веря своим ушам.)* Ты разве не знаешь, какой сегодня день?

Линда. Конечно, знает. Он тебя дразнит.

Вилли. Нечего ему меня дразнить!

Чарли. Ей-богу, не знаю, Линда. А что случилось?

Линда. Сегодня он играет на стадионе «Эббетс».

Чарли. В такую погоду играть в бейзбол?

Вилли. Нечего с ним разговаривать. Пойдёмте же, пойдём! *(Выталкивает их из дому.)*

Чарли. Погодите минутку, разве вы ничего не слышали?

Вилли. О чём?

Чарли. Вы разве не слушаете радио? Стадион «Эббетс» только что взлетел на воздух.

Вилли. Иди ты к чёрту! (*Чарли смеётся и подталкивает их к двери.*)
Пойдём, пойдём! Мы опаздываем.

Чарли (*им вдогонку*). Забей хоть один гол в свои ворота, Биф, забей его в свои ворота!

Вилли (*закрывая шестые, поворачивается к Чарли*). И совсем не смешно. Это решающий день его жизни.

Чарли. Когда ты наконец повзрослеешь, Вилли?

Вилли. Как? Что? После этого матча ты больше не будешь смеяться. Мальчика будут звать вторым Редом Грейндж. Двадцать пять тысяч в год!

Чарли (*насмешливо*). Да ну?

Вилли. Вот тебе и ну.

Чарли. Что ж, тогда прости меня, Вилли. Но ты мне вот что скажи...

Вилли. Что?

Чарли. Кто такой этот Ред Грейндж?

Вилли. Утрись, слышишь? Молчи, будь ты проклят!

Чарли, хихикая, качает головой и уходит в левый угол сцены. Вилли идёт за ним. Музыка звучит громко, в ней слышится жестокая издёвка.

Вилли. Ты кто такой, скажи, пожалуйста? Думаешь, ты лучше всех? Ничего ты не знаешь, безграмотный, безмозглый болван... Заткнись, слышишь!

В правом углу авансцены зажигается свет, освещая столик в приёмной у Чарли. Слышен уличный шум. Теперь уже взрослый Бернард сидит за столиком, поспыстывая. Рядом с ним на полу пара теннисных ракеток и несесер.

Вилли (*за сценой*). Куда же ты от меня уходишь? Не смей от меня уходить! Если ты хочешь что-нибудь сказать, говори прямо! Я знаю, за спиной ты надо мной смеёшься. После этого матча ты будешь плакать кровавыми слезами, гадкая ты рожа. Удар! Удар! Восемьдесят тысяч народу! Гол, в самый центр!

Бернард — тихий, серьёзный, но вполне уверенный в себе молодой человек. Голос Вилли доносится из правого угла сцены. Бернард спускает со стола ноги и прислушивается. Входит секретарша его отца, Дженни.

Дженни (*взволнованно*). Бернард, пожалуйста, выйдите на минутку в холл!

Бернард. Что там за шум? Кто это?

Дженни. Мистер Ломен. Он только что вышел из лифта.

Бернард (*вставая*). С кем он ссорится?

Дженни. Там никого нет. Он один. Я не могу с ним сладить, а ваш папа расстраивается, когда он приходит. У меня ещё столько работы на машинке, а ваш папа дожидается почты, чтобы её подписать. Пожалуйста, поговорите с ним сами.

Вилли (*входя*). Штрафной! Штраф... (*Видит Дженни.*) Дженни, Дженни, рад вас видеть! Как вы тут? Всё ещё здесь работаете или уже ведёте честную жизнь?

Дженни. Работаю. А как вы себя чувствуете?

Вилли. Не слишком ладно, Дженни, далеко не блестяще! Ха-ха! (*С удивлением смотрит на ракетки.*)

Бернард. Здравствуйте, дядя Вилли.

Вилли (*с изумлением*). Бернард! Подумать только, кого я вижу! (*Поспешно, виновато подходит к Бернарду и горячо трясёт его руку.*)

Бернард. Как вы поживаете? Рад вас видеть.

Вилли. Что ты здесь делаешь?

Бернард. Да вот зашёл повидать отца. Перевести дух до отхода поезда. Я еду в Вашингтон.

Вилли. А его нет?

Бернард. Он у себя в кабинете, разговаривает с бухгалтером. Садитесь.

Вилли (*усаживаясь*). Что ты будешь делать в Вашингтоне?

Бернард. У меня там слушается дело.

Вилли. Вот как? (*Показывая на ракетки*.) Собираешься там играть?

Бернард. Я заеду к приятелю, а у него свой корт.

Вилли. Не может быть! Свой теннисный корт? Это, наверно, очень хорошая семья.

Бернард. Да, милейшие люди. Папа сказал, что приехал Биф.

Вилли (*широко расплывшись в улыбке*). Да, Биф приехал. Он затеял большое дело, Бернард.

Бернард. А чем теперь Биф занимается?

Вилли. Он на Западе был большим человеком. А теперь решил обособиться здесь. На широкую ногу. Мы сегодня с ним обедаем. У твоей жены действительно родился мальчик?

Бернард. Да. Это у нас уже второй.

Вилли. Два сына! Кто бы мог подумать!

Бернард. Какое же дело затеял Биф?

Вилли. Видишь ли, Билл Оливер — у него крупная фирма спортивных товаров — очень хочет, чтобы Биф у него работал. Вызвал его с Запада. Карт, бланш. Междугородные заказы по телефону. Специальные поставки... У твоих друзей свой собственный теннисный корт?

Бернард. А вы работаете всё в той же фирме, Вилли?

Вилли (*помолчав*). Я... Я от души рад твоим успехам, Бернард, от души рад. Так приятно видеть, когда молодой человек в самом деле... в самом деле... У Биффо как будто теперь тоже всё налаживается... всё как будто... (*Замолкает. Пауза.*) Бернард... (*Его так переполняют чувства, что он замолкает снова.*)

Бернард. В чём дело, Вилли?

Вилли (*очень маленький и очень одинокий*). В чём... в чём секрет?

Бернард. Какой секрет?

Вилли. Как... как ты этого достиг? Почему он не мог этого добиться?

Бернард. Не знаю, Вилли.

Вилли (*доверительно, с отчаянием*). Ты ведь был его другом, другом детства. Я вот чего-то не понимаю. Вся его жизнь после того матча на стадионе «Эббетс» пошла насмарку. С семнадцати лет в его жизни больше не было ничего хорошего.

Бернард. Он никогда не готовил себя всерьёз для чего бы то ни было.

Вилли. Неправда, готовил! После средней школы он учился на самых разных заочных курсах — радиотехники, телевидения... Один бог знает, чему он только не учился. Но так ничего и не достиг.

Бернард (*снимая очки*). Вилли, хотите, чтобы я вам сказал откровенно?

Вилли (*встав и глядя ему прямо в лицо*). Бернард, знаешь, я считаю тебя выдающимся человеком. И очень ценю твои советы.

Бернард. Какие там, к дьяволу, советы! Не могу я вам ничего советовать. Я давно хотел узнать у вас только одно. Когда Биф сдавал выпускные экзамены и его срезал учитель математики...

Вилли. А-а, этот сукин сын! Он загубил его жизнь.

Бернард. Да, но вспомните, Вилли, всё, что ему тогда нужно было сделать, это подготовиться летом и пересдать математику.

Вилли. Верно, верно.

Бернард. Это вы не позволили ему заниматься летом?

Вилли. Я? Я умолял его заниматься. Я приказывал ему заниматься.

Берн ар д. Так почему же он этого не сделал?

Вил ли. Почему? Почему?.. Этот вопрос точит меня, как червь, уже пятнадцать лет. Он провалился на экзамене, бросил учиться, и всё у него пошло прахом.

Берн ар д. Только не волнуйтесь, пожалуйста!

Вил ли. Дайте мне с вами поговорить. Ведь мне же не с кем разговаривать. Берн ар д, Берн ар д, это, наверно, моя вина. Понимаете? Я всё думаю, думаю... Может, я в чём-нибудь виноват? Может, это я причинил ему зло? И мне нечем его искупить.

Берн ар д. Не расстраивайтесь.

Вил ли. Почему он сдался? Что произошло? Ты ведь был его другом.

Берн ар д. Помню, это было в июне, мы должны были получить аттестат. И он провалился по математике.

Вил ли. Сукин сын учитель!

Берн ар д. Нет, дело совсем не в нём. Помню, Биф очень разозлился и решил заниматься летом, чтобы держать переэкзаменовку.

Вил ли. Он решил заниматься?

Берн ар д. Он совсем не был убит. Но потом Биф пропал из дому почти на целый месяц. Мне тогда казалось, что он поехал к вам, в Новую Англию. Он вас там нашёл, он с вами разговаривал?

Вил ли молчит, не сводя с него глаз.

Берн ар д. Ну, Вилли?

Вил ли (*с явным недоброжелательством*). Да, он приехал в Бостон. Ну, и что из этого?

Берн ар д. Да просто, когда он вернулся... Я никогда этого не забуду, так я был ошарашен. Ведь я хорошо относился к Бифу, хоть он всегда мной и помыкал. Знаете, Вилли, я его любил. Он приехал тогда через месяц, взял свои бутсы — помните, на них была надпись «Виргинский университет»? Он так ими гордился, не хотел снимать с ног... Он отнёс их вниз, в котельную, и сжёг. Мы с ним подрались там, в погребе. Дрались долго, чуть не полчаса. Никого не было, только мы двое... Мы колотили друг друга кулаками и плакали. Я часто потом удивлялся, как я сразу понял, что ему больше не хочется жить. Что произошло тогда у вас в Бостоне, Вилли?

Вил ли смотрит на него зло и отчуждённо.

Берн ар д. Я об этом заговорил только потому, что вы меня спросили.

Вил ли (*сердито*). Что там могло случиться? И какое это имеет отношение к делу?

Берн ар д. Ладно, не сердитесь.

Вил ли. Ты хочешь свалить вину на меня? Если мальчик сдался, разве это моя вина?

Берн ар д. Послушайте, Вилли, не надо...

Вил ли. А ты не смей... не смей так со мной разговаривать! Что ты хотел сказать? На что ты намекаешь? «Что произошло...»

Входит Ч ар л и. Он в жилете, без пиджака, и несёт бутылку виски.

Ч ар л и. Послушай, ты опоздаешь на поезд! (*Размахивает бутылкой.*)

Берн ар д. Иду. (*Берёт бутылку.*) Спасибо, папа. (*Поднимает несесер и ракетки.*) До свидания, Вилли. Бросьте ломать себе голову. Знаете, как говорится: «Если сперва ты и понёс поражение...»

Вил ли. Вот в это я верю.

Берн ар д. Но бывает и так, Вилли, что человеку лучше уйти.

Вил ли. Уйти?

Берн ар д. Вот именно, уйти.

Вил ли. А если человек не может уйти?

Б е р н а р д (*секунду помолчав*). Вот тогда по-настоящему плохо. (*Протягивая руку.*) Прощайте, Вилли!

В и л л и (*пожимая ему руку*). Прощай, мальчик.

Ч а р л и (*положив руку Бернарду на плечо*). Как тебе нравится этот парень? Едет защищать дело в Верховном суде!

Б е р н а р д (*недовольно*). Отец!

В и л л и (*искренне потрясённый, огорчённый и счастливый*). Да ну! В Верховном суде?

Б е р н а р д. Я должен бежать. Пока, папа!

Ч а р л и. Покажи им, на что ты способен, сынок.

Б е р н а р д уходит.

В и л л и (*пока Чарли вынимает бумажник*). В Верховном суде! И он не сказал об этом ни слова!

Ч а р л и (*отсчитывая на столе деньги*). А зачем говорить? Надо делать дело.

В и л л и. И ты ведь никогда его ничему не учил. Ты им совсем не интересовался.

Ч а р л и. Счастье моё в том, что я никогда ничем не интересовался. Вот немножко денег... пятьдесят долларов. У меня там сидит бухгалтер.

В и л л и. Чарли, вот какое дело... (*С трудом.*) Мне нужно платить страховку. Если ты можешь... мне надо сто десять долларов.

Ч а р л и секунду молчит; он замер без движения.

В и л л и. Я бы вынул деньги из банка, но Линда узнает, а я...

Ч а р л и. А ну-ка, Вилли, сядь.

В и л л и (*подходит к стулу*). Имей в виду, я всё записываю. Тебе будет возвращено всё, до последнего цента. (*Садится.*)

Ч а р л и. Послушай...

В и л л и. Имей в виду, я очень тебе признателен...

Ч а р л и (*присаживаясь на стол*). Вилли, скажи, что с тобой? Что за чертовщина у тебя на уме?

В и л л и. Ты о чём? Я просто...

Ч а р л и. Я предложил тебе работу. Ты можешь зарабатывать пятьдесят долларов в неделю. И я не заставляю тебя мотаться по дорогам.

В и л л и. У меня есть работа.

Ч а р л и. Бесплатная? Какая же это работа, если её делаешь даром? (*Встаёт.*) Знаешь, приятель? С меня хватит. Я хоть и не гений, но и я понимаю, когда меня оскорбляют.

В и л л и. Оскорбляют?

Ч а р л и. Почему ты не хочешь у меня работать?

В и л л и. Я тебя не понимаю. У меня же есть работа.

Ч а р л и. Тогда зачем ты сюда ходишь каждую неделю?

В и л л и (*вставая*). Если ты не хочешь, чтобы я сюда ходил...

Ч а р л и. Я предлагаю тебе работу.

В и л л и. Не надо мне твоей работы!

Ч а р л и. Когда, чёрт возьми, ты повзрослеешь?

В и л л и (*в ярости*). Ты, дубина, балбес проклятый, посмей мне ещё раз это сказать, я тебе так съезжу... Плевать мне на то, что ты такой слонище! (*Готов вступить с ним в драку.*)

Пауза.

Ч а р л и (*ласково подходит к нему*). Сколько тебе надо?

В и л л и. Чарли, меня доконали. Меня доконали! Не знаю, что делать... Я уволен.

Ч а р л и. Говард тебя уволил?!

В и л л и. Да, этот сопляк. Можешь себе представить? Ведь я вроде как его крёстный. Ведь это я дал ему имя Говард.

Чарли. Господи, когда ты наконец поймёшь, что такая ерунда ничего не значит? Ну хорошо, ты крестил его, но разве ты это можешь продать? Единственное, что ценится в нашем мире, это то, что можно продать. Смешно, ты всю жизнь торгуешь, а этого ещё не понял.

Вилли. Я всегда старался думать, что всё у нас не так. Мне казалось, что если человек производит хорошее впечатление, если он нравится людям, тогда ему нечего бояться...

Чарли. А к чему это — нравится людям! Разве Джон Пирпонт Морган кому-нибудь нравится? Разве он производит приятное впечатление? В бане ты, наверно, принял бы его за мясника. Однако, когда при нём его карманы, он всем кажется таким симпатичным! Послушай, Вилли, ты меня не любишь, да и я не могу сказать, что я от тебя без ума, но я дам тебе работу... дам её потому... чёрт меня знает почему! Что ты на это скажешь?

Вилли. Не могу... не могу я у тебя работать, Чарли.

Чарли. Ты мне завидуешь, что ли?

Вилли. Не могу я у тебя работать, вот и всё. Не спрашивай почему.

Чарли (*сердито вынимает ещё несколько бумажек*). Ты мне завидовал всю жизнь, несчастный ты дурень! На, плати твою страховку. (*Суёт деньги Вилли в руку.*)

Вилли. У меня всё записано точно, до последнего гроша.

Чарли. Я сейчас очень занят. Смотри, будь осторожен. И заплати страховку.

Вилли (*уходя направо*). Смешно, не правда ли? Ездишь всю жизнь, ездешь, столько исколесил дорог, столько обобьёшь порогов, а в конце концов мёртвый ты стоишь больше, чем живой.

Чарли. Вилли, мёртвый не стоит ровно ничего. (*Помолчав мгновение.*) Слышишь, что я говорю?

Вилли стоит неподвижно, погружённый в мысли.

Чарли. Вилли!

Вилли. Извинись за меня перед Бернардом, когда его увидишь. Я не хотел с ним ссориться. Он хороший мальчик. Все они хорошие мальчики и выйдут в люди... Все трое. Когда-нибудь они ещё будут вместе играть в теннис. Пожелай мне счастья, Чарли. Он ведь сегодня был у Оливера.

Чарли. Желаю тебе счастья.

Вилли (*сдерживая слёзы*). Чарли, ты мой единственный друг. Разве это не смешно? (*Выходит.*)

Чарли. Господи! (*Смотрит вслед Вилли, идёт за ним.*)

На сцене становится совершенно темно. Внезапно слышится бурная музыка, и экран направо загорается красным светом. Появляется молодой официант Стэнли; он несёт столик, за ним идёт Хэппи, в руках у него два стула.

Хэппи (*озираясь*). Тут гораздо лучше.

Стэнли. Конечно, в переднем зале такой шум! Когда вы кого-нибудь приглашаете, мистер Ломен, предупредите меня, и я всегда вас устрою тут, в уголке. Многие наши клиенты не любят, когда кругом пусто; раз уж они вышли на люди, надо чтобы вокруг всё кружилось, им ведь до смерти надоело сидеть в своей берлоге. Но вы не такой, я знаю. Понятно, что я хочу сказать?

Хэппи (*усаживаясь за столик*). Ну, как жизнь, Стэнли?

Стэнли. Собачья жизнь, мистер Ломен. Жаль, что во время войны меня не взяли в армию. Был бы я по крайней мере покойником.

Хэппи. Мой брат вернулся.

Стэнли. Ей-богу? С Дальнего Запада?

Хэппи. Ну да, мой брат, он крупный скотопромышленник, так что смотри, обходись с ним как следует. И отец мой тоже придёт.

Стэнли. И отец тоже?

Хэппи. Есть у вас хорошие омары?

Стэнли. Высший сорт. Крупные.

Хэппи. Только подай их с клешнями.

Стэнли. Не беспокойтесь, мышей я вам не подсуну. *(Хэппи смеётся.)* А как насчёт вина? Совсем другой вкус у пищи.

Хэппи. Не надо. Помнишь рецепт коктейля, который я привёз из-за границы? С шампанским?

Стэнли. Ещё бы, конечно! Он до сих пор у меня приколот к стенке в кухне. Но этот напиток обойдётся по доллару на брата.

Хэппи. Не имеет значения.

Стэнли. Вы что, выиграли в лотерею?

Хэппи. Нет, просто у нас маленькое семейное торжество. Мой брат... он сегодня провёл большое дело. Мы с ним, кажется, затеем одно предприятие.

Стэнли. Здорово! И, главное, всё в своей семье — понятно, что я говорю? — так всегда лучше.

Хэппи. И я так думаю.

Стэнли. Бо-ольшущая разница! К примеру, если кто-нибудь ворует... Всё остаётся в семье. Понятно, что я говорю? *(Понизив голос.)* Совсем как у нашего бармена. Хозяин просто с ума сходит — вечно недохватка в кассе! Туда кладёшь, а оттуда взять нечего.

Хэппи *(поднимая голову)*. Тссс!..

Стэнли. Что такое?

Хэппи. Ты замечаешь, что я не смотрю ни направо, ни налево? Замечаешь?

Стэнли. Да.

Хэппи. И глаза у меня закрыты?

Стэнли. Что вы говорите?..

Хэппи. Лакомый кусочек!

Стэнли *(появ его с полуслова, оглядывается)*. Где? Не вижу... *(Смолкает, заметив, что в зал входит роскошно одетая, закутанная в меха девушка и садится за соседний столик. Хэппи и Стэнли провожают её взглядом.)*

Стэнли. Господи, как вы её углядели?

Хэппи. На них у меня свой радар. *(В упор рассматривает её профиль.)* У-у-у! Стэнли...

Стэнли. Кажется, она в вашем вкусе, мистер Ломен.

Хэппи. Погляди на этот рот. О господи! А окуляры?

Стэнли. Чёрт, вот у вас жизнь, мистер Ломен!

Хэппи. Подойди к ней.

Стэнли *(подходя к её столику)*. Подать вам карточку, мадам?

Девушка. Я подожду, но пока что...

Хэппи. Почему бы вам не подать ей... Простите меня, мисс! Я продаю шампанское, и мне хотелось бы, чтобы вы попробовали нашу марку. Принеси шампанского, Стэнли.

Девушка. Это очень мило с вашей стороны.

Хэппи. Нисколько. За счёт фирмы. *(Смеётся.)*

Девушка. Вы торгуете прелестным товаром.

Хэппи. Придается, как и всё на свете. Товар как товар, поверьте.

Девушка. Наверно, вы правы.

Хэппи. А вы случайно ничего не продаёте?

Девушка. Нет, не продаю.

Хэппи. Простите незнакомого человека за комплимент. Ваше лицо так и просится на обложку журнала.

Девушка *(глядя на него не без кокетства)*. Оно уже там было.

Входит Стэнли с бокалом шампанского.

Хэппи. Что я тебе говорил, Стэнли? Вот видишь: девушка позирует для иллюстрированного журнала.

Стэнли. Да, это видно. Сразу видно.

Хэппи. Для какого именно?

Девушка. О, для самых разных. *(Берёт бокал.)* Спасибо.

Хэппи. Знаете, как говорят во Франции? Шампанское — лучшие румяна для лица. Сюда, Биф!

Биф вошёл и подсаживается к Хэппи.

Биф. Здравствуй, малыш. Прости, что опоздал.

Хэппи. Я сам только что пришёл. Гм... мисс?..

Девушка. Форсайт.

Хэппи. Мисс Форсайт, это мой брат.

Биф. А папы ещё нет?

Хэппи. Его зовут Биф. Может, вы о нём слышали. Знаменитый футболист.

Девушка. Да ну? Из какой команды?

Хэппи. Вы знаток футбола?

Девушка. Нет, увы! Не очень.

Хэппи. Биф в полузащите «Нью-Йоркских великанов».

Девушка. Ах, как мило! *(Пьёт.)*

Хэппи. Ваше здоровье!

Девушка. Рада с вами познакомиться.

Хэппи. Меня зовут Хэп. На самом деле я Гарольд, но в Военной академии меня прозвали Хэппи — счастливчик.

Девушка *(уже почтительно)*. Ах, вот как! Очень приятно. *(Поворачивается к нему профилем.)*

Биф. А что, папа не придёт?

Хэппи. Если она тебе нравится, бери.

Биф. Ну, такая не по мне.

Хэппи. В прежние времена ты бы не испугался. Где твоя бывшая удаль, Биф?

Биф. Я только что видел Оливера...

Хэппи. Погоди. Я хочу поглядеть, где твоя бывшая удаль! Тебе она нравится? Её ведь стоит только поманить...

Биф. Нет. *(Поворачивается, чтобы посмотреть на девушку.)*

Хэппи. Ты уж мне поверь. Гляди. *(Девушке.)* Детка! *(Она поворачивается к нему.)* Ты занята?

Девушка. В сущности говоря, да... Но я могу позвонить по телефону.

Хэппи. Вот и позвони, ладно, детка? И приведи какую-нибудь подружку. Мы здесь побудем. Биф — один из самых знаменитых наших футболистов.

Девушка *(вставая)*. Я и в самом деле рада с вами познакомиться.

Хэппи. Поскорей возвращайся.

Девушка. Постараюсь.

Хэппи. Постарайся, детка. Иногда стоит постараться...

Девушка выходит. Поражённый Стэнли идёт за ней, качая головой от восторга.

Хэппи. Ну, разве не стыд? Такая красотка! Вот почему я никак не могу жениться. Из тысячи не выберешь и одной порядочной женщины. В Нью-Йорке такими хоть пруд пруди!

Биф. Послушай, Хэп...

Хэппи. Говорил тебе, что её стоит только поманить!

Биф *(с непривычной резкостью)*. Помолчи ты, слышишь? Я хочу тебе рассказать...

Хэппи. Ты видел Оливера?

Б и ф. Видел. Погоди! Я хочу кое-что объяснить отцу, и ты должен мне помочь...

Х э п п и. Что? Он даст тебе денег?

Б и ф. Ты, видно, спятил! Ты, верно, совсем сошёл с ума!

Х э п п и. Почему? Что случилось?

Б и ф (*задыхаясь*). Я сделал ужасную вещь. Сегодня был самый странный день в моей жизни. Клянусь, у меня всё болит. Меня словно побили.

Х э п п и. Он не захотел тебя принять?

Б и ф. Я ждал его шесть часов, понимаешь? Целый день. Без конца передавал своё имя через секретаршу. Попытался назначить ей свидание, чтобы она меня к нему пропустила, но не клюнуло...

Х э п п и. У тебя пропала вера в себя, Биф. Но он тебя помнил, не может быть, чтобы он тебя не помнил!..

Б и ф (*прерывая Хэппи движением руки*). Наконец, около пяти часов, он вышел. Не помнил, ни кто я, ни что я. Я почувствовал себя таким идиотом!

Х э п п и. Ты рассказал ему о моей затее насчёт Флориды?

Б и ф. Он прошёл мимо. Я видел его ровно одну минуту. Меня охватила такая ярость, что я, кажется, мог переломать там всю мебель! С чего это я, дурак, взял, что могу торговать? Сам поверил, что снова смогу работать у этого типа! Стоило мне взглянуть на него, и я понял, какой нелепой ложью была вся моя жизнь. Мы тешили себя ложью пятнадцать лет...

Х э п п и. Что ты сделал?

Б и ф (*с огромным внутренним напряжением, стараясь разобраться в том, что произошло*). Видишь ли, он ушёл... И секретарша, она вышла тоже. Я остался один в приёмной. Не знаю, что на меня нашло. Я опомнился у него в кабинете — знаешь, такой роскошный кабинет с дубовыми панелями... Не могу объяснить... Я... взял его вечное перо.

Х э п п и. Господи, и он тебя поймал?

Б и ф. Я убежал. Я бежал вниз одиннадцать этажей. Бежал, бежал, бежал...

Х э п п и. Какая глупость! Что это тебя дёрнуло?

Б и ф (*с мучительным недоумением*). Не знаю, мне просто... захотелось что-нибудь взять. Не понимаю. Помоги мне, Хэп, я должен рассказать это отцу.

Х э п п и. Ты сошёл с ума! Зачем?

Б и ф. Хэп, он должен понять, что я не тот человек, кому дают займы большие деньги. Он думает, что все эти годы я просто делал ему назло, и это отравляет ему жизнь.

Х э п п и. Верно! Расскажи ему что-нибудь приятное.

Б и ф. Не могу.

Х э п п и. Скажи, что Оливер пригласил тебя завтра обедать.

Б и ф. А что я скажу ему завтра?

Х э п п и. Уйдёшь из дому и вернёшься попозже. Скажешь, что Оливер хочет подумать. Он будет думать неделю, другую, и постепенно всё забудется...

Б и ф. Но ведь всему этому не будет конца!

Х э п п и. Отец только тогда и бывает счастлив, когда он на что-то надеется.

Входит Вилли.

Х э п п и. Здорово, молодец!

В и л л и. Господи, сколько лет я здесь не был!

С т э н л и провожает Вилли и ставит ему стул. Хочет уйти, но Х э п п и его задерживает.

Хэ п п и. Стэнли!

Стэнли ждёт, чтобы ему дали заказ.

Б и ф (*виновато подходит к Вилли, как к больному*). Садись, папа. Хочешь выпить?

В и л л и. Не возражаю.

Б и ф. Давай подзаправимся.

В и л л и. Ты чем-то расстроен?

Б и ф. Не-нет... (*Стэнли*.) Виски всем. Двойную порцию.

Стэнли. Слушаюсь, двойную. (*Уходит*.)

В и л л и. Ты уже выпил?

Б и ф. Да, немного выпил.

В и л л и. Ну, мальчик, расскажи мне, как это было. (*Кивая головой, с улыбкой*.) Всё, конечно, в порядке?

Б и ф (*набирает дыхание, а потом хватает Вилли за руку*). Дружок... (*Храбро улыбается, и Вилли улыбается ему в ответ*.) Ну и досталось мне сегодня!..

Хэ п п и. Прямо ужас, папа!

В и л л и. Да ну? Как это было?

Б и ф (*с возбуждением, чуточку пьяный, витая в облаках*). Сейчас расскажу тебе с самого начала. Чудной сегодня был денёк. (*Молчание. Он обводит их обоих взглядом, берёт себя в руки, но дыхание всё же нарушает ритм его речи*.) Мне пришлось довольно долго его прождать и...

В и л л и. Оливера?

Б и ф. Ну да, Оливера. Если говорить начистоту, я ждал его целый день. И за это время передо мной прошли, отец, всякие... события моей жизни. Кто сказал, что я когда бы то ни было служил у Оливера приказчиком?

В и л л и. Ты сам это говорил.

Б и ф. Да нет же, я был у него транспортным агентом.

В и л л и. Но фактически ты был...

Б и ф (*решительно*). Папа, я не знаю, кто это выдумал первый, но я никогда не был доверенным лицом у Оливера.

В и л л и. К чему ты всё это говоришь?

Б и ф. Давай сегодня придерживаться фактов. Мы ничего не добьёмся, если будем тыкаться наугад... Я был у него транспортным агентом, вот и всё.

В и л л и (*со злостью*). Хорошо, а теперь послушай меня...

Б и ф. Почему ты не даёшь мне договорить?

В и л л и. Потому что меня совершенно не интересуют истории из прошлого и прочая чушь... Мальчики, поймите, у нас земля горит под ногами. Пылает большой пожар. Меня сегодня выгнали на улицу.

Б и ф (*погрязён*). Как это может быть?

В и л л и. Меня выгнали, и я должен сказать вашей матери хоть что-нибудь в утешение. Разве эта женщина мало страдала и мало ждала? А у меня в голове пусто, Биф. Я больше ничего не могу придумать. Так что, пожалуйста, не читай мне нотаций по поводу фантазии и реальности. Меня это не интересует. Ну, что ты мне скажешь теперь?

Стэнли приносит три коктейля. Они ждут, чтобы он ушёл.

В и л л и. Ты видел Оливера?

Б и ф. Господи Иисусе!

В и л л и. Значит, ты к нему не ходил?

Хэ п п и. Конечно, он к нему ходил.

Б и ф. Я у него был. Я его видел. Как они могли тебя уволить?

В и л л и (*сползая на краешек стула от нетерпения*). Ну и как он тебя принял?

Б и ф. Он не хочет, чтобы ты у него работал даже на одних комиссионных?

В и л л и. Я без работы, понятно? (*Упорно.*) Ну, скажи же, скажи, он тебя тепло принял?

Х э п п и. Ещё бы, папа, конечно!

Б и ф (*загнанный в угол*). Как сказать, вроде того...

В и л л и. А я беспокоился, что он тебя не вспомнит! (*Хэппи.*) Ты только подумай: человек не видел его десять — двенадцать лет и так ему рад!

Х э п п и. Совершенно верно!

Б и ф (*пытаясь снова перейти в наступление*). Послушай, папа...

В и л л и. А ты знаешь, почему он тебя не забыл? Потому что ты сразу произвёл на него впечатление.

Б и ф. Давай спокойнее и поближе к фактам...

В и л л и (*так, словно Биф всё время его прерывает*). Так говори же, как это было? Отличная новость, Биф! Просто отличная! Он позвал тебя в кабинет или вы разговаривали в приёмной?

Б и ф. Да он вышел, понимаешь, и...

В и л л и (*широко улыбаясь*). Что он сказал? Держу пари, он тебя обнял!

Б и ф. Он скорее...

В и л л и. Прекрасный человек! (*Хэппи.*) К нему очень нелегко попасть, ты знаешь?

Х э п п и. Конечно, знаю.

В и л л и (*Бифу*). Это там ты и выпил?

Б и ф. Да, он предложил мне... Нет, нет!

Х э п п и (*вступая*). Биф рассказал ему о моей идее насчёт Флориды.

В и л л и. Не прерывай. (*Бифу.*) Как он отнёсся к вашей затее?

Б и ф. Папа, дай я тебе объясню.

В и л л и. Да я только об этом и прошу с тех пор, как пришёл! Как это было? Ну, он позвал тебя в кабинет, а потом?

Б и ф. Потом... я разговаривал. А он... он слушал, понимаешь...

В и л л и. Он славится своим умением слушать. Ну, а потом? Что он ответил?

Б и ф. Он ответил... (*Замолкает, вдруг очень рассердившись.*) Отец, ты не даёшь мне сказать то, что я хочу!

В и л л и (*рассерженный, обличая*). Ты его не видел!

Б и ф. Нет, я его видел!

В и л л и. Ты его оскорбил? Ты его оскорбил, скажи?

Б и ф. Послушай, оставь меня в покое. Оставь меня, бога ради, в покое!

Х э п п и. Что за чёрт!..

В и л л и. Говори, что случилось.

Б и ф (*Хэппи*). Я не могу с ним разговаривать!

В разговор их вторгается резкий, раздражающий ухо звук трубы. Зелёная листва снова одевает дом, покрытый сном и сумраком. Входит подросток Б е р н а р д и стучит в дверь.

Б е р н а р д (*отчаянно*). Миссис Ломен! Миссис Ломен!

Х э п п и. Расскажи ему, что произошло!

Б и ф (*Хэппи*). Замолчи, оставь меня в покое!

В и л л и. Нет! Тебе надо было провалиться по математике!

Б и ф. Какая там математика? О чём ты говоришь?

Б е р н а р д. Миссис Ломен! Миссис Ломен!

В доме появляется молодая Л и н д а.

В и л л и (*истошно*). Математика! Математика!

Б и ф. Успокойся, папа!

Б е р н а р д. Миссис Ломен!

Вилли (*яростно*). Если бы ты не провалился, ты давно бы вышел в люди!

Биф. Тогда слушай, я расскажу тебе, как было на самом деле. А ты слушай!

Бернард. Миссис Ломен!

Биф. Я ждал его шесть часов...

Хэппи. Что ты плетёшь?

Биф. Я всё время передавал через секретаршу, что я его жду, но он так и не захотел меня принять. И вот наконец он... (*Продолжает, но голос его не слышен. Свет в ресторане постепенно меркнет.*)

Бернард. Биф провалился по математике!

Линда. Не может быть!

Бернард. Бирнбом его провалил! Ему не дадут аттестата!

Линда. Но они не имеют права! Ему надо поступать в университет! Где он? Биф! Биф!

Бернард. Он уехал. Он пошёл на Центральный вокзал.

Линда. На Центральный? Значит, он поехал в Бостон.

Бернард. Разве дядя Вилли в Бостоне?

Линда. Ах, может, Вилли поговорит с учителем... Бедный, бедный мальчик!

Свет в доме гаснет.

Биф (*за столиком, голос его теперь уже слышен; в руке у него золотое вечное перо*). ...теперь у меня с этим Оливером всё кончено, понимаешь? Ты меня слушаешь?

Вилли (*растерянно*). Да-да, конечно... Если бы ты не провалился...

Биф. Где? О чём ты говоришь?

Вилли. Не вали вину на меня! Не я провалился по математике, а ты! Какое перо?

Хэппи. Глупости, Биф! Перо стоит не больше...

Вилли (*впервые увидев перо*). Ты взял у Оливера перо?

Биф (*обессилев*). Папа, ведь я только что тебе рассказал...

Вилли. Ты украл у Билла Оливера вечное перо?

Биф. Я его, в сущности говоря, не крал. Ведь именно это я тебе и сказал!

Хэппи. Он держал его в руках, когда вошёл Оливер. Биф смутился и сунул перо в карман.

Вилли. Господи боже мой...

Биф. Я не хотел его красть, папа!

Голос телефонистки. Отель «Стэндиш». Добрый вечер!

Вилли (*кричит*). Меня нет в комнате! Меня здесь нет!

Биф (*испуганно*). Папа, что с тобой? (*Они с Хэппи встают.*)

Голос телефонистки. Вас к телефону, мистер Ломен!

Вилли. Меня нет, не надо!

Биф (*в ужасе становится перед Вилли на колени*). Папа, я исправлюсь, папа, я больше не буду! (*Вилли пытается встать, но Биф его не пускает.*) Погоди, успокойся...

Вилли. Ты никчёмный, ты такой никчёмный...

Биф. Папа, я найду себе место, я найду что-нибудь, понимаешь? Только успокойся. (*Держит лицо Вилли в своих ладонях.*) Скажи мне хоть слово, папа. Ну, скажи!

Голос телефонистки. Номер мистера Ломена не отвечает. Послать к нему посыльного?

Вилли (*силясь встать, чтобы броситься и заставить замолчать телефонистку*). Не надо, не надо!

Хэппи. Ему ещё повезёт, папа!

Вилли. Не надо, не надо...

Б и ф (*в отчаянии, стоя над Вилли*). Папа, послушай! Послушай меня! Я хочу тебе сказать что-то очень хорошее. Оливер разговаривал о нашей затее со своим компаньоном. Ты меня слышишь? Он... он разговаривал со своим компаньоном, а потом пришёл ко мне... Со мной будет всё хорошо, ты слышишь? Послушай, папа, он говорит, что всё дело только в деньгах.

В и л л и. Так ты... их получишь?

Х э п п и. Ого-го! Он нам ещё покажет, папа!

В и л л и (*пытаясь встать на ноги*). Значит, ты их получишь, правда? Ты их получишь! Получишь!

Б и ф (*с мучительной болью, пытаясь удержать Вилли на месте*). Нет. Нет. Послушай, папа, речь шла о том, что я должен завтра с ними обещать. Я хочу, чтобы ты это знал: я могу им понравиться... Я своего добьюсь, я ещё себя покажу! Но завтра, завтра я не могу, понимаешь?

В и л л и. Не можешь? Почему? Ты просто...

Б и ф. Перо, понимаешь, папа, перо...

В и л л и. Верни его и скажи, что ты взял его по рассеянности.

Х э п п и. Конечно, иди с ними завтра обедать!

Б и ф. Я не могу...

В и л л и. Скажи, что ты решал кроссворд и взял перо по ошибке!

Б и ф. Послушай, дружок, ведь я взял тогда его мячи... много лет назад. И ты хочешь, чтобы я пришёл к нему с пером... Разве ты не понимаешь, что теперь всё кончено? Я не могу к нему прийти! Попытаюсь где-нибудь в другом месте...

Г о л о с п о с ы л ь н о г о. Мистер Ломен!

В и л л и. Неужели ты не хочешь стать человеком?

Б и ф. Папа, разве я могу туда вернуться?

В и л л и. Ты не хочешь стать человеком, вот в чём дело.

Б и ф (*теперь уже разозлившись на Вилли за то, что тот не верит в его сочувствие*). Зачем ты так говоришь? Думаешь, мне было легко войти в его контору после того, что я сделал? Нет, никакие силы не заставят меня пойти ещё раз к Биллу Оливеру!

В и л л и. Зачем же ты к нему пошёл?

Б и ф. Зачем? Зачем я пошёл! Посмотри на себя. Погляди, что с тобой стало.

Где-то слева смеётся Ж е н щ и н а.

В и л л и. Биф, ты пойдёшь завтра на этот обед, не то...

Б и ф. Я не пойду. Меня никто не звал!

Х э п п и. Биф, ради...

В и л л и. Ты опять говоришь мне назло?

Б и ф. Не смей меня в этом обвинять! Будь ты проклят...

В и л л и (*бьёт Бифа по лицу и, шатаясь, отходит от стола*). Ах ты, дрянь... Ты опять говоришь мне назло?

Ж е н щ и н а. Кто-то там стоит за дверью, Вилли!

Б и ф. Ну да, я дрянь, разве ты не видишь, что я полное ничтожество?

Х э п п и (*разнимая их*). Послушайте, вы в ресторане. А ну-ка, перестаньте, оба! (*Входят девушки.*) Привет, привет! Садитесь, пожалуйста.

Где-то слева смеётся Ж е н щ и н а.

М и с с Ф о р с а й т. Мы и правда сядем. Это Летта.

Ж е н щ и н а. Вилли, ты проснёшься когда-нибудь?

Б и ф (*не обращая внимания на Вилли*). Как жизнь молодая? Что вы будете пить?

Л е т т а. Мне завтра надо рано вставать: меня выбрали в присяжные. Так интересно! А вы, молодые люди, были когда-нибудь присяжными?

Б и ф. Нет, зато я не раз слышал их приговор! (*Девушки смеются.*) Знакомьтесь, мой отец.

Летта. Какой милый! Посидите с нами, папаша.

Хэппи. Посади его, Биф!

Биф (*подходит к Вилли*). Пойдём, старый лентяй, покажи, как надо пить! К чёрту всё! Садись с нами, друг сердечный! (*Вилли чуть было не поддаётся уговорам.*)

Женщина (*теперь уже очень настойчиво*). Вилли, подойди к двери, там стучат!

Зов Женщины уводит Вилли назад. Он растерянно идёт налево.

Биф. Ты куда?

Вилли. Открой дверь.

Биф. Какую дверь?

Вилли. Уборной... Дверь... где же дверь?

Биф (*отводит Вилли влево*). Иди прямо вниз. (*Вилли идёт налево.*)

Женщина. Вилли, Вилли, да встанешь ли ты наконец?

Вилли уходит.

Летта. Как мило, что вы водите с собой вашего папочку.

Мисс Форсайт. Ну да, рассказывайте, он совсем не ваш отец!

Биф (*поворачивается к ней с негодованием*). Мисс Форсайт, мимо вас только что прошёл самый настоящий принц. Прекрасный, хоть и озабоченный принц. Принц-работяга, никем не оценённый по заслугам... Словом, наш лучший друг, понятно? Самый лучший друг и товарищ. Он жизнь отдаст за своих мальчиков, понятно?

Летта. Ах, как это мило!

Хэппи. Ну вот, девушки, что будем делать дальше? Время уходит зря. Давай, Биф. Соберёмся в кружок и решим, куда бы нам поехать.

Биф. Почему ты не сделаешь что-нибудь для него?

Хэппи. Я?

Биф. Неужели тебе совсем его не жаль?

Хэппи. Не понимаю. Что ты говоришь? Разве не я...

Биф. Тебе на него наплевать! (*Вынимает из кармана свёрнутую резиновую трубку и кладёт её на стол перед Хэппи.*) Господи, погляди, что я нашёл. Как ты можешь равнодушно на это смотреть?

Хэппи. Я? Кто всё время смывается из дому, я? Кто бросает их на произвол судьбы, я?

Биф. Да, но для тебя он — ничто. Ты бы мог ему помочь... а я не могу! Неужели ты не понимаешь, о чём я говорю? Он ведь убьёт себя, разве ты не понимаешь?

Хэппи. Я не понимаю? Я?

Биф. Хэп, помоги ему! Господи Иисусе... помоги ему... Помоги мне! Мне! Я не могу смотреть на его лицо. (*Чуть не плача, убегает направо.*)

Хэппи (*бросаясь за ним вдогонку*). Куда ты?

Мисс Форсайт. На что это он так рассердился?

Хэппи. Пойдёмте, девочки, мы его сейчас нагоним.

Мисс Форсайт (*которую чуть не насильно выталкивает Хэппи*). Знаете, мне его характер что-то не нравится!

Хэппи. Он немножко разнервничался, это сейчас пройдёт.

Вилли (*слева, в ответ на смех Женщины*). Молчи! Не отвечай!

Летта. Разве вы не хотите сказать вашему папочке...

Хэппи. Это совсем не мой отец. Так просто, знакомый. Пойдём, догоним Бифа. ...Поверь, детка, мы так кутнём, что небу станет жарко... Стэнли, давай счёт! Эй, Стэнли!

Уходят. Стэнли смотрит налево.

Стэнли (*с негодованием окликает Хэппи*). Мистер Ломен! Мистер Ломен! (*Берёт стул и бежит за ними следом.*)

Слева слышен стук. Смеясь, входит Женщина. За ней идёт Вилли. Она в чёрной комбинации; он застёгивает рубашку. Откровенно чувственная музыка вторит их диалогу.

В и л л и. Перестань смеяться! Замолчи! Слышишь!

Ж е н щ и н а. Ты не откроешь дверь? Он ведь разбудит весь отель.

В и л л и. Это не к нам. Я никого не жду.

Ж е н щ и н а. Почему бы тебе, котик, не выпить ещё рюмочку? Тогда, может, ты думал бы не только о себе.

В и л л и. Как мне тоскливо...

Ж е н щ и н а. Знаешь, Вилли, ты меня совсем испортил. Но теперь, когда бы ты ни приехал к нам в контору, я сразу свяжу тебя с покупателями. Больше тебе никогда не придётся ждать. Ты меня совсем испортил.

В и л л и. Это очень мило с твоей стороны...

Ж е н щ и н а. Но боже мой, какой ты эгоист! И почему ты такой грустный? Самый грустный и самый эгоистичный человек на свете. *(Смеётся. Он её целует.)* Пойдём в спальню, мой милый коробейник. Глупо одеваться посреди ночи. *(Слышен стук.)* Почему ты не откроешь дверь?

В и л л и. Это не к нам. Это по ошибке.

Ж е н щ и н а. Нет, стучат к нам. И слышат, как мы разговариваем. Может, в гостинице пожар?

В и л л и *(ужас его возрастает)*. Это ошибка!

Ж е н щ и н а. Тогда прогони их!

В и л л и. Там никого нет.

Ж е н щ и н а. Мне это действует на нервы. За дверью кто-то стоит, и мне это действует на нервы!

В и л л и *(отгалкивая её от себя)*. Ладно, спрячься в ванной и не выходи оттуда. Кажется, в Массачусетсе есть закон насчёт этого самого... Лучше спрячься! Может, стучит новый портье. У него очень противное лицо. Не выходи, поняла? Тут какая-то ошибка, а не пожар.

Снова слышен стук. Вилли отходит от Ж ен щ и н ы на несколько шагов, и она исчезает за кулисой. Луч света следует за ним, и теперь Вилли стоит лицом к лицу с Б и ф о м-подростком, который держит чемодан. Б и ф делает шаг. Музыка смолкает.

Б и ф. Почему ты так долго не открывал?

В и л л и. Биф! Что ты делаешь в Бостоне?

Б и ф. Почему ты не открывал? Я стучал пять минут. Я звонил тебе по телефону...

В и л л и. Я только что услышал. Был в ванной, а дверь туда была закрыта. Дома что-нибудь случилось?

Б и ф. Папа... я тебя подвёл.

В и л л и. В чём?

Б и ф. Папа...

В и л л и. Биффо, о чём ты, мальчик? *(Обнимает его за плечи.)* Пойдём вниз, я напою тебя имбирным пивом.

Б и ф. Папа, я провалился по математике.

В и л л и. На выпускных экзаменах?

Б и ф. Да. У меня не хватает баллов для аттестата.

В и л л и. Неужели Бернард не мог тебе подсказать?

Б и ф. Он старался, но я набрал только шестьдесят один балл.

В и л л и. И они не захотели натянуть тебе ещё четыре балла?

Б и ф. Бирнбом отказался наотрез. Я его просил, папа, но он не хочет дать мне эти четыре балла. Тебе надо с ним поговорить самому до каникул. Ведь стоит ему увидеть, что ты за человек, а тебе поговорить с ним по душам, и он пойдёт нам навстречу! Ты с ним поговоришь? Его уроки всегда бывали перед спортивными занятиями, и я часто их пропускал. Ты ему понравился. Ты ведь так здорово умеешь уговаривать!

В и л л и. Всё будет в порядке, мальчик. Мы сейчас же поедем домой.

Б и ф. Вот это здорово! Для тебя он сделает всё!

Вилли. Ступай вниз и скажи портье, чтобы он приготовил счёт. Ступай, живо.

Биф. Слушаю, сэр! Знаешь, папа, отчего он меня ненавидит? Как-то раз он опоздал на урок, а я подошёл к доске и начал его передразнивать. Скопил глаза и стал шепелявить...

Вилли (*смеясь*). Да ну? Представляю, как ребятам понравилось!

Биф. Они чуть не померли со смеху!

Вилли. Ха-ха-ха! Как ты его передразнивал?

Биф. Кубишеский корень из шестидесяти шести... (*Вилли от души хохочет, Биф ему вторит.*) И надо же, чтобы в эту минуту он вошёл в класс!

Вилли смеётся, а с ним вместе смеётся и Женщина за сценой.

Вилли (*поспешно*). Ступай поскорее вниз,

Биф. У тебя кто-то есть?

Вилли. Нет, это в соседнем номере.

За сценой звонко смеётся Женщина.

Биф. Там в ванной кто-то есть.

Вилли. Нет, это в соседнем номере, у них вечеринка...

Женщина (*входит со смехом, сюсюкает*). Разрешите войти? Там в ванне что-то живое, оно ползает!

Вилли смотрит на Бифа, который оторопело уставился на Женщину.

Вилли. О-о... идите в свою комнату. Там уже, наверно, кончили ремонт. У неё красят номер, поэтому я разрешил ей принять здесь душ. Идите, идите к себе... (*Выгаликивает её.*)

Женщина (*сопротивляясь*). Но мне надо одеться, Вилли. Не могу же я...

Вилли. Убирайтесь отсюда! Идите к себе... (*Внезапно делает попытку вернуться к обыденности.*) Знакомься, Биф, это наша покупательница, мисс Фрэнсис... У неё ремонтируют номер. Ступайте к себе, мисс Фрэнсис, скорее...

Женщина. Дай моё платье! Не могу же я выйти голая в холл!

Вилли (*выгаликивая её за кулисы*). Уходите отсюда! Идите! Идите!

Биф медленно опускается на свой чемодан, прислушиваясь к спору, который доносится к нему из-за кулис.

Женщина. Где мои чулки? Ты же обещал мне чулки!

Вилли. У меня нет никаких чулок.

Женщина. Ты приготовил мне две коробки паутинок номер 9, я хочу их получить!

Вилли. На, возьми, бога ради, только убирайся!

Женщина (*входит, держа в руках коробку чулок*). Надеюсь, что в холле никого нет. Только на это вся моя надежда. (*Бифу.*) Вы играете в футбол или в бейзбол?

Биф. В футбол.

Женщина (*злясь от унижения*). Вот и мной играют в футбол тоже. Спокойной ночи. (*Выхватывает из рук Вилли свою одежду и уходит.*)

Вилли (*нарушает молчание*). Надо собираться и нам. Я хочу завтра же попасть в школу и как можно раньше. Достань из шкафа мои костюмы. Я сейчас сниму чемодан. (*Биф не шевелится.*) Что с тобой? (*Биф продолжает сидеть неподвижно, из глаз его катятся слёзы.*) Это наша покупательница. Покупает для фирмы Д. Г. Симмонс. Живёт в той стороне коридора, у них там ремонт. Ты, надеюсь, не подумал... (*Замолкает. Потом снова.*) Послушай, дружок, она просто наша покупательница. Принимает товар у себя в комнате, поэтому ей приходится следить, чтобы номер был в порядке... (*Молчание. Решив овладеть положением.*)

Ладно, достань из шкафа мои костюмы. (*Биф не двигается.*) Не смей плакать и делай, что я говорю. Я приказываю, Биф! Слышишь, я тебе приказываю! Разве так поступают, когда тебе приказывают? Как ты смеешь плакать? (*Обнимает Бифа за плечи.*) Послушай. Когда ты вырастешь, ты поймёшь. Не надо... не надо придавать таким вещам слишком большое значение. Я поговорю с Бирнбомом завтра же утром, пораньше.

Б и ф. Не надо.

В и л л и (*сидясь рядом с Бифом*). Не надо?! Он даст тебе эти четыре балла. Я добьюсь.

Б и ф. Он тебя и слушать не будет.

В и л л и. Нет, будет. Тебе нужны эти баллы, чтобы попасть в Виргинский университет.

Б и ф. Я не хочу поступать в университет.

В и л л и. А? Если я не смогу уговорить его изменить отметку, ты подготавлишься за лето к переэкзаменовке — у тебя впереди целое лето...

Б и ф (*разражаясь рыданиями*). Папа...

В и л л и (*горестно становясь на колени*). Ах, мой мальчик...

Б и ф. Папа...

В и л л и. Она для меня ничто, Биф. Мне просто было так тоскливо, мне было ужасно тоскливо.

Б и ф. Ты... ты отдал ей мамины чулки! (*У него снова текут слёзы. Он встаёт, чтобы уйти.*)

В и л л и (*судорожно цепляясь за него руками*). Я приказал тебе!

Б и ф. Не трогай меня, обманщик!

В и л л и. Как ты смеешь?! Проси прощения!

Б и ф. Мошенник! Жалкий, мелкий мошенник! (*Истратив все силы, быстро отворачивается и, рыдая, уходит со своим чемоданом. Вилли остаётся посреди комнаты на коленях.*)

В и л л и. Я приказал тебе! Биф, вернись сейчас же, не то я тебя побью! Вернись! Я тебя высеку!

Справа быстро входит Стэнли и останавливается перед Вилли.

В и л л и (*кричит Стэнли*). Я приказал...

С т э н л и. Давайте я поищу то, что вы обронили, мистер Ломен. (*Помогает Вилли подняться на ноги.*) Ваши мальчики ушли с этими фифишками. Сказали, что увидятся с вами дома.

Издали за ними следит второй официант.

В и л л и. Но ведь мы должны были вместе пообедать...

Слышна музыка, тема Вилли.

С т э н л и. Вы один управитесь?

В и л л и. Я... конечно, управлюсь. (*Внезапно обеспокоенный своим видом.*) А как у меня... всё в порядке?

С т э н л и. В полном порядке. (*Стряхивает у Вилли соринку с лацкана.*)

В и л л и. Вот вам... вот вам доллар.

С т э н л и. Ваш сын мне заплатил. Всё в порядке.

В и л л и (*суёт ему в руку деньги*). Возьмите. Вы славный парень.

С т э н л и. Не стоит...

В и л л и. Вот... вот вам ещё. Мне они больше не нужны. (*Немножко помолчав.*) Скажите... здесь по соседству продают семена?

С т э н л и. Семена? Какие семена? Чтобы сажать в землю?

Когда Вилли отворачивается, Стэнли суёт ему деньги обратно в карман пиджака.

В и л л и. Ну, да... морковь... горошек...

С т э н л и. Тут на Шестой авеню есть хозяйственный магазин, но он, наверно, закрыт, сейчас уже поздно.

Вилли (с волнением). Тогда я пойду поскорее. Мне непременно нужны семена. (Идёт направо.) Мне нужно сейчас же купить семена. Ничего ещё не посажено. Земля моя совершенно бесплодна...

Свет начинает меркнуть, и Вилли уходит. Стэнли провожает его направо и смотрит ему вслед. Второй официант не сводит с Вилли глаз.

Стэнли (второму официанту). Ну, чего ты уставился?

Официант собирает стулья и уносит их направо. Стэнли берёт стол и следует за ним. Свет в этой части сцены гаснет. Длинная пауза, которую постепенно заполняет звук флейты. Свет постепенно разгорается в кухне, где пока ещё пусто. Снаружи, у двери дома, появляется Хэппи, за ним идёт Биф. Хэппи несёт букет роз на длинных стеблях. Он входит в кухню и взглядом отыскивает Линду. Не видя её, поворачивается к Бифу, который стоит тут же за дверью, и делает ему знак рукой, означающий: «Кажется, её нет!» Заглядывает в гостиную и замирает. Там в темноте сидит Линда с пиджаком Вилли на коленях. Бесшумно встаёт и грозно приближается к Хэппи, который в испуге отступает от неё в кухню.

Хэппи. Эй, почему ты не спишь? (Линда, ничего не говоря, медленно идёт к нему навстречу.) Где отец? (Хэппи пятится направо, и теперь Линда видна во весь рост в дверях гостиной.) Он спит?

Линда. Где вы были?

Хэппи (пытаясь отшутиться). Мама, мы познакомились с двумя очаровательными девушками... Смотри, мы принесли тебе цветочков... (Протягивает ей букет.) Поставь их к себе в комнату, мамочка...

Линда выбивает у него из рук цветы, и они падают у ног Бифа на пол. Он уже вошёл в кухню и закрыл за собой дверь. Линда в упор глядит на Бифа, не произнося ни слова.

Хэппи. Ну, скажи, зачем ты это сделала? Мамочка, я ведь хотел, чтобы у тебя были цветочки...

Линда (прерывая Хэппи, яростно Бифу). Тебе всё равно, будет он жить или нет?

Хэппи (направляется к лестнице). Пойдём наверх, Биф.

Биф (со вспышкой отвращения). Отойди от меня! (Линде.) Что ты этим хочешь сказать? По-моему, дорогая, здесь ещё никто не умирает! Линда. Чтобы ты больше не попадался мне на глаза! Убирайся отсюда!

Биф. Я хочу видеть хозяина.

Линда. Ты к нему больше не подойдёшь!

Биф. Где он? (Входит в гостиную. Линда идёт за ним.)

Линда (кричит ему в спину). Пригласили обедать! Он ждал этого целый день... (Биф появляется в спальне родителей, оглядывает её и выходит) ...а вы его бросили. Так не поступают даже с чужими!

Хэппи. В чём дело? Ему с нами было очень весело. Послушай, в тот день, когда я... (Линда входит обратно в кухню) ...его брошу, пусть лучше меня повесят!

Линда. Убирайся вон!

Хэппи. Мама, послушай...

Линда. Тебе не терпелось пойти к твоим девкам? Ах ты, вонючий потаскун!..

Биф снова входит в кухню.

Хэппи. Мама, мы старались развеселить Бифа! (Бифу.) Ну и ночку ты мне выдал!

Линда. Убирайтесь отсюда, вы оба! И не смейте больше приходить. Я не хочу, чтобы вы его терзали. Соберите ваши вещи, ну, сейчас же! (Бифу.) Ты можешь переночевать у него. (Наклоняется, чтобы поднять

цветы, но ловит себя на этом движении и выпрямляется снова.) Уберите этот мусор. Я вам больше не прислуга. Убери, слышишь, ты, бродяга!

Хэппи в знак протеста поворачивается к ней спиной. Би ф медленно подходит, опускается на колени и собирает цветы.

Линда. Скоты! Никто, ни одна живая душа не позволила бы себе такого зверства — бросить его одного в ресторане!

Би ф (*не глядя на неё*). Это он говорит?

Линда. Ему ничего не пришлось говорить. Он был так унижен, что едва передвигал ноги.

Хэппи. Но, мама, ему с нами было так весело...

Би ф (*яростно его прерывая*). Замолчи!

Не говоря больше ни слова, Хэппи идёт наверх.

Линда. А ты! Ты даже не пошёл за ним.

Би ф (*всё ещё стоя перед ней на полу и держа в руках цветы. С отворачиванием к самому себе*). Нет. Не пошёл. Не сделал ни шагу. Как тебе это понравится, а? Бросил его там, в уборной. Он бормотал всякую чушь там, в уборной...

Линда. Подлец!

Би ф. Вот ты и попала в самую точку! (*Встаёт, бросает цветы в мусорную корзину*.) Подонок, мразь, собственной персоной!

Линда. Уходи отсюда!

Би ф. Я должен поговорить с хозяином, мама. Где он?

Линда. Ты к нему не подойдёшь! Убирайся из этого дома!

Би ф (*с решимостью*). Ну нет. Мы сперва с ним немножко побеседуем. Мы двое, с глазу на глаз.

Линда. Ты с ним не будешь разговаривать!

Позади дома, справа, слышен стук. Би ф оборачивается на шум.

Линда (*вдруг начинает его молить*). Ну, пожалуйста, прошу тебя, оставь его в покое!

Би ф. Что он там делает?

Линда. Он сажает овощи!

Би ф (*тихо*). Сейчас? О господи!

Би ф проходит во двор. Линда идёт за ним следом. Свет, горевший над ними, гаснет, он загорается над серединой просцениума, куда выходит Вилли. В руках у него фонарик, мотыга и пачка пакетиков с семенами. Он резко постукивает по рукоятке мотыги, чтобы лучше её укрепить, затем движется налево, измеряя расстояние шагами. Освещает фонариком пакетики с семенами, читая надписи. Вокруг него ночная мгла.

Вилли. ...морковь... сажать одну от другой не чаще, чем на расстоянии в полсантиметра. Грядки... на расстоянии в полметра. (*Отмеривает землю*.) Полметра. (*Кладёт наземь пакетик и меряет дальше*.) Свёкла. (*Кладёт пакет и продолжает мерить*.) Латук. (*Читает надпись, кладёт пакет на землю*.) Полметра... (*Перестает работать, увидев, что справа к нему медленно приближается Бен*.) Вот какая загвоздка, понимаешь? Ай-ай-ай... Ужас, просто ужас. Она так настрадалась, Бен, эта женщина так настрадалась! Понимаешь? Человек не может уйти так же, как он пришёл, человек должен что-то после себя оставить. Ты не можешь, не можешь... (*Бен приближается к нему словно для того, чтобы его прервать*.) Теперь разберись хорошенько. Только не спеши отвечать. Помни, тут верное дело. Двадцать тысяч долларов. Послушай, Бен, я хочу, чтобы ты вместе со мной рассмотрел все «за» и «против». Ведь мне не с кем поговорить, а Линда так настрадалась.

Бен (*стоит неподвижно, раздумывая*). А что это за дело?

Вилли. Двадцать тысяч долларов чистоганом. С гарантией, верные деньги, понимаешь?

Бен. Смотри, не сваляй дурака. Они могут не выплатить по страховому полису.

Вилли. Не посмеют! Разве я не работал, как вол, чтобы сделать в срок взносы? А теперь они не заплатят? Ерунда!

Бен. Такие вещи принято звать трусостью, Вилли.

Вилли. Почему? Разве нужно больше мужества, чтобы тянуть эту лямку до конца, зная, что ты всё равно умрёшь нулём без палочки?

Бен (*сдаваясь*). В твоих словах, пожалуй, есть смысл, Вильям. (*Прохаживается, размышляя*.) А двадцать тысяч — это нечто осязаемое, это вещь!

Вилли (*теперь уже уверившись, с возрастающей силой*). Ох, Бен, в том-то и прелесть! Я их вижу, они, словно алмаз, сияют передо мной в темноте, твёрдый, крепкий алмаз, который можно взять в руки, потрогать! Это тебе не какое-нибудь деловое свидание! Несостоявшееся свидание. Тут тебя не оставят в дураках! Двадцать тысяч — это меняет дело! Понимаешь, он думает, что я ничтожество, и поэтому топчет меня ногами. А похороны... (*Выпрямляется*.) Бен, похороны будут просто грандиозными! Съедутся отовсюду — из штата Мэн, из Массачусетса, из Вермонта и Нью-Гэмпшира! Все ветераны с иногородними номерами на машинах... Мальчик будет просто ошарашен! Он ведь никогда не верил, что меня знают, знают повсюду. В Род-Айленде, Нью-Йорке, Нью-Джерси! Он убедится в этом собственными глазами, раз и навсегда. Увидит, кто я такой, Бен! Мой мальчик будет потрясён!

Бен (*подходя ближе*). И назовёт тебя трусом.

Вилли (*вдруг испугавшись*). Что ты, это было бы ужасно!

Бен. Да. И дураком.

Вилли. Нет, нет, разве можно! Я этого не допущу! (*Он в полном отчаянии*.)

Бен. Он тебя возненавидит, Вильям.

Слышна весёлая музыка мальчиков.

Вилли. Ах, Бен, если бы вернуться к прежним счастливым дням! Ведь было столько света, настоящей дружбы! Мы катались зимой на санках, и как пылали на морозе его щёки! Нас всегда ждали хорошие вести, впереди всегда было что-то хорошее. Он никогда не позволял мне самому вносить в дом чемоданы и так обхаживал мою маленькую красную машину! Ну, почему, почему я ничего не могу ему дать? Чтобы он меня не ненавидел...

Бен. Нужно это обдумать. (*Глядит на часы*.) У меня ещё есть несколько минут. Дело завидное, но ты должен быть уверен, что тебя не оставят в дураках.

Бен медленно скрывается со сцены. Слева подходит Биф.

Вилли (*почувствовав его приближение, оборачивается и смотрит на него исподлобья, потом в замешательстве начинает подбирать с земли пакетики с семенами*). Где же, чёрт бы их побрал, эти семена? (*С негодованием*.) Ни дьявола не видно! Замуровали весь квартал, как в склепе!

Биф. Людям тоже надо жить. Понимаешь?

Вилли. Я занят. Не мешай.

Биф (*отнимая у Вилли мотыгу*). Я пришёл проститься, папа. (*Вилли молча смотрит на него, не в силах двинуться с места*.) Я больше никогда не вернусь.

Вилли. Ты не пойдёшь завтра к Оливеру?!

Биф. Он мне не назначал свидания, отец.

Вилли. Он тебя обнял, но не назначил свидания?

Биф. Папа, пойми же наконец! Всякий раз, когда я уезжал из дому, меня гнала отсюда ссора с тобой. Сегодня я понял нечто такое, что мне хотелось бы тебе объяснить, но я, наверно, недостаточно умён и не смогу

тебе ничего втолковать. Какая разница, кто виноват? (*Берёт Вилли за руку.*) Давай об этом забудем, ладно? Пойдём домой и скажем маме. (*Тихонько тянет Вилли налево.*)

В и л л и (*словно окаменев, виновато*). Нет, я не хочу её видеть.

Б и ф. Пойдём! (*Тацит его, но Вилли вырывается.*)

В и л л и (*очень нервно*). Нет, нет, я не хочу её видеть!

Б и ф (*пытается заглянуть ему в лицо, чтобы, понять, что у того на уме*). Почему ты не хочешь её видеть?

В и л л и (*уже жёстче*). Не мешай мне, слышишь?

Б и ф. Скажи, почему ты не хочешь её видеть? Ты не хочешь, чтобы тебя звали трусом, правда? Ты ни в чём не виноват,— моя вина, что я бродяга. Пойдём домой. (*Вилли пытается от него уйти.*) Ты слышишь, что я тебе говорю?

В и л л и вырывается и быстро входит в дом один. Б и ф идёт за ним.

Л и н д а (*Вилли*). Ну, ты всё посадил, дружок?

Б и ф (*стоя у двери, Линде*). Мама, мы договорились. Я уезжаю и больше не буду писать.

Л и н д а (*подходит к Вилли*). Мне кажется, родной, что так будет лучше. Нечего дольше тянуть. Для тебя это не жизнь.

В и л л и не отвечает.

Б и ф. Люди будут спрашивать, где я, что я делаю, а вы не знаете, и вам будто всё равно. С глаз долой — из сердца вон... Постепенно вам станет легче. Правильно? Теперь всё ясно, да? (*Вилли молчит. Биф к нему подходит.*) Ты пожелаешь мне счастья, друг? (*Протягивает ему руку.*) Ну, говори!

Л и н д а. Пожми ему руку, Вилли.

В и л л и (*поворачивается к ней, корчась от обиды*). Зачем ему нужно вспоминать об этом золотом перере?..

Б и ф (*нежно*). Мне всё равно никто не назначал свидания, папа.

В и л л и (*яростно взрывается*). Он положил тебе руку...

Б и ф. Папа, неужели ты никогда не поймёшь, что я такое? Зачем нам ссориться? Если я вытяну счастливый номер, я pošлю тебе денег. А пока забудь, что я существую на свете.

В и л л и (*Линде*). Назло, видишь?

Б и ф. Дай мне руку, отец.

В и л л и. Нет, руки я тебе не дам.

Б и ф. Я надеялся, что мы простимся по-хорошему.

В и л л и. Другого прощания не жди.

Б и ф мгновение на него смотрит, потом резко поворачивается и идёт к лестнице.

В и л л и (*останавливает его словами*). Будь ты проклят на том и на этом свете, если ты уйдёшь из дому!

Б и ф (*оборачиваясь*). А чего тебе, собственно, от меня надо?

В и л л и. Знай, где бы ты ни был — на море, на суше, в горах или в низине, везде, повсюду: ты загубил свою жизнь мне назло!

Б и ф. Неправда!

В и л л и. Злоба, злоба — вот в чём твоя погибель. И когда ты опустишься на самое дно, помни, что б тебя туда загнало. Когда ты будешь живо гнить где-нибудь под забором, помни и не смей меня обвинять!

Б и ф. Я тебя ни в чём не обвиняю!

В и л л и. Я за тебя не несу ответа!

Х э п п и спускается сверху. Он стоит на нижней ступеньке лестницы, наблюдая за ними.

Б и ф. Да я и не собираюсь тебя обвинять.

В и л л и (*опускается на стул, тоном жесточайшего обличения*). Ты хочешь вонзить мне нож в спину. Не думай, что я этого не понимаю.

Б и ф. Ах так, мошенник! Тогда давай карты на стол. *(Вытаскивает из кармана резиновую трубку и кладёт её на стол.)*

Х э п п и. Сумасшедший! Что ты делаешь?..

Л и н д а. Биф! *(Бросается, чтобы схватить трубку, но Биф придерживает её рукой.)*

Б и ф. Оставь! Не трогай!

В и л л и *(не глядя на то, что лежит на столе)*. Что там такое?

Б и ф. Сам знаешь, что это такое.

В и л л и *(загнанный в угол)*. Понятия не имею, никогда в глаза не видел...

Б и ф. Видел. Может, под котёл эту штуку притащили мыши? Что ты затеял? Хочешь стать героем? Хочешь, чтобы я тебя пожалел?

В и л л и. Понятия не имею...

Б и ф. Жалости к тебе не будет, слышишь? Не будет!

В и л л и *(Линде)*. Видишь, сколько в нём злобы?

Б и ф. Я хочу, чтобы ты выслушал правду — правду обо мне и правду о себе!

Л и н д а. Перестань!

В и л л и. Ух, змея!

Х э п п и *(спускаясь по лестнице, подходит к Бифу)*. Молчи!

Б и ф *(Хэппи)*. Человек не знает, что мы собой представляем. Пусть узнает! *(Вилли.)* В этом доме не проходило и десяти минут, чтобы кто-нибудь из нас не солгал.

Х э п п и. Мы всегда говорили правду.

Б и ф *(накидываясь на него)*. Ты мыльный пузырь, разве ты помощник заведующего закупочным отделом? Ты один из двух помощников его помощника. Разве не так?

Х э п п и. Фактически я...

Б и ф. Фактически ты весь начинён враньём! Как и все мы! Кончено! С меня хватит! *(Вилли.)* Теперь послушай правду обо мне.

В и л л и. О тебе-то я всё знаю!

Б и ф. Знаешь, почему у меня три месяца не было адреса? Я украл костюм в Канзас-сити и сидел в тюрьме. *(Линде, которая теперь уже рыдает, не прятаясь.)* Не плачь. С этим тоже покончено. Навсегда! *(Линда отворачивается от них, закрыв лицо руками.)*

В и л л и. Видно, я и в этом виноват?

Б и ф. Меня выгоняли за кражу с каждой работы!

В и л л и. Кто в этом виноват?

Б и ф. Я так и не мог ничему научиться, потому что всю жизнь ты заставлял меня пыжиться. Я пыжился, пыжился, и мне не по чину было учиться у кого бы то ни было! Кто в этом виноват?

В и л л и. Вот это новость!

Л и н д а. Не надо, Биф.

Б и ф. Тебе давно пора её услышать. Как же! Ведь мне на роду было написано стать знаменитостью, большой персоной, сразу с ходу, ничего не добываясь... Ладно, теперь покончено и с этим.

В и л л и. Пусти себе пулю в лоб! Ступай и пусти себе пулю в лоб мне назло!

Б и ф. Зачем? И не подумаю. Сегодня, держа в руке это перо, я пробежал одиннадцать этажей. И вдруг остановился, слышишь? В самом сердце большого конторского здания, слышишь? Я остановился посреди этого здания и увидел... небо! Я увидел то, что люблю в этом мире. Работу, пишу, отдых, чтобы посидеть и покурить на воле. Я поглядел на перо и сказал себе: на кой чёрт сдалось тебе это перо, зачем ты его схватил? Зачем ты стараешься стать тем, чем ты не хочешь быть? Что ты делаешь в этой конторе, превращая себя в униженного и глупого просителя? Всё, что тебе надо, ждёт тебя там, стоит лишь тебе признаться, кто

ты есть на самом деле. А почему бы нам и не признаться, Вилли? (*Хочет заставить Вилли поглядеть ему в глаза, но Вилли вырывается и уходит налево.*)

В и л л и (*с угрозой, полный ненависти*). Дверь твоей жизни распахнута настезь!

Б и ф. Таких, как я, тринадцать на дюжину, да и таких, как ты, не меньше!

В и л л и (*поворачиваясь к нему с уже несдерживаемой яростью*). Ложь! Таких, как мы, не тринадцать на дюжину! Я — Вилли Ломен, а ты — Биф Ломен!

Б и ф бросается к В и л л и, но ему преграждает путь Х э п п и. Б и ф в такой ярости, что он, кажется, сейчас накинется на отца.

Б и ф. Я не лучший среди людей, Вилли, и ты тоже! всю свою жизнь ты был всего лишь бродячим продавцом чужого добра. И тебя, как и многих других, в конце концов выкинули на помойку! Я стою ровно один доллар в час. Семь штатов я обошёл, и нигде никто не давал мне больше! Один доллар в час! Ты понимаешь, что это значит? Больше я не принесу в дом никаких призов, так брось же их ждать! Их не будет!

В и л л и (*бросает ему в лицо*). Ах ты, злобный ублюдок!

Б и ф вырывается из рук Х э п п и. В и л л и в испуге бежит вверх по лестнице. Б и ф его хватает.

Б и ф (*на исходе своей ярости*). Папа, пойми, я ничтожество! Я нуль, понимаешь, папа? И нет во мне больше никакой злобы. Я просто то, что я есть, вот и всё!

Ярость оставила Б и ф а, и он громко рыдает, уцепившись за В и л л и, который беззвучно перебирает руками, пытаясь нащупать его лицо.

В и л л и (*удивлённо*). Что ты делаешь? Что ты делаешь? (*Линде.*) Почему он плачет?

Б и ф (*плача, с надрывом*). Дай ты мне уйти, ради всего святого! Дай мне уйти! Брось эти дурацкие мечты, пока не поздно! (*Силится взять себя в руки, отодвигается от отца и идёт к лестнице.*) Утром я уеду. Положи его... положи его спать, мама. (*В полном изнеможении поднимается по лестнице в свою комнату.*)

В и л л и (*после долгой паузы, с изумлением и душевным подъёмом*). Разве это... не замечательно? А? Биф... Биф меня любит!

Л и н д а. Он тебя так любит, Вилли!

Х э п п и (*с глубоким волнением*). Он всегда тебя любил!

В и л л и. Эх, Биф... (*Уставившись в пустоту широко открытыми глазами.*) Он плакал! Он плакал у меня, здесь! (*Задыхается от любви и выкрикивает свой символ веры.*) Этот мальчик... этот мальчик будет великим человеком!

В луче света позади кухни появляется Б е н.

Б е н. Да, он будет выдающимся человеком, если ему дать в руки двадцать тысяч долларов!

Л и н д а (*Вилли, чувствуя, как несутся галопом его мысли, со страхом, осторожно*). А теперь пойдём спать, Вилли. Теперь уже всё решено.

В и л л и (*с трудом удерживая себя от того, чтобы не выбежать из дому*). Да, мы будем спать. Пойдём. Иди спать, Хэп.

Б е н. Нужно быть сильным человеком, чтобы победить джунгли.

В идиллической музыке Бена появляется теперь интонация непреодолимого страха.

Х э п п и (*обняв Линду за талию*). Я женюсь, папа, ты это имей в виду. И буду жить совсем по-другому. Не пройдёт и года, как я буду заведовать отделом. Увидишь, мама! (*Целует Линду.*)

В и л л и поворачивается, идёт, прислушиваясь к словам Б е н а.

Линда. Будь хорошим мальчиком. Ведь на самом деле вы оба очень хорошие дети. Постарайтесь только жить по-хорошему.

Хэппи. Спокойной ночи, папа. *(Идёт наверх.)*

Линда *(Вилли)*. Пойдём, родной.

Бен *(со всё большей силой)*. Чтобы добыть алмазы, надо войти в джунгли!

Вилли *(Линде, медленно проходя вдоль стены кухни к двери)*. Мне хочется немножко успокоиться, Линда. Дай мне побыть одному.

Линда *(чуть было не высказав свои тайные страхи)*. Я хочу, чтобы ты был со мной, наверху.

Вилли *(обнимая её)*. Я скоро приду, Линда... Мне не заснуть. Ступай, родная, у тебя такой усталый вид. *(Целует её.)*

Бен. Это вам не какое-нибудь деловое свидание. Алмаз — он твёрдый на ощупь.

Вилли. Иди, иди. Я сейчас поднимусь.

Линда. Мне кажется, что это самый лучший выход, Вилли.

Вилли. Конечно, это самый лучший выход.

Бен. Лучший выход!

Вилли. Единственный выход! Всё теперь будет хорошо... Ступай, детка, ложись. Ты так устала.

Линда. Приходи поскорей.

Вилли. Скоро.

Линда идёт в гостиную, а потом появляется в своей спальне. Вилли выходит за дверь кухни.

Вилли. Он меня любит. *(С недоумением.)* И всегда меня любил... Разве это не удивительно? Бен, теперь он будет меня боготворить!

Бен *(торжественно)*. Там темно, но там горят алмазы!

Вилли. Можешь себе представить, какое будет счастье, если у мальчика в кармане окажется двадцать тысяч долларов!

Линда *(окликает его из спальни)*. Вилли! Иди сюда!

Вилли *(кричит в кухонную дверь)*. Сейчас! Сейчас! Это очень разумно, понимаешь, любимая? Даже Бен так считает. Мне надо идти, детка. Прощай! Прощай! *(Идёт к Бену, чуть ли не танцуя.)* Представляешь себе? Когда он получит страховку, он опять переплюнет Бернарда!

Бен. Великолепная сделка во всех отношениях!

Вилли. Ты видел, как он плакал? У меня на груди. Ах, если бы я мог хоть разок поцеловать его, Бен!

Бен. Пора, Вильям, пора!

Вилли. Бен, я всегда знал, что так или иначе, но мы с Бифом своего добьёмся!

Бен *(глядя на часы)*. Корабль нас ждёт. Мы опаздываем. *(Медленно уходит в темноту.)*

Вилли *(мечтательно, повернувшись лицом к дому)*. Когда ты ударишь по мячу, мальчик, я хотел бы иметь семимильные сапоги, чтобы перенестись по полю прямо туда, куда полетит твой мяч... Бей сильно и низко, ведь это так важно, мальчик! *(Резко поворачивается кругом, лицом к зрителям.)* На трибунах сидят важные люди, не успеешь ты оглянуться... *(Внезапно поняв, что он один.)* Бен! Бен, где я?.. *(Вдруг начинает что-то искать.)* Бен, как же это я?..

Линда *(зовёт его)*. Вилли, ты идёшь ко мне?

Вилли *(задохнувшись от испуга, стремительно оборачивается к дому, чтобы её успокоить)*. Тссс! *(Снова поворачивается, словно заблудившись. На него нахлынули звуки, голоса, лица, он отталкивает их, отгораживаясь от них руками, крича.)* Тише! Тссс! Тише! *(Внезапно его заставляя замечать чуть слышная нежная музыка. Она становится пронзительной, пере-*

растая в нестерпимый для слуха вопль. Он носится на цыпочках вокруг дома.) Тссс!..

Линда. Вилли!

Ответа нет. Линда ждёт. Биф встаёт с постели. Он ещё не разделся. Хэппи садится. Биф стоит, прислушиваясь.

Линда (*с уже нескрываемым страхом*). Вилли! Почему ты не отвечаешь? Вилли!

Слышно, как заводят машину. Машина отъезжает от дома на большой скорости.

Линда. Не надо!

Биф (*стремглав бросаясь вниз по лестнице*). Папа!

Машина уносится вдаль; ей вторит лихорадочная какофония звуков, которая тут же разрешается тихими вздохами виолончельной струны. Биф медленно возвращается в комнату. Он и Хэппи молча надевают пиджаки. Линда, еле ступая, выходит из своей спальни. Музыка переходит в похоронный марш. Дом одевает листва. День, Одетые в тёмное Чарли и Бернард подходят к дому и стучат в кухонную дверь. Когда они входят, Биф и Хэппи медленно спускаются по лестнице. Все останавливаются, дожидаясь, пока Линда, в трауре, с букетиком роз в руках, не войдёт в задрапированную дверь кухни. Она подходит к Чарли и берёт его под руку. Все они теперь движутся на публику. На краю просцениума Линда кладёт розы на землю, опускается на колени, а потом садится на корточки. Все смотрят на могилу.

Реквием

Чарли. Линда, уже темно.

Линда не обращает внимания. Она неотрывно смотрит на могилу.

Биф. Как, мамочка, а? Может, отдохнёшь? Скоро запрут ворота.

Линда не шевелится. Пауза.

Хэппи (*глубоко рассерженным тоном*). Зачем он это сделал? Он не имел никакого права. Кому это было нужно? Мы бы ему помогли.

Чарли (*ворчливо*). М-да...

Биф. Пойдём, мама.

Линда. Почему никто не пришёл?

Чарли. Были очень приличные похороны.

Линда. Но где все те, кого он знал? Может, они его осуждают?

Чарли. Да нет! Они его не осудят. Мы живём в жестоком мире, Линда.

Линда. Не понимаю. Особенно теперь! Впервые за тридцать пять лет мы почти выпутались из долгов. Всё, что ему было нужно, это — маленькое жалованье. Он расплатился даже с зубным врачом.

Чарли. Нет такого человека на свете, кому хватило бы маленького жалованья.

Линда. Не понимаю.

Биф. У нас бывали такие хорошие дни, помнишь? Когда он приезжал, бывало, из поездки или по воскресеньям, когда он прилаживал навес, отделял погреб, пристраивал новую веранду, ванную комнату или гараж... Знаете, Чарли, в этом навесе больше осталось от отца, чем во всех товарах, которые он продал.

Чарли. Да. Он был большой мастер, когда дело доходило до гвоздей и цемента.

Линда. У него были золотые руки.

Биф. И ложные мечты. Насквозь ложные мечты.

Хэппи (*готовый вступить с ним в рукопашную*). Не смей так говорить!

Биф. Он так и не понял, что он собой представляет.

Чарли (*мешая Хэппи ответить Бифу*). Никто не смеет винить этого человека. Ты не понимаешь: Вилли был коммивояжёром. А для таких, как он, в жизни нет основы. Он не привинчивает гаек к машине, не учит законам, не лечит болезней. Он висит между небом и землёй. Его орудия — заискивающая улыбка и до блеска начищенные ботинки. А когда ему перестают улыбаться в ответ, вот тут наступает катастрофа. Потом на шляпе появляется парочка сальных пятен, и человеку приходит конец. Никто не смеет винить этого человека! Коммивояжёру нужно мечтать, мальчик. Недаром он живёт между небом и землёй.

Биф. Чарли, он не понимал, что он собой представляет.

Хэппи (*с возмущением*). Не смей так говорить!

Биф. Поедем со мной, Хэппи, хочешь?

Хэппи. Меня не так легко скинуть с катушек! Я останусь здесь, в этом городе, и я вырву у них удачу, хоть из глотки! (*Смотрит на Бифа, выпятив челюсть.*) Братья Ломен!

Биф. Я-то знаю себе цену, братишка.

Хэппи. Ладно. Тогда я докажу и тебе и им всем, что Вилли Ломен умер не напрасно. У него была высокая мечта. Это единственная мечта, которую стоит иметь человеку: стать первым. Он дрался за неё всю жизнь, и я её осуществлю вместо него.

Биф (*кинув на Хэппи взгляд, полный безнадёжности, склоняется к матери*). Пойдём, мама.

Линда. Сейчас, ещё одну минуточку. Ступай, Чарли. (*Тот колеблется.*) Я хочу побыть здесь ещё минуточку. Мне ведь так и не пришлось с ним проститься.

Чарли отходит. За ним идёт Хэппи. Биф остаётся неподалёку от Линды. Она сидит у могилы, словно собираясь с духом. Где-то вблизи поёт флейта, она вторит словам Линды.

Линда. Прости меня, дружок. Я не могу плакать. Не знаю почему, но я не могу плакать. Не понимаю: зачем ты это сделал? Помоги же мне, Вилли, я не могу плакать. Мне всё кажется, что ты уехал ненадолго и скоро вернёшься. Я всё жду тебя, жду, мой родной. И не могу плакать. Что ты наделал? Вот я думаю, думаю, думаю и не понимаю. Сегодня я внесла последний взнос за дом. Как раз сегодня. А в доме некому жить. (*В горле у неё рыдание.*) Мы совсем никому не должны. (*Разражаясь наконец плачем.*) Мы свободны от всяких долгов. Совсем свободны. (*Биф медленно подходит к ней.*) Свободны... Свободны...

Биф поднимает её на ноги и почти уносит направо. Линда тихо плачет. Бернارد и Чарли идут позади, следом за ними — Хэппи. На почти тёмной сцене звучит только флейта. Её звуки летят над домом, вокруг которого резко выступают высокие башни городских зданий.

Перевод с английского Е. Голышевой и Б. Изакова.



ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

★

ПИСЬМА

17 февраля 1956 года исполняется сто лет со дня смерти великого сына немецкого народа Генриха Гейне — замечательного поэта, публициста и сатирика.

Исключительную ценность в богатейшем литературном наследстве Генриха Гейне представляют его письма родным и друзьям, деятелям литературы и искусства, редакторам и издателям. Сохранилось около полутора тысяч его писем. Они помогают нам полнее раскрыть творческий и общественный облик поэта, характерные черты его эпохи.

Как известно, два тома избранных писем Гейне были опубликованы на русском языке в собрании его сочинений издательством «Academia» (1936—1937). Публикуемые ниже несколько писем Генриха Гейне до сих пор на русский язык не переводились. Некоторые из них и на немецком языке появились в печати только три-четыре года назад.

Письма эти относятся к разным периодам жизни поэта, они свидетельствуют о его огромной взыскательности к литературному труду, отражают его взгляды на роль критики в творчестве писателя; ряд писем воссоздаёт те тяжкие условия, в которые Генрих Гейне был поставлен прусскими властями, преследовавшими поэта, и цензурой, искажавшей и даже запрещающей его произведения.

ФРИДРИХУ РАССМАНУ¹

Ваше высокородие найдёт при сём небольшое прилсжение² для «Рейнише-вестфэлишер музенальманах».

По тем нескольким словам, которые я высказал об альманахе в «Гезельшафтер»³, Вы, Ваше высокородие, можете заключить, что это хорошее начинание близко моему сердцу. Чтобы оказать ему поддержку, я прислал бы на этот раз много больше, если бы все мои лучшие стихи не были уже включены в отдельный сборник, который сейчас печатается и выйдет в следующем месяце в книгоиздательстве Маурер под названием «Стихотворения Генриха Гейне». Я боялся, что альманах снова появится с большим опозданием, и поэтому не считал целесообразным посылать что-нибудь из того, что содержится в сборнике.

Мой друг Руссо⁴ написал мне месяц назад, что Ваше высокородие просили его составить обо мне биографическую заметку для Галереи поэтов. Я строго запретил ему это по простой причине: я вовсе ещё не достоин того, чтобы меня считали поэтом, и должен сперва доказать своими произведениями, что я серьёзно занимаюсь поэзией;

¹ Фридрих Рассман — поэт-романтик, издавал «Рейнише-вестфэлишер музенальманах» («Рейнско-вестфальский альманах муз»).

² Гейне послал Рассману два стихотворения — «Серенада Мавра» и «Песнь о глупом рыцаре» (переименовано в «Пролог» стихотворного цикла «Лирическое интермеццо» (1822—1823), которые были опубликованы в «Рейнско-вестфальском альманахе муз на 1822 год».

³ Журнал «Гезельшафтер» («Собеседник»), в котором в 1821 году были опубликованы стихотворения Гейне и напечатан его отзыв о «Рейнско-вестфальском альманахе муз на 1821 год».

⁴ Жан-Баттист Руссо — товарищ Гейне по Боннскому университету, критик, поэт; Гейне посвятил ему одно из своих ранних стихотворений; в июле 1823 года в журнале «Гезельшафтер» Гейне поместил рецензию на два тома стихов Руссо; впоследствии Гейне разошёлся с Руссо.

а. кроме того, я сомневаюсь, известны ли Руссо обстоятельства моей жизни. Поэтому, если заметка обо мне ещё не напечатана, прошу её изъять. Если же она уже всё-таки помещена, прошу прислать мне копию. Позднее¹ Руссо написал мне, что я опоздал со своим запретом.

Если Ваше высокородие пожелает сообщить в перечне участников альманаха что-либо о моей личности, то прошу поместить только следующую справку: «Г. Гейне, 24 лет, родился в Дюссельдорфе, получил школьное образование в тамошней гимназии, изучал юридические науки в Геттингене, Бонне и Берлине, где и проживает в настоящее время».

О моих литературных произведениях вряд ли можно что-либо сказать.

В искренней надежде на благожелательность ко мне Вашего высокородия остаюсь с совершенным почтением

преданный Вашему высокородию Г. Гейне.

Берлин, 20 октября 1821.

ФРИДРИХУ ВИЛЬГЕЛЬМУ ГУБИТЦУ²

Геттинген, 30 ноября 1824.

(С о х р а н и л с я о т р ы в о к)

...У меня всё ещё неприятностей по горло, погряз в своих делах — юриспруденция, головные боли, стеснённые обстоятельства — vous connaissez cela³. Всё же надеюсь вскоре снова блеснуть в литературе... Целью моего письма является просьба опубликовать в «Гезельшафтер» критическую статью доктора Петерса⁴, направленную против меня. Дело в том, что этот господин просил меня написать Вам, так как он опасается, что из дружбы ко мне Вы не захотите поместить статью, в которой он намерен отозваться обо мне весьма сурово. Профессор! Как же отстали здесь люди в своём развитии — они не знают, что писателю часто приносят больше пользы нападки, чем покровительственное похлопывание...

Ваш Г. Гейне.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Париж, 19 ноября 1833.

Так как ещё в молодости я хранил обычно невозмутимое молчание в ответ на личные выпады, с которыми на меня нередко обрушивались газеты, то легко себе представить, что теперь, достигнув зрелого возраста и закалённый хладнокровием, я стал почти неросприимчив к ним, и только общественные интересы, которые я защищаю, могут меня побудить выступить против нескольких лживых утверждений газет. Поэтому прежде всего я хочу заявить по поводу статьи из Парижа, появившейся в «Лейпцигер цейтунг» от 12 ноября, что никогда не просил прусское правительство о службе, и поэтому все мои прошлые и будущие высказывания о Пруссии никак не могут являться следствием отказа мне в этой службе. Далее я заявляю, что никогда не был так глуп, чтобы утверждать, будто достаточно мне появиться в Германии, как там вспыхнет революция. Я объявляю также ложью столь же дурацкое утверждение, будто я просил или собирался просить господина префекта полиции Гиске и его высокопревосходительство господина посланника фон Вертера защитить меня от угроз прусских офицеров и аристократов. Заявляю, что эти угрозы я рассматривал большей частью как бахвальство и лишь просил своих единомышленников быть готовыми к тому, чтобы в случае необходимости вместе со мной дать достойное удовлетворение прусским забиякам. Я заявляю также, что не стал бы предъявлять письмо, в котором содержатся эти угрозы, если бы противники не утверждали, будто оно сочинено мной; кроме того, я публикую это письмо в моей ближайшей книге, чего, конечно, не стал бы делать, если бы ему не были присущи все черты подлинника и если бы, кроме того, я не рас-

¹ То есть в ответ на письмо Гейне.

² Фридрих Вильгельм Губитц — редактор-издатель журнала «Гезельшафтер», литератор, профессор Берлинской академии художеств.

³ Вам это известно (франц.).

⁴ Адольф Петерс учился с Гейне в Геттингенском университете, поэт; его статья о Гейне появилась в журнале «Гезельшафтер» в январе 1825 года.

полагал совершенно достаточными сведениями об отправителе письма, который разыскивал меня в моё отсутствие у моих друзей и, наконец, оставил письмо у портье для вручения мне. Что касается грубой уловки, анонимной клеветы, согласно которой меня будто бы пытались мистифицировать письмом, посланным за фиктивной подписью непосредственно в Булонь, то она вообще не нуждается в разъяснении¹.

Г. Гейне.

ЮЛИУСУ КАМПЕ²

Париж, 14 марта 1836.

Милейший Кампе!

...Ссылаясь на моё последнее письмо, в котором я совершенно определённо предупредил Вас о том, что скорее ничего не буду печатать, чем совершу подлость и подчинюсь прусской цензуре, ссылаясь на это, я прошу Вас, если Вы можете издать посылаемую Вам рукопись моей новой книги только с разрешения цензуры, не покрывать сегодняшней переводной вексель. Пруссаки написали сюда, в «Ревю де дё монд»³, что они запретят распространение этого журнала в Германии, если я буду в нём опубликовывать статьи, написанные не в их духе; и ещё многими другими происками препятствуют они моей литературной деятельности; они намереваются либо разорить меня, либо превратить в негодяя — последнее им не удастся.

Итак, я повторяю мою просьбу: не принимать сегодняшней вексель к оплате в том случае, если Вы не сможете напечатать книгу на указанных мной условиях, иначе на мне повиснет выданный Вами аванс, а этого в настоящий момент мне не позволяет моё критическое положение.

Теперь Вы можете посылать мне книги также и пароходом; присовокупите к ним два тома «Салона»⁴, так как содержащиеся в них стихи нужны мне для подготовки нового издания «Книги песен»⁵; но я откажусь от нового её издания точно так же, как и от третьего издания «Путевых картин»⁶, если прусская цензура пожелает вмешаться в это дело.

В настоящее время я представляю собой последний клочок немецкой духовной свободы.

Прочитайте в «Куортерли ревью»⁷ критику на мою книгу «О Германии»; Вам станет ясно, что преследованиями, которым я подвергаюсь, управляют одновременно из одного места⁸.

Я слишком занят, иначе я много написал бы Вам в ответ на Ваше последнее письмо.

Будьте здоровы.

Ваш друг Г. Гейне.

¹ В письме к своему другу Генриху Лаубе, редактору газеты «Цейтунг дер элэгантен вельт» («Газета эlegantного мира»), где также было опубликовано вышеприведённое письмо, Гейне писал, что, «наверное, люди полагают, что он, как обычно, оставит враньё без ответа, но это время прошло».

² Юлиус Кампе — совладелец книгоиздательской фирмы и книжного магазина «Гоффман унд Кампе». С ним Гейне был связан в течение десятилетий, и, как справедливо указывают биографы поэта, отношения с Кампе были роковыми для Гейне. Кампе материально эксплуатировал Гейне, действия его были причиной многих тяжких переживаний великого писателя.

³ «Ревю де дё монд» («Обозрение двух миров») — литературный журнал, издававшийся в Париже с 1829 года.

⁴ В томах «Салона» (всего их четыре) Гейне собрал свои статьи о французской литературе, искусстве, а также о политическом движении.

⁵ «Книга песен», в которую вошла гейневская лирика, впервые опубликована в конце 1827 года.

⁶ Впервые четыре тома «Путевых картин» появились в 1826—1831 годах.

⁷ «Куортерли ревью» («Квартальное обозрение») — лондонский журнал, основанный в 1809 году.

⁸ Возможно, Гейне имел в виду также статью Людвиг Бёрне, появившуюся в журнале «Реформацион» («Реформация»), резко направленную против его книги «О Германии».

ЮЛИУСУ КАМПЕ

Париж, 20 декабря 1836.

Право же, не моя вина, милейший Кампе, если в этом году я подвергаю Ваше терпение великим испытаниям. Только через неделю получите Вы большое предисловие, которое пополнит книгу. Из Лиона я приехал больным, неприятнейшие денежные дела сразу же поглотили мои мысли, и поэтому для меня теперь адское мучение писать в условиях, в которые Вы меня поставили. Я говорю: Вы, ибо в то время как — меня всюду в этом заверяют — раздражение правительства улеглось и в Германии снова печатаются хлесткие вещи, Вы сочли необходимым передать в цензуру даже самое кроткое из всего, что я написал. О боже! Я не знаю, почему Вы избрали меня козлом отпущения и приносите меня в жертву ради примирения с богами государства. Меня всюду заверяют, даже высокопоставленные лица, что мне приходится страдать больше за грехи книжной лавки Кампе, чем за свои собственные, — и действительно, я содрогаюсь при мысли о том, каких коллег по издательству Вы мне подобрали! Я не стану называть Вам ни одного из них, потому что не хочу, чтобы этот сброд мог даже подумать, будто я обращаю на него внимание. Когда мне называли Вашего новейшего автора, я не знал, куда спрятаться.

Вам, милейший Кампе, неизвестно то ужасное настроение, которое вызывает у меня необходимость самому подвергать цензуре каждую мысль, как только она возникает; писать, когда дамоклов меч цензуры висит на волоске над моей головой, — да ведь от этого сойдёшь с ума! Я жду с нетерпением оттиск рукописи, которую я Вам послал из Экса. По ночам я часто не могу спать, когда думаю о том, как убивали мои мысли в «Романтической школе»¹ и во второй части «Салона»² и что мне приходится теперь бессвязно лепетать, мне, который прежде говорил, как мужчина. В последнее время из-за несчастливых обстоятельств я потерял много денег. Но все эти ужасные неприятности не причинили мне столько боли, сколько мои литературные невзгоды. Моя мать пишет мне, будто я выпускаю книгу с эниграфом, оскорбляющим Соломона Гейне³. Кто же придумал эту ложь? У меня и без того достаточно дурные отношения с дядей, я по горло увяз в крупных денежных обязательствах, а он оставляет меня без помощи, но я не способен мстить за все эти низости хотя бы одной-единственной строкой. Слава богу, когда я писал мои «Мемуары»⁴, в которых мне часто приходилось о нём говорить, у нас с ним были блестящие отношения, и я обрисовал его поистине с опоме⁵. Будьте здоровы, через неделю Вы получите рукопись, и я надеюсь, что Вы её не отдадите в цензуру. Мой адрес: Cité Bergère № 4.

Если Винбарг⁶ в Гамбурге, передайте ему мой самый дружеский привет. Ваши письма о Гельголанде меня обрадовали — как хотелось бы мне быть там весёлым и бодрым! А вместо этого я в меланхолии скитался по Провансу. И как раз в этом году, когда мне нужно так много сил, я из-за желтухи не мог принимать морских ванн.

Желаю Вам самого счастливого рождества.

Ваш весьма угнетённый друг Г. Гейне.

¹ «Романтическая школа» — книга о немецкой литературе и искусстве; первоначально написана Гейне для французов.

² По этому поводу сохранилось заявление Гейне, опубликованное им во «Всеобщей газете» 27 марта 1835 года: «Автор второй части «Салона Г. Гейне», изданного у Гофмана и Кампе в Гамбурге, оповещает публику о том, что издательство самовольно сократило и пригласило эту книгу и напечатало её в искажённом виде. Просьба к редакциям газет, которые хоть в какой-то мере готовы защитить достоинство немецкого писателя от самоуправства издателей, предать гласности это заявление. Париж, 19 марта 1835».

³ Соломон Гейне, дядя поэта, крупный гамбургский банкир, враждебно относился к тому, что Гейне занимался литературным творчеством. Ему принадлежат слова: «Если бы этот малый чему-нибудь выучился, ему не пришлось бы тогда писать книги». Отношения поэта с Соломоном Гейне большей частью были крайне натянутыми.

⁴ В этом письме речь идёт о первом варианте «Мемуаров», над которым Гейне работал в 20-х — 30-х годах. Много лет спустя эта рукопись была им сожжена.

⁵ С любовью (итал.).

⁶ Людвиг Винбарг — писатель и критик, участник и теоретик буржуазно-радикальной группы «Молодая Германия»; автор мемуаров о Гейне.

ЖОРЖ САНД

Моя милая сестрица!

Я совершенно не знал, что должен был сегодня обедать с Вами; я не сумел прийти, так как принял приглашение, от которого уже не мог отказаться; иначе про меня сказали бы, что серьёзные труды не оставляют мне времени для того, чтобы усвоить первые уроки вежливости. Я провёл в постели весь воскресный день и весь вчерашний, измученный болью в ноге, которая всё ещё заставляет меня страдать.

Неудачи Бальзака очень меня огорчают. Его пьеса плоха, но она стоит столькоких других, которые имели успех на сцене и в журналах и которые были приняты клякой. Это плохая пьеса, но это всё же произведение ума выдающегося, мастера и творца. Я читал отзывы и негодую. Ведь это кричат внухи, шельмующие человека за то, что он произвёл на свет горбатого ребёнка¹.

Весь Ваш Анри Гейне.

Вторник (17 марта 1840).

ЮЛИУСУ КАМПЕ

Париж, 7 сентября 1851.

Милейший Кампе!

Я получил письмо, в котором Вы подтверждаете получение моей рукописи², и я благодарен Вам за хороший приём, оказанный моим духовным детям. К сожалению, я не так слеп, как другие отцы, в отношении любимых малышей. К сожалению, я слишком хорошо знаю их слабости. В моих новых стихах нет ни художественного совершенства, ни внутренней одухотворённости, ни буйной силы, присущей прежним моим стихам, но сюжеты их привлекательнее, красочнее, а манера, в которой они написаны, делает их, быть может, более доступными для широкой массы, и это, пожалуй, обеспечит им успех и длительную популярность. Во всяком случае, я уверен, что не всучил Вам хлама. С большим усердием переработал я «Объяснения» к «Фаусту»³, закончил их только сегодня и, быть может, даже завтра или послезавтра вышлю Вам этот почтенный труд. Он порадует Вас, и Вы поймёте, что, делая это дополнение, в котором, вероятно, четыре листа и которое настолько же увеличит объём книги, я совершил нечто чрезвычайно значительное для этого произведения. Вначале я думал расширить его соответствующими цитатами, которые я собрал, и издать эти «Объяснения» отдельной книгой. Но этот замысел приношу в жертву «Романцеро»...

...Будьте же здоровы и дружественно расположены к Вашему Вам преданному

Г. Гейне.

(Из приписки к письму)

Я очень болен, в эти дни особенно. В голове слабость, и моя жена поражается, как я могу работать в таком состоянии. Но на меня можно положиться до последнего моего вздоха.

Ваш Г. Гейне.

МИХАЭЛЮ ШЛОССУ⁴

Париж, 19 февраля 1855.

Дражайший господин Шлосс!

Вы не знаете, что последние два месяца я был смертельно болен, больше, чем когда-либо, и всё ещё лишён способности речи. Теперь Вы поймёте, почему я только сегодня Вам пишу и благодарю за Ваши дружеские вести...

Если бы другу человечества не было столь прискорбно думать, что ослам вовсе не присуща наряду с ослоумием и некоторая честность, как мы до сих пор полагали,

¹ Очевидно, речь идёт о пьесе Бальзака «Вотрэн», премьеры которой состоялась 14 марта 1840 года в парижском театре «Порт-Сен-Мартен».

² В августе 1851 года Густав Гейне, брат поэта, передал Кампе большую часть стихотворного цикла «Романцеро». В октябре 1851 года книга «Романцеро» вышла в свет.

³ Тема Фауста давно занимала Гейне. По предложению лондонского театрального деятеля Бенджамена Лемлея он написал либретто для балета, озаглавив его «Фауст — танцевальная поэма с приложением некоторых забавных сообщений о ведьмах и поэтическом искусстве». В «Объяснениях» Гейне дал глубокий анализ народных источников сказаний о Фаусте. В 1851 году Кампе издал «Фауста» отдельной книгой. Первоначальный план издания «Фауста» с «Романцеро» был отброшен.

⁴ Михаэль Шлосс — кёльнский музыкальный издатель.

то меня очень позабавило бы остроумие мосье Венедей¹, потому что ещё не случалось, чтобы ослиная острота находила своё выражение в стихотворной форме. Не я — Аполлон должен покарать за это преступление, ибо из-за него вся поэзия станет отныне отвратительной и смердящей. Эти стихи надо было бы переслать в Севастополь Меньшикову², тогда он, конечно, немедленно сдался бы. Я не буду так глуп, чтобы выставить себя на всеобщее посмешище, появившись на арене рядом с этим поэтом и вступив с ним в состязание певцов, тем более, что, как я знаю, некоторые редакторы газет (право же, я не имею в виду «Кёльнише цейтунг»), спекулируют на том, что своими нападками выманивают у меня интересные статьи для своих читателей, к тому же ещё бесплатно. У меня есть лучшие возможности ответить на эту жалкую клевету, но это не к спеху. Неужели же этот несчастный действительно женился на богачке? Ведь этот обычно смиренный осёл вдруг начинает наглеть и присылает мне 50 франков, которые, как он утверждает, взял у меня в долг двадцать лет назад, тогда как мне доподлинно известно, что я подарил ему эту маленькую сумму и ни о каком долге речи не было. Когда я одалживал деньги, это всегда были, к сожалению, более значительные суммы, и многие наши знакомые засвидетельствуют это по собственному опыту. Как только я получил эти вонючие деньги, я отдал их нищим публично, потому что осёл делает свои намёки тоже публично, и я позаботился лишь о том, чтобы не дать ему возможности сделать себе рекламу...

А теперь будьте здоровы, кланяйтесь Вашей жене и будьте дружески расположены к Вашему Генриху Гейне.

P. S. Я ничего не знаю о том, что происходит в немецком печатном мире, и приму от Вас с благодарностью каждое сообщение, касающееся меня.

АЛЕКСАНДРУ ФОН ГУМБОЛЬДТУ³

(Повидимому, январь 1856)

Великому Александросу последние приветы от умирающего

Гейне.

Перевод с немецкого и примечания Д. Уманского.

¹ Якоб Венедей — немецкий радикальный публицист и политический деятель, эмигрировавший из Германии и проживавший в Париже. Гейне считал, что статья против него в английской газете «Морнинг кроникл» была помещена под влиянием Венедей. Гейне обвинил Венедей в том, что он подкуплен Англией. Правда, впоследствии он отказался от этого обвинения, но прежние дружеские отношения между Гейне и Венедеем были нарушены, а в дальнейшем обострились ещё больше. Гейне поместил о Венедее стихотворение «Кобес Первый» (Кобес на кёльнском диалекте означает Якоб). В лице «Кобеса Первого» Гейне выводил Якоба Венедей, перешедшего после революции 1848 года на сторону реакции. В ответ на это Венедей опубликовал в «Кёльнише цейтунг» (в ноябре 1854 года) семь бездарных стихотворений, направленных против Гейне, — их имеет в виду Гейне в письме Шлоссу. Вслед за этим Гейне выступил с предельно резким «Открытым посланием Якобу Венедее».

² Князь А. С. Меньшиков был в начале Крымской войны (1853—1856) главнокомандующим русскими сухопутными и морскими силами в Крыму.

³ Александр Фридрих Вильгельм фон Гумбольдт — выдающийся немецкий естествоиспытатель и путешественник. Гейне познакомился с ним в 20-х годах в литературном салоне своих друзей Фарнгаген фон Энзе и сохранил с ним до конца своих дней дружественные отношения.

ЭФФЕНДИ КАПИЕВ

★

ИЗ БЛОКНОТОВ ВОЕННЫХ ЛЕТ

(1942—1944)

Писатель Эффенди Капиев (автор книг «Резьба по камню» и «Поэт») в годы Великой Отечественной войны добровольцем ушёл на фронт и работал корреспондентом в армейских газетах Северо-Кавказского фронта. Будучи в Действующей армии, Э. Капиев изо дня в день вносил в свои рабочие блокноты газетчика записи о виденном, наблюдения над людьми и событиями, мысли, раздумья. Начинаются эти записки с первого дня первой поездки на фронт (1942 год) и кончаются за несколько минут до операции в госпитале, на следующий день после которой (в январе 1944 года) писатель скончался.

Сохранилось более двадцати фронтовых блокнотов Э. Капиева. Ряд записей из них напечатан в его книге «Избранное».

Отрывки, предлагаемые вниманию читателя, публикуются впервые.

Врагам не постичь, не измерить могущество наше,
В сердцах у нас гнев, и взор наш в спокойствии страшен.
Мы воины все, и наши колонны несметны,
И подвиги наши и наши победы бессмертны.

Завтра едем на фронт. Чувства такие: тревожное любопытство, уважение к самому себе и в то же время зависимость от того, что близится, втягивает тебя то самое неумолимое и неведомое, что называется фронтом.

Незабываемый марш кавалерии. Белые, в инее, пасти коней. Звяканье, топот и стук. Они покачиваются; их заносит снег.

Потом радуга. (Зимой, в метель показалась радуга!) Мы въезжали в село. Это он—восемнадцатый год,—товарищи! Всё осталось на месте: и разбитый ветряк на бугре, и сонливая старуха, раздающая кипятком бойцам, и древний дед, с каменным лицом провозжающий войско,—это он, великий восемнадцатый год. Здравствуй, родной!

Так никогда в жизни я не мёрз. После того как вошли, наконец, в штабную хату, то буквально полчаса на мне прыгал и дрожал каждый мускул в отдельности.

А как там в блиндажах? Боже мой, да ведь каждый, кто лежит сейчас в эту адскую погоду там, на передовой линии,—независимо от его подвигов—герой и сверхчеловек. А эти регулировщики, стоящие в степи на каждом перекрёстке с флажками?

— Да, регулировщикам прохладно, — ответил равнодушно комиссар на мой вопрос.

Лейтенант был ранен. В город вошли немцы. Он выбежал из больницы и от потери крови упал без сознания. Его приютила девушка и прятала в течение двух недель. Потом пришли наши. Теперь и девушка и лейтенант в казачьей дивизии. (Высокая, чернявая, стройная).

— Эх, конь мой! Крыльев ты не имеешь, гусениц на тебе нет, и всё же доберёмся мы с тобой до Берлина. Как пить дать!

Бомбардировка леса. Лес горит в воздухе. Столетние сосны пляшут в небе, ибо не успевают упасть, как следующий взрыв подбрасывает их ещё выше. Ад!

Получение приказа подобно тому, как бы включили рубильник, и отныне всё исходит от динамомшины. Люди движутся, как наэлектризованные.

Когда говорят «фронт» — в тылу ёкает сердце. Людям кажется, что здесь сплошной огонь и нужно сквозь него добираться до фронтовиков. А на самом деле здесь всё гораздо проще, чем в тылу, и люди и дела. Есть какая-то граница — не географическая, а психологическая граница. Для рядовых она наступает с того момента, как наденут обмундирование, для нас же, командировочных корреспондентов, — с момента, когда, покинув последнюю станцию, вступаешь в полосу фронта.

Семья, личные интересы — всё позади. Отныне ты песчинка в буре — втягивает, ты немислим один без всех.

О часах, которые шли на мёртвом.

В разгар боя, когда полк развёрнутым строем шёл на высоту, вдруг выскочил на них заяц. Хохот. Взрываются снаряды, строчат пулемёты.

Заяц, вероятно, думал, что весь этот ад затеян из-за его шкуры.

В бою дум нет — один экстаз, одно стремление. Думы приходят в ту минуту, когда ранят, ибо рана выбивает из колеи.

Полк получил приказ двигаться к реке Миус. Мы присутствуем на заседании штаба. За ночь полк должен пройти 60 км. Мы решаем остаться здесь. Последнее наше впечатление — белые призраки всадников, уходящие в ночную мглу.

Вот ещё тема для новеллы: Кофанов. Тип жука во время всеобщего бедствия.

В Ленинграде был поэт. Он попал на фронт, стал командиром батареи. В дни обороны Ленинграда прославился. Бойцы любили его команду. Разгорячась, он кричал:

— За великую русскую литературу! (Залп).

— За Ивана Сергеевича Тургенева! (Залп).

— За «Войну и мир»! (Залп).

Из моей маленькой жизни я вынес одну мудрость:

— Ничто не пропадает в мире даром — ни хорошее, ни плохое. Всё учитывается и всё когда-нибудь да отзовется!

Не будем держаться за молодость, как за единственное качество. Будем писать мужественную историю немолодого человека.

Весна. В полночь мы входим в хату предколхоза. Хата полна младенцев. Под кроватью пищат утята, на сундуке — котята, в углу, в сенях, повизгивают щенята, мычит телёнок, на кровати плачут дети.

Собака лает басом, солидно и гулко, как колокол.

Прыгает по забору воробей. Кажется, что ему очень не хватает рук. (Или, может быть, это в связи с войной, всюду мерещатся мне инвалиды?)

В себя самого я гляжу теперь, и записываю свои мысли, и открываю в себе интересного собеседника. И так же, как с другом, надо, что называется, съесть пуд соли, прежде чем его познать, себя познать — так же трудно. И когда ты познаешь себя, знай, ты уже зрел.

Сидит, надувшись, колхозница:
— Та я на Англию недовольна!

Герой умирает однажды, а трус — сто раз (черкесская песня).

Не знаю ничего более эмоционального, могучего, чем гармонь в руках виртуоза, в дсревне, при луне, при смехе девушки.

На дороге валяется начатый вязанием чулок. Раненый, на костылях, разглядывает чулок, подняв его за спицу. Показывает всем и хохочет:
— Где эта бабушка, что я влюблён!

Жёлтое поле подсолнухов направо. Качают мёд. Качают бензин.
Эльбрус, перерезанный облаком, как бритвой.
Вереницы хромых и безруких раненых идут по шоссе. А машины в большинстве пустые.

Ветер. Пыль. Осыпаются белым пухом татарники, и в глаза летит мутная зга. Тревожный шелест кукурузы на привале.

Везут тачку. Кукла на тачке.

Аул Зоракокожа. Ночлег у князичного костра. Всю ночь тяжело вздыхала рядом корова. (Это вздыхала она за меня?)

— Товарищ капитан, человек кончается. (Тот огляделся, слез с тачанки, пошёл пешком. Красноармейца укладывают на тачанку).

На верху грузовика, на кипах, с гитарой. Ест яблоко серое, и сам серый, и гитара серая от пыли. Как в кино.

Завесы дыма. Авто ныряют и выныривают. Эти мчащиеся, квадратные призраки в плотном сером тумане пыли. Пыль стоит над дорогой, не оседая, на версту вышиной. Когда едешь к пункту, ещё ничего не видно, а пыль — как бомбёжка.

Звенят сверчки. Ночь. Кажется, это звенят звёзды.

Раненые на крыше — как гроздь.

Самолёт летит так низко, что врывается в облака пыли. Пыль стоит в садах, как белёсый туман на заре.

Жеребёнок, потерявшийся в пыли и отставший... Новорождённый, худой.

И всю ночь над нами по радиусу цапает меч прожектора. Это — волшебство. Грохочут в темноте и идут и идут машины, люди, брички.

— А где тот несчастный, заблудший, бедный жеребёнок? — вспоминаю я. — Ведь он плакать не умеет. Упадёт и умрёт где-либо молча при дороге.

Не могу не записать такую деталь. Колхоз эвакуируется, но отпускают нам шестнадцать килограммов овса. Ищем, ждём бухгалтера. Надо оформить. Иду на дом — без этого нельзя. Так сильны традиции бюрократизма. Ведь через час все документы сожгут, все богатства растащат, а выдать овёс, видите ли, председатель не может без бухгалтера...

Человеку всё отпускается природой по норме. И способности любить, и способности пить, и способности мыслить. Дойдя до предела, потом мгновенно иссякает всё. Один тратит сразу, другой — постепенно...

Возле оборонительного рубежа женщины чинят и белят хибарку. Может, они и окажутся правы?

Нас обгоняют события. Мы никак не можем выйти из их власти.

Вот оно, море! Вот она, моя молодость!

Сажу на берегу тихого моря, как некий герой ненаписанного романа, и шепчу про себя: «Каспий, Каспий!»

— Ты видел мой сон? (Малыш, проснувшись утром, отцу).

Мысли — как прибой. Приходят — уходят. Они неповторимы, тогда как факты повторимы.

«Осторожней, друзья!» Но осторожность бывает и очень подозрительная, очень опасная, навлекающая тысячи неожиданных бед... Этой осторожности остерегайтесь. «Безумству храбрых поём мы песню...»

Трибунал. Судят дезертира Хиясова и его жену. Хиясов с грязной перевязкой на лбу, в стёганке, залитой кровью, в чулках, словом, в том виде, в каком его застали дома, в каком он, обороняясь, оказывал «вооружённое сопротивление».

Рыжий, бледный, как мертвец, небритый. Стоит, покачиваясь. От него пахнет мертвецом. Неприятен. Словом, это сор. Какое-то брезгливое чувство... Предтрибунала красивый, стройный. Задаёт вопросы с иронической улыбкой.

Хиясов слушает приговор ни жив ни мёртв. На лице ни кровинки. Вероятно, он как бы загнипнотизирован собственной беспомощностью и нелепостью своей смерти...

В заключительном слове:

— У меня дети, я тёмный...

Как он мерзок и жалок!

Хасав-Юрт! Это четвёртый раз мой путь пролегает через тебя в трудные дни моей жизни. Всё такой же чужой, всё такой же мёртвый...

Как мне забыть твои пропахшие бездумной дремой, молчаливой, покорной, равнодушной нищетой и увяданием хатёнки? Ничто не меняется в твоём облике, и печать разбитой некогда молодости и цветения ничем-ничем уже не стереть: она навеки осталась на тебе...

Так бывает и с людьми. Страшное горе обрушится однажды на человека, сомнёт его — и больше уже человек не встанет до смерти своей, не зацветёт, и без улыбки, покорно будет ходить среди людей и делать вид, что живёт — скорее по привычке, чем по необходимости...

Запоминай, Капиев! Броди, смотри и запоминай, ибо всё, что творится сегодня, неповторимо: никогда, никогда больше не будет на земле ничего подобного.

Новелла о моряках-черноморцах

Пятнадцать моряков, молодых и бесшабашных, кому море по колено, занимали одну высоту в горах Крыма, и был им приказ не пропускать немца дальше. А немцы засели внизу, в небольшом ущелье, и не предпринимают никаких атак. Проходит день, проходит два, проходит три. Скучно морякам. А за спиной у них, глубоко в ложине, казачья станица, и до неё километров семь.

— Скучно, ребята! — сказал тогда старший. И вот решили моряки однажды тёмной ночью, что так сидеть без дела нельзя: «Давайте, ребята, пойдём в станицу, побалуемся

с девушками, а утром, чуть заря, снова придём на высоту. Всё равно немец не затекает боя, а мы по крайней мере разгоним тоску, освежимся и с новыми силами придём...»

Решено — сделано. Всю ночь пятнадцать моряков кутили и гуляли в станице, а утром, чуть свет, поспешили обратно к себе на высоту. Но, о, ужас! Высота была занята немцами. Немцы встретили моряков миномётным огнём... Гром и молния!

И горечь похмелья, и страх перед беспощадным приказом, и ответственность за небывалое преступление, и слава морская, и молодость — всё встало ребром. Быть или не быть! И моряки, даже не сговариваясь между собой, решили во что бы то ни стало сию же минуту вернуть высоту обратно и выбить оттуда ненавистных немцев. И завязался бой — неравный, небывалый по отчаянию. Пятнадцать моряков, карабкаясь на локтях в огне и дыму минных разрывов и пулемётных очередей, выбили с высоты батальон немцев — да, да, батальон! — и без единой потери заняли обратно свои блиндажи. Было нас пятнадцать, и осталось пятнадцать, а что если четверо были ранены в руки и в плечи — то это не в счёт! Зато позабавились!..

И уже потом, когда немцы вновь засели внизу, в своём ущелье, моряки долго гадали, как бы отомстить им за испорченную радость праздника. И придумали так: пристраивать несколько гранат в пустой бочке и катить грохочущую бочку с гранатами на головы немцев. Бочки катились, прыгая и визжа, а потом на определённом расстоянии взрывались гранаты все сразу, и ущелье оглашалось диким рёвом. После двух дней такого методического катания бочек (а бочек этих было на высоте несколько десятков с вином, с рыбой, с маслом и т. д.) немцы не выдержали и ушли...

Ох, и хохотали ж моряки!

Эту новеллу о черноморцах рассказал мне капитан С. Н. Кошелев, сотрудник газеты «На штурм!».

Рассказ танкиста о поединке фашистского самолёта с одним стариком. Дело было ещё летом. Танкисты сидели в леске, замаскировав танки под деревьями. Старик копошился, что-то делая на своём поле. Вот показался немецкий самолёт и, заметив старика, спустился ниже и дал одну пулемётную очередь. Старик в ужасе спрятался в канаве. Только он встал, как самолёт вернулся обратно и дал ещё одну очередь. Старик снова бросился в канаву. Самолёт отлетел, но, заметив, что старик снова встал, вернулся опять и дал ещё одну очередь по нему... Так он возвращался и пикировал на старика четыре раза. Наконец, видимо, кончилась лента, и самолёт совсем снизился, и было видно, как лётчик погрозил старику кулаком. Тогда, увидя, что опасность миновала, старик выскочил из канавы, повернувшись спиной к самолёту, захолопал себя ладонью по заду и заорал: «На! На! Попади сюда!»

— Ох, и хохотали ж мы над ним! — рассказывал танкист. — А главное, мы боимся, чтоб самолёт не обнаружил наши замаскированные танки, а этот старик, как скаженный, не сидит на месте. Но всё же старик здорово это ответил!

На собрании бойцов, где командир зачитал «В последний час» — о поражении немцев под Сталинградом, — при наступившей тишине реплика повара:

— Вот, наверно, старается теперь повар Гитлера всякие вкусные вещи готовить, а у Гитлера аппетиту нет. Мучается повар, гы!

Бойцы хохочут.

— Вы кто?

Юноша отвечает спокойно, и само слово звучит внушительно, по-мужски:

— Командир орудия.

На войне спокойствие так же заразительно, как и паника. Поэтому очень важно иметь выдержанного, обстрелянного товарища.

Недостатков у нас много, мы знаем о них и скорбим о них, но основа наша золотая, но цель наша велика, но дорога наша пряма!..

Бригада морской пехоты после жестокого штурма заняла станицу Эльхотова. Там, в дымящихся развалинах, была найдена маленькая девочка лет трёх, которая не могла от ужаса выговорить ни слова. Это была единственная живая душа во всей станице.

И бойцы решили взять девочку на воспитание. Назвать её Эльхота. Отчество дать по имени командира бригады — Анатольевна, а фамилию по названию бригады — Морская.

— Эльхота Анатольевна Морская.

Это прекрасная старая традиция русского воинства...

К бронепоезду «Комсомолец Дагестана» в эти дни не так просто добраться. Он маневрирует на самой передовой, и когда стремительный мотоцикл доставляет нас к нему, бронепоезд ведёт огонь по батареям врага. Земля содрогается от залпов. Оглушенные, со звоном в голове, мы долго стоим в вагоне, в узком холодном проходе между заиндевевшими штабелями снарядов. Бронепоезд покачивается, как корабль. Днём и ночью — подобно морякам в океанский шторм — бодрствует на нём команда. Вот они, одетые в меховые полушубки, широколицые, с плотными, налитыми силой плечами, молодые бойцы. Начиная от машиниста, кряжистого, с трубкой в зубах и в кожанке, рябого парня, и кончая командиром бронепоезда, все они молоды. В их быту нет слова «сон». Бойцы поочередно отдыхают на зарядных ящиках...

Труженики войны. Милые, родные! Вдруг вваливаются в полночь с оружием, загорелые, с посиневшими руками, спокойные, скромные люди. Постояв полчаса, уходят. Им надо за ночь пройти ещё двадцать километров. Уходят, и пусто становится в хате, и какая-то печаль вперемежку с грустью на душе. Вот они, герои, вот те, на ком держится всё!

По следам

- Тягачи тащат пушку...
- Дивизион «катюш»...
- Поле мёртвых (неподвижность).
- Через каждые пятьдесят метров взорван путь...
- Трофейные бочки.
- Противотанковые ружья, батареи, сожжённые машины...
- «В мире есть зверь, этот зверь беспощаден...»
- Моздокская церковь.
- Грязь, грязь... Всё в грязи и в крови...
- Уже восстанавливают мост.
- Дети поют песни: «Встретим мы по-сталински врага».
- Журналы немецкие.
- Песни. Небритые, чёрные воины...
- Уже передают письма в Пятигорск.

Поэт болезненно переживает чаяния народа и горит страстью скорее утешить его. Но лишь истинный вождь медлителен, как бог, и знает, когда и что надо. Обычно, с точки зрения поэта, это кажется недопустимо, невозможно медленно и бесчеловечно поздно.

...Вот он, Орджоникидзе! Морозным солнечным утром мы мчимся по шоссе к городу. Нет слов выразить величие и красоту этих гор!.. Здравствуй, добрый, здравствуй, прекрасный Кавказ!

За гулом самолёта поворачивается сердце, как подсолнух,— чутко-чутко.

Женщина стоит у переправы и раздаёт бойцам мочёные яблоки.

— Пришли бы раньше — были б свежие, а сейчас ешьте мочёные.

— Мы и то сами мочёные, — говорит боец.

Была гора, заросшая леском, зелёная, весёлая, нарядная. Это было несколько месяцев тому назад. С тех пор в районе этой горы дважды оборонялись войска — сначала наши, потом немецкие. По горе палили миномёты и орудия, гору бомбили десятки раз на день. И вот гора буквально на глазах наших одряхла, облысела, осунулась. Нет и признака леса, деревья искромсаны, нет округлых, упругих форм, она стала костистой, угрюмой, скучной и больше уже не радует взора, — соседство с ней тяготит, а взойди на неё — и в сердце пусто, скучно и раздумчиво...

— Переживи с моё, — как бы говорит её немое молчание.

— Пережил, пережил, знаю...

Весна. Только что зацвели деревья — мы в саду. И вдруг с той стороны реки начался обстрел — прочёсывание сада автоматнo-пулемётным огнём. И как закружатся вихри белого цвета, как начали осыпаться цветы — словно буран в зимний снегопад. И намело вокруг белые сугробы, и мы сидим, оцепенев, в окопчике.

Машина наша застряла на дороге. Вернее, не машина, а целая колонна стала из-за того, что впереди погрузла в грязи полутонка.

Это я пишу дрожащими руками, лёжа у дороги. Только что нас обстреляли из пулемётов и пушки два «мессершмитта». Они налетели, как злые осы, жужжа и пикируя. Мы все бросились врассыпную — кто куда. Я выпрыгнул из машины прямо в грязь, и так как бежать всё равно уже было поздно и бессмысленно — прямо над головой трещал пулемёт и раздалось два выстрела из пушки, — то я счёл за лучшее просто укрыться под машину. Многие легли прямо в грязь. Затем, уже когда самолёты отошли и повернули снова, я отбежал в поле.

Первый жук, лениво-лениво и медленно перебирая лапками, взбирался на прошлогодний серый стебель какой-то травы. Ему не было дела ни до чего, и я глядел на него невольно с сожалением. «Дурак, ведь ты ничего не знаешь — меня ведь чуть не убили». Жуку нужна была палка, и он продолжал взбираться по ней.

Впереди, вдали грохочут пушки. Там идёт бой, а мы движемся ему навстречу.

Никакого страха. Всё это произошло очень быстро. Ну, куда, интересно, ранят? Неужели в голову? Или в живот?

Когда он бежал, пуля попала в вещевой мешок и, пробив котелок, изменила направление, вышла в другую сторону, не задев тела. Он узнал об этом, когда прибыл в свою часть и, желая поужинать, вынул котелок. Боже, как он вскочил, как он целовал котелок, который спас ему жизнь, как он носился с ним и, наконец, повесил на высоком дереве и, поплясав под деревом, ушёл догонять часть. А дырявый котелок остался на дереве, и весной в нём свила себе гнездо какая-то птичка.

— Я была звеньевой!

Староста при немцах:

— Хватит. Ты своё уже отзвенела!

Диву даёшься, как быстро и дружно взялась весна. Ещё неделю назад казалось — когда-когда оденутся листвой эти деревья, когда-когда зарастёт земля травой, на которой можно будет полежать. Вот я уже лежу, вот уже закудрявился лес, вот зацвели сады разноцветными шатрами...

Это потому, что казалось, тут будет зеленеть сначала один, потом другой куст и т. д., а на самом деле каждая травинка сама по себе — миллионы травинок вместе, тысячи деревьев одновременно и сообща.

Глубокой ночью я просыпаюсь и выхожу во двор. Ночь попрежнему гудит — невидимые самолёты, как на большой дороге, плывут целыми эшелонами. Куда? Кто?

Низко над хатами висит красноватый месяц на ущербе. Ночь тревожна и глуха.

Ночь гудит, как гитара.

Гусеница на плече.

— Ай-ай! — визжит девушка.

— Эх ты, вояка. А ещё боец!

Артиллерист держит в объятиях снаряд, как котёнка.

Пехота шагает, закидывая мысль вперёд. Доходит до мысли, закидывает снова.

На западе, на чистом небе — одно-единственное радужное, продолговатое облако, похожее на павлинье перо.

— Ой! Хоть бы я была мужчиной — пошла бы на фронт, не знала бы этой муки, была сама собой спокойна.

В поле мы внезапно были атакованы двумя штурмовиками. Я бросился к копне. Струящимся кровавым дождём летели среди бела дня трассирующие красные пули сверху, с самолётов. Самолёты пикировали прямо на нас.

«Ага, — подумал я, — значит, так. Вот где, значит, суждено было мне умереть. Вот последний мой пейзаж. Зелёное поле, речка вдали, копны сена и высокое голубое небо. Это, стало быть, мой последний пейзаж. Так, так. На этом я, значит, кончил жизнь. Интересно. Поле, речка, облака... Недаром я любил Левитана...» Дзины! Бом! В глазах темнеет. Я жив. И сразу становится стыдно за своё малодушие. Я смеюсь...

Первый гром, первый дождь. Как долго ждала тебя земля — горячая, алчущая, звенящая в зное. От зноя лопались покрышки машин, пыль разъедала кожу. Дороги потрескались, как в землетрясении, и голубые солнечные молнии сжигали всё. Нас угнетала, душила кошмарная эта весна, мы уже забыли, что на свете вообще существует свежий ветер...

И вдруг дождь — первый в это лето. Он пришёл во-время — через неделю было бы поздно. Обрушится ли так же освежающе, так же облегчающе мир на землю после этого страшного пекла, или мир придёт уже тогда, когда он будет ненужен и безразличен народам, как бывает безразличен дождь после долгого невыносимого зноя и сухоев, всех уничтоживших и обративших в прах на земле.

Старик сажает дерево, а кругом развалины:

— Расти долго, расти благополучно!

В вырубленном саду одно деревцо. Переломанная ветвь его перевязана бинтом, как рана.

Через плавни красноармеец Данилин нёс на руках и на плече раненого своего командира. Он шёл через густые заросли камыша по пояс в воде. Он выбивался из сил, но отдохнуть не мог, ибо раненого опустить в воду было нельзя... Он пришёл, едва дыша.

— Нас много! По одной лопате копни, и то ущелье будет. Гора будет, если каждый, наполнив свой сапог землёй, ссыплет в одно место. «Нас много!» — то и дело приходит мысль, когда едешь по фронтовой дороге, оглядываясь направо и налево. Тут чинят мост, там засыпают воронки, подравнивают дорогу, там грузят эшелон, там обучаются резервы. Навстречу идут грузовики с ранеными, на лужайке сидят, отдыхая, артиллеристы...

Танк замаскирован кустами цветущей розы. Розы в петлицах шофёров. Девушка-снайпер с букетом цветов.

Первое время я всё не мог избавиться от навязчивого недоверия — не верил, что это война. Неужели это война?

Прощай, Крымская! Высоты, занятые немцами. Дымки на них. Разрывы мин. Воронки, воронки, воронки от бомб. Поле — бело-жёлтое в цветах, чёрное в воронках, зелёное в пшенице, красное в крови...

Какие ребята! Какие прекрасные ребята на войне! (Эта мысль всегда с тобой, когда ты беседуешь или встречаешься здесь с бойцами.)

Я — в госпитале. Сегодня третий день. Госпиталь размещён на самом берегу Кубани, на северо-западной окраине Краснодара.

Широкая, спокойная река плывёт мимо нас, меж зелёных берегов. Отсюда, с балкона, прекрасный вид вдаль, на поля и кустарники, на далёкие синие горы. Вечерами сплошной звон лягушек наполняет всё. Кажется, что ты лежишь во дворе какого-то гигантского завода, перерабатывающего (или пересыпающего) гравий. Невозможно объять этот звон, он лежит слоем всюду, но от него ещё спокойнее на душе, он пахнет травой, разливом реки, на плотной поверхности которой отражается белая луна...

Сейчас разлив Кубани — она разливается поздно, когда в горах начинают таять снега. Вдали, за Кубанью, низина залита водой, и кривые вербы низко то тут, то там одиноко торчат из болот. Голые мальчишки на конях что-то не то ищут, не то стерегут там, в плавнях. Над нашим балконом в ласточкином гнезде устроился на жительство воробей (ах, разбойник! — и он пользуется смутным временем и присваивает чужую жилплощадь). Но где же ласточки? Что-то их не слышно — эвакуировались... Всё это ничего, да рядом, буквально забор к забору с госпиталем, работают фронтные мастерские по ремонту оружия, и вот днём и ночью то и дело прямо под ухом у нас пробуют отремонтированные пулемёты, пушки, автоматы, зенитки. Только сосредоточишься, как — бабах! — задрожат стёкла, закачается дом. Или гулкая долгая очередь пулемёта, или вдруг чудовищный взрыв, такой, что все повскакивают с постелей... Что такое? Налёт? Ах, да это же мастерские! Все ругаются, все возмущаются, но делать нечего, понемногу привыкают.

А вода Кубани — мутная и грязная, со всяким хламом и пеной в виде губок, плывущих на поверхности (листья, ветви, брёвна, обрывки каких-то материй, бинты, корни, бумага, пух, а иногда даже мебель). Это разлив очищает берега от скверны...

Чирикают воробьи весь день во дворе и под крышами...

При дороге, накрытый тёплой шубой, лежал раненый танкист. Его оставили товарищи, а сами покатали дальше, преследуя врага.

Особый тип враля и хвастуна, обязательный на войне.

Покинутые и потерянные вещи на войне кажутся таинственными и сиротливыми. Думаешь об их хозяевах. Где они? Что с ними?

Эвакуируюсь в тыловой госпиталь. Медленно ползёт на вокзал грузовик с тяжело ранеными. Потом мы долго лежим в саду перед развалинами бывшего вокзала в ожидании, пока подадут санпоезд. Наконец сёстры нас ведут к вагонам. Мои вещи несёт девушка, сопровождающая меня из госпиталя. На носилках несут безногих, бледных, в окровавленных одеждах.

Мы целуемся с сестрой прямо в губы.

— Смотрите, обязательно пишите.

— Ну, выздоравливайте. Пока.

Нет, слохнет Гитлер, а с этой силой не совладеет. Всё поднято на ноги, и всё обращено к одной цели.

На войне шагают рядом, в ногу, плечом к плечу жизнь и смерть, правда и ложь, любовь и ненависть.

Слёзы бегут по сердцу, но не по лицу.

Его хоронили. Полк стоял молча, измученный, голодный. Не было ни речей, ни выстрелов. Солдаты стояли, обнажив головы. Они стояли на коленях в скорбном безмолвии, полные суровых дум, застыв неподвижно вокруг могилы.

— Наши бойцы святые, ну, святые, по сравнению со всеми солдатами мира.

— Какие бы там мы ни были, но это мы — советский народ. Такими выглядим; хороши или плохи — дело другое. Кто знает, может, и хороши, и лучше всех. Всё ведь относительно.

Друзья! Давайте же хоть раз поговорим честно — не преувеличивая хорошего и не преуменьшая плохого.

Как часто мы думаем, что время меняет только нас, что изменяемся и растём только мы, а окружающие остаются теми же, что и были.

Писатели и литературоведы часто забывают, что мы наслаждаемся великими творениями искусства больше чувством, а не разумом. Отсюда должен каждый писатель выработать свой стиль, свою манеру, интересную, оригинальную.

Пусть изучают ботаники, из чего состоит плод. Я же должен думать о вкусе и красоте.

Правда неизбежно влечёт за собой ненависть.

У меня такое чувство всегда, будто я спешу куда-то, даже когда обедаю, или иду просто на прогулку, или ложусь спать, — всё равно и сердце, и мысли, и тело, и душа всё время спешат, спешат к какому-то концу, к концу войны или моей жизни.

Разве не богатырями родились мы, пережившие столько и продолжающие молча переживать?

Показать в однократном многократное — такова задача моей повести.

Какой-то древний не то философ, не то поэт сделал себе пояс с шипами, чтобы каждый раз, когда он чувствовал себя довольным собой (гордым), пожимать локтями и укалывать себя.

В наше время сама эпоха является таким поясом и не даёт человеку возгордиться собой.

— Вот когда вернулись наши, на квартиру вошёл молодой гвардеец, снял кубанку со звездой, и на подоконник. Его-то я обнять не могу, так я прижала кубанку к щеке, плачу, целую...

Старики в ауле ворчат, но когда приходит с фронта кто-нибудь, то гордятся:

— Вот воин! Из нашего села! Голос его приятен. Голос мужчины.

Читают старухе письмо от сына. Старуха, как будто с ней говорит живой сын, подаёт реплики, советы:

— Вот это ты зря, мой сын. Не ходи в пекло. Спрячься за камень, когда стреляют.

— Ах, нехорошо, нехорошо, мой сын, что ты ранен...

...И ночь, и холод, и мороз. И мечта у всех партизан:

— Эх, в армию бы попасть! Вот выйдем к своим, и пойду в армию... Во-первых, враг только с одной стороны, а не так, как у нас, — кругом. Во-вторых, армия не пятьдесят человек, а тысячи друзей плечом к плечу. В-третьих, есть хлеб, соль, а самое главное, если ранят, то положат в госпиталь...

Идёт с перевязанной рукой, прихрамывая, и всё мечтает об армии.

— Как бы добраться до армии!

Целый месяц шёл с обмороженными ногами вместе с отрядом. Горы любят крепких и весёлых. Если в лесах выживают угрюмые, то в горах — весёлые и шустрые...

В расставании с жизнью страх смерти отсутствует, и если что сопротивляется и трепещет, то только само тело, сама кровь; разум же и всё то, что составляет сознание человека, пребывает пассивным, холодным свидетелем... (Так мне кажется).

...Есть глубокая искренность чувств. Она гораздо более редка и её гораздо труднее выработать в себе, чем простую искренность выражения чувства. Иные существа проходят всю свою жизнь, никогда не испытав настоящего искреннего чувства. Они даже не подозревают, что это такое. Они воображают, что они любят, ненавидят, страдают... Но и самая смерть их есть имитация.

«С него сняли кафтан сей брэнной жизни, и он остался наг для купанья в райских озёрах». (Так говорят о смерти уважаемого человека в горах).

Столько снарядов, мин и светящихся пуль летит над головой, что кажется — ты лежишь под сверкающим огненным мостом...

О ранениях — частая тема разговоров бойцов в блиндажах. Говорят, не называя, — «оно» (в третьем лице), как говорят дети о буке. «Оно если, скажем, случится — лучше пусть руку оторвёт, а не дай бог, чтоб в живот или там глаз. Тогда пропал!»

Консультация у хирурга Аппель:

— Вы находитесь в таком состоянии, когда вам может помочь только операция. И чем скорее, тем лучше. Операция несложная, через десять дней будете здоровым человеком.

Решаюсь на операцию.

— Ну что ж — скрестим шпаги со смертью! (Жутко, правда, но что же остаётся мне ещё делать?)

Есть жестокое правило, что живые забывают мёртвых, а мёртвые не могут рассказать о себе потому, что они мёртвые. О, если бы послушать тех, которые лежали здесь в лютый мороз, шли по этим камням, падали под ударами, ели сухую траву, пили кровь... грызли сами себя в бессильной, неутолимой злобе, в тоске, в отчаянии, о, если бы они могли говорить, они бы сказали...

Итак, на операцию. Уже сделали укол морфия...

— Я ли не терпел? Ты ли не терпел, Капиев? Он ли не терпел, этот несчастный страдалец язвы столько лет!

А уж на сей раз перетерпим. Не беда! Хрен с тобой!

Как странно: книжечка кончилась минута в минуту перед операцией, хотя я и не хотел этого.



Т Р И Б У Н А П И С А Т Е Л Я

АННА КАРАВАЕВА

★

О ПРЯМОЙ ДОРОГЕ И ПРОСЕЛКАХ

(Открытое письмо моим корреспондентам)

Когда вы получаете письмо от родного человека или старого друга, а то просто от доброго знакомого, то всегда, в разной степени, ощущаете живые нити, связывающие вас с отправителем письма; можете ясно представить себе события и настроения, под влиянием которых письмо было написано.

Но вот получено письмо, которого не ждал, от человека, с которым никогда не встречался, ничего о нём не знаешь и которого едва ли когда-либо увидишь. Это письмо от читателя, его живой отклик и размышления о прочитанном.

В этом общении с читателем чаще всего встречаешься с глубокой и многообразно выраженной радостью бытия и труда, с дружеским пониманием. Но иной раз услышишь диссонирующие нотки, твоё внимание остановят противоречивые, спорные, а порой и очень неверные мысли. Эти явно непродуманные высказывания и требования к литературе вызваны нередко случайными, мимолётными настроениями и впечатлениями.

Для советских юношей и девушек, начинающих свою самостоятельную жизнь, естественно и типично желание идти прямой и широкой дорогой, отдавать всю свою молодую силу на благо любимой Родины, преодолевать все препятствия и в то же время неустанно учиться, упорно накапливать знания и опыт в своей области труда. И так же естественно и справедливо ожидать, что молодые люди должны не только дорожить всеми предоставленными им возможностями, но и быть готовыми стойко преодолевать любые трудности, сознательно и активно помогать Коммунистической партии и Советскому государству в строительстве нового общества. Если молодой человек обладает этими главными качествами, всё остальное — как ветки от крепкого ствола — будет развиваться быстро и богато.

Наступать или... отступать?

Советская литература показывает человеку дорогу вперёд не как нечто раз навсегда и для всех найденное (сама история, мол, постаралась!), а как искомое. Человек сам, своей свободной волей, своим сознанием и всеми силами своей духовной личности, каждый раз по-своему, конкретно, неповторимо ищет и находит эту прямую и широкую дорогу. Подчёркиваю эти слова специально для Вас, Варя С., студентка педагогического института.

Ваше письмо привлекательно своей вдумчивостью, молодым волнением и стремлением, как Вы говорите, «додумать всё главное до конца». В будущем году Вы будете преподавать родной язык и литературу в средней школе. Радует меня, Варя, что Вы очень серьёзно и на деле готови-

тесь к будущей педагогической деятельности, — я сужу об этом по тому, как Вы следите за современной литературой, знаете и изучаете творчество многих современных писателей не по принципу пресловутой «обоймы», а исходя из многообразия творческих индивидуальностей, составляющих советскую литературу.

Попросив не смеяться над «невольным пафосом» (что Вы? Напротив! Ваш пафос идёт не от ригоризма, а от живого чувства), Вы задаётесь вопросом: «Во имя чего, во имя какой правды творит советская литература?» Во имя большой правды истории, говорите Вы, во имя правды, которую отражают собой миллионы человеческих жизней, характеров. Верно! И так же верно чувствуете Вы следующее: даже раскрывая острые конфликты, показывая отрицательные явления, серьёзный писатель никогда не отрывается от «главной основы» — от жизнеутверждающего начала великих дел всемирно-исторического значения.

Но потом Ваша мысль делает неожиданный скачок — и далеко в сторону. Очень, очень жаль, пишете Вы, что литература всё ещё «не объяснила», почему прямые и широкие дороги бытия «в нашем могучем государстве не проходят всюду», почему не охватывают «решительно всех, всех». И спрашиваете: «Какими считать людей», которые живут серо, скучно, чьи духовные силы и способности «никак не развёрнуты»? Вы приводите ряд жизненных примеров.

Вот юноша, окончивший среднюю школу с тремя тройками, не захотел, вопреки советам, пойти ни в техникум, ни на завод — его туда не тянуло. Провёл год дома, решил подготовиться в институт, но — увы! — «срезался». Опять затратил год на подготовку — и опять ничего не вышло. Наконец поступил на службу в сберегательную кассу, работа эта ему не нравилась. Молодой человек женился, жить материально стало труднее, начал выпивать. Жена ушла от него, затем умерла мать, он остался «без моральной и бытовой опоры», опустился. Под пьяную руку подрался с кем-то в баре, пытался скрыться, но, обессиленный, упал где-то в глухом переулке, долго пролежал в снегу, заболел и вот — инвалид в двадцать пять лет.

Девушка вышла замуж, как ей представлялось, по страстной любви, но потом поняла, что ошиблась: избранник её не стоил этого чувства. Негодный отец скрылся от алиментов, а несчастная мать-одиночка воспитывает двух детишек. Рано выйдя замуж, она не успела овладеть никакой специальностью. Живётся ей горько, трудно, и вообще она считает свою жизнь «непоправимо разбитой» и не видит никакого выхода впереди.

По поводу этих и других приведённых Вами примеров «неудачно сложившейся жизни» Вы спрашиваете: «Кто виноват?» А потом заключаете: так, значит, прямая и широкая дорога проходит «не везде».

Похоже, что жизненный процесс в нашем обществе Вы себе представляете примерно так. Окончили юноша, девушка школу, и вот, будто на конвейере, перед ними приостановилась готовенькая клеточка — пожалуйте, вступайте на эту площадку, а далее всё как бы само собой пойдёт в самом благоприятном направлении. А жизнь частенько показывает совсем иные случаи. И Вас это почему-то смущает, ставит как бы в тупик, в противоречие со своими же правильными мыслями. Вы даже высказываете пожелание, суть которого заключается в том, что пусть бы государство больше и чаще вмешивалось в «налаживание личной жизни». Государственные установления, рассуждаете Вы, достаточно продуманы, основаны на большом опыте, рассчитаны на удовлетворение нужд и потребностей миллионов людей, и потому справедливость их несравнимо выше, чем многие личные планы и намерения. Человек-де сам иногда не знает, «куда себя девать», а государство, как Вы себе, очевид-

но, представляете, за этого неумеющего думать и решать самостоятельно всё продумает, всё ему укажет и даже, как добрая нянюшка, предупредит, где можно оступиться. Вот это будет жизнь, и ни за кого и никогда не будет досадно и больно, и жалеть никого не придётся!..

Я намеренно перевожу Вашу мысль в иронический план — и, поверьте, вовсе не потому, что мне хочется иронизировать по Вашему адресу. По молодой неопытности и горячности Вы, нимало того не сознавая, мечтаете об... а в т о м а т и ч е с к о м разрешении жизненных проблем. Вот, вот, это всё та же разлинованная, как ученическая тетрадь, заранее размеченная, так сказать, на миллионы клетко-единиц дорога жизни. Вы, похоже, даже не задумывались над тем, как глубоко чужды природе нашего Советского государства всякого рода автоматические, готовенькие решения, программы и планы «вмешательства в жизнеустройство» каждого гражданина, идущие от схемы и умозрительных заданий.

Наше государство и вся его созидательная практика наглядно показывают, что величайшие в истории преобразования огромной, некогда отсталой страны происходили на самой живой основе — на единстве массового героизма, революционного самосознания и дисциплины. Вы, молодёжь, только по книгам (роль советской литературы здесь немалая!) знаете, что это исполинское созидание было преисполнено борьбы с пережитками прошлого, борьбы с бесчисленными трудностями и противоречиями. Одной из основ в победах нашего народа, кроме только что названных — главных, был свободный, сознательный выбор деятельности.

Мне вспоминаются годы, когда возводились первые гиганты наших пятилеток — Магнитострой, Днепрострой, Сталинградский тракторный и другие. Молодёжь того поколения, в первую очередь комсомольцы, была охвачена порывом отдать все свои силы, влиться всей своей молодой энергией в это широкое всенародное трудовое наступление, овладеть новой, отечественной техникой, которая росла буквально на глазах. Помнится, на читательских конференциях разговор часто переходил от героев литературы к проблемам выбора жизненного пути, любимой профессии. Горячо откликаясь на призыв партии и государства — создать новые технические кадры, — молодые люди, случалось, даже впадали в некоторые крайности.

В моей памяти сохранились, например, вечера на Днепрострое (четверть века назад!), когда в клубной библиотеке или в молодёжных общежитиях разгорались страстные споры. Энтузиасты техники доказывали, что гуманитарные профессии просто никакого сравнения не выдерживают с индустриальной специальностью. Гуманитарники же доказывали, что технические специальности с неба не сваливаются, а требуют ещё более высокой постановки общеобразовательных знаний. Во всех этих столкновениях было много хорошей горячности, отзывчивости, дерзновенной мечты — всего, чего хотите, но не было одного: равнодушия, безразличия. А происходило это от глубоко осознанного стремления к деятельности, понятой с точки зрения больших, государственных интересов. Вот вам один из многочисленных примеров того, как наше Советское государство вмешивается в бытие личности!

Не назойливая опека по мелкому поводу, не «поддерживание» личности, что называется, под локоток, не призыв автоматически следовать чему-то готовенькому, о чём и думать-то не надо, нет — убеждение, разъяснение, призыв к молодому поколению, раскрывающий перед ним обширные горизонты огромных деяний для нового продвижения к коммунизму, прямой разговор о трудностях, которые предстоит преодолеть, — вот те верные средства и методы, которые Коммунистическая партия и Советское государство десятилетиями плодотворно применяют на практике, воспитывая людей. И уж поверьте: когда сознание, энергия и спо-

способности человека сами устремлены навстречу призыву Родины, личность, как правило, необычайно выигрывает, её духовные границы расширяются.

Существовала у нас довольно долгое время педагогически ошибочная практика — авансом ободрять молодёжь. Со школьной скамьи девушкам и юношам предрекали светлую и широкую дорогу будущих свершений, где эту молодёжь ожидали, само собой разумеется, удачи и победы, а трудности должны были достаться на долю кого-то другого. И мы, писатели и поэты, любясь неповторимой прелестью молодости, случалось, показывали её со стороны лирического волнения, мечтаний о будущем, но реже — со стороны преодоления многочисленных препятствий. Так и получалось, что молодой человек был заранее настроен на то, чтобы вступить в самостоятельную жизнь в полном благодушии и безмятежной уверенности, что для него государство всё «в основном» уже приготовило.

Да, Родина открывает молодому гражданину бескрайние возможности для приложения знаний и энергии. Но искать, решать, проявлять энергию и талант должен он сам, вливая свой труд «в труд моей республики», как говорил Маяковский. А у нас бывает: не выдержал юноша вступительного экзамена в вуз — и сразу скис, у него и крылышки опустились. Вместо того чтобы идти на производство, поднабраться опыта, трудовых навыков, без которых всё равно хорошим инженером не станешь, глядишь — засел дома со своими ненабранными «очками» и надеждами: в будущем году вновь держать испытания, авось, мол, кривая вывезет.

У нас часто «берутся» за человека, когда он уже совершил какой-то неблагоприятный поступок. А почему не вызывает ни в ком беспокойства слабость и вялость характера, безответственность, неумение накапливать жизненные силы ещё в школе, в ранней юности? Мы всё ещё слабо готовим молодёжь для самостоятельной жизни, для будущего труда. И не потому ли Вам так хотелось бы, Варя, чтобы государство «побольше вмешивалось в деятельность молодого человека»? Но подумайте: когда кто-то старший передвигает ваши ноги, куда им надлежит ступить, и вкладывает вам в руки то, что нужно взять, — разве есть в этом хоть тень самостоятельности?

Наша промышленность и сельское хозяйство, оснащаемые всё более совершенной техникой, нуждаются в среднем командном составе, в квалифицированных рабочих. Некоторые юноши и девушки недоверчиво встречают перспективу работы на заводе. А как раз там-то и могли бы развернуться знания и способности любящих математику, физику, химию, биологию. Ведь совершенно очевидно, что непрерывно усложняющиеся машины, технический прогресс требуют интеллигентных рабочих, обладающих достаточными общеобразовательными знаниями, которые и даёт средняя школа. Если бы юноша, о котором Вы рассказываете, продумал это, если бы кто-либо доходчиво ему это разъяснил, тогда наверняка его бы и «потянуло» на завод. Однако законным будет и такой вопрос: а сознавал ли он вообще, куда его тянуло? Может быть, именно в этом и надо искать коренную причину его падения?

В нашем государстве выработана целая методика, облегчающая задачу выбора кем быть. День «открытых дверей» везде и всюду — приходи, смотри, выбирай; специальные статьи в газетах и журналах, беседы в школах со старшеклассниками, публичные лекции на тему о профессиях, разного рода выставки. Эта государственная методика из года в год настойчиво призывает молодое поколение сознательно выбрать себе не просто какую-то «службу», а любимое дело, такое, которому хочется посвятить всю жизнь. Не секрет, что есть у нас ещё немало выпускников школы, всю свою энергию направляющих лишь на то, чтобы где-нибудь да как-нибудь «зацепиться» за любой институт, какой —

неважно, а там, дескать, посмотрим, что выйдет. Если же не выйдет — обидеться, остановиться, сдрейфить перед трудностями. Вот тут-то молодой человек и вступает в противоречие не только с окружающими его жизненными условиями, но и с самим собой, что и случилось с юношей, за неудавшуюся жизнь которого и мне обидно.

Досадно мне и за Вас, Варя. Ваша вдумчивость, радовавшая меня в первой половине письма, изменила Вам во второй. Почему? Как и сами Вы чистосердечно признаётесь, Вас «пугают и огорчают противоречия». Вы даже наивно протестуете: как это возможны противоречия в нашей социалистической стране! Помещиков и капиталистов у нас нет, рассуждаете Вы, землёй и её недрами, заводами, фабриками владеет народ, вся забота государства направлена к тому, чтобы жизнь народа становилась всё обильнее, культурнее и лучше. Так откуда же у нас столько противоречий и недостатков? Вы перечисляете замеченные Вами, горестно изумляетесь, спрашиваете: «Кто виноват?», «Откуда они берутся?»

Вам, конечно, известно, что наши противоречия принципиально иные, нежели противоречия эксплуататорского общества; что все они разрешимы и представляют собой закономерные столкновения между тем, что уже отжило свой срок, и тем новым, что властно заявляет о себе и способствует движению вперёд. Наше социалистическое созидание не какое-то размеренно-спокойное и плавное восхождение в гору, а борьба со старым, путающимся в ногах, тормозящим это восхождение.

Вероятно, будущий молодой педагог, Вы задумаетесь о нашем с Вами разговоре и многое додумаете до конца, чего Вы и хотели.

«Случай как случай»

В вашем коллективном письме, товарищи студенты, тоже чувствуется молодая взволнованность и горячая заинтересованность предметом разговора.

Несомненно, вы активно следите за литературой, у каждого из вас есть любимые писатели, любимые герои произведений, вы любите спорить и «ставить новые проблемы перед литературой», на что имеете полное право по закону критики и самокритики. Напрасно вы мне это доказываете, ибо такое право имеют решительно все. Вся суть дела только в том, действительно ли новую проблему вы ставите перед советскими писателями? Вы, кстати, просите, чтобы я довела «до общего сведения» ваши пожелания. Пожалуйста, вот я это и делаю.

Жаль, что в пространном письме никто из подписавшихся не обмолвился, в каких высших учебных заведениях вы учитесь. Если бы я точно знала, что среди вас есть филологи, мои упрёки, конечно, были бы направлены прежде всего в их сторону.

Сетуя на отсутствие у нас сатиры, вы, естественно, вспоминаете о гении русской сатиры — Салтыкове-Щедрине. Вот, говорится в письме, если бы был у нас великий талант, подобный щедринскому, «не пропало бы столько материала». Вы упрекаете советских писателей в том, что они якобы «не охватывают» множества «случаев жизни», изображение которых литераторы считают «ниже достоинства своего творческого метода». Вы перечисляете довольно много эпизодов, которые бывают в жизни, и предлагаете, чтобы «случай как случай» стал предметом художественного отображения. Почему же «случай как случай»? Потому, отвечаете вы, что жизнь складывается из случаев и мелочей, за которыми, бывает, даже скрываются «целые драмы». Вы рассказываете о проявлениях пошлости, низкопробного мешанства, бескультурья, хулиганства, жадности, грубости, подлости, подсиживания, обмана. И далее вы утверждаете, что вот Салтыков-Щедрин «охватил бы всё», так как у него было «более широкое понимание реализма». (Как

это толковать?) Вы защищаете положение: «случай как случай» — это, мол, тоже реализм, который якобы не только «не хуже всякого другого», но даже такой великий русский сатирик, как Щедрин, не стал бы пренебрегать «этим реализмом». В этом и заключается «новая проблема», которую вы предлагаете.

Однако, товарищи, не с очень ли лёгким сердцем высказываете вы ваши предположения — ведь они касаются Салтыкова-Щедрина! Вы, конечно, знаете, что он один из тех могучих предшественников, которые подлинно представляют собой исторические корни советской литературы. Пусть ваши суждения не более чем предположения, всё же необходимо хотя бы кратко сопоставить эти предположения с действительностью.

В статье «Петербургские театры» (статья вторая, напечатана в журнале «Современник», ноябрь 1863 года) Салтыков-Щедрин, разбирая драматургию А. Писемского, выводил все её недостатки из характера его писательских данных:

«В нём прежде всего поражает необыкновенная ограниченность взгляда, крайняя неспособность мысли к обобщениям и замечательная неразвитость. Повидимому, всё, что выходит из ряда самой простой, обыденной жизни: умыванья, одеванья, питья, еды и половых влечений, совершенно недоступно ему и возбуждает в нём насмешку и недоверие. Отношения автора к создаваемым им образам и рассказываемым происшествиям имеют характер тёмный и, так сказать, плотяный. Он удачно ловит внешние признаки и лепит из них фигуры, в большей части довольно выпуклые, но глаза у этих фигур всегда оловянные, а той тонкой струи жизни, которая именно и заставляет выхваченный из действительности образ двигаться, радоваться, страдать и трепетать, здесь нет и в помине» (разрядка здесь и ниже моя.— А. К.).

Итак, неосмысленное изображение обыденной жизни при всём наборе её признаков и мелочей (по-вашему — «случай как случай») оказывается совершенно лишённым того неповторимо тонкого очарования, которое рождает художественное произведение. Как вы видите из приведённой цитаты, великий сатирик не отказывал Писемскому в способности лепить «довольно выпуклые фигуры», но — увы! — глаза у них «оловянные», а бытописатель, по выражению Салтыкова-Щедрина, «выкладывает перед читателем груды человеческих тел...», которые «можно было бы назвать мёртвыми, если б в них не проявлялось некоторых низшего сорта движений, свойственных, между прочим, и человеческим организмам».

Это погружение писателя в обыденность как таковую Салтыков-Щедрин приравнивает к безидейности. «Отсутствие идеала выходит полное, мирозерцания никакого и в результате — «страшная духота». Атмосферу такого произведения Салтыков-Щедрин называет «злокачественной, заражённой тлением», а все и всяческие случаи, описанные «с прибавкой самой мелкой, низменной наблюдательности», — «уличной философией» и «уличной моралью».

Статьи Салтыкова-Щедрина, направленные против писателей-натуралистов и любителей «чистого искусства», можно сказать, вдохновлены борьбой писателя за передовое мировоззрение. «Что явления нравственного и умственного мира не могут подлежать воспроизведению человека, лишённого мирозерцания, это явствует уже из того, что, прежде чем воспроизводить такие явления, необходимо их понять и оценить, а это невозможно сделать без собственного мирозерцания». Так называемый «реализм», который вы предлагаете, как нечто новое, почти семьдесят пять лет назад Салтыков-Щедрин называл «псевдореализмом». А о «так называемых реалистах» подобного толка он выражался с уничтожающей насмешкой: «...никто его (то есть псевдореалиста.— А. К.) обуздать

не может; ни обуздать, ни усовестить, потому что он на все усовещивания ответит: я не идеолог, а реалист; я описываю только то, что в жизни бывает. Вижу забор — говорю: забор; вижу поясицу — говорю: поясица».

Вы утверждаете далее, что литература наша «в ущерб живости образа» слишком-де много стремится «внушать» читателю, что она слишком стремится «влиять» на него, а читатель, мол, за тридцать восемь лет сам «кое-чему» научился, что его «агитировать не надо». Общеизвестно, что художественная литература — одно из средств познания жизни, что есть и многое другое, что воспитывает человека. Но ваши «новые» предложения, по которым собирание и мелькание впечатлений ставится выше осмысливания действительности, иначе как обезоруживающим советом назвать нельзя. А кроме того, молодые товарищи, полагая, что говорите о чём-то «новом», вы обнаруживаете пренебрежение (а возможно, и просто незнание) к великим традициям русской литературы, которые бесконечно дороги всем нам.

Я всегда испытываю огромную гордость за великолепную историю нашей русской литературы, читая, например, высказывания о ней Салтыкова-Щедрина. Более чем за три десятилетия до появления горьковского «Буревестника», до бессмертных слов В. И. Ленина о свободной партийной литературе были написаны Салтыковым-Щедриным следующие слова, но как свежо и сильно звучат они и в наши дни: «Взятая в общем фокусе, литература есть тот очаг общественной мысли, который служит представителем не только насущной физиономии и насущных потребностей общества, но и тех стремлений, которые в данную минуту, хотя и не вошли ещё в сознание общества, но, тем не менее, существуют бесспорно и должны определить будущую его физиономию».

Непримиримо преследуя в своих статьях все проявления в литературе антихудожественности, пошлости, неумения владеть богатствами великого русского языка, Салтыков-Щедрин неустанно повторял мысли о значении литературы в жизни общества. Литература призвана «разрабатывать и распространять знания, а не укорачивать их», литература вторгается в жизнь, освещая ярким факелом разоблачения все закоулки «состояния бессознательности», «умственной Патагонии» и всех видов «латагонцев» как носителей тьмы и мракобесия, угнетающих народ; «светлые мысли» и «новые типы», создаваемые литературой, помогают читателю выработывать из себя «нового человека».

Литература для Салтыкова-Щедрина это — «высшее выражение стремлений общества», она «благороднейшая и драгоценнейшая выразительница народного гения», ей он придаёт всеобъемлющее значение: «...без литературы не существовало бы ни живописи, ни музыки, ни искусств вообще, потому что она всё разложила, и свет, и звук, и она же всё сочела. Не будь того светоча, который она всюду приносит с собой, и звуки, и краски, и линии — всё было бы смешение, хаос. Даже техника искусств — и та обязана той или другой степенью своего совершенства посредничеству литературы, потому что искусство само по себе немо и разъединено, одна литература имеет привилегию «гласить во все концы», она одна имеет дар всех соединять под сению своею, всем давать возможность вкусить от сладостей общения». Эти слова, полные молодого, нестарящегося в веках волнения и преданнейшей любви и уважения к назначению литературы, написаны в 1879 году!

А когда читаешь всюду повторяющиеся мысли о действенном значении литературы «в подготовке почвы будущего», то органически сближаешь их с требованиями Горького, добивавшегося, чтобы мы отражали в книгах не только прошлое и настоящее, но и «третью действительность», то есть будущее. В эпоху свирепой реакции (в сентябре 1881 года) великий сатирик говорил: «Я не только литератор, но и журналист,

человек партии». Он призывал писателей быть достойными представителями той партии, к которой причислял себя, — партии «пропагандистов-образователей» общества, представителей «общечеловеческих (читай: революционных.—А. К.) идеалов» и «народного мировоззрения», людей, которые помогают обществу двигаться вперёд.

Количество примеров у Щедрина, поражающих своей боевой прозорливостью и непримиримостью, можно было бы увеличивать без конца. Но, думаю, товарищи, вы уже видите: широта понимания реализма у великого сатирика была совсем иная, чем в высказанном вами предположении.

Плотную к этим примерам примыкают и другие, которые мне хочется привести в опровержение следующего вашего предположения: если, мол, наша советская сатира пока что очень слаба, так пусть бы училась она щедринскому охвату. Но и здесь совпадения не будет. Не очень любя цитировать, я вынуждена в данном случае сделать это, чтобы такая историко-литературная справка больше запомнилась вам, молодые друзья.

Вы советуете смелее бичевать недостатки и пороки. Согласна с вами. Но во имя чего бичевать? И вот последняя цитата из этой справки (и я убеждена, каждый наш сатирик подпишется под этими словами, написанными в 1864 году): «...Для того, чтобы сатира была действительной сатиroy и достигала своей цели, надобно, во-первых, чтоб она давала почувствовать читателю тот идеал, из которого отправляется творец её, и, во-вторых, чтоб она вполне ясно сознавала тот предмет, против которого направлено её жало».

Мы знаем, что беспощадное жало своей сатиры Салтыков-Щедрин направлял не на пустячки и какие-нибудь гримасы быта, а бичевал язвы российской действительности, от которых страдали жизнь, права и человеческое достоинство миллионов трудовых людей, цвета нации. Он разоблачал язвы крепостничества и его пореформенных пережитков, страшную бюрократическую машину русского самодержавия, которая представляла собой колоссальный аппарат для подавления народа. С той же ненавистью писал он о вреднейшей язве дворянского либерализма и космополитизма, обличая отступников, изменивших свободолюбивым убеждениям, показывая подлую суть иудушек всех мастей. И всё это — в исключительно тяжёлых условиях полицейского режима, когда гений русской сатиры вынужден был часто пользоваться иносказательным, «эзоповским», языком. Перечитывая произведения Салтыкова-Щедрина, всегда испытываешь большую гордость. Как же могучи были этот талант и сила революционно-демократического духа, чтобы в условиях невероятных стеснений прорываться творческой мыслью в будущее по трудной, но прямой и широкой дороге!.. И эту дорогу оставил великий сатирик в наследство будущим поколениям.

Уж если девяносто лет назад Салтыков-Щедрин требовал, чтобы творец сатиры знал глубоко свою цель и идеал, так тем более наша сатира, как ни была бы она резка, ещё глубже, точнее и оригинальнее должна исходить из нашего коммунистического идеала. Как бы ни беспощадно высмеивала наша сатира отрицательные стороны действительности, она, сатира, всегда должна твёрдо стоять на почве всенародного героического деяния.

Вы, товарищи, желали бы, чтобы советская сатира всюду и везде попевала, нацеливаясь на любой «случай как случай». Но это была бы не сатира, а мелкая разменная монета. А такой, с позволения сказать, сатиры её великий творец просто не признал бы!

Вы обратились, как говорится, к великой тени и представили себе щедринский облик совсем иным, чем он был в действительности. Вам он показался очень сговорчивым и покладистым, вы даже как бы перекрасили его в какие-то блекловатые тона. Но даже из пришедённой мной

краткой справки видно, что никаких совпадений с вашими предположениями у Салтыкова-Щедрина не получается.

Повторяю, жаль, что я не знаю, есть ли среди вас филологи, — у меня было бы основание их упрекнуть. Но одно для меня несомненно: ваши предположения порождены не только слабым знанием предмета, но и настроением. Есть настроения, подобные занозе, во-время не замеченной, которая может зайти глубоко под кожу. В ваше сознание тоже вошла вот этакая заноза — вредный лозунг мнимой «искренности», который был пущен в статейке Померанцева и который вы, по неопытности, приняли за нечто реальное и даже чуть ли не всеобъемлющее. Да под этот зыбкий и неверный знак можно подвести что угодно! Вот жестокий пример: гитлеровские палачи были «искренне» уверены, что для завоевания ими «жизненного пространства» нужно истребить миллионы людей. Растратчик «искренне» будет уверять, что преступление совершено им случайно. Пьяница «искренне» воображает, что водка для него источник бодрости и здоровья. Разрушитель семьи, скрывающийся от исполнительных листов на содержание брошенных им детей, будет «искренне» оправдывать свою слабую натуру: он подл, гадок, но он самый что ни на есть «искренний»! И поверьте, друзья, этот пресловутый призыв к «искренности» может привести легковверных к самой отвратительной декадентщине и полнейшей разболтанности всего внутреннего мира. А что же верно? Верно и надёжно убеждение, мировоззрение, сила знания жизни, неустанно пополняемого; верно и надёжно сознание необходимости и пользы для Родины вашего труда!

* *
*

Я ответила пока только на некоторые письма, именно на те, которые заключали в себе спорные моменты. Однако не для спора я взялась за это, сами видите, довольно хлопотное дело, а для разъяснения и моральной помощи. Я к тому же убеждена, что мы, литераторы, обязаны помогать, особенно малоопытным молодым людям, яснее и глубже понимать литературу и жизнь. Откровенно скажу вам, читатель, почему я, например, чувствительна к тому, как именно понимают литературу. Неверные и непродуманные суждения о ней в моём представлении связываются и вообще с такими же неправильными суждениями и познанием жизни.

Вокруг каждого подлинного произведения искусства неизбежно возникают споры. Но читателю пужно помнить и о том, что является бесспорной основой нашей советской литературы. Ещё далеко не все представляют себе эти основные законы, которые определяют её бытие. Сама история в образе Великой Октябрьской социалистической революции определила прямой и широкий путь всей нашей страны и населяющих её народов. Наша литература — образное отражение этого пути. И прежде всего в этом её жизнь, её вдохновение и её счастье.

Живая, творимая на глазах наших история требует от писателей типического, больших обобщений и большой безбоязненной правды, помогающей поступательному движению. Наша писательская совесть всегда должна напоминать нам, что многое и многое на этой широкой исторической дороге ещё не отражено, не запечатлено для грядущих поколений.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

КОЕ-ЧТО О ВЗАИМНОСТИ

США

«Все новости, годные в печать» — таков постоянный эпиграф газеты «Нью-Йорк таймс». Этот девиз газеты, естественно, распространяется и на такое приложение к ней, как «Нью-Йорк таймс бук ревью».

Перед нами один из последних полученных в Москве номеров этого еженедельного книжного обозрения. Журнал печатается на темноватой газетной бумаге и уже своим внешним обликом подчёркнуто отличается от так называемых «слик» — роскошных, гляцевых «Лайф», «Лук», «Тайм» и других иллюстрированных еженедельников с их яркими цветными фотографиями и рекламами.

«Нью-Йорк таймс бук ревью» — журнал серьёзный, рассчитанный в основном на интеллигенцию. Журнал критико-библиографический. Книжных новостей в нём действительно очень много, материал чрезвычайно разнообразен и интересен. В этом номере помещено свыше семидесяти статей и рецензий. Правда, отклики на издания художественной литературы занимают сравнительно небольшое место.

Номер открывается статьёй о книге бывшего государственного секретаря США Дина Ачесона «Демократ смотрит на свою партию» и заканчивается рецензией на автобиографию известного жулика Дональда Маккензи с интригующим названием: «Профессия: вор». Вниманию читателей предлагается и документальная повесть о гибели «Титаника», и сборник американского фольклора, и альбом «100 лет карикатуры «Панча», и новые поваренные книги. Есть рецензии на новые романы, на детские книги (время от времени выпускается специальный номер «Бук ревью», посвящённый детской литературе), на многочисленные, главным образом исторические и научно-фантастические, книги.

Статей на общелитературные или общэстетические темы в журнале почти не встретишь. Но в каждом номере выступает постоянный обозреватель, известный критик Дж. Дональд Адамс, один из законодателей американских литературных вкусов. Раздел, который он ведёт, называется «Говоря о книгах». Это непринуждённая беседа на различные литературные темы, выполняющая, по сути дела, функции передовицы, хотя Адамс всячески подчёркивает, что высказываемые им суждения всего лишь его личные мнения.

В рецензируемом номере Адамс продолжает разговор, начатый ранее. Одна из радиокомпаний поставила перед слушателями вопрос: если бы пришлось отправиться на необитаемый остров и можно было бы взять с собой только одну, две, три книги, каков был бы их выбор? Адамс не без остроумия замечает, что добрая фея, конечно, предусмотрительно снабдила остров библией, Шекспиром и энциклопедией, так что выбирать ему можно из остальных сокровищ мировой литературы. И вот выбор Адамса: он решил захватить с собой антологию английской поэзии, сборник эссе Эмерсона и «Войну и мир» Толстого. В этом романе, отмечает он, «более широкая картина человеческой жизни, чем в любом другом произведении...»

Художественной прозы еженедельник не печатает, но на второй странице обложки регулярно появляются два-три стихотворения и несколько цитат из классических произведений.

Есть в нём раздел «Письма к редактору»; ведётся также переписка читателей с авторами наиболее популярных книг. В конце номера печатаются литературные викторины. Много места занимает литературная реклама. В каждом номере помещаются списки бестселлеров — сверхходких книг — отдельно по беллетристике и отдельно по

«Нью-Йорк таймс бук ревью» («Книжное обозрение Нью-Йоркского времени»), еженедельник. № 47. 20 ноября 1955. Год издания 35-й. Нью-Йорк. Редактор и издатель Артур Хейс Сульцбергер.

★

общим проблемам. Есть раздел «Вокруг книг», где сообщается о различных сплетнях литературного мира США.

В разнообразии материалов журнала, в свободной, подчёркнуто ненавязчивой манере обозревателя есть, разумеется, своя определённая система, свой очень последовательно проводимый метод отбора нужных сюжетов и тем, своё отношение к литературному процессу. Не будем касаться собственно политических книг — каждому читателю ясно, что книга Ачесона, так же как ранее рецензированные в журнале мемуары Трумена (они печатались в самой газете «Нью-Йорк таймс» и в журнале «Лайф») и изданные в США мемуары де Голля, — всё это чистая политика, опрокинутая в недавнее прошлое.

Однако и все литературные материалы журнала, его литературная политика — можно заранее себе представить, как недовольны будут редакторы «Бук ревью» этим термином! — также строго определяются общей тенденцией. Как проявляется эта тенденция в рассматриваемом номере?

Характерен прежде всего отбор книг для рецензирования. Редко, очень редко попадают на страницы журнала книги прогрессивных писателей США. За последние месяцы вышли сборник рассказов Фаста «Тайная вечеря», документальная книга Стива Нелсона «13-й присяжный» — об американском суде, книга Лесюэр «Путь по реке», книга Силлена «Женщины — борцы против рабства», сборник стихов Уолтера Лоуэнфелса «Сонеты любви и свободы» (кстати, изданный не только в США, но и во Франции, Германии, Италии, Латинской Америке), однако рецензии на эти книги не находят места на страницах еженедельника. То же самое происходит с книгами крупнейших демократических писателей других стран, с книгами советских писателей.

Тенденциозность проявляется не только в отборе произведений, но и в самом характере рецензирования. Вот рецензия на сборник, посвящённый Драйзеру, изданный университетом штата Индиана. Её автор — Максвелл Гейсмар — известный исследователь современной литературы. После долгого перерыва (о котором упоминает и рецензент) критика снова заговорила о Драйзере. Гейсмар защищает Драйзера от нападок одного из авторов, Триллинга. И нападение и аргументация защиты весьма характерны: Триллинг, по словам рецензента, «резко выступает против Драйзера, против Вернона Пэррингтона¹ и против всей традиции социального протеста в американской мысли». Коротко и вполне ясно. А Гейсмар, беря Драйзера под защиту, уверяет, что он вовсе не был «политическим писателем»... «Ему ни к чему были социальные реформы; он был, разумеется, консерватором и, в душе, неутомимым реалистом, он старался изображать окружающий мир таким, какой он есть».

Гейсмар как будто поправляет вульгарные суждения Триллинга — прошли те времена, когда можно было просто утверждать, что никакого социального протеста в книгах Драйзера нет и в помине. Для читателей «Нью-Йорк таймс бук ревью» необходима более тонкая, менее прямолинейная аргументация. И Гейсмар поддерживает мнение другого автора сборника. У Драйзера, утверждает этот автор, нет своей точки зрения на мир, писатель целиком растворяется в персонажах своих романов, «он Джени Герхардт и Лестер Кейн; он Фрэнк Каупервуд и Эйлин Батлер; он Клайд Гриффитс и Роберта Олден...» Гейсмар против социальной терминологии, он ставит в иронические кавычки слова: материализм, детерминизм, натурализм, социал-дарвинизм — в применении к творчеству Драйзера; но он изображает Драйзера, вопреки истине, писателем всеядным, добру и злу внимающим равнодушно... Гораздо более умно он проводит ту самую идею Триллинга, с которой полемизирует в начале своей статьи.

В журнале рецензируется книга Чарльза Фостера «Лестница без ступеней. Гарриет Бичер Стоу и пуританизм в Новой Англии». Рецензия называется «Источник её силы». Нужно отдать должное журналу: заголовки, как правило, очень выразительны. «Её особая сила не в современных ей литературных и социальных течениях, а в её страстном увлечении теологией Джонатана Эдвардса, в её сознании, потрясённом разрушительными и возрождающимися элементами пуританизма Новой Англии». Эту же мысль рецензент далее выражает ещё более ясно: «Таков ключ не только к «Хижине дяди Тома», которая больше связана с религиозными импульсами, чем с законом о беглых рабах, он объясняет и парадоксальность других её книг».

¹ Пэррингтон — известный прогрессивный исследователь американской литературы.

Нигде, пожалуй, с такой точностью и даже прямолинейностью не звучит эстетическое кредо журнала, как в этих словах... Литература, оторванная от жизни, литература, оторванная от чаяний масс, от социальных движений эпохи, — вот как объясняют литературу в этом журнале и призывают современных писателей к созданию именно такой литературы. Правда, иногда появляются в «Бук ревью» и рецензии иного плана, но очень редко, случайно.

За последние месяцы всё более усиливается взаимное стремление народов узнать друг друга. Сравнительно недавно московский корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс», видимо, отдавая дань этому, рассказывал об интересе к зарубежной культуре в СССР. Его заметка, помещённая в «Бук ревью», была написана довольно доброжелательно. Продолжим его информацию и сопоставим некоторые факты. В рецензируемом номере «Бук ревью» есть две заметки, относящиеся к Советскому Союзу. Это рецензия на книгу Пьера ван Паасена «Видения возникают и изменяются», рассказывающую о религии в СССР; судя по рецензии, книга эта написана с позиций, весьма нам враждебных. И вторая рецензия, уже резко антисоветская, посвящена правовой системе в СССР (на книгу Хауса Кельсена «Коммунистическая правовая теория»).

Но, может быть, это случайно выхваченный номер?

Нет, не случайно. За весь 1955 год в «Бук ревью» прорецензирована лишь одна советская книга. Вместе с тем почти в каждом номере имеется рецензия на всё новые и новые «воспоминания» перебежчиков, людей без родины, да и на множество антисоветских книг американских авторов.

Во время второй мировой войны директор Русского института при Колумбийском университете профессор Робинсон характеризовал невежественность американцев в отношении СССР так: «Никогда ещё столь многие не знали столь мало о столь огромном». Вряд ли информация «Бук ревью» способна изменить положение вещей...

Теперь посмотрим, как московские журналы в том же ноябре 1955 года информировали советского читателя о литературной жизни США.

В журнале «Иностранная литература» помещён очерк Бориса Полевого о Джоне Риде. Там же печатаются библиографические заметки о книге Ван Вик Брукса, посвящённой художнику Слоуну, о сборнике рассказов Фаста, о книге Бэннинг «Приданое»; сообщение об экранизации повести Хемингуэя «Старик и море», о специальном, юбилейном, номере американского журнала «Нейшен»; перепечатана рецензия Лиона Фейхтвангера на роман американской писательницы Марты Додд «Лучом прожектора». В журнале «Новый мир» опубликованы рассказы американского писателя Сарояна. В журнале «Знамя» рассматриваются переводы однотомника Уитмена, изданного к юбилею.

Может быть, в редакции «Нью-Йорк таймс бук ревью» не знают о том, как освещается литературная жизнь США в советских журналах? Но это предположение отпадает: в сообщении об открытии выставки французского искусства в Москве, помещённом в газете «Нью-Йорк таймс», приводится реплика А. Дикого из того самого номера «Нового мира», где опубликованы рассказы Сарояна.

Поскольку мы ссылаемся на три советских журнала, попробуем для справедливости призвать на помощь «Бук ревью» ещё два американских книжных обозрения — «Геральд трибюн бук ревью» и «Сатердей ревью». Однако и в этих журналах в ноябре мы не найдём ни одной рецензии на советскую книгу (кроме «Оттепели»), но зато пополним своё знакомство с новыми образцами клеветы на СССР.

Нет, далеко не «все новости, годные в печать», публикуются в «Нью-Йорк таймс бук ревью».

Советский читатель ещё далеко не удовлетворён тем, что он знает об Америке вообще и об американской литературе в частности. Но приведённые выше факты свидетельствуют о том, что советские журналы стараются удовлетворить законные требования читателей и, надо надеяться, будут в дальнейшем делать это ещё лучше, полнее, квалифицированнее. Но, как говорится, любовь должна быть взаимной. Взаимная правдивая информация — неременное условие доверия, добрососедских отношений, прочного мира. Такому серьёзному журналу, как «Нью-Йорк таймс бук ревью», не пристало продолжать «закрывать» СССР. Всё равно ведь из этого ничего не выйдет.

Р. ОРЛОВА.

ИЗДАНО В БЕЙРУТЕ...

С большим интересом раскрываешь свежий номер этого журнала с замысловатой арабской вязью на обложке. «Ас-Сакафа аль-ватанийя» освещает самые разнообразные вопросы культуры и политики. Издаётся он в Ливане, в Бейруте, но наряду с известным советскому читателю журналом «Ат-Тарик» является трибуной прогрессивной мысли всего Арабского Востока.

Ещё полтора года назад «Ас-Сакафа аль-ватанийя» был скромным еженедельником. Теперь же это солидный ежемесячный журнал. Такое превращение не случайно: оно отражает успехи прогрессивной интеллигенции арабских стран в борьбе за возрождение и развитие национальной культуры, в борьбе за мир, за лучшую жизнь.

Вот восьмая книжка журнала. Передовая статья «Человеческая культура и конференция в Женеве» во многом определяет её содержание: все материалы номера зовут к добру и миру, проникнуты заботой о человеке, призывают защищать достижения культуры от угрозы атомной войны.

Египетский поэт Кемаль Аммар с горечью и гневом говорит о судьбе японского студента, умершего в 1955 году в результате поражения взрывом атомной бомбы в 1945 году. Статья сирийца Ихсана Саркиса «От Ломброзо до Макаренко» призывает к гуманности в воспитании и перевоспитании людей. А ливанский писатель Мухаммед Ибрахим Дакруб ищет путей превращения арабского кино в зеркало, отражающее жизнь и помогающее бороться с её тёмными сторонами.

В передовой статье последнего дошедшего до нас, ноябрьского номера журнала, озаглавленной «Писатели Азии и Африки в освободительной борьбе», говорится: «Раньше писатели Азии и Африки также участвовали в освободительной борьбе народов, но как бы издавека... Сейчас же, когда борьба вступила в решающую стадию, писатели находятся в центре борьбы... Они ясно поняли, что свобода мысли и творчества придёт только с освобождением масс, с освобождением Азии и Африки от империалистического рабства...» Редакция журнала энергично поддерживает идею созыва конференции писателей Азии и Африки, выдвинутую госпожой Рамишвари Неру и Индийским комитетом азиатской солидарности.

Много места в журнале отводится художественной литературе. В каждом номере можно найти два-три рассказа, несколько стихотворений. Борьба за национальную независимость арабских стран, за улучшение условий жизни рабочих и феллахов, борьба за мир, пробуждение классового самосознания трудящихся — их главная тема.

Короткий рассказ — основной жанр в демократической арабской литературе. Новеллист имеет возможность быстро откликнуться на взволновавшее его событие. А политическая жизнь в арабских странах после войны необычайно активизировалась.

С большим интересом были встречены читателями в странах Арабского Востока опубликованные в журнале рассказы египетского писателя Абд ар-Рахмана аль-Хамиси о национально-освободительной борьбе его народа; привлекла внимание читателей и новелла сирийского писателя Ханна Мина «Продаётся ребёнок», рисующая трагический эпизод в жизни бедняка-феллаха: вконец отчаявшийся крестьянин решает продать тринадцатилетнюю дочь, чтобы спасти её от голодной смерти.

Ливанский писатель Мухаммед Ибрахим Дакруб в рассказе «Стекло» нарисовал трогательный портрет девятилетней девочки Марьям, дочери рабочего. Марьям с утра до вечера с мешком на плечах бегаёт по улицам Бейрута, собирая битое стекло. Так она помогает отцу прокормить семью. Марьям лишена радостей детства, но рассказ оптимистичен: однажды вечером, вернувшись домой, измученная девочка узнаёт, что забастовка, в которой участвовал её отец, победила, отцу повысили зарплату и ей уже не придётся больше собирать разбитые бутылки.

На страницах «Ас-Сакафа аль-ватанийя» напечатан и один из лучших рассказов арабской литературы последнего времени — рассказ ливанского писателя Ахмеда Суейда «Продаётся с молотка». Это лирическая новелла о бедном феллахе Машхуре,

Ливан

«Ас-Сакафа аль-ватанийя» («Национальная культура»), ежемесячный журнал по вопросам культуры и политики. №№ 8—11. 1955. Год издания 4-й. Бейрут. Издатель Юсуф аль-Хаик. Главный редактор Ильяс Шахин.

★

попавшем в сети ростовщика. Машхур, чтобы спасти семью от голода, занял пять мер маиса у соседа, Джад Эфенди, который вернулся из Америки «с пухлым карманом и дырявой совестью». Через три года долг Машхура вырос в пять раз. После того, как «справедливость» — судья, пляшущий под дудку Джад Эфенди, — «сказала своё слово», единственное достояние Машхура — отцовский дом — отошёл в собственность ростовщика. Постепенно, с большой психологической убедительностью подводит Ахмед Сувейд своего героя к решению сжечь родной дом, который Джад Эфенди задумал превратить в свинарник.

В октябрьском номере помещена глава из готовящейся к печати повести сирийского писателя Фариса Заки «Земля не высохнет». Этот небольшой отрывок живо рисует картины крестьянского труда. Думается, что повесть у Фариса Заки получится оптимистической и необычайно поэтичной.

Но крупные по объёму произведения — явление не частое в прогрессивной арабской литературе Преобладание в ней новеллистического жанра объясняется и тем, что большинство передовых писателей не имеет материальных возможностей писать крупные произведения. Литературный труд не приносит достаточных средств для существования, и писатели вынуждены большую часть времени посвящать нелитературному труду. В 1954 году в прогрессивной литературе появились лишь две крупные повести — «Земля» египетского писателя Абд ар-Рахмана аш-Шаркави и «Синие лампы» сирийского писателя Ханна Мина. Шаркави рассказал о жизни и борьбе феллахов. Феллахи ставят перед собой большие цели и полны решимости коренным образом улучшить жизнь. Герои повести Ханна Мина — рабочие города Латакия — также показаны в борьбе.

Примечательно, что активный, целеустремлённый, борющийся герой появился в арабской демократической литературе совсем недавно — всего лишь несколько лет назад. Это свидетельствует не только об активизации рабочего движения и движения сторонников мира в арабских странах, но и об особом внимании, уделяемом пропаганде принципов социалистического реализма прогрессивными журналами, в частности журналом «Ас-Сакафа аль-ватанийя».

Поэтические произведения, печатающиеся на страницах «Ас-Сакафа аль-ватанийя» новы не только по содержанию, но и по форме. Демократические поэты всё больше отходят от канонического стихосложения. Молодые поэты ищут новые размеры, более гибкие и динамичные, всё чаще применяют белый стих. На многих арабских поэтов немалое влияние оказал Маяковский.

Пробуждение классового самосознания трудящихся, их уверенность в конечной победе — одна из основных тем в творчестве молодых поэтов. Вот характерный отрывок из стихотворения сирийского поэта Насуха Фахури, посвящённого людям труда:

Братья мои, ваши руки сильнее,
Ваши руки сильнее оружия.
Сильнее!
Потому что вы творите добро
Для всего огромного мира,
Для всех живущих в мире..
Братья мои, вы — совесть мира.

Значительное место в журнале занимает критический отдел. Ни одно значительное произведение или явление современной литературы не обходится здесь молчанием. Журнал оперативен: рецензии появляются сразу же после выхода книг. Критика дружелюбна, но взыскательна. Это идущий от сердца разговор о том, как писать лучше — проще, доходчивее, впечатляюще, как правдиво и ярко отражать жизнь, как пробудить в человеке творческие силы, стремление к лучшей жизни.

Ещё недавно журнал можно было упрекнуть в абстрактности критических материалов. В последних номерах критики и рецензенты конкретно разбирают и показывают достоинства и недостатки новых произведений. В августовском номере напечатана рецензия на два сборника рассказов ливанских писателей Ахмеда Сувейда и Юсуфа аль-Ашкара. Если в рассказах Ахмеда Сувейда человек хотя и страдает, но любит жизнь, ищет пути к счастью, то в рассказах аль-Ашкара человек окончательно раздавлен жизнью. На множестве примеров рецензент сопоставляет творчество двух писателей, выпукло показывает различие в их мировоззрении.

В нескольких номерах журнала публиковались дискуссионные статьи о проблеме двуязычия на Арабском Востоке. Дело в том, что в арабских странах наряду с общим литературным языком существуют бытовые диалекты. Некоторые писатели для диалога используют диалекты, а это мешает читателям Сирии или Египта понять произведения, например, иракского писателя. Ныне этой проблеме уделяется большое внимание.

Реже выступает журнал с критикой реакционных писателей. Может быть, это объясняется тем, что книги молодых прогрессивных писателей, не всегда ещё художественно зрелые, но затрагивающие насущные проблемы жизни, пользуются большой популярностью у широкого читателя и журнал главное внимание обращает на них. Кстати сказать, тиражи прогрессивных изданий уже превысили тиражи реакционной литературы. Но, тем не менее, она существует и оказывает своё тлетворное воздействие.

«Ас-Сакафа аль-ватанийя» регулярно печатает сообщения о выходящих в арабском переводе книгах русских писателей-классиков, советских писателей и прогрессивных писателей других стран. В одном из номеров помещена рецензия на перевод повести Н. В. Гоголя «Шинель». Кстати, это один из первых переводов, сделанных непосредственно с русского языка. Нередко в журнале можно встретить статьи о советской литературе.

Прогрессивные литературоведы арабских стран большое внимание уделяют возрождению арабского литературного наследия. Они критически пересматривают его, освобождают от позднейших искажений, анализируют социальные мотивы в «Тысяче и одной ночи», «Калиле и Димне» и других эпических памятниках и используют классическое наследие в борьбе с реакцией.

Журнал откликается на каждое более или менее значительное явление культурной жизни в арабских странах и во всём мире. Вот, например, статья о советской художественной выставке в Дамаске. Эту выставку посетило около сорока тысяч человек. Распродано около ста пятидесяти тысяч репродукций экспонируемых картин. Рядом ливанский писатель Насиб Нимр делится впечатлениями об игре советских артистов, побывавших недавно в Сирии и Ливане. «Посещение советскими артистами Сирии и Ливана возбудит в массах глубокий интерес к художественному творчеству», — заключает он. Тут же помещён отзыв советских артистов об арабской музыке. В журнале имеются постоянные разделы «Культурная жизнь в Советском Союзе» и «Культурная жизнь в странах народной демократии».

Интересен также и отдел хроники культурной жизни арабских стран.

В Тунисе, узнаём мы, французская администрация вынуждена ввести преподавание в начальной школе на арабском языке.

В Ливане создано Общество по культурному обмену между Ливаном и Советским Союзом. Цель Общества — «использовать опыт советских людей, познакомить советских людей с нашей (ливанской. — В. Б.) культурой путём перевода на языки народов Советского Союза арабских книг, а также путём обмена культурными делегациями, выставками и т. д...».

В Судане в конкурсе на лучший рассказ демократического содержания принял участие 104 автора... Это в стране, где громадное большинство населения неграмотно!

В ноябрьском номере мы прочитали следующий документ.

«От имени египетских писателей различных направлений, взглядов и литературных школ мы единодушно поддерживаем заявление премьер-министра Кемаля Абд ан-Насера, в котором он подтвердил, что Египет отвергает иностранное вмешательство в наши внутренние дела, что он будет проводить политику суверенитета и свободы торгового обмена и участвовать в деле защиты мира...» Под этим заявлением — подписи писателей Таха Хусейна, Наджиба Махфуза, Абд ар-Рахмана аш-Шаркани и других литераторов, стоящих на самых разных политических позициях.

Благородную задачу ставит перед собой журнал «Ас-Сакафа аль-ватанийя»: активно участвовать в создании новой, истинно народной культуры. Золотые тяжёлые колосья видим мы на обложке журнала — прекрасный символ мира, труда и счастья! Он как нельзя лучше выражает стремления и мысли прогрессивных арабских литераторов.

В. БОРИСОВ.



ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ

Тюменская область,
Вагайский район,
Берёзовская МТС
Г. И. Могилевцеву

ПО ПОВОДУ СТИХОТВОРЕНИЯ ГЕННАДИЯ МОГИЛЕВЦЕВА

Дорогой Геннадий Могилевцев!

Прочитал некоторые стихи из тех, что Вы прислали мне. Хочу поговорить серьёзно. Стихи о Сибири, вообще говоря, хороши: в них найден верный повествовательный тон, есть ощущение истории. Особенно лирично второе вступление к поэме «Иртыш-река», в частности то место, в котором изображается горсть орловской пашни, принесённая землепроходцами в Сибирь:

Он унёс её с собой в могилу,
Попусту в пути не распыля,
Видно, с этих пор и породнились
С местною орловская земля.

И затем переход от темы землепроходцев, искателей новых земель, к теме Октябрьской революции, завоевавшей новые земли уже не только в чисто географическом, но и в социальном понятии,— всё это умно и волнующе.

Однако целостному впечатлению мешает несколько досадных мест. Некоторые погрешности легко устранимы. Например, режет ухо в стихотворении о Ермаке упоминание о... стране Муравин, переносящее нас к современной советской литературе. Кроме того, тема далёкого прошлого в какой-то мере должна ведь определять и стилистические приёмы — у исторического жанра свои права. Так, в стихах о первых бойцах за Сибирь нельзя допускать таких «модных» созвучий, как «искони — храним», «будил — дожди» и пр. Ударения в словах такого стихотворения должны, по возможности, приближаться к старинным, поэтому не «обжитая» земля, а «обжитая», да так и сегодня принято говорить, следуя московскому произношению.

По ходу темы у Вас попадают очень чёткие, ясные, хорошо запоминающиеся афоризмы. Например:

Помнить об ушедших поколениях —
Это значит родину любить.

Но разрешите, дорогой Геннадий, обратить Ваше внимание на нижеследующее место, довольно обширное по габариту:

Как же ты, суровый, милый пращур,
Свой нашёл неласковый конец?
Может быть, в тоске о настоящей
Родине, где умер твой отец,
Дед и прадед твой, совсем не зная
О далёкой об Иртыш-реке?
Может, умер, бережно сжимая
Горсть земли орловской в кулаке,
Что впитала много слёз и поту,
Много крови,— что ж, земляца — мать,
И в какой тебе, многозаботный
Селянин, ни суждено лежать
В день, когда скупой обряд вершили,
Чтоб земле навек его предать,
Пальцы заскорузлые, большие
Не могли ничем уже разнять.

В стихах этих чувствуется эмоциональный подъём. Но синтаксически это просто ребус. Дайте его прочитать, любому грамотному человеку, и он ляжет на нём костями. В старину про ораторов, излагавших так свои мысли, говорили: «Зарапортовался!» Вам необходимо перевести этот замысловатый период на язык прозы, обозначить подлежащие, сказуемые и всё к ним относящееся, тогда Вы ясно увидите свои ошибки.

Немало беды приносит и Ваше неумение обращаться с ритмическими переносами в стихе. По принятой в мировой поэтике терминологии переносы эти называются enjambement («перешагивание, захватывание»). Они составляют один из труднейших стилистических приёмов для начинающих. Классики наши пользовались ими великолепно. Вспомните хотя бы начало пушкинского «Домика в Коломне»:

Четырёхстопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора б его оставить. Я хотел
Давным-давно приняться за октаву.
А в самом деле: я бы совладел
С тройным созвучием. Пущусь наславу!
Ведь рифмы запросто со мной живут;
Две придут сами, третью приведут.

Взгляните, как тут всё естественно, непринуждённо! Переносы дают возможность придать пятистопному ямбу совершенно прозаическую интонацию, и в то же время ни на секунду не утрачивается ощущение поэтической речи.

Правда, Маяковский упрекал Пушкина в том, что один enjambement в монологе Лжедмитрия срывается в анекдот:

Царевич я. Довольно, стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться.

Маяковский читал это место следующим образом:

Царевич я. Довольно стыдно мне..

Но думается, что у Маяковского здесь придирка: запятая после слова «довольно» — достаточно чёткий рубеж, чтобы его можно было игнорировать. Я счёл нужным, однако, привести этот пример, так как даже из него Вы сможете понять, насколько осторожно следует обращаться с переносами. Этой осторожности не придерживаются многие, даже опытные современные поэты. Вспомните Симонова:

Мой друг Самед Вургун, Баку
Покинув, прибыл в Лондон.

Здесь, чтобы сохранить ритм, надо читать «Самед Вургун Баку», как одно имя. Но тогда разрушается синтаксис. Если же соблюдать синтаксис, то нужно, разрушая ритм, читать так:

Мой друг Самед Вургун,
Баку покинув,
Прибыл в Лондон.

Иногда, правда, переносы могут быть обрывистыми, но это лишь в том случае, когда они выполняют специальное задание автора. Если поэт хочет столкнуть в одной строфе два противоречащих друг другу, спорящих одно с другим положения, то он не начнёт такое стихотворение безмятежной музыкальной фразой. Напротив: срывающееся дыхание первых строк станет как бы прелюдом к драматическому развитию темы.

Итак, Вам, наверное, ясно, что нужно очень внимательно слушать стих вообще, а в момент его переноса — особенно, иначе он станет разрушаться. Между тем Вы его не слышите:

Строка 1. Может быть, в тожке о настоящей..
Строка 2. Родине, где умер твой отец..

Какой скверный слух нужно иметь, чтобы не почувствовать вопиющего разрыва между словом «родине» и её определением — «настоящая»! То же самое делаете Вы и дальше, «отрывая» отца от деда:

Строка 1. Родине, где умер твой отец..

Строка 2. Дед и прадед твой, совсем не зная..

Зачем нужен здесь этот разрыв? В чём его смысл? Единственно в том, что Вы хотели как-то выстроить предков в один ряд, а они в этом ряду не умещались.

Вообще с переносами Вам явно не везёт. Неплохое стихотворение «Сквер» начинается с фразы:

Сквер утонул по колено в вешней..

Дальше почему-то перенос. Почему? Делать это без причины ни в коем случае не следует. Тут мы вступаем в науку о дебютах, пренебрегать которой опасно. Как первые ходы у шахматистов определяют характер партии, так первая строка поэта определяет весь строй стихотворения: размер, интонацию, жанр, иногда даже характер образов, не говоря уже о картинах времени и места. Дебют не только даёт в руки читателя музыкальный ключ — он сам как бы маленькое стихотворение в одну строчку. Эта строчка иногда освещает эпоху, но уж всегда облик автора. «Я помню чудное мгновенье», «В полдневный жар в долине Дагестана», «Молчи, скрывайся и таи», «По вечерам над ресторанами», «Время — начинаю про Ленина рассказ» — всё это только первые строки пяти стихотворных произведений, но разве они не характеризуют Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Блока, Маяковского? Разве уже по одним этим строкам нам не стало ясно настроение поэта и даже общественный климат, в котором он живёт? И заметьте: как прекрасно сложены эти строки, как они богаты по содержанию, как пластичны по форме, как чётко очерчена грамматическая их природа! Сопоставьте же с этим начало Вашего «Сквера»:

Сквер утонул по колено в вешней..

У Вас это только информация, у классиков — переживание. Почему же наши поэтические предки проявляли такую заботу о началах? Прежде всего, повторяю, потому, что хорошо продуманное начало даёт тон всей вещи. Но не последнюю роль здесь играет и самочувствие читателя. Читатель, беря в руки Ваше стихотворение, ещё полон посторонними ритмами, чисто прозаическими, житейскими. Для того, чтобы войти в мир Вашей поэзии, ему нужно сделать особое усилие, отвлечься от хаоса обыденных шумов, в которых он жил до встречи с Вашей строкой. Усилие это нужно облегчить, иначе он начнёт раздражаться и перенесёт раздражение на Вашу вещь.

С читателем надо вести работу не только в газете, журнале и учебнике, но и в самом поэтическом тексте, в самой ткани стиха. Внутри стихотворения, а тем более поэмы, можете задавать ему какие угодно головоломки — уж если читатель добрался до середины, тут он Ваш. Но начало должно быть простым, ясным и завлекающим. Важно, чтобы читатель не устал с третьей, пятой строки, а ведь усталость проистекает не столько от трудности, сколько от отсутствия интереса.

Будьте здоровы. Работайте интенсивно.

Илья СЕЛЬВИНСКИЙ.

Р. С. Очень хороши у Вас образы, связывающие небо и глаза. Образ, конечно, не новый, но у Вас он снова обрёл свежесть, да ещё дважды. Один раз небо стало синим оттого, что загляделось в девичьи глаза, в другом стихотворении глаза Ермака принесли в сумрачную Сибирь южное небо. Здорово! Молодец!



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

— Что-нибудь новенькое, пожалуйста!..

Как часто с такой просьбой обращается читатель к библиотекарю, к продавцу книжного магазина.

«Новенькое» — это и только что выпущенная книга, и свежий журнал, и вновь вышедшее переработанное издание, то есть всё, так или иначе воплотившее в себе дух наших дней.

С особым чувством берёшь в руки экземпляр, никем до тебя не читанный. Быть может, это книга, о которой ещё не писали рецензенты в газетах и журналах; о ней ничего ещё не рассказывали твои друзья и знакомые. Надо самому разобраться в ней до конца, определить своё к ней отношение. Тем интереснее читать, обдумывая прочитанное.

В зорком внимании, в постоянном интересе советского человека к книжным новинкам — одно из проявлений его кровной заинтересованности в прогрессе культуры, науки, искусства, литературы.

Сопоставляя картины, нарисованные писателями, с собственным жизненным опытом, написал педагог С. Езерский публикуемую ниже статью о школьной теме в современной советской литературе.

Из читательских писем, в которых содержатся первые отклики на некоторые новые издания, недавно поступившие в библиотеки, составлено и книжное обозрение этого номера.

С. ЕЗЕРСКИЙ,

учитель 28-й ленинградской школы рабочей молодёжи

★

ПОЭЗИЯ ВОСПИТАНИЯ

1

Вже немало писалось в осуждение тех, кто пытался ставить перед советской литературой как самостоятельную задачу создание образа человека той или иной профессии. В таких случаях справедливо указывалось, что задачи литературы шире, что она создаёт образы советских людей, и кто бы ни был герой — сталевар или тракторист, агроном или учёный, доярка или учитель — это прежде всего советские люди. Поэтому бессмысленно делить советскую литературу на индустриальную и колхозную, а уж тем более — школьную. Советская литература едина, как едина наша жизнь, в которой город, деревня, завод, школа являются только частью единого целого, одинаково дорогого всем читателям.

Знаю, понимаю, соглашаюсь.

И всё-таки с особым чувством я подхожу к произведениям именно о школе, о воспитании, об учителях. Ведь школа — общее звено в биографии всего нашего народа; нет человека, который — долго или коротко — не был школьником, учеником. И как важно, чтобы годы пребывания в школе

были памяты, значительны и чтобы благотворное влияние их человек чувствовал всю свою долгую жизнь. Пусть не обидятся писатели за «утилитарность» такого отношения к литературе — в нём наше уважение к её силе, в нём наше признание её роли в жизни нашего общества, могущества её воздействия на массы.

В последнее время вышло немало произведений, посвящённых проблемам обучения и воспитания подрастающего поколения. посвящённых школе, учительству. Среди них есть повести, пьесы, дневники, рассказы, документальные повести, киносценарии, даже романы. Некоторые из них удачны, другие неудачны, одни яркие, другие серые. Но даже самые удачные и яркие из этих книг остались известными лишь сравнительно узкому кругу читателей, и ни одна не стала подлинно всенародной книгой, такой, какой стала в своё время «Педагогическая поэма» А. С. Макаренко.

Факт этот как будто бесспорен. Чем же можно это объяснить?

Можно, конечно, видеть причину этого в том, что авторы их не обладают талан-

том. Но это было бы несправедливо. Нельзя отрицать, что среди них есть люди безусловно одарённые.

В чём же тогда дело? Остаётся предположить, что, дескать, таков уже сам по себе этот материал, что он не даёт почвы для постановки важных и острых проблем, способных взволновать наше общество, что он исключает возможность конфликтов, борьбы страстей, столкновения взглядов, драматизма, то есть всего того, без чего не может быть создано подлинно художественное и подлинно значимое произведение.

Как ни странно, но подобное представление утвердилось довольно прочно. Во всяком случае, более или менее откровенные и прямые проявления его можно видеть чуть не на каждом шагу — в литературе, в критике, в педагогике, в быту. Кого, например, могло бы удивить, а уж тем более кто мог бы счесть недостатком художественного произведения тот факт, что среди действующих лиц был бы выведен плохой работник, невежда, карьерист, перестраховщик? А вот стоило писателю Л. Борису в своей повести о школе «Утро обещает» вывести плохую учительницу, карьеристку, как на него обрушился свой гнев учительница Н. Костарева, автор рецензии, помещённой в руководящем педагогическом журнале «Советская педагогика» (№ 5 за 1955 год). Мы не берёмся защищать книгу, обсуждать её достоинства и недостатки. Но как можно видеть недостаток книги главным образом в том, что автор позволил себе показать плохого учителя? А ведь именно в этом видит Н. Костарева беду автора. По её мнению, плохие учителя «не типичны», и если они изредка и встречаются, то только как «печальное исключение»...

Представлять себе, что все учителя — идеальные люди, может только очень наивный человек. Мне думается, что в данном случае Н. Костарева просто выдаёт желаемое за действительное; тезис о том, что учителя должны быть хорошими, по её мнению, исключает возможность того, что они могут быть и плохими. Я не меньше Н. Костаревой ревнив к высокому званию учителя. Но я не могу не видеть, что среди учителей есть и «отрицательные» типы и что они, к сожалению, не так уж редко встречаются. Это — явление грустное, но существующее. Доколе существуют ещё пережитки прошлого в сознании людей, доколе и в учительской среде мы бу-

дем встречать и чёрствых людей, и бюрократов, и карьеристов, и полужнаек. И не отворачиваться от этого печального факта надо, а говорить о нём с гневом, смело, раскрывая деятельность своих героев как непримиримую борьбу с подобными людьми.

Тут мы чаще всего сталкиваемся с ещё одним взглядом, тяготеющим над литературой, а именно: педагогично ли показывать в художественном произведении плохого, или, как принято говорить, отрицательного учителя? Ведь книги читают и учащиеся. А какое это окажет воздействие на них? Именно так рассуждает та же Н. Костарева. В упомянутой рецензии она, не обвиняя, прямо заявляет: «Какое положительное воспитательное воздействие может оказать образ такого педагога на юных читателей?»

При всём уважении к автору рецензии, в достоинствах и заслугах которого я сомневаться не могу, всё же трудно расценить подобное заявление иначе, как ханжество. Если плохие учителя существуют в действительности, то почему это надо скрывать от детей? Да и как это скроешь? Разве они сами не чувствуют этого? Разве они так наивны, что не умеют разобраться в достоинствах, недостатках, качествах своих учителей и воспитателей? Разве они не делают это каждодневно, относясь к одним педагогам с любовью и уважением, к другим — с уважением, а к третьим — без любви и без уважения?

Печально, что в педагогической среде ещё существуют и поддерживаются (хотя бы подобной рецензией) такие ханжеские, трусливые взгляды. Мы назвали их не только ханжескими, но и трусливыми потому, что в них, если глубоко разобраться, звучит не столько подлинная забота о детях, сколько страх за свой авторитет, ревнивое желание защитить честь учительского мундира. При этом словно забывают, что хорошее нельзя убедительно показать, не разоблачая плохого, что хорошее не может ужиться с плохим, что, наконец, хорошее — это непримиримость к плохому, что оно раскрывается в борьбе с плохим.

Идиллический подход к изображению жизни школы безусловно снижает, с нашей точки зрения, значение произведения. Даже в такой интересной, яркой, искроной книге, как «Мой класс» Ф. Вигдоровой, героиня всё же поставлена в чересчур благоприятные, мы бы сказали, даже оранжерей-

ные условия. Она окружена помощью, печением удивительно мягких, удивительно тактичных, мудрых и обогащённых опытом людей. Автор снял перед ней многие трудности, которые неизбежно встают перед молодым и новым учителем, вступающим в коллектив. А что это бывает в жизни не так просто и гладко, писательнице Ф. Вигдоровой могла бы подсказать известная своими острыми выступлениями на педагогические темы публицист Ф. Вигдорова.

В книге Г. Матвеева «Семнадцатилетние» мы встречаем попытку показать борьбу между передовым учителем Константином Семёновичем и — мы даже затрудняемся, как её квалифицировать: отрицательной? отсталой? плохой? — словом, не совсем хорошей учительницей Мариной Леопольдовной. На какой почве возникает эта борьба? Толчком к ней послужила обида: Марина Леопольдовна рассчитывала получить классное руководство в 10-м классе, а его передали Константину Семёновичу. Видимо, чувствуя неприципиальность такого конфликта, автор хочет «приподнять» его, перенести на педагогическую почву, выдать за столкновение разных подходов к воспитательной работе. Но это ему явно не удалось. Читатель ясно сознаёт, что Марина Леопольдовна просто вздорная женщина. Недаром учитель химии не советует с ней связываться. Что же, даже и в таком плане столкновение могло бы быть если и не принципиальным, то очень острым. Но автор тут же торопится убедить нас в том, что Марина Леопольдовна — учительница опытная, хорошая, и к концу повести заставляет её осознать свои ошибки, исправиться.

Конечно, если видеть только такие конфликты, то, само собой разумеется, нечего ждать драматизма, острых коллизий, напряжения, борьбы страстей.

Молодой писатель В. Баграновский в своей книге «Дорога призвания» (Киев, 1954) рассказывает о более значительном и принципиальном конфликте. В его повести выведена учительница Татьяна Степановна Голенцова. Она не готовится к урокам, пользуется старыми конспектами, завышает оценки учащимся. Наконец, она совершает прямое преступление: в диктовках исправляет ошибки, допущенные учениками, чтобы повысить число положительных оценок.

Но образ этой учительницы вызывает у читателей не столько гнев, сколько жа-

лость. Женщина она немолодая, усталая, одинокая, неустроенная, придавленная житейскими невзгодами. Её преступление продиктовано не столько злой волей, сколько желанием повысить показатели, чтобы не потерять работу. Она скорее жертва, чем активный носитель зла. Тем более жалка она, что ей противостоят молодые, полные энергии и сил учителя, возглавляемые очень опытными, очень мудрыми и очень пронизательными директором, завучем и т. д. И их поведение поэтому кажется нам даже не соответствующим обстановке.

Нет, не здесь пролегает главная линия борьбы.

Ну, как тут не вспомнить «Педагогическую поэму»? Мне кажется, что книгу эту мы недооцениваем. Мы слишком легко соглашаемся с теми, кто, на словах признавая её новаторство, на деле принижает её глубоко революционный смысл, её воинствующее звучание рассуждениями на тему о специфичности обстановки, о том, что школа — не колония, а учащиеся — не правонарушители, что времена меняются, что эпоха теперь не та. Между тем в действительности главное в книге не умерло и не умрёт, ибо главное в ней — пафос педагогического труда, недаром книга и названа «Педагогической поэмой». Борьба героя книги за перевоспитание правонарушителей — это борьба за торжество передовых педагогических идей, борьба за утверждение новых принципов педагогики, это борьба за победу нового отношения к человеку, борьба за Советскую власть, за коммунизм.

Вот такого раскрытия существа работы учителя мы, к сожалению, не ощущаем в произведениях современных писателей. Мы понимаем, конечно, что школьные условия — не условия колонии, а двадцатые годы — не пятидесятые, но это только может означать одно — характер творческой работы педагога может и должен измениться, обстановка и конкретные задачи могут быть иными, но сама деятельность учителя, её напряжение, общий смысл и цель её остались неизменными.

Вероятно, каждому кажется азбучной истиной, что развитие есть борьба, борьба нового, нарождающегося, со старым, отмирающим, борьба передового с косным, хорошего с плохим. Но, странное дело, писатели, пишущие о школе, очевидно, считают, что этот закон теряет свою силу перед школьным порогом.

Как ни условно деление литературы по принципу её тематики, но всё же нельзя не видеть, что писатели, пишущие о деревне, подняли немало острых вопросов, они смело вторгаются в жизнь, вскрывают недостатки, обличают отжившее, негодное, откровенно и страстно защищают новое, передовое. Но какой первобытный эмпиризм царит в литературе о школе! Школьная действительность предстаёт в ней как нечто абсолютно выкристаллизованное, установившееся. Самая большая и, в сущности, единственная проблема, выдвигаемая авторами, это — повышение методического мастерства... В повести В. Баграновского, например, десятки страниц посвящены правописанию мягкого знака послешипящих, употреблению двоящихся согласных и т. д. В иной книге найдёшь самую подробную, чуть не стенографическую запись урока, методические разработки преподавания отдельных тем, анализ контрольных работ. Но ведь это только технология учительского труда, она не может заменить раскрытия его сущности. В то же время (а может быть, именно поэтому) вне поля зрения авторов остаётся непосредственный смысл педагогической деятельности.

2

В сущности, многие произведения о школе построены по одной и той же схеме. Схема эта такова: молодой учитель (чаще — молодая учительница) приходит в школу. У него ещё нет опыта, но он полон стремления стать образцовым педагогом. Проходит время (чаще всего — учебный год), и молодой учитель становится мастером, заслуживает любовь и уважение учеников, авторитет коллег.

Всё это было бы с полбеды, в этом можно было бы видеть только досадное однообразие, если бы одинаковость сюжетного построения не сопровождалась и одинаковостью трактовки, подхода и раскрытия школьной жизни.

С каким-то непонятым единодушием все авторы — одни более, другие менее откровенно — сводят всё многообразие школьной жизни только к одному — к учёбе.

Никто не будет спорить, что школа существует для того, чтобы обучать ребят. Но кто согласится с таким обеднённым представлением о её действительной сущности, при котором остаются в тени столь важные стороны этого процесса, как

духовное развитие, культурный рост, расширение кругозора, формирование мировоззрения, становление характера? А ведь почти ни в одной книге мы не встречаем раскрытия именно этой стороны учебного процесса.

...Пятнадцать девушек учатся в 10-м классе одной из ленинградских школ. Что же волнует их, чем они живут? Посвятив этому почти шестьсот страниц убористого текста, писатель Г. Матвеев в своей повести «Семнадцатилетние» самое значительное увидел в борьбе за учёбу без троек.

Девушки составляют особый документ, «Обещание», которое является как бы теоретическим обоснованием, своеобразным манифестом их движения. Надо полагать, что автор видит в этом начинании проявление сознательного отношения к учёбе. Но на меня «Обещание» произвело тягостное впечатление. За его трескучими, претенциозными фразами, вроде «Путь наш ясен, и счастье обеспечено кровью отцов», или за патетическим восклицанием: «Тройка — серость! Двойка — позор!», я ясно ощущал отзвуки нехитрой «философии» сторонников пресловутого социалистического соревнования в учёбе. Старая, скучная песня... И зачем автору понадобилось воскрешать её? Неужели и до сих пор остаётся хоть тень сомнения в ненужности, вредности подобных начинаний?

Несомненно, в учебном процессе огромную роль играют отметки. Они позволяют фиксировать уровень знаний, служат средством воспитания, поощрения, мобилизации. Но нельзя согласиться с тем, что авторы придают им такое непомерное значение в процессе учёбы, при котором «двойка» и «пятерка» превращаются в нечто самоцельное, становятся самоцелью. Отметка, при всей её важности, всё же не больше чем цифровой показатель. Эта переоценка роли отметок порождена тем, что в основу определения качества работы школы часто кладётся именно цифровой измеритель — процент успеваемости. Механическое, чиновничье отношение к воспитанию!

Действительность неизмеримо сложнее этих статистических схем.

Юноша или девушка, даже самые прилежные и образцовые, не могут жить только учёбой, а уж тем более не могут наглухо замкнуть круг своих интересов стенами школы. Их живо волнует жизнь во всём её многообразии. Но, как ни странно, даже самую робкую попытку вый-

ти из этого заколдованного круга писатели встречаются в штывы. Герои многих произведений рассматривают её как зло. В этом отношении очень характерен такой эпизод в книге Г. Матвеева «Семнадцатилетние».

Татьяна Михайловна, жена героя книги — передового учителя Константина Семёновича, сама учительница и, очевидно, тоже передовая, жалуется мужу, что её воспитанницы пишут стихи и повести на темы, не имеющие «ничего общего со школьной жизнью». И вот супруги сообща задумываются над тем, как бы «переключить внимание детей на близкие им, знакомые темы».

Не знаю, на какие именно темы писали девочки стихи и рассказы. Полагаю, что их произведения были наивны. Но думаю, что их стихи не стали бы поэтичнее, если бы, как об этом согласно мечтают супруги-педагоги, девочки посвятили свои силы тому, чтобы «запечатлеть в художественной форме все значительные события и поучительные случаи учебного года»... И до такого маниловского ханжества договариваются передовые (по замыслу автора) учителя, да ещё преподаватели литературы!

В последнее время авторы некоторых книг иногда стараются вывести учеников за порог школы, но всё же с какой ещё осторожностью, с какой деликатностью касаются они острых жизненных явлений! Такие вопросы, например, как взаимоотношения родителей в семье, чаще всего в книгах рассматриваются лишь с служебной точки зрения, а именно, как фактор, облегчающий или затрудняющий учёбу, но никогда как трагедия, как несчастье, как явление действительности.

Какой юноша или девушка, даже на своём часто крохотном жизненном опыте, не сталкивались с материальной стороной жизни? Почему мы не позволяем им на страницах повестей задуматься над этим вопросом?

В нашей жизни немало противоречий, сложностей, трудностей. Понимает ли это молодёжь? Думаю, да. Почему же не показать это и тем самым помочь читателям разобраться в сущности того или иного явления?

К сожалению, даже в преподавании заметно стремление сгладить «острые» углы, обойти «скользкие» моменты, избежать прямого и честного ответа на те или иные сложные вопросы. Недавно мне пришлось побывать на уроке литературы в 10-м клас-

се. Я был поражён тем, какие понадобились дипломатические усилия учительнице при ознакомлении учащихся с биографией В. В. Маяковского для того, чтобы сгладить смысл того факта, что поэт покончил жизнь самоубийством. И это не индивидуальная особенность педагога, это линия, которую намечает методика. А ведь учащиеся, особенно старших классов, очень тонко чувствуют это, и, надо сказать прямо, они теряют уважение к таким учителям, которые избегают честного ответа, мало того, они приучаются думать, что от них прячут правду, что существует, дескать, другая правда.

Хотя мы перешли к вопросам как будто чисто педагогическим, но они имеют прямое отношение к литературе. Именно она должна внести свежую струю, выступать смело, решительно, а не эмпирически фиксировать действительность.

3

Все профессии в нашей стране уважаемы, и нет такой, которая не открывала бы простора для творчества. Все профессии в нашей стране необходимы, и было бы бессмысленно спорить, какая из них более, а какая менее важна. И всё же нельзя не выделить профессию учителя. Я имею в виду не только её государственную значимость, общественную важность, но и её специфические особенности. Будучи во многом похожей на любую другую профессию, она в то же время отличается от неё тем, что имеет дело с самым тонким, самым чувствительным материалом — детьми, подрастающим поколением. Успех в такой работе не может дать только одна выучка, как бы высока она ни была, если она не сочетается с моральной чистотой, честностью, благородством, высоким интеллектом, духовным богатством. Незримым компонентом успешной учёбы всегда является любовь: со стороны учителя — мудрая, строгая, требовательная; со стороны учеников — доверчивая, благодарная, даже восхищённая.

Такую любовь питал к своим воспитанникам А. С. Макаренко, и такой ответной любовью платили ему его ученики. Семён Калабалин, вспоминая об А. С. Макаренко, говорит, что «он был для нас постоянно действующим, самым живым и убеждающим примером. Нам хотелось хоть чем-нибудь походить на него: голосом, почерком, походкой, отношением к труду, шуткой».

Так же беззаветно любил свою учительницу Елену Григорьевну и маленький Федя из автобиографической трилогии Ф. Гладкова. Она стала для него живым воплощением всего хорошего, светлого, благородного. В ней его детское неискушённое и чистое сердце увидело Человека, каким он должен и может быть.

Исключив для своих героев-педагогов возможность борьбы с конкретными носителями зла, изолировав их от широких общественных интересов, многие писатели не только обеднили, но и оскуднили их деятельность, лишили её напряжения, масштаба, накала страстей, перспективы, а самих учителей сделали уныло дидактичными и донельзя будничными. Можно ли полюбить таких людей?

Герои подобных произведений превратились в какие-то бесплотные существа. Они не бывают старыми или молодыми, а только опытными или неопытными. Они не бывают талантливыми или бездарными, умными или глупыми, а только квалифицированными или неквалифицированными. Они не бывают хорошими или плохими людьми, а только хорошими или плохими педагогами. В них не кипят страсти, а только происходит процесс педагогического осмысливания. Перед ними никогда не встают этические, моральные или политические проблемы, а только дидактические или методические трудности. Они добросовестны и трудолюбивы, но в их труде нет вдохновения и огонька, творческого полёта, артистичности; они честны, но скучны, умны, но без блеска. Они и внешне удивительно будничны — вечно озабочены, перегружены, обременены, постоянно торопятся, всегда на бегу, им некогда перевести дух, остановиться, подумать, осмыслить не только жизнь в целом, но даже и свой собственный труд.

В книге Г. Медынского «Повесть о юности» описаны три года жизни московской учительницы. Но если день за днём проследить её жизнь, то какая представится невесёлая картина. Полина Антоновна сама с горечью сетует, что отстаёт, мало читает. Надо бы почитать, не раз думает она, да всё некогда. Один-единственный раз Полина Антоновна решает поехать за город к родным. Но, будто испугавшись этого отступления, автор наказывает героиню: она простужается и заболевает.

При этом автор словно не задумывается над горечью учительницы, которая признаётся, что ей некогда читать. А мы её понимаем, потому что учителя непомерно загружены, их время варварски расхищается всевозможными заседаниями, расстрачивается на канцелярскую писанину, бюрократическую отчётность. В том, что Полина Антоновна не читает, я вижу не её вину, а её беду. А писатель готов видеть в этом самопожертвование, героизм.

Так или иначе, но несомненно одно, что учителя — герои многих произведений о школе — возможно, люди положительные, но лишённые обаяния, прелести, поэтичности, не способные пленить воображение детей, вызывать их восхищённую любовь.

— А нужна ли она, такая любовь? — слышу я ворчание маститых авторов учебников педагогики, где на шестистах страницах с убийственной дотошностью анатомизирован весь живой процесс обучения и воспитания. — А какое место в педагогическом процессе должна она занять? В чём положительное значение этого фактора?..

Но учение — это не абстрактный процесс усвоения знаний, в котором учитель выполняет чисто механические функции, а процесс живого общения, непрерывного воздействия личности учителя на душу учеников. В таком понимании процесса обучения любовь ученика к учителю есть могучий и действенный фактор, такой же закономерный, такой же естественный, такой же благотворный и облагораживающий, как любовь детей к своим родителям. Можно только пожалеть тех детей, которые прожили школьные годы, не испытав такой любви, и не смогли унести с собой в жизнь образ любимого учителя. Но ещё более горек удел тех учителей, которые не смогли вызвать и пробудить в своих воспитанниках такого чувства к себе и которые поэтому не могли познать, как самое высшее удовлетворение, как самую дорогую награду, благодарную, искреннюю и восхищённую любовь своих учеников.

Благородная задача советских писателей — инженеров человеческих душ — раскрыть в увлекательных и вдохновенных книгах сущность и поэзию труда учителей, которые тоже ведь являются инженерами человеческих душ.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Лучак. Страницы великой жизни. — **Л. Александров.** Три повести В. Герасимовой. — **В. Серёгин.** Роман об Иване III. — **Б. Зубрилина.** Люди будущего. — **Г. Шукст.** Встреча с юностью. — **В. Андреади.** Стихи об Азии. — **Гр. Ципенко.** Шестеро отважных. — **Е. Белов.** Путешествие с книгой. — **А. Ливеровский.** Не пугайте детей! — **В. Лавринович.** Несколько замечаний. — **С. Попрыкин.** Афганские народные сказки.

ПОЛИТИКА И НАУКА

М. Шутый. Энергия великих рек. — **С. Небесный.** Массовая литература о целине. — **В. Левачёв.** Опыт одного леспромхоза. — **И. Васильева-Южина.** Записки авиатора. — **И. Ставицкий.** Сверлильные станки. — **Д. Лебедев.** Трагедия капитана Скотта.

Литература и искусство

Страницы великой жизни

«**В** великих людей не две даты их бытия в истории — рождение и смерть, а только одна дата: их рождение» — эти слова А. Н. Толстого, сказанные им на похоронах Горького, невольно приходят на память, когда читаешь новую книгу, вышедшую в «Серии литературных мемуаров» — «М. Горький в воспоминаниях современников».

До сих пор нам были известны сборники воспоминаний о Горьком, которые носили по преимуществу «областной» характер («Горький в Нижнем Новгороде», «Горький на родине», «Горький и Сибирь», «Горький в Самаре» и другие). А большой и интересный материал, содержащийся во многих мемуарных записях, был разбросан по отдельным книгам и трудно доступен массовому читателю.

Поэтому нельзя не порадоваться появлению фактически первого свода мемуарных материалов о Горьком. «Всё, что наиболее полно освещает многогранную личность великого основоположника советской литературы, всё, что способствует углублён-

ному изучению его почти полувековой творческой, революционной, организаторской деятельности, его духовных связей с современниками, — всё это, насколько позволяют размеры книги, в неё включено», — указывается во вступительной статье.

Известно, что дружба с Лениным — одна из самых ярких глав в биографии писателя. В первом разделе сборника читатель познакомится с воспоминаниями Н. К. Крупской и М. И. Ульяновой о том, как неизменно и горячо интересовался Владимир Ильич творчеством Горького, его произведениями, помогал преодолевать заблуждения, поддерживал его в трудные минуты, трогательно заботился о нём. Яркие примеры поистине отеческого внимания В. И. Ленина к Горькому приводятся в воспоминаниях М. Ф. Андреевой и М. И. Гляссер. И нам становятся понятными взволнованные слова писателя о своём великом современнике: «Его отношение ко мне было отношением строгого учителя и доброго заботливого друга».

С этим разделом сборника органически связаны воспоминания современников об отношениях писателя с И. В. Сталиным, который видел в Горьком, как указывает Л. Леонов, «титанического человека». Запоминается рассказ Л. Никулина о беседе

«М. Горький в воспоминаниях современников». Подготовка текста и комментарии Р. Ковнатор. Редакция А. Мясникова и А. Лекторского, 744 стр. Гослитиздат. М. 1955.

И. В. Сталина с группой советских писателей, в числе которых был и Горький.

Остальные материалы сборника расположены хронологически. Все они рисуют, черта за чертой, замечательный образ Алексея Максимовича, дают поучительный пример того, что подлинно великое искусство неразрывно связано с жизнью. Большой интерес представляют воспоминания А. Деренкова, А. Калюжного, Ф. Хитровского и многих других, знавших писателя ещё в 80—90-е годы. Яркие страницы мемуаров В. Десницкого, А. Тихонова, Е. Замысловской и Н. Буренина характеризуют участие писателя в революционном движении. Вообще тема «Горький и революция» является ведущей во всех заметках современников — настолько кровной была связь жизненной и творческой судьбы писателя с историей пролетарского освободительного движения. И тем удивительнее отсутствие в книге, так тщательно, любовно составленной, важнейших отзывов Ленина о писателе, который, по его словам, принёс «рабочему движению России — да и не одной России — такую громадную пользу».

В сборнике нашли своё отражение почти все стороны многогранной общественно-политической и литературной деятельности писателя.

В широко известных воспоминаниях В. Немировича-Данченко, К. Станиславского, В. Качалова, а также Б. Захавы и К. Скоробогатова отражены широкие связи Горького с театром. Сборник, конечно, не может включить все воспоминания о Горьком, но нам кажется, что отрывки из мемуаров В. Лужского — первого исполнителя роли Бубнова в пьесе «На дне» — следовало внести в книгу.

Горький — воспитатель и учитель писателей — такова основная тема воспоминаний С. Скитальца, Н. Телешова, Вс. Рождественского, В. Шишкова, М. Пришвина и

многих других. «Нет положительно ни одного талантливого человека в России, пишущего во имя народного будущего или вышедшего из народа, чья бы судьба шла вдали от горьковского влияния. Он «крестный отец» почти всех начинающих. Матрос Новиков-Прибой, крестьянин Иван Вольнов, научный работник Михаил Пришвин, врач Вересаев, учитель К. Тренёв обязаны ему своими первыми шагами», — пишет П. Павленко. С большой полнотой и разнообразием представлены в сборнике воспоминания о последних годах жизни Горького.

С захватывающим интересом читается эта книга. Люди разных профессий, разных поколений рассказывали о своём великом современнике, но что-то общее есть в их заметках — взволнованность, сердечность повествования. Это и понятно: иначе писать о Горьком нельзя.

Нужно отметить, что использованию содержащихся в сборнике материалов, их правильной оценке помогает содержательная, популярно написанная вступительная статья Ю. Акимова. В книге мы найдём также хорошие, достаточно полные комментарии; облегчает пользование мемуарами и указатель имён, составленный с большой тщательностью.

Мы не сомневаемся в том, что вскоре потребуется второе издание сборника «М. Горький в воспоминаниях современников», и хочется пожелать, чтобы новое издание было дополнено воспоминаниями о Горьком зарубежных мамуаристов. Это сделало бы материал книги значительно шире и позволило бы читателям ярче, полнее представить мировое значение писателя, о котором Анри Барбюс говорил: «В наше время Горький — великий светоч, открывающий пути всему миру».

А. ЛУЧАК,

учитель 29-й средней школы.

Одесса.

★

Три повести В. Герасимовой

С интересом прочитал я сборник повестей Валерии Герасимовой «Простая фамилия» — о дружбе, любви, о формировании мировоззрения.

Повести «Дальняя родственница», «Байдарские ворота» и «Простая фамилия»,

Валерия Герасимова. Простая фамилия. Повести. Редактор К. Иванова, 192 стр. «Советский писатель». М. 1955.

написанные в разное время, о разных людях, объединены общим замыслом. Становление характера молодёжи на критическом этапе вступления в жизнь — вот что неизменно привлекает писательницу.

В повести «Дальняя родственница», действие которой происходит в середине двадцатых годов, дочь сельской учительницы комсомолка Маша Груздева, полная радуж-

ных надежд, приезжает в большой город. Не сразу доходит до сознания девушки, что родственники — семья профессора Вержбловского — вызвали её не для того, чтобы помочь получить высшее образование, а чтобы сделать из неё домашнюю работницу.

Но это разочарование ещё не самое большое. Постепенно Маша приходит к пониманию хищнической, эксплуататорской сущности Вержбловских и их окружения — старой интеллигенции, верной своим прежним хозяевам. Из разговоров «спецов» на семейной вечеринке Маша узнаёт их намерения: «Отстоять университет от нашествия скифов», то есть от крестьян и рабочих, от таких простых людей, как она сама. Враждебные революции люди тайно поддерживают профессора, изгнанного из университета за контрреволюционную деятельность.

Перед девушкой возникает вопрос: смириться, подчиниться Вержбловским или пойти против них? Маша поступает как комсомолка и разоблачает врагов.

Рассказ привлекает тем, что в нём тонко передано нарастание в душе Маши чувства гнева, ненависти к её перекусавшимся родственникам, хотя некоторые мотивировки мне здесь кажутся недостаточно убедительными. Очень точными деталями обозначает В. Герасимова защитную маскировку, к которой прибегает враг, — например, алая косыночка и простецкие манеры «заводской девчонки», усвоенные дочерью профессора Вержбловского, желающей скорее и вернее попасть в вуз. Столкновение, которое изображено в рассказе, — большое, серьёзное, характерное для своего времени.

Яркий патриотический эпизод лежит в основе повести «Байдарские ворота», посвящённой событиям Великой Отечественной войны. Здесь рассказывается о девушке-школьнице Ольге Куроченко, несколько странной и необычной по своему характеру. Когда в её родные края врывается война, душевные силы девушки находят выход в героическом подвиге. Ольга, Елена и Махотин — герои этой повести — привлекательны, понятны и близки нам. Характер Ольги интересен и своеобразен. Но вот что удивительно: сама трагическая гибель Ольги и

её сестры Елены не оставляет того глубокого следа в сознании читателя, какой она должна была бы оставить. Почему? Причина, по-моему, — несовершенство художественных средств: кое-где повесть написана манерно.

«Простая фамилия» — повесть, посвящённая нашим дням. Её героиня — Тоня Бровкина — певица, вышедшая из колхозниц, окончила консерваторию. Перед Тоней — широкая дорога. Но её тянет в родную деревню, к товарищу детских лет Сергею.

Автор раскрывает характер Тони во взаимоотношениях с разными людьми: с матерью, Сергеем, с другими колхозниками, в столкновении с городскими знакомыми, в том числе носителями старой морали, старых взглядов на искусство. Чувствуется, что автор — опытный наблюдатель: он умеет видеть то, что не каждому дано разглядеть. Но, пожалуй, эта повесть слишком спокойна. Все столкновения в ней решаются чересчур легко и быстро. Борьба Тони Бровкиной против эстета Сверчковского изображена без достаточной художественной силы. Да и самый спор о том, кто же является представителем подлинного искусства: простая девушка из народа вроде Тони или «знатоки» вроде Сверчковского, кажется мне уже давно решённым для наших дней; он не характерен для времени, когда столько прославленных мастеров сцены, кисти и пера могут писать воспоминания о том, как они начинали свой путь в кружках самодеятельности на заводе, в колхозе и т. д.

Радует верность писательницы определённой теме. В. Герасимова ставит перед собой сложную задачу: в столкновении характеров рядовых героев отобразить борьбу старого с новым. Автор правдиво показывает носителей старой идеологии и новых людей, успешно борющихся против них. Сущность их характеров сложна, иногда противоречива, раскрытие их — не простая задача. И хотя не всё удаётся здесь писательнице, хочется поблагодарить её за смелость, за последовательность и целеустремлённость.

Л. АЛЕКСАНДРОВ,
пенсионер.

Москва.

★

Роман об Иване III

Будучи историком по специальности, я более или менее внимательно слежу за новинками советской исторической литературы. Отрадно, что среди них есть немало хороших книг, обогативших нашу художественную литературу.

Однако здесь мне хочется сказать о серьёзных, на мой взгляд, недостатках вышедшей недавно пятой книги исторического романа В. Язвицкого «Иван III — государь всея Руси». Книга называется «Вольное царство».

Понятно стремление автора завершить работу над крупным художественным произведением о выдающемся государственным и военном деятеле, каким был Иван III, книгой, в которой была бы отражена деятельность московского государя после победы над татарами на реке Угре. Именно в этот период завершалось собирание русских земель вокруг Москвы (присоединение Твери, Рязани) и положено начало освобождению исконных русских земель, временно подпавших под власть Польши, Литвы и Швеции. В области внутренней политики проводилось постепенное, но неуклонное укрепление централизованной власти, дальнейшее закрепощение крестьян, упрочение положения господствующего класса — феодалов.

В чём же основные недостатки книги?

Прежде всего в идеализации образа самого государя Ивана III. Потеряв чувство меры, автор наделяет Ивана Васильевича одними положительными качествами, независимо от того, выступает ли он перед нами как великий князь, военачальник или глава семьи. Автор буквально любит нарисованным им самим портретом могущественного государя, мудрого правителя,

искусного в военном деле полководца, умиляется его поступками. Вместо живого человека В. Язвицкий преподносит нам своего рода идеального героя прошлого времени.

То же самое можно сказать и о старшем сыне Ивана III — наследнике престола Иване Ивановиче. Подражает ли он во всём своему отцу или это заставляет делать его автор, но действия, поступки, мысли Ивана Ивановича трудно, почти невозможно отличить от действий и поступков его отца — та же идеализация образа, выпячивание одних положительных сторон. Неубедительно звучит рассказ о смерти Ивана Ивановича от руки подосланного римским папой врача Леона.

Описание событий, развёртывающихся в романе, ограничивается главным образом столовой и опочивальней Ивана Васильевича. Здесь сосредоточено основное внимание писателя. Излишне много места уделено описанию сватовства дочери Ивана Васильевича — Елены Ивановны, интригам при дворе великой княгини Софьи. В то же время весьма скупо показана классовая борьба крестьян против своих угнетателей — светских и духовных феодалов. А ведь в то время, в связи со всё более усиливающимся закрепощением крестьян, эта борьба принимала острые формы. Совершенно незначительное место отведено в книге народным массам — подлинным творцам истории.

В своё время в печати прозвучал ряд критических замечаний по адресу первых четырёх книг романа «Иван III — государь всея Руси». Следовало ожидать, что автор учтёт эти замечания при работе над последней, пятой книгой. Однако этого, к сожалению, не случилось.

В. СЕРЕГИН,

инструктор политотдела
Н-ской части.

Сухуми.

★

Люди будущего

На днях я прочла фантастическую повесть В. Сытина, и мне очень захотелось высказать несколько своих мыслей о ней. Когда я читаю какую-либо фантастическую повесть, я всегда отношусь к ней,

как к близкой действительности. Мы, работники почты и телеграфа, каждодневно сталкиваемся с действительностью, которая ещё так недавно казалась фантастикой. Разве не несбыточной мечтой казалась ещё так недавно возможность говорить по телефону? А теперь не только звук, но и изображение передаётся на расстояние и без проводов.

В. СЫТИН. Покорители вечных бурь. Редактор Н. Максимова. 128 стр. Детгиз. М. 1955.

Повесть «Покорители вечных бурь» В. Сытина интересна и увлекательна. Думается, что не правы те люди (а такие мнения мне приходилось слышать), которые считают, что главное в фантастическом произведении — сюжет, наполненный всякими невероятными происшествиями. Мне кажется, что в таком случае сюжет перестаёт быть правдоподобным и, следовательно, увлекательным. Сюжет в произведении должен, мне кажется, существовать для раскрытия мыслей писателя, характеров людей. И это и есть то главное, что привлекает к повести В. Сытина.

Фантастический сюжет в его книге — только повод для раскрытия характеров советских людей. Автор очень хорошо показывает, чего могут достигнуть люди, когда они работают вместе, в коллективе, где каждый ценит и уважает труд другого.

Очень мне понравился образ академика

Никольского; я считаю, что главное в этом образе — тёплое, человеческое отношение Никольского к людям.

Этот старый мудрый человек много даёт окружающим, но ещё больше он берёт от них. Понравились мне также образы Терехова, Александрова, Дубникова.

К сожалению, образы многих героев произведения раскрыты односторонне. Не показана личная жизнь этих людей, и оттого они выглядят несколько суховато.

В заключение хочется сказать следующее: книга издана Детгизом и предназначена для юношества. К сожалению, не все книги, изданные Детгизом, бывают хороши и интересны. Эту же книгу я с удовольствием дам прочитать своей дочери. Думаю, что ей она понравится.

Б. ЗУБРИЛИНА,

работник 9-го почтового
отделения.

Москва.

★

Встреча с юностью

Перед нами повесть Н. Почивалина и две пьесы, написанные им в соавторстве с Б. Малочевским. Но что знает читатель о неизвестных авторах, кроме их книг? Ведь, взяв в библиотеке новую книгу популярного автора, мы, ещё не читая её, уже кое-что о ней знаем. Не углубляясь в эту и без того ясную истину, хотелось бы обратиться к издательствам с предложением: не стоит ли, по примеру «Библиотеки «Огонька», сопровождать иные книги хотя бы краткой биографической справкой?

Итак, я взял в библиотеке две книги писателя Н. Почивалина. Действие повести «Юность» развивается во время Отечественной войны. Центральный герой повести — литературный секретарь армейской газеты. Повествование ведётся от первого лица.

Такая форма повествования способна быстро сблизить с героем; всё происходящее мы начинаем видеть его глазами. Очевидно, в зрелую пору мы знаем о жизни больше, точнее и правильнее можем судить о людях и событиях. Но вспомним своё вступление в жизнь: не так ли, как герой «Юности», делали и мы свои маленькие от-

крытия? Не так ли страдали, когда наша первая любовь оказывалась разбитой (сналивый читатель, у которого первая любовь оказалась и единственной, к тебе это не относится!)? И где бы мы ни были, что бы ни делали, нам казалось, что всё это не то, что всего этого мало...

Больше всего мне нравится в повести, что, знакомя нас с судьбой героя, она заставляет вспомнить и нашу юность, подумав о том, как осуществились наши мечты. В изображении жизни Н. Почивалина стремится к простоте, к правде, без излишней «высоких» фраз. И думается, во многом это ему удаётся. Так, один из героев повести, раненый лётчик, высмеивая корреспондента, говорит о нём: «Решил написать очерк с мудрёным названием «Психология подвига». Ну, доложу вам, и взмок я от его психологии! Расскажи да расскажи, что я думал, когда сбивал немца. Говорю ему: поверь ты, ради Христа, ничего не думал! Некогда было думать! Думал, говорю, что, если я его вниз не суну, тогда он меня продырявит!..»

Иногда же стремление к простоте приводит Н. Почивалина, как мне показалось, к упрощенчеству. Вот эпизод. Первая жертва войны. Тяжело переживают сотрудники редакции гибель своего товарища, вспоминают его жизнь, дом, мать.

«Жил человек — и нет человека. Диссертацию писал...

Н. Почивалин. Юность. Повесть. Редактор А. Нежданов. 128 стр. Тюменское книжное издательство. 1955.

Н. Почивалин, Б. Малочевский. Твоя жена. Русская тропинка. Пьесы. Редактор Н. Катков. 120 стр. Пензенское книжное издательство. 1955.

А мать — старушка. У неё только и свет в окошке, что Мишенька...

— Давайте пошлём денег, — предлагает Гранович.

— Это дело, — оживляется Метчиков. — Пока пенсию установят.

Плохо, когда писатели забывают о «мелочах» быта, ещё хуже, когда они делают вид, что не знают вообще, что такое деньги, но в данной ситуации куда более уместным было бы послать старушке матери тёплое, ласковое письмо.

Через всю книгу проходит тема любви. В схеме всё очень просто: он любит её, а его любит другая, более достойная, но он сначала не замечает её любви. Зато потом, когда та, любимая, выходит, не дождав-шись его, замуж, он прозревает и соединяет свою жизнь с более достойной. Как видите, схема внешне не сложна и в таком изложении чуть ли не смешна. Давайте, однако, посмотрим на её решение.

Юноша, герой повести, уходя на фронт, оставляет в тылу девушку — невесту и друга. Вместе с ней прожиты школьные годы, с ней связаны все его мечты, и, кроме неё, у него нет ни одного близкого человека. Большая любовь прервана жестоким ходом событий. Оставшись в тылу, девушка полна тревоги за своего любимого. Но вот она встречает человека, раненого фронтовика, потерявшего на войне всё: здоровье, жену, дочь. Из его рассказов девушка узнаёт, что редакция фронтовой газеты — это чуть ли не рай земной (согласимся с этим мнением: по сравнению с передовой, второй эшелон действительно напоминал рай, но только по сравнению!), и успокаивается. Вина её или беда в том, что, по свойственному многим женщинам чувству жалости, видя, что другому человеку она нужна больше, она выходит за него замуж, продолжая в душе любить своего прежнего друга.

Как видим, в первой половине «схема» не остаётся схемой, и в ней нет ничего смешного. Драма в прямом и буквальном смысле. Вторая половина менее драматич-

на, так как в конечном итоге приводит к счастливой свадьбе героя с более «правильной» девушкой. Однако к счастливому финишу ведут долгие годы одиночества, раздумий, опрометчивых поступков.

Склонность Н. Почивалина к изображению сильных и глубоких переживаний и напряжённых ситуаций заметил я, прочитав и написанные им вместе с Б. Малочевским пьесы-драмы «Твоя жена» и «Русская тропинка». Интересен конфликт пьесы «Твоя жена». От талантливого, молодого и обаятельного писателя, отважно борющегося с рутинёрами, уходит жена. Уходит «лишь» из-за недостатка внимания к ней, уходит, не возвращается и даже находит счастье с другим. Читатель симпатизирует обоим — и писатель и его жена хорошие люди, и всё же они не сумели сохранить семью. Здесь есть над чем задуматься.

Пьеса «Русская тропинка» посвящена нелёгкой жизни и творчеству изобретателя-самоучки конца XIX, начала XX века. Обе пьесы напечатаны в сценической редакции мастера сцены заслуженного деятеля искусств РСФСР А. В. Шубина.

Конечно, не всё мне понравилось в прочитанных книгах. В повести (к пьесам это относится меньше) бедноват язык. Большим недостатком является и то, что, уделяя всё своё внимание развитию лирической линии, автор порой забывает о прочих важных событиях. Так, например, читая в повести о жизни редакции армейской газеты, мы узнаём, кто кого любит, кто о чём мечтает и у кого какие глаза, а вот чем живёт армия, органом которой является газета, не знаем. Несколько бегло написанных боевых эпизодов не восполняют этого пробела.

Н. Почивалин многое видит, многое правильно обобщает. «...наблюдательность и трудолюбие, вероятно, и создают писателя», — говорит один из героев повести. Пожелаем же самому автору всегда помнить эти слова.

Г. ШУКСТ,

заведующий библиотекой
Института питания.

Москва.

★

Стихи об Азии

Мне понравился сборник стихов и переводов Александра Гитовича «Под звёздами Азии», выпущенный издатель-

ством «Советский писатель» в Ленинграде. Я очень люблю стихи, лучшие из них — надёжные спутники моей жизни.

А. Гитович. Под звёздами Азии. Редактор Е. Наумов. 184 стр. «Советский писатель». Л. 1955.

Работаю я машинисткой, и хотя моя профессия скромная и незаметная, она мне нравится. Я люблю, когда чернильные строчки,

зачастую написанные неровным, неясным почерком, несколько раз перечёркнутые, приобретают строгость и ясность, ровными и чёткими буквами отбитые мной на машинке.

За свою жизнь мне пришлось много печатать художественных произведений. Особенно я люблю печатать стихи. Иногда принесёт их мне автор, усталый, измученный, — видно, всю ночь писал. И сам уже запутался в написанном. Перепечатаешь старательно и смотришь — повеселел он. На напечатанном листе сразу видны достоинства и недостатки. И мне очень приятно чувствовать, что моё скромное участие, мой труд принесли пользу.

Однако вернусь к книге Александра Гитовича. К сожалению, до последнего времени у нас выходит очень мало книг об Азии.

А это очень жаль. Потому что новые книги о таких странах, как Китай или Корея, или о таких, как Индия, Бирма, Афганистан, обогащают нас не только новыми знаниями, но и раскрывают перед нами неопценные сокровища, хранимые в душе народов, населяющих эти страны.

В последнее время появляются переводы стихов азиатских поэтов в «Литературной газете» и, что особенно ценно, выходят отдельные книги.

Пусть будут сердца ваши,
Как маленькие домики,
И откроют окна, давно уж закрытые;
Пусть теплом и цветами,
Ароматом и светом,
И росой
Наполню я ваши сердца.

Этот отрывок из произведения китайского поэта Ай Цина можно было бы поставить эпиграфом ко всему сборнику. Его умные

и красивые стихи, в каждом из которых мы чувствуем сердце друга, наполняют нас теплом и благодарностью. Из особенно понравившихся мне стихов хочется отметить полное оптимизма стихотворение Ай Цина «Разговор с углем», стихи Го Мо-жо «Поэзия и оборона». До того, как я прочитала книгу А. Гитовича, я даже и не знала, что вождь китайского народа Мао Цзэ-дун писал стихи. С огромным интересом прочла я его «Воспоминание о Далёком Походе», рассказывающее о героической борьбе Народно-освободительной армии. Согреты внутренним волнением и имеют познавательную ценность оригинальные стихи Гитовича, помещённые в сборнике. Чувствуется, что поэт по-настоящему любит и знает то, о чём пишет. Очень хороши стихотворения «Цвета Кореи», «Актёр», «Я верую в молодость...».

В заключение я хочу сказать, что чем больше взволновала тебя книга, тем досаднее замечать в ней недостатки. А в книге Гитовича эти недостатки тем более досадны, что происходят они от небрежности. Мы, машинистки, очень расстраиваемся, когда в наших трудах находятся опечатки, но ведь мы печатаем всего в трёх, четырёх экземплярах и наши труды не встречаются с широким читателем, а книга Гитовича вышла тиражом в десять тысяч экземпляров, и тем не менее в ней есть опечатки. Приведу несколько примеров. Страница 16: «Он обречён искать и кровь и хлеб» — вероятно, у автора «кров». Страница 21: «Его усмешки добрый и сухой» — вероятно, у автора «добрый и сухой».

Мне скажут: это мелочи. Да, конечно. Но хотелось бы, чтобы эти мелочи не мешали воспринимать главное.

В. АНДРЕАДИ,

Москва. машинистка Мособлспецстроя.

Шестеро отважных

В основу повести Александра Борщаговского «Пропали без вести» положены события, разыгравшиеся в конце 1953 года на Курильских островах: буксирный катер «Ж-257» с неполным экипажем продрейфовал в бушующем зимнем океане восемьдесят два дня, и шестеро моряков вернулись к своим берегам. Ни холод, ни голод, ни

тяжёлые лишения не могли сломить их духа. Они показали себя настоящими советскими людьми.

Мотивы повести А. Борщаговского новы, но в них нет вымысла, взят живой кусок жизни. Автор почти с документальной точностью воссоздал обстановку бедствий и стойческой борьбы шестерых моряков в океане.

Читатель надолго запомнит беспримерный поединок отважных советских мореплавателей со стихией.

Ал. Борщаговский. Пропали без вести. «Знамя» №№ 7 и 8 за 1954 год.

Шесть человек в океане на маленьком катере, «меньше не бывает, разве что лодочки, плавающие у самого берега», а «вокруг океан, деловито свирепый, не во время разбуженный какой-то злой силой, тёмные пади, светлеющая к гребням волна, бешеная пена вокруг каждой широко разверстой океанской пасти».

Всякую секунду решался для команды один и тот же самый простой и самый сложный вопрос: спасутся они или погибнут? Восемьдесят два дня отвечали на него отважные в океане. А ведь люди-то они разные: по возрасту и профессии, по жизненному опыту и характеру. Один — старый и испытанный мореход, а двое — совсем молодые, не обвеянные морскими ветрами, четвёртый — мечтатель, а пятый — сугубо практичный человек, такой, какими часто бывают мастеровые люди. Шестой же совсем не похож на всех остальных, чуть-чуть бродяга, у которого всё тело «проспиртовано», и вообще «средней величины человек». Но как бы ни разны они были по своему характеру, по своему общественному положению, все они без исключения равны в понимании своего гражданского долга, в любви к Родине, в глубочайшей вере и преданности ей. Никто из них за всё время тяжёлой борьбы не впал в уныние, никто внутренне не сдался.

«Оказывается, можно есть раз в сутки. Можно пить пять ложек воды... Главное, не потерять веру в себя, в товарищей...» — размышляет один из героев повести под впечатлением прочитанного Сашей Жебровским рассказа Джека Лондона «Любовь к жизни», где человек, поставленный в условия моряков, остаётся одиноким и чуть ли не гибнет, предательски покинутый другом. «Почему собственная судьба кажется им более лёгкой?» — вопрошает автор и тут же отвечает: «Может быть, потому, что их шестеро? Что они не одиноки?..»

Да, шестеро — это целый мир советских людей — единомышленников, это коллектив, крепко спаянный единой волей, единым стремлением, единой целью. Это друзья и собратья по оружию, это товарищи. И они не одиноки и не могли быть одинокими: на поиски затерявшегося в океане буксирного катера была брошена целая флотилия судов.

Протокольно скупое повествует автор о том, как Родина, обеспокоенная судьбой шестерых моряков, стремилась выручить

своих сынов из беды. Люди на берегу знали, верили, что товарищи их будут спасены. Небольшая деталь говорит о многом: длительное время, в условиях крайней нужды в жильё на острове, шесть постелей остаются нетронутыми, комната ждёт своих жильцов...

В самую тяжёлую минуту моряки несколько не сомневались в том, что не забыты Родиной, не покинуты ею. Это воодушевляло их в той беспримерной борьбе, которую они вели. Особенно страстно эта мысль звучит на страницах, рассказывающих о предновогодней уборке на катере и подъёме флага.

Мне могут сказать, что, говоря о повести Александра Боршаговского, я увлёкся одной её стороной, а именно содержанием её, и не разобрал всех её художественных достоинств и недостатков, но к этому я, собственно, и не стремился. Это — дело профессиональных критиков. К тому же, мне кажется, что если герои книги тебя волнуют, если ты в них поверил, то, значит, и художественную свою задачу писатель в той или иной мере выполнил. Конечно, тут можно спорить именно об этой мере, о большей или меньшей степени художественности, но во всех случаях, мне кажется, тон критики должен быть дружеским. А вот статья Николая Панова «Подвиг шестерых в океане» («Литературная газета» от 3 сентября 1955 года) написана, по-моему, недоброжелательно и как-то очень безапелляционно.

Вот Н. Панов разбирает следующий эпизод повести. После 50 дней дрейфа моряки видят невдалеке остров. Все радуются — там тёплый очаг, питьевая вода, сытная пища. Но вдруг возникает тягостное сомнение: чужая земля это, чужой дом.

«— Худо дело, Санёк, — говорит старпом. — Похоже, тут нас искать не станут. Не положено.

— Ясно, — хмуро подтверждает Саша. — Это не наш остров.

— Выходит, на чужой двор попали. А? — задумчиво произносит старпом. — Увидят, уши надерут.

— Факт.

— А за что? — разозлился вдруг старпом. — Что мы, виноваты в чём? Зло какое сделали?

— Мы у них во всём виноваты. — Саша помолчал. — Жить охота, да из чужих рук принимать свою жизнь худо: ещё какую цену заломят? Сразу и не скажешь, что

лучше, жить или накрыться. Вон на Тайване до сих пор мучаются моряки — и наши, и поляки...»

«Нет, — утверждает критик, — не в таких рассудочных тонах мог вестись этот разговор двух моряков-патриотов, умирающих от жажды и голода, истощённых в борьбе со стихией, но не потерявших стойкости духа».

А в каких? — позволительно спросить: Разве Травкин в «Звезде» Э. Казакевича

или Мересьев в «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого рассуждали иначе, более торжественно и высокопарно?

Повесть Александра Борщаговского «Пропали без вести» — хорошая, полезная книга, таково моё мнение. В ней есть, конечно, и недостатки — длинноты, скомканный конец, но, закрыв книгу, хочется поблагодарить автора за его произведение.

Гр. ЦИПЕНКО,
диспетчер завода
автопогрузчиков.

Львов.

★

Путешествие с книгой

Случилось так, что, вернувшись из концертной поездки по Северной Корее, я увидел только что выпущенную издательством «Искусство» книгу Виталия Латова «Искусство в свободной Корее». Я читал эти записки советского журналиста с жадностью человека, который за тридцать дней, проведённых в «стране утренней свежести», успел горячо полюбить её искусство, но из-за напряжённой, почти каждодневной работы не имел времени узнать его по-настоящему.

Быть может, и даже наверное, с точки зрения строгого и, как это иногда бывает, несколько суховатого музыковеда или театроведа, сделанное Латовым не подходит ни под какие рубрики историко-теоретического труда. Сам автор говорит, что он и не претендовал на создание исследования.

Зато в его книге чувствуется волнение и приязнь очевидца, хорошо знающего сегодняшнюю жизнь страны, которая после самых тягостных испытаний жестокой и разрушительной войны вынесла своё искусство из пламени фронтовых пожаров не только закалённым и окрепшим, но и более развитым, ставшим многограннее и совершеннее, чем прежде.

Московский корреспондент пересекает китайско-корейскую границу: «Первый на нашем пути корейский город — Синьчжу — встретил нас черневшими бомбовыми воронками... Покружив по улицам этого города, считавшегося глубоким тылом, мы выехали на главную дорогу, ведущую в Пхеньян. Все сидели в машине молча, вслушиваясь и глядясь в тревожную ночь. Разговор как-то не клеился. Но вот шофёр,

молодой паренёк в военной форме, едва город остался позади, начал вполголоса напевать. Прислушиваясь, я узнал уже слышанную в Москве песню корейских партизан. Затем он запел знакомую нам «Пора в путь-дорогу». И мы стали тихо подпевать водителю: «В дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём...» Знакомая песня словно проложила невидимый мостик между нашей Родиной и ещё незнакомой землёй. Сразу вспомнилась Москва, концерт корейских артистов, и разбитая бомбами фронтовая дорога вдруг стала такой же близкой и знакомой, как и подмосковное шоссе».

Этот эпизод, рассказанный Латовым, показался мне особенно характерным не только для всей его книги, полной вот таких непосредственных впечатлений, но и для самой нашей дружбы — нерушимой дружбы советского и корейского народов. В самом деле, сколько раз я сам наблюдал повсеместную любовь в Корее к советским песням, сколько раз убеждался в том, что и песня объединяет нас не меньше, чем общая работа и общие стремления к миру и братству.

Понятно, что и в книге Латова меня прежде всего привлекло всё написанное о музыке — будь то рассказ о древнейшем сборнике народных песен Хян га, насчитывающем более 1300 лет от роду, но и сегодня ревностно изучаемом в свободной Корее, об опере «Снегопад в горах», посвящённой партизанам, которую написал погибший от вражеской бомбы композитор Хван Хак Кын, или о постановке нашей «Молодой гвардии» Ю. Мейтуса (по роману А. Фадеева) в Пхеньяне... С исполнителем партии Валько — Ким Хен Ро мне довелось познакомиться, и я убедился, что он отличный певец. Я был рад узнать об

В. Л а т о в. Искусство в свободной Корее. Записки советского журналиста. Редактор А. Амчиславская. 163 стр. «Искусство». М. 1955.

успехе Кан Дян Ира в роли Олега Кошевого, особенно потому, что и сам, ещё будучи солистом Московского радио, исполнил эту партию в опере Мейтуса...

Всякий любитель музыки с большим интересом прочтёт в книге Латова главы: «О чём поёт народ», «Второе рождение древней музыки» и «Новая опера». Мы узнаём из них о сказочно-быстром развитии всех жанров музыкального искусства в новой Корее, о том, что в Пхеньянском театре оперы и балета представлены и народная музыка, и произведения, написанные композиторами по мотивам корейского фольклора, и бессмертные творения музыкальной классики — Чайковского, Даргомыжского, Бизе, Бородина, Делиба.

Читая о том, как люди этого театра интенсивно работали во время войны, готовя свои спектакли в деревне Соромри, которую с тех пор все так и называют — «музыкальная деревня», и показывая свои оперы и концерты в подземном театре горы Моранбон и на фронте, восхищаешься мужеством артистов, их беспредельной преданностью народу, и своему искусству. Описание первой постановки «Ивана Сусянина» Глинки, помощи нашего Большого театра корейским товарищам, воспринимаешь как одно из многих свидетельств душевного контакта советских и корейских артистов, их готовности всегда оказать другу другу поддержку...

В Корее я имел возможность часто любоваться замечательными архитектурными сооружениями, но не мог, разумеется, узнать их истории. И потому с особой благодарностью прочёл я у Латова поэтические описания храмов, дворцов, городских ворот Пхеньяна и Кэсона, беседки, которая, словно паря в воздухе над зелёными водами Тэдонгана, тысячу лет простояла на крепостной стене корейской столицы, а потом была разрушена вражескими бомбардировщиками.

Побывали мы в Пхеньянском историческом музее. Древние фрески, на протяжении двадцати веков сохранившие свежесть

и яркость красок, изящество рисунка, забавные, «очеловеченные» фигуры животных и грация несколько условных, но тем более грелестных движений людей совершенно покорили нас. Хотелось узнать об этих фресках побольше, хотелось понять это великое чудо искусства безвестных народных мастеров, но, увы, тогда нам было некогда.

Вот почему с большим интересом листал я потом страницы, на которых Латов рассказывает о фресках и древней живописи Кореи. Я нашёл здесь и важные исторические факты и несколько легенд о народо-художнике. Глубоко запало мне в душу сказание об изумрудных соснах художника Сор Ге, нарисованных им на стенах храма Хваненса. Деревья были так прекрасны, что птицы летели в тень их ветвей... Но когда краски потускнели, «один из бонз храма попробовал реставрировать фреску. И только стоило ему коснуться кистью этого дивного изображения, как иллюзия исчезла... Теперь птицы стали пролетать мимо, они увидели подделку...»

Мне кажется, что любой артист, мечтающий стать настоящим художником, задумается над этим вымыслом, столь мудро предостерегающим искусство от мертвящего дыхания ремесла...

Невозможно в маленькой заметке рассказать о большой и хорошо оформленной книге В. Латова, о тех невольных «дополняющих ассоциациях», которые возникают у читателя, побывавшего в Корее или знающего о ней хоть немного и стремящегося узнать об этой стране подробнее. Несмотря на то, что и в рецензируемых «Записках» есть свои недостатки (автор путает, например, иногда некоторые вокальные понятия), о них не хочется говорить, ибо в книге есть нечто более важное и существенное, чем подобные дефекты. С нею я как бы совершил второе путешествие в полюбившуюся мне страну.

Е. БЕЛОВ.

солист Государственного
Академического
Большого театра.

Москва.

★

Не пугайте детей!

Каждый из нас, взрослых, наверное, помнит те чудесные переживания детских лет, которые приносила нам полученная в подарок новая книжка. Весёлые, яркие картинки запоминались на всю жизнь. Можно

с уверенностью сказать, что, впервые увидев в лесу или в поле «настоящего» зайца или лисицу, каждый из нас узнавал в них старых друзей, знакомых ещё по пёстрым кубикам, по иллюстрациям к любимым

сказкам. Ребёнок тянется к хорошим рисункам, запоминает их надолго.

Велик и ответствен труд художников, работающих в области детской книги. Научить ребёнка видеть и понимать красоту и богатство родной природы — такая это чудесная, почётная задача!

Недавно я взял в библиотеке несколько только что вышедших детских книжек. Я не буду говорить об их содержании, не о нём сейчас речь. Поговорим о том, как они иллюстрированы.

Вот «Алёнушкины сказки» Д. Мамина-Сибиряка и «Петушок — Золотой гребешок», изданные Детгизом. Обе эти книжки иллюстрированы художником Е. Рачёвым. Яркие, весёлые картинки украшают страницы, вызывают невольную улыбку. Тут и кот с топором, идущий рубить дрова, лисица с балалайкой, поющая у окошка, волк, нацелившийся на хвостунишку-зайца... Конечно, звери не совсем такие, какими они бывают на самом деле, да они и одеты, как люди. Но ведь это сказка!

В таком же «сказочном» виде показана природа и в рисунках М. Успенской к книжкам «Серебряное копытце» П. Бажова и «Волк и семеро козлят» (тоже изданным Детгизом). Хорошие, запоминающиеся иллюстрации. Волк действительно страшный, коза глуповатая, а Серебряное копытце — мудрёный волшебный «козлик».

Но вот перед нами «Азбука в картинках» с рисунками Е. Морозовой-Эккерт, выпущенная Ленинградским отделением художественного фонда СССР. Это уже не сказка, это азбука — первые конкретные знания ребёнка, начало науки. На обложке этой азбуки рисунок, повторённый и дальше: неприятный зверь с яркооранжевой спиной, лиловым брюхом и ушами, похожими на крылья. Это, оказывается, белка. Жёлтая зверюжина с красной переносицей и выпу-

ченными белёсыми глазами — это, видимо, лисица.

Фиолетовая черепаха, синяя ящерица, розовая цапля с жёлтыми ногами и кроваво-красным глазом, медведь с зелёной головой — что это? Злостная пародия? Издевательство над ребёнком? Ведь такого в природе не бывает, нет там фиолетовых черепах, зелёноголовых медведей и цапель с налитыми кровью глазами. А ребёнку преподносится всё это в качестве «азбучной истины».

Ещё страшнее альбом картинок «Лесные малыши» художника А. Линдеберга. Если у вас слабые нервы, осторожнее открывайте первую страницу. Глянут на вас гиеноподобные страшилища, схожие с химерами Собора Парижской богородицы! Если их мамаша — поджарое серо-зелёное существо — всё же как-то напоминает бурую енотовидную собаку, то детище в левом верхнем углу рисунка больше всего смахивает на жутких божков-тотэмов.

На переднем плане спокойно сидит лягушка. Что она здесь делает? Её сейчас должны съесть: лягушки действительно обычная пища енотовидных собак. Неприятно смотреть на всю эту мрачную сцену!

Дальше волчата. Да видел ли настоящих волчат — хотя бы один раз, хотя бы в зоопарке — автор этих рисунков? Почему он изобразил вместо них немецких овчарок? Белые (точнее, светлозелёные) барсуки с собачьими мордами. Что это? Новый вид? Белки (особенно бельчата) с хвостами невероятной длины... И, наконец, на последней странице обложки, прямо над надписью «Рисунки А. Линдеберга», — почти чёрные зайцы с белыми грудками.

Не надо пугать детей. Это вредно!

А. ЛИВЕРОВСКИЙ.

доцент Лесотехнической
академии.

Ленинград.

★

Несколько замечаний

Прежде всего мне хочется сказать, что я с большим удовольствием встретил возобновление выпуска журнала «Иностранная литература». Теперь мы лучше будем знать книги, издающиеся за рубежом, шире будет наш литературный горизонт. Судя по уже вышедшим номерам, редакция умело

подбирает произведения для перевода. В частности, на меня произвела большое впечатление повесть американского писателя Э. Хемингуэя «Старик и море».

Но взялся я за перо, чтобы поделиться некоторыми своими соображениями о переведённом с французского языка романе Роже Вайяна «Пьеретта Амабль». Писать обстоятельную статью, какой заслуживает

эта вещь, — дело профессиональных критиков. Я же ограничусь несколькими замечаниями.

Мне особенно понравился центральный образ романа — итальянец рабочий Бомаск. С момента появления и до момента гибели Бомаск неизменно привлекает симпатии читателя. Это хороший, честный человек, несмотря на то, что он может сделать и ошибку, поддаться на обман. Бомаск после многих своих любовных походов по-настоящему полюбил Пьеретту, верит ей, и поэтому ему очень тяжело слушать о близком человеке грязные сплетни, которые распускает Филипп Летурно, чтобы поссорить Бомаска с Пьереттой. И всё же сплетня проникает в его душу. Но даже и после оскорблений, нанесённых им Пьеретте, Бомаск продолжает любить её. Это особенно чувствуешь в сцене ареста Пьеретты.

Что же касается самой Пьеретты Амабль, то мне представляется, что автор неполно раскрыл этот образ. Противоречия, присущие Пьеретте, не сложились в единый и цельный характер.

Поистине драгоценными для нас, советских читателей, являются те страницы романа, которые рассказывают о деталях жизни, борьбы и, я бы сказал, быта организаций коммунистической партии во французской провинции. Во всяком случае, я почерпнул тут очень много нового и интересного для себя и как будто сам познакомился с теми местными руководителями коммунистической партии, которые появляются в романе Роже Вайяна. Правда, мне хотелось бы, чтобы им было уделено хоть немного больше места в книге и чтобы образы их были ещё полнее.

Зато, описывая правящий лагерь, автор показал целую галерею деятелей админи-

страции ПТАО и представителей семейства владельцев завода. И надо прямо сказать, в достоверность каждого из этих портретов веришь.

Особенно убедительно обрисована Натали Амполи — женщина циничная, развращённая, но умная и рассудительная. А разве не стоит перед глазами Филипп Летурно, этот дилетант, стремящийся всё постигнуть и в то же время не могущий ничего понять до конца? Он олицетворяет ту часть буржуазии, которая лавирует, ищет компромисса, но неизменно терпит крах.

Ярко показаны прячущиеся под маской откровенного и бесшабашного весельчака заводчик Амполи и его наглая, беззащитная жена.

Ни брака, ни семьи, ни настоящего чувства не может быть у этих представителей исторически обречённого класса. Их удел — ожесточённая борьба за прибыли, за доходы, борьба, в которой они готовы уничтожить друг друга.

Мне не приходилось бывать во Франции. Но роман помог мне увидеть, как живут там люди и каковы их интересы. Я чувствую, читая эту книгу, что Роже Вайян не сгущает красок, когда рисует портреты врагов французского народа. И эти портреты рождают чувство, которое, очевидно, и хотел вызвать писатель, — чувство ненависти к эксплуататорам и веру в неизбежную победу простых людей Франции. В этом и состоит, на мой взгляд, основное достоинство романа Роже Вайяна «Пьеретта Амабль».

В. ЛАВРИНОВИЧ,

рабочий машиностроительного
завода.

Москва.

★

Афганские народные сказки

В дни пребывания товарищей Н. А. Булганина и Н. С. Хрущёва в Афганистане по радио передавали литературную передачу, в которую было включено несколько афганских сказок. Радиослушатели отнеслись к этой передаче с большим интересом. К сожалению, многим, и мне в том числе, она показалась короткой — слишком велик интерес у нас к жизни и творчеству друже-

ственного нам афганского народа. И потому, когда Государственное издательство художественной литературы выпустило в свет книгу «Афганские сказки», книга эта сразу нашла путь к сердцу читателя.

В этой книге собраны десятки народных сказок. Каждая сказка полна народной мудрости, жизненной правды, остроумия. Герои афганских сказок не жалеют своей жизни в борьбе за торжество добра и справедливости, сказки поражают остротой наблюдения их авторов, сатирическим коло-

«Афганские сказки». Составитель К. Лебедев. Перевод З. Калининой, К. Лебедева, Ю. Семёнова. Гослитиздат. М. 1955.

ритом, злым высмеиванием всего порочно-го, несправедливого.

Сказки «Зариф-хан и Мабый», «Мард и Намард» повествуют о том, что добро всегда побеждает зло. Сказки «Адам-хан и Дурханий» и «Шади и Бибо» повествуют о силе любви, о верности молодых влюблённых. Эти сказки, полные лиризма, раскрывают перед читателем вечно волнующую тему любви, рассказывают о том, как любовь облагораживает человека, делает его храбрым, сильным в борьбе, помогает мужественно пройти через жизненные испытания, вдохновляет на ратные подвиги.

Сказки-миниатюры («хикайаты») — это подлинная народная мудрость. Сказки «Мудрая красавица», «Поэт и богач», «Скряга», «Восемь лепёшек», «Зайчиха и тигр», «Добрая примета» и многие, многие другие, несмотря на свою фантастику, очень правдивы. Все они свидетельствуют о большом остроумии и находчивости афганского народа. Каждая сказка остро и сатирически высмеивает такие пороки, как глупость, жадность, обжорство, воровство, ложь, трусость и т. д. Меткими сравнениями и яркими образами авторы сказок достигли того, что каждый читатель с удовольствием посмеётся вместе с ними над ни-

кчёмными людьми, страдающими пороками, против которых направлена злая сатира этих чудесных сказок.

К сожалению, художественный уровень «больших» сказок иногда ниже уровня маленьких. Мне кажется, что в основном это происходит оттого, что «большие» сказки слишком растянуты. И в этом, вероятно, есть вина переводчиков и редакторов, не сумевших выбрать наиболее важное и интересное в этих сказках.

Наш народ проявляет большой интерес к литературному творчеству афганского народа, и это естественно, потому что характер этого творчества близок и понятен советским людям. Ведь герои русских, грузинских, азербайджанских, таджикских, казахских сказок, так же как и герои афганских сказок, борются за правду, добро и справедливость. Естественно ещё и потому, что свободолюбивый и миролюбивый народ Афганистана живёт в дружбе с советским народом, эта дружба развивается и укрепляется, и народы Советского Союза стремятся к тому, чтобы лучше узнать жизнь своего южного-соседа, ближе узнать его культуру.

С. ПОПРЫКИН,
капитан запаса.

Москва.

★

Политика и наука

Энергия великих рек

Книга «Рассказ о великих реках» посвящена актуальной, интересующей самые широкие читательские круги теме — покорению водных потоков, строительству мощных гидроэлектростанций, осуществлению великих ленинских заветов об электрификации страны.

По запасам гидроэнергии Советский Союз занимает первое место в мире. Наши реки таят в себе больше энергии, чем водные потоки Соединённых Штатов Америки, Канады, Франции, Италии, Германии, Норвегии, вместе взятые.

«Вода — благо или зло для человека, — говорил известный русский учёный А. И. Воейков, — в зависимости от того, где она стоит или течёт и как человек умеет или не умеет ею пользоваться». О победах советского человека над стихией рек свиде-

тельствует замечательный путь, пройденный нашей гидроэнергетикой, от её первенца — Волховской ГЭС — до гигантских «фабрик электроэнергии», создаваемых на Волге и Ангаре.

Поистине грандиозна панорама гидротехнических работ, осуществляемых в нашей стране. В книге приводится множество сведений, связанных с гидрологической, климатической, топографической и геологической характеристикой «ста тысяч советских рек». Интересны и исторические экскурсы, совершаемые в ходе повествования.

Как известно, до пятой пятилетки крупное гидроэнергетическое строительство велось в основном на реках европейской части СССР. Теперь советские гидротехники шагнули за Урал. Глава «Сибирские великаны» переносит читателя на берега Оби, Иртыша, Ангары. Сибирские реки-исполины таят в своём течении 82 процента всех гидроэнергетических ресурсов страны. По

М. Давыдов и М. Цунц. Рассказ о великих реках. Редактор И. Левина. 184 стр. Госкультпросветиздат. М. 1955.

руслу 3 350-километрового Енисея, например, в год протекает в пять раз больше воды, чем по 6 000-километровому Нилу.

Писатель Н. Г. Гарин-Михайловский, придя в 1893 году в качестве инженера-испытателя на берега Оби, сказал: «Счастливейшая земля — Россия! Сколько интересной работы в ней, сколько волшебных возможностей, сложнейших задач! Никогда никому не завидовал, но завидую людям будущего, тем, кто будет жить через тридцать, сорок лет после нас».

Волшебные возможности, которыми восхищался писатель, становятся явью. Сибирская земля отдаёт человеку свои несметные сокровища. Покорение сибирских рек открывает перед этим краем великолепные перспективы.

Обратимся хотя бы к району Приангарья. Непокорную Ангару называют «жемчужной гидроэнергетики», «рекой электричества». Огромные запасы воды, стремительность течения, прочное скальное дно, — природа сделала всё, чтобы эта река могла производить обильную и дешёвую энергию. На Ангаре будет сооружён сверхмощный гидроэнергетический каскад. Первенец этого каскада — Иркутская ГЭС — готовится дать первый ток уже в нынешнем году. Завтрашнее Приангарье — это крупнейший центр алюминиевой, химической и горнорудной промышленности, индустриальный форпост на востоке страны.

Читатель знакомится не только с мощными реками, но и с малыми водными потоками, которые наш народ также использует во всё возрастающем масштабе.

Потенциальная сила малых рек Кавказа равна мощности одиннадцати Днепров, а сила малых рек Урала могла бы питать двадцать шесть Волховских ГЭС. И когда мы говорим об электрификации всей страны, мы имеем в виду покорение не только Волги, Днепра, Ангары, Енисея, но и использование водных ресурсов таких небольших рек, как украинская Синаха, грузинская Кабали, закарпатская Тересва, орловская Сосна. На малых реках создаются сотни сельских гидроэлектростанций. В бассейне реки Цны, например, протекающей по тамбовским и рязанским землям, построено шестьдесят гидроэлектростанций. Каскад из двенадцати электростанций сооружается на реке Медведице. В некоторых областях создаются сельские энергетические системы.

Много замечательных проектов осуществили советские гидротехники. А впереди

ещё более увлекательные дела. В главе «Заглянем в будущее» говорится о смелых, но отнюдь не фантастических возможностях: можно ли перебрасывать воду из одного бассейна в другой на расстояние сотен километров? Можно ли направить часть стока Оби и Енисея из холодной Сибири в пустыни Средней Азии и степи Казахстана?

Всё это по силам новаторской советской гидротехнической науке, и эти инженерные мечты станут явью, как стало действительностью превращение «сухопутной» Москвы в порт пяти морей и как становится на наших глазах явью преобразование 3 700-километровой Волги, крупнейшей реки Европы, в цепь искусственных морей.

Читатель знакомится со стройками, осуществляемыми на реках Китая, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии и других стран народной демократии. Опыт, накопленный советскими гидротехниками при покорении Волги, Днепра, Свири, Иртыша, помогает обузданию Хуайхэ и Бистрицы, Тиссы и Влтавы, Искыра и Мати.

Книга написана хорошим, образным языком. Она проникнута чувством любви к родной стране, её природе, её могучим рекам и их покорителям — советским людям. Многочисленные фотоснимки, рисунки и особенно схемы и карты помогают усвоить обширный познавательный материал.

«Рассказ о великих реках» ещё больше выиграл бы, если бы авторы посвятили специальную главу «голубым дорогам» — воднотранспортным путям. Более полной могла бы быть глава, характеризующая использование электрической энергии в различных отраслях народного хозяйства.

За короткий срок после выхода книги в свет на наших реках произошло много событий. Вступила в строй Горьковская ГЭС, дал первый ток Куйбышевский гигант, зажглись огни Князегубской ГЭС за Полярным кругом. Всё шире развёртывается строительство крупнейшей на земном шаре Братской гидроэлектростанции — самого мощного звена Ангарского энергетического каскада.

Хочется пожелать, чтобы рассказ о великих реках был продолжен. Новые победы покорителей рек, захватывающие планы шестой пятилетки, дают богатейший материал для новых увлекательных глав.

М. ШУТЫЙ,
инженер,

Массовая литература о целине

За два последних года в Казахстане, Сибири, на Урале, Поволжье поднято свыше тридцати миллионов гектаров целинных и залежных земель. Эта площадь равна посевным площадям Франции и Италии, вместе взятым.

Как откликаются на важнейшую всенародную задачу — освоение новых земель — книжные издательства?

Перед нами несколько популярных книг и брошюр, вышедших в Сельхозгизе, «Московском рабочем», Географгизе. Книга «Год работы новых совхозов», а также изданная Сельхозгизом несколько ранее книга «Освоение целинных и залежных земель под зерновые культуры» представляют собой сборники статей практиков сельского хозяйства. Брошюра Д. Виленского «Что даёт советскому народу освоение новых земель» рассказывает читателю о богатствах, которые таят в себе целинные и залежные земли Сибири, Урала, Поволжья, пойменные и болотные почвы центральных областей нечернозёмной полосы СССР и Белоруссии. Работа Н. Н. Пальгова «Там, где поднимается целина» посвящена Казахстану.

Эти брошюры удачно дополняют одна другую и обогащают читателя интересными сведениями. Написаны они хорошим языком, что очень важно для популярных изданий.

Большой интерес представляют рассказы участников освоения новых земель об огромных изменениях, происшедших в районах распашки целины. «Когда едешь по степи, — пишет директор совхоза «Орджоникидзевский», Кустанайской области, Казахской ССР, Ф. П. Кухтин, — то ещё издаля видишь большой посёлок, и кажется, стоит он здесь уже много лет. В нём прописано 1 100 жителей... Посёлок стоит всего лишь несколько месяцев, а его уже украшают молодые деревца. 1 сентября в 8 часов утра над молодым посёлком проплыла тонкая трель первого школьного звонка, и

дети радостно переступили порог нового здания семилетней школы».

Материалы сборника «Год работы новых совхозов» доходчиво повествуют о том, сколько преодолено трудностей, прежде чем возникли жилые посёлки в степи и были распаханы первые тысячи гектаров целинных земель.

Очень важно было решить ряд сельскохозяйственных задач: в какие сроки и на какую глубину необходимо распахивать землю, когда лучше сеять, как бороться с засухой и т. д. Дать ответ на все эти вопросы, хорошо знакомые специалистам, на новых землях оказалось делом не лёгким: ещё недостаточно изучены были местные особенности, требовавшие не совсем обычных приёмов возделывания сельскохозяйственных культур. Ряд полезных советов можно найти в рецензируемых книгах.

Многое сделано на новых землях, но немало ещё предстоит сделать. Читатель знакомится с интересными цифрами, раскрывающими большие перспективы освоения не только целины, но и заболоченных земель. В нечернозёмной полосе СССР имеется, например, свыше ста двадцати миллионов гектаров болот. Их освоение даст стране дополнительно огромное количество сельскохозяйственной продукции. В брошюре «Что даёт советскому народу освоение новых земель» приводится пример из практики колхоза имени Сталина, Виноградовского района, Московской области. Освоив пойменные земли, этот колхоз в течение всего лишь двух лет значительно увеличил производство зерна и других продуктов; вдвое возросли надои молока.

Следует упомянуть и о недостатках, от которых не свободны рецензируемые издания.

Жаль, что иногда авторы, ставя важные вопросы освоения целинных земель, не дают на них ответа. Н. Пальгов, например, пишет, что в степях центрального Казахстана «возможно бесполое земледелие, но бывают годы засушливые, и тогда от неурожая спасают только своевременно применяемые агротехнические мероприятия». Что это за мероприятия — остаётся, к сожалению, для читателя неизвестным.

Нельзя признать удачным, когда книга («Освоение целинных и залежных земель») составлена в основном из газетных статей, и притом весьма похожих одна на другую.

Д. Виленский. Что даёт советскому народу освоение новых земель. Редактор С. Грингауз. 40 стр. «Московский рабочий», 1955.

«Год работы новых совхозов». Составитель Н. И. Терещенко. Редактор М. И. Палладина. 208 стр. Сельхозгиз. М. 1955.

Н. Н. Пальгов. Там, где поднимается целина. Редактор Н. Г. Лебедева. 44 стр. Географгиз. М. 1955.

В каждой из них, естественно, говорится о значении подъёма целины, о глубине вспашки и т. д. Замена некоторых из статей оригинальным материалом или, во всяком случае, более тщательный их подбор сделали бы книгу более живой и интересной.

Несколько портит впечатление от полезного в общем сборника «Год работы новых совхозов» вступительная статья Н. В. Павлова. Она написана сухо; обобщение богатого опыта освоения целины автор подмнил едва ли не выдержками из газетных передовых статей, посвящённых этой теме. Читатель не найдёт в статье оригинальных и интересных мыслей самого автора.

У нас почему-то мало принято, давая отзыв о книге, попутно оценивать и работу редактора. Но в данном случае следует прямо сказать, что редактор Сельхозгиза М. И. Палладина недостаточно потрудились над композицией сборника. Следствием этого явилось, в частности, многократное повторение удивительно схожих подзаголовков. Вот некоторые «варианты»:

«Культурно-массовая работа с молодыми патриотами в пути их следования на целин-

ные земли» (стр. 128), «Культурная и массово-политическая работа в совхозах» (стр. 154), «О массово-политической работе в совхозе» (стр. 197), «Культурно-просветительная работа» (стр. 205).

Или: «Кадры совхоза» (стр. 97), «Кадры совхозов» (стр. 156), «Немного о кадрах» (стр. 206).

Или: «Строительство в совхозе» (стр. 28), «Строительство» (стр. 92), «Строительство центральной усадьбы совхоза» (стр. 145), «Немного о строительстве» (стр. 185) и т. д.

Подобная «унификация» вряд ли обрадует читателя. Много повторений имеется и в тексте.

Работники сельского хозяйства, занятые большим, благородным делом — освоением новых земель, — крайне нуждаются в литературе, обобщающей опыт передовых хозяйств — отдельных колхозов, МТС, совхозов, тракторных и полеводческих бригад. Эти законные запросы удовлетворяются пока очень слабо.

С. НЕБЕСНЫЙ,
агроном.

★

Опыт одного леспромхоза

Лес — это один из основных строительных материалов, это — топливо, это тысяча всяких вещей, которые давно стали necessarily необходимыми в повседневном обиходе, это — искусственное волокно, это, наконец, бумага, без которой немислима была бы современная культура.

Интерес нашей общественности к проблеме леса находит своё отражение не только в специальной, но и в художественной литературе, а также и в общей печати. Приведём один пример, связанный с темой этой рецензии.

Не так давно «Правда» справедливо упрекала областную газету «Кировская правда» за то, что, сообщая о тех или иных достижениях отдельных предприятий или передовых лесозаготовителей, газета не сумела проанализировать причины этих успехов, сделать нужные обобщения. А ведь только путём широких обобщений можно в условиях нашего планового хозяйства распространить рациональные методы в любой

области промышленности, в том числе и в лесной.

С этой точки зрения определённый интерес представляет небольшая книжка «Работа леспромхоза по новой технологии». Автор её — директор Чапецкого леспромхоза комбината «Кирлес» А. Турчанинов — задался целью не только рассказать о достижениях лесозаготовителей, но, что ещё более важно, «посмотреть в корень», то есть осмыслить истоки этих достижений. А Турчанинов — опытный практик, и поэтому из его рассказа о делах и днях леспромхоза смогут извлечь определённую пользу не только руководители лесозаготовительных предприятий, но и работники Министерства лесной промышленности.

Основная мысль автора брошюры заключается в том, что каждый леспромхоз должен творчески, исходя из конкретных местных условий, применять носящие подчас лишь общий характер указания министерства. Нужно сразу же оговориться, что, к сожалению, не все лесозаготовительные предприятия становятся на этот единственный правильный путь. Многие слишком уж точно копируют готовые схемы.

А. А. Турчанинов. Работа леспромхоза по новой технологии. Редактор М. М. Россохина. 24 стр. Кировское книжное издательство. 1955.

Автор приходит к правильному выводу, что успех дела решает не только та или иная степень оснащённости предприятий новыми механизмами (кстати сказать, ими обеспечено сейчас подавляющее большинство предприятий лесной промышленности), а чёткое взаимодействие решающих узлов производственного процесса.

Подобное утверждение выглядит, на первый взгляд, несколько странным, так как лесозаготовительное производство, казалось бы, очень несложно. В самом деле, что такое лесозаготовки? Это валка деревьев и подтаскивание их к лесовозной дороге, по которой они доставляются к железнодорожной или водной транзитной магистрали.

И всё же построить рациональную технологическую схему для того или иного лесозаготовительного предприятия далеко не просто. Сложность заключается в бесчисленном разнообразии как самих лесонасаждений, так и условий производства. Лес бывает толстомерный и тонкомерный, состоящий из хвойных, мягколиственных или твёрдолиственных пород, смешанный, густой или редкий, он растёт сплошными массивами или куртинами в равнинной, пересечённой оврагами, заболоченной или гористой местности. Сильно разнятся и другие факторы: рельеф местности, грунтово-гидрологические условия, направление господствующих ветров и т. д. (к сожалению, автор рассматривает лишь некоторые из них).

Понятно, что одни и те же механизмы имеют в разных условиях различную производительность, что и должны точно учитывать руководители лесозаготовительных предприятий. Только в этом случае и будет достигнуто наиболее эффективное взаимодействие узлов. Конечно, никаких универсальных рецептов здесь быть не может.

Нельзя не согласиться со взглядами автора брошюры на циклический метод производства по потоку. И здесь приходится при-

нимать во внимание самые разнообразные и подчас резко меняющиеся местные условия. Поэтому, какой бы стройной ни выглядела разработанная в кабинетах министерства типовая схема потока, она должна быть обязательно творчески переработана в леспромпхозах. Здесь нужно видеть разгадку того, что производственные показатели многих предприятий, формально применяющих циклический метод по потоку, продолжают оставаться на низком уровне.

Вот почему и следует отметить инициативу, которую проявил А. Турчанинов. Его рассказ о том, какими путями пришёл леспромпхоз к решению стоявшей перед ним задачи, ясен и конкретен.

И всё же автор иногда теряет чувство объективности при оценке некоторых организационно-технических мероприятий, проведённых Чапецким леспромпхозом. Автор одобряет трелёвку (подтаскивание) и вывозку деревьев с необрубленными сучьями по узкоколейной железной дороге. При этом он умалчивает об «оборотной стороне медали» — о слишком большом снижении в связи с этим производительности трелёвочных механизмов (согласно данным комбината «Кирлес», по лебёдкам «Л-19» — в два раза). Не удивительно, что уже после выхода в свет рецензируемой книжки Чапецкий леспромпхоз от этой технологии отказался.

Брошюра А. Турчанинова, изданная, к сожалению, тиражом всего в три тысячи экземпляров, выгодно отличается от аналогичных работ тем, что она охватывает весь комплекс лесозаготовительного производства. Хочется выразить пожелание, чтобы у нас появлялось побольше подобных брошюр, написанных специалистами и практиками лесного дела. Они помогут сделать ряд полезных обобщений и, несомненно, будут способствовать общему подъёму работы лесной промышленности.

В. ЛЕВАЧЕВ,
инженер.

★

Записки авиатора

„Летом 1911 года на улицах Саратова появились огромные крикливые афиши. Они настоятельно приглашали широкую публику посетить скаковой ипподром, где

И. Спирин. Записки авиатора. Редакторы Г. Залуцкий, А. Богина. 144 стр. Военное издательство. М. 1955.

авиатор Александр Васильев, недавний победитель первого в России дальнего перелёта Петербург—Москва, будет показывать своё искусство в авиатике».

Так начинается книга Героя Советского Союза И. Спирина «Записки авиатора», повесть о первых шагах нашей авиации

и о её последующем развитии — вплоть до величайших побед, одержанных нашими лётчиками в годы Великой Отечественной войны. Автор не ставил перед собой цели подробно раскрыть эту большую тему. Он рассказывает лишь о тех событиях, свидетелем которых был. И. Спирин уже известен читателям по другим произведениям, в том числе по книге «Исторический рейс», изданной ещё в 1938 году и с тех пор неоднократно переиздававшейся.

Первые летательные аппараты были очень примитивны по своей конструкции и неуклюжи на вид. Недаром, вспоминает автор, они заслужили прозвища: «стрекоза», «летающие этажерки» и даже «гробы». Самолёты были плохо оборудованы необходимыми приборами, и небезопасно чувствовал себя лётчик, рискнувший подняться на такой машине. В то время считали, что для лётчика, сумевшего продержаться в воздухе два часа, «не существует невозможного в авиации».

Тем большего признания заслуживает деятельность зачинателей отечественной авиации — Ефимова, Нестерова и других, смело вступивших на трудный путь покорения воздушного океана и сумевших — уже в первые годы существования русской авиации — стать мировыми рекордсменами.

С большой теплотой вспоминает автор о высоком искусстве и смелости, проявленных советскими лётчиками во время гражданской войны.

Повествование о прошлом нашей авиации несколько неожиданно для читателя сменяется главами «автобиографическими». И всё же этот переход вполне закономерен и не нарушает цельности книги. Естественно, что автор, знакомя читателей с достижениями советской авиации, говорит и о людях, которые двигали её вперёд. Одним из этих людей, а потому одним из героев книги, является и сам Спирин.

Живо написаны главы о годах его обучения в авиационной школе, о первых самостоятельных полётах, об авиационном училище, откуда автор вышел уже настоящим, боевым лётчиком.

С интересом читается рассказ о Большом Восточном перелёте протяжённостью более десяти тысяч километров, совершённом в 1930 году. Спирин летел на ведущем самолёте в качестве штурмана. Перелёт явился серьёзной проверкой качества советской авиационной техники и мастерства наших лётчиков.

Через четыре года советские лётчики установили мировой рекорд на дальность полёта. Автор, участник этого полёта, с благодарностью вспоминает о работе правительственной комиссии, председателем которой был К. Е. Ворошилов.

Яркие страницы книги посвящены покорению Северного полюса. В наше время, пишет автор, воздушная дорога к полюсу хорошо «протоптана» советскими лётчиками. А какими трудностями сопровождался первый полёт! Вся страна с неослабевающим волнением следила за участниками арктического рейса в 1937 году и радостно встретила своих неустрасливых сынов, выполнивших задание Родины.

В конце своей небольшой книги И. Спирин вспоминает о событиях финской и Великой Отечественной войны.

Спирин рассказывает о выдающихся лётчиках, вместе с которыми он участвовал в великих перелётах, — Громе, Водопьянове и других. Имена их давно уже известны всему миру. Чувство коллективизма — черта, свойственная советскому человеку, — вот что помогало им преодолевать препятствия и, в частности, совершить исторический полёт на Северный полюс.

Именно это чувство помогло самому Спирину победить страх, когда он однажды оказался в тяжёлом положении — на льдине, грозившей унести его от зимовки. О силе коллектива автор хорошо говорит словами одного из героев: «Под коллективом я разумею не случайную толпу, а группу людей, объединённых одной идеей, одной волей и верой в победу. В этом и заключается сила коллектива, которая помогает побеждать любые опасности. А страх?.. Что же, страх вообще присущ каждому человеку и может возникнуть даже у самых храбрых людей при соприкосновении с опасностью, неважно — реальной или кажущейся. Но если в этот момент человек не один, а в своём испытанном, тесно сплочённом коллективе, если он к тому же чувствует, что за ним — как это было в нашем нынешнем полёте на полюс — с любовью и трезвой следит вся страна, — может ли он тогда испытывать чувство страха? Я думаю, что нет...» Такими предстают перед нами советские люди в книге Спирина.

Хотелось бы, чтобы автор, интересно рассказав о важном, глубоко поучительном периоде жизни нашей авиации, хотя бы в основных чертах коснулся следующей ступени в её развитии, когда появилась новая

техника, новые скорости, новые условия жизни лётчиков, короче говоря, — об авиации наших дней. Будем надеяться, что Спирин ещё вернётся к этой благодарной теме.

Книга Спирина найдёт путь к читателю, особенно молодёжному, и может пробудить у наших юношей и девушек настоящий

большой интерес к авиации. Главное достоинство книги — правдивость авторского рассказа о будничных и в то же время таких героических делах славной плеяды советских авиаторов.

И. ВАСИЛЬЕВА-ЮЖИНА,
студентка.

★

Сверлильные станки

Недавно меня заинтересовала в библиотеке новая книжка, имеющая прямое отношение к моей специальности. Это небольшая брошюра о сверлильных станках, написанная Ф. Маликовым. Я прочитал эту книжку и подумал, что книг на эту тему у нас не так много, информация о новых изданиях ещё недостаточна, и поэтому стоило бы порекомендовать только что изданную книжку рабочим, инженерам и всем тем, кто интересуется работой сверлильных станков.

Ф. Маликов рассказывает об этих станках очень популярно, в форме, доступной широкому кругу читателей. Он объясняет, как устроены сверлильные станки, как они применяются, каково взаимодействие их отдельных узлов, как рациональнее эксплуатировать эти станки и как добиться наиболее полного их использования. В книжке очень кратко изложены все наиболее важные вопросы сверлильных операций.

Удачны, на мой взгляд, темы последних двух глав: «Можно ли улучшить ста-

нок устаревшей конструкции» и «Универсальный станок превращается в автомат». Здесь автор подчёркивает, как важно научиться рациональному использованию станков устаревших конструкций, которых пока ещё немало в ряде отраслей производства и в сельском хозяйстве.

Хорошо и ясно сформулированы задачи каждого раздела.

Однако мне кажется, что автор чересчур сжал эти последние два раздела. Стремясь к краткости, он лишил себя возможности привести более одного примера в каждом разделе. А это недостаточно раскрывает перед читателем наш богатый опыт по автоматизации и модернизации ряда станков.

Не нашёл я в брошюре достаточно убедительных объяснений необходимости усилить отдельные узлы и станки в целом для использования их при скоростном и, в частности, при силовом резании по методам Колесова, Жирова и других.

Плохо ещё и то, что в брошюре нет объяснения знаков, дающих характеристику сверлильных станков.

И. СТАВИЦКИЙ,

инженер автозавода имени Сталина.

Ф. П. Маликов. Сверлильные станки. Под редакцией инж. М. А. Толстова. 48 стр. Машгиз. 1955.

★

Трагедия капитана Скотта

В наши дни Антарктида в связи с экспедициями Международного геофизического года привлекает всеобщее внимание. Изучение природных условий самого сурового из всех континентов, покрытого мощным слоем вечного льда, имеет большое научное и практическое значение. Окружающие Антарктиду воды — прекрасная база для богатейших китобойных промыслов; в почти неразведанных недрах материка обнаружены залежи ценных ископаемых.

«Последняя экспедиция Р. Скотта». Под редакцией, со вступительной статьёй и комментариями Н. Я. Болотникова. 408 стр. Географгиз. М. 1955.

Славные страницы в историю открытия и исследований Антарктиды вписали представители различных наций. Всем известно выдающееся значение плаваний русской экспедиции Ф. Беллинсгаузена — М. Лазарева. Книга «Последняя экспедиция Р. Скотта» знакомит с научным подвигом английского полярного исследователя капитана Роберта Фалькона Скотта, имя которого заслуженно пользуется широкой славой. Записки Скотта издавались у нас и ранее, но давно уже стали библиографической редкостью. В новом, полном издании обстоятельная вступительная статья и подробные комментарии Н. Я. Болотникова помогают

читателю ярче представить облик исследователя, разобраться в некоторых неясных подробностях повествования, в специальной терминологии.

Книга Р. Скотта, составленная по дневникам и письмам, относящимся к его второй и последней экспедиции к Южному полюсу, содержит много ценных наблюдений, интересных сведений о природе Антарктики, и — главное — она и сегодня сохраняет своё большое воспитательное значение. Дневники путешественника — потрясающей силы документ, свидетельствующий о стальной воле их автора, о его редком мужестве, непреклонной целеустремлённости. Их нельзя читать, не проникшись глубоким уважением к исследователю, сочетавшему в себе дерзкую смелость и твёрдость организатора с удивительной человечностью и скромностью.

Уже в ходе первой экспедиции (1902—1904) Р. Скотт прославил своё имя рядом замечательных открытий, хотя дойти до Южного полюса ему тогда и не удалось. Его попытка вызвала ожесточённое соперничество исследователей различных наций, стремившихся первыми достичь этой условной точки нашей планеты, и Скотту пришлось начинать свою вторую экспедицию в атмосфере нездорового азитета.

Он мог бы, вероятно, выйти победителем в этом соревновании, если бы направил все усилия, бросил все средства на достижение полюса. Но Скотт стремился провести многосторонние изыскания на возможно большем пространстве материка. И это делает ему честь.

Второе путешествие Скотта по Антарктиде с самого начала протекало в чрезвычайно тяжёлых условиях. Непрекращавшаяся пурга, ветры, морозы, трещины в барьерном льду, ежеминутно грозившие поглотить исследователей, — всё препятствовало достижению цели. Каждая пройденная миля стоила людям невероятных усилий.

И тем не менее записи Скотта об этих днях неизменно бодры. Он почти не пишет о личных переживаниях, оставаясь в тени, зато щедр на похвалы своим спутникам, будь то его старый друг учёный Эдвард Уилсон или скромный сотрудник из обслуживающего персонала. Скотт с восхищением пишет об их преданности делу, о крепкой коллективной спайке.

По мере продвижения к югу одна за другой возвращаются вспомогательные партии. 4 января 1912 года в ста пятидесяти милях

от полюса уходит обратно последняя партия. Остаются пятеро отважных — Р. Скотт, доктор Э. Уилсон, капитан Л. Отс, лейтенант Г. Боуэрс и квартирмейстер Э. Эванс. Они мужественно продолжают борьбу с трудностями и медленно, но неуклонно продвигаются вперёд.

Шестнадцатого января в каких-нибудь восемнадцати—двадцати милях от полюса путешественники наталкиваются на остатки лагеря Амундсена.

«Вся история как на ладони: норвежцы нас опередили. Они первыми достигли полюса. Ужасное разочарование!» — пишет Скотт и тут же, как обычно, вспоминает о своих спутниках: «Мне больно за моих верных товарищей...»

Вот наконец и полюс! 18 января англичане водрузили там свой национальный флаг и начали тяжелейший обратный путь. «Перед нами 800 миль неустанного пешего хождения с грузом, — записал Скотт. — Прощайте, золотые грёзы!»

Теперь шла борьба уже не за приоритет, а за жизнь. Иссякают запасы продовольствия, горячего, крепнут морозы, а пятёрка медленно, упорно движется на север, к жилью, к жизни... Нельзя без глубокого волнения читать страницы дневника, который Скотт продолжал систематически вести, несмотря ни на стужу, ни на смертельную усталость.

Первым не выдерживает моряк, богатыйр Эдгар Эванс. Через две недели большой и измученный Л. Отс, бесстрашная душа, уходит из палатки, чтобы не быть в тягость товарищам. Трагедия близится к развязке. 19 марта, когда путникам осталось преодолеть всего лишь одиннадцать миль до склада, где их ожидала вспомогательная партия с собачьими упряжками, разыгралась пурга. Пищи оставалось на двое суток, топлива — на две чашки чая. А снежный шторм бушует сутки, другие, пятые... Вот строки из последней записи 29 марта:

«Не думаю, чтобы мы теперь могли ещё на что-либо надеяться. Выдержим, до конца. Мы, понятно, всё слабеем, и конец не может быть далёк.

Жаль, но не думаю, чтобы я был в состоянии ещё писать. Р. Скотт».

И всё же он нашёл ещё силы, чтобы сделать приписку. И опять не о себе были последние его слова: «Ради бога, не оставьте наших близких».

Через восемь месяцев поисковая партия нашла занесённую снегом палатку с тела-

ми погибших. Среди вещей было тридцать пять фунтов ценных геологических образцов. Многие побросали путешественники, чтобы облегчить сани хоть на грамм, но вот эту грудку камней сохранили, волокли сотни миль, выбываясь из последних сил. Так поступают подлинные герои науки!

На груди Скотта были найдены дневники, письма к родным, друзьям, к семьям своих погибших товарищей. Чтобы хоть как-нибудь смягчить их горе, этот обычно сдержанный человек находит очень трогательные, тёплые слова утешения. Было обнаружено ещё одно письмо, удивительное по своей ясности, искренности, трагическому пафосу, — «Послание к обществу». В нём Скотт объясняет причины неудач, несколько не сожалея об этом роковом для него пу-

тешестве. Он гордится содеянным, своими спутниками, своим народом.

Имя Роберта Скотта не угаснет в памяти людей. «Нет сомнения, — пишет во вступительной статье Н. Болотников, — что, когда будет достигнуто подлинное международное научное содружество, благодарное человечество воздвигнет на Южном полюсе памятник тем, кто жил, терпел, страдал, отдал свои жизни ради светлого будущего. На этом обелиске славы почётное место займут имена мужественных сынов английского народа — капитана Роберта Фалькона Скотта, доктора Эдварда Уилсона, Лоуренса Отса, Генри Боуэрса, Эдгара Эванса».

Такую убеждённость, мы верим, разделят все читатели этой замечательной книги.

Д. ЛЕБЕДЕВ,
доктор географических наук



Р Е П Л И К И

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

Речь идёт о букваре. Мы, пишущие для детей, часто бываем в школах. И всегда, когда попадаешь в первый класс, видишь, что малыши туго преодолевают букварь. В классе не возникает того радостного внимания, которое обычно вызывает художественное слово.

Заглянем и мы в букварь. Издан он неплохо. Большой формат, плотный переплёт, картинки, шрифт — всё, казалось бы, хорошо. Нет, далеко не всё. Мы понимаем, что букварь — это учебник. Он должен отвечать всем методическим, воспитательным, научным и прочим требованиям. Но это и не только учебник. Букварь — это первая книга человека. Он должен развивать вкус, чутьё, слух, воображение малышей. Да и с методической стороны выходит так: если ребёнок, затратив немалые усилия на самый процесс чтения, не узнаёт ничего нового, занимательного, важного, он теряет интерес к чтению.

Обратимся к примерам. Вот рассказ «Фабрика»:

«Нина Фомина работает на фабрике. На фабрике много рабочих. Они вяжут тёплые вещи. Нина Фомина вяжет красивые шарфы, а Софья Фёдоровна — кофты. Нина Фомина работает быстро и хорошо. Она стачановка. Она получила орден за хорошую работу»

Нелегко малышам преодолевать этот материал!

Есть ли тут хоть элемент художественного слова? Нет! Методисты могут сказать: «Зато это познавательно». Увы, и познавательного тут мало. Ведь как представляют себе дети фабрику по этому отрывку? Сидят, мол, в большом зале Нины и Софьи и вяжут спицами шарфы и кофты. Вот вам и фабрика!

Скажут: «Да это же просто упражнение на букву «Ф». Но как можно из-за одной буквы убивать в ребёнке интерес и доверие ко всем буквам, к печатному слову вообще! Значит, надо дать эту букву по-другому.

Обратимся к описаниям природы.

«Росла ель. На ели шишки. Это шишка ели». И рядом: «Росла сосна. У сосны шишки. Это шишка сосны». Почему на ели, но у сосны? Непонятно.

Примеры можно множить. Получается очень странная картина. В букваре, который издаётся миллионным тиражом, где должно быть собрано всё лучшее, образцовое, печатаются вещи, никакого отношения к литературе не имеющие. Таким образом, мы не делаем главного: не открываем детям силы и прелести полноценного художественного слова!

Изредка попадают в букваре и такие вещи, как рассказ Л. Толстого «Розка», пушкинское «Ветер по морю гуляет», игра «Гуси-гуси, га-га» и другие. И вот что замечательно: хорошие вещи читай хоть по двадцати раз, класс не соскучится. А плохая вещь даже при первом чтении трудно воспринимается.

В букваре должно быть собрано всё лучшее из детского чтения. Надо привлечь к составлению букварей лучших детских писателей. Естественно, что специалисты должны объяснить им методическую сторону дела. Пусть будет великой честью для писателя попасть в первую книгу человека. Только тогда, когда в классе зазвучит полноценное художественное слово, когда дети поймут, оценят и полюбят его, только тогда букварь действительно превратится в золотой ключ, открывающий сокровищницу литературы.

Л. КАСИЛЬ,
С. МИХАЛКОВ,
Я. ТАИЦ.

★

О МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В своей повести «Беспокойная юность» К. Г. Паустовский приводит слова: «Культура — это память».

Объяснять их, конечно, не надо — понятно всякому. Но о памяти поговорить следует!

Недавно в Доме творчества писателей, в Переделькино, все жившие там писатели искали общества Марии Карловны Куприной-Иорданской, заслушивались её рассказами. В начале века М. К. Куприна-Иорданская возглавляла журнал «Мир божий», а потом, после его закрытия, — журнал «Современный мир». У писателей тогда не было ни Союза писателей, ни Дома литераторов, ни писательских домов творчества и отдыха. Писатели группировались вокруг редакций. Мария Карловна Куприна-Иорданская, сохранившая до сих пор редкую ясность

и живость ума, помнит и Чехова, и Горького, и Куприна, и Бунина, и Леонида Андреева, и Мамина-Сибиряка, и Гарина-Михайловского, и многих, многих других. В её рассказах они встают, словно окропленные «живинкой» сердечного тепла, доброго юмора, очень свойственных самой рассказчице. Сейчас она пишет воспоминания об А. И. Куприне. Но ей уже 74 года, она хворает, этот труд даётся ей нелегко. Не следовало ли бы помочь её памяти — дать ей стенографистку, чтобы она закрепила богатство своих воспоминаний.

Маргарита Владимировна Алтаева-Ямщикова (Ал. Алтаев) — автор более чем двухсот исторических романов. Сегодня, на восемьдесят третьем году жизни, Маргарита Владимировна, тяжело больная, ни на один день не прекращает работы над книгой о Микельанджело, Рафаэле и Леонардо да Винчи. Но память М. В. Алтаевой хранит в буквальном смысле слова драгоценные личные воспоминания о встречах с В. И. Лениным, Н. К. Крупской и их соратниками. Ведь М. В. Алтаева первая из всех беспартийных русских писателей пришла работать с Лениным ещё до Октябрьской революции, когда штаб большевиков помещался во дворце Кшесинской.

Как было бы важно и ценно сохранить, запечатлеть воспоминания М. В. Алтаевой об этих замечательных днях, а это вполне

возможно, если бы какое-нибудь издательство всерьёз заинтересовалось этими её мемуарами.

Надежда Фёдоровна Скарская — младшая сестра великой русской актрисы Веры Фёдоровны Комиссаржевской. Кто ещё сегодня помнит столько о самой Комиссаржевской, о её детстве, о её семье? Кто помнит, например, такой удивительный факт, что отец Веры Фёдоровны, оказавший на неё сильнейшее влияние, знаменитый певец Фёдор Комиссаржевский, сражался в войсках Гарибальди?

Но Н. Ф. Скарская — не только сестра Комиссаржевской, она и сама была в прошлом выдающейся актрисой. Вместе со своим мужем, народным артистом П. П. Гайдебуровым, она создала и основала более пятидесяти лет тому назад «Передвижной драматический театр», явившийся по существу первым подлинно народным театром в России. Интереснейшие воспоминания Н. Ф. Скарской и П. П. Гайдебурова не нуждаются даже и в стенографе: они написаны. Нужно только, чтобы кто-нибудь заинтересовался ими...

Я взяла наудачу лишь нескольких людей, их гораздо больше, и не только в Москве, но и во всей стране. Если рассказать обо всех, то получится не реплика, а диссертация. Мне же хотелось только напомнить нашим издательствам, а может быть и журналам, об этих людях, а также и о том, что в библиотеках очень велик чита-

тельский интерес к книгам-воспоминаниям, на них записываются в очередь за несколько месяцев вперёд. Большинство этих читателей — молодые люди, отчего это явление становится особенно радующим: молодёжь сама включается в ту связь между минувшим и будущим, из которой вырастает культура.

Александра БРУШТЕЙН.

От редакции. В связи с репликой писательницы А. Бруштейн хотелось бы напомнить, что в традициях русской журналистики с давних пор было издание специальных журналов, посвящённых публикации исторических документов, воспоминаний и дневников. Не считая многочисленных сборников и журналов, существовавших короткое время (как, например, «Старые годы», «XVIII век» и многие другие), у нас издавались: «Русский архив» (1863—1917), «Русская старина» (1870—1918), «Былое» (1906—1909 и 1917—1927), «Голос минувшего» (1913—1923). Как мы видим, был период, когда все эти четыре журнала выходили одновременно и находили своего благодарного читателя. Теперь существует журнал «Исторический архив». Однако, уделяя обширное место публикации документов, журнал этот оставляет вне поля зрения мемуарную литературу. Воспоминания же и записки деятелей культуры вовсе не находят места на его страницах.

Не будет ли полезным подумать о расширении профиля журнала «Исторический архив» либо об издании ещё одного журнала — с преобладающим вниманием к мемуарно-документальной литературе, посвящённой не столь далёкому прошлому нашей страны?



КОРОТКО О КНИГАХ

★

ПОЭТЫ СОВЕТСКОЙ КАРА-КАЛПАКИИ. «Созетский писатель». Л. 1955. 160 стр. Цена 2 р. 40 к.

Устное творчество каракалпакского народа сохранилось с незапамятных времён. Письменная же литература на родном языке возникла в Кара-Калпакии лишь в годы Советской власти.

Сборник «Поэты Советской Кара-Калпакии» открывается произведениями народных шаиристов (сказителей), воспевающих в своих стихах социалистическую родину, великого вождя советского народа — В. И. Ленина.

Наиболее обширно в сборнике представлена лирика. Этот раздел знакомит нас со стихами Кармыса Досанова, Ходжамурата Турумбетова и других авторов. Из произведений лиро-эпического жанра в сборник включены лишь поэма Наурызза Жапакова «По дороге в Москву» и отрывки из поэмы Асана Бегимова «Омир».

Краткие сведения о поэтах Кара-Калпакии завершают книгу.

В переводе стихов на русский язык приняла участие большая группа поэтов.

МИХАИЛО ТОМЧАНИИ. Закарпатские рассказы. Авторизованный перевод с украинского. «Советский писатель». М. 1955. 199 стр. Цена 3 р. 90 к.

До выхода в свет книги «Закарпатские рассказы» имя украинского писателя Михайла Томчания оставалось неизвестным русскому читателю.

Правда, писать он стал сравнительно недавно, после Великой Отечественной войны, но за это время на украинском языке у него вышло три книги. Восемнадцать рассказов из этих трёх книг составили аннотированный сборник. Действие этих рассказов происходит в послевоенные годы; автор знакомит нас с закарпатскими крестьянами, рабочими, интеллигенцией, которым Советская власть создала условия для новой, светлой жизни. Писатель показывает, как изменился быт людей Закарпатья, как духовно растут и сами люди.

СИМАДЗАКИ-ТОСОН. Нарушенный завет. Роман. Перевод с японского. Государственное издательство художественной литературы. М. 1955. 256 стр. Цена 5 р. 50 к.

«Нарушенный завет» — роман о жизни и страданиях нескольких миллионов японских труженников, называемых «эта». Каста эта сложилась в глубокой древности, и хотя юридически униженная кличка и бес-

правне людей, принадлежащих к этой касте, были упразднены ещё в середине прошлого века, презрительное отношение к ним сохранилось до наших дней.

Я родился на свет от таких людей,
Которых несчастней в мире не сыщешь.
С древности мы — парии в стране моей,
Отверженной преступников, беднее

нищих, —

писал в 1952 году о судьбе эта поэт Такаити Минору.

Симадзаки-Тосон — классик новой японской литературы — сумел в свойственной ему тонкой манере нарисовать трагическую судьбу двух выходцев из этой касты, пытавшихся пробиться сквозь мрак предрассудков.

Н. Г. МАШКОВЦЕВ. Гоголь в кругу художников. Очерки. Издательство «Искусство». М. 1955. 172 стр. Цена 10 р. 80 к.

Близость Гоголя к современному ему художникам, его глубокая заинтересованность судьбами русской живописи — факты общеизвестные.

В своей книге Н. Г. Машковцев пытается проследить взаимоотношения Гоголя с художниками, выявить, какое влияние их искусство, их жизнь оказывали на творчество великого писателя.

Более всего автора интересует общение писателя с Александром Ивановым и А. Г. Венециановым — художниками, наиболее близкими Гоголю по своим взглядам.

В книге три очерка: «Гоголь и Венецианов», «Работа Иванова над портретом Гоголя» и «Александр Иванов и Гоголь».

Очерки богато иллюстрированы.

ВЛ. ГИЛЯРОВСКИЙ. Москва и москвичи. Очерки старомосковского быта. «Московский рабочий». 1955. 480 стр. Цена 7 р. 25 к.

«Я — москвич! Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него всего себя... Москва уже на пути к тому, чтобы сделаться первым городом мира. Это на наших глазах... И чтобы знали жители новой столицы, каких трудов стоило их отцам выстроить новую жизнь на месте старой, они должны узнать, какова была старая Москва, как и какие люди бытовали в ней». Это пишет о себе и о своей книге один из знатоков эпохи конца XIX и начала XX века, человек, прошедший путь из бурлаков в писатели, друг Чехова, Куприна и Шаляпина — Вл. Гиляровский.

«Нищие», «Хитровка», «Яма», «Дворцы, купцы и ляпинцы», встречи с Горьким, с Блоком, «Среды» художников», история улиц и домов — таковы разнообразные картины прошлого Москвы, оживающие в очерках старомосковского быта.

Е. О. ПАТОН, Герой Социалистического Труда. Воспоминания. Литературная запись Юрия Буряковского. Государственное издательство художественной литературы. Киев. 1955. 324 стр. Цена 7 р. 5 к.

Мосты не часто носят имена их творцов. Киевскому автодорожному мосту, открытому 5 ноября 1953 года, присвоено имя выдающегося советского учёного Евгения Оскаровича Патона, академика, Героя Социалистического Труда, коммуниста. В своих «Воспоминаниях» Е. О. Патон писал: «...В июле 1953 года я стоял на берегу Днепра и любовался строгим профилем ферм самого большого в мире цельносварного моста... Тридцать пять лет жизни я отдал мостам. Двадцать пять последних лет занимался электросваркой. В этом цельносварном мосте через Днепр воплотился итог всей моей долгой трудовой жизни: электросварка встретилась с мостостроением, и эта встреча принесла советской науке и советской технике новую победу».

«Воспоминания» Е. О. Патона охватывают период с восьмидесятых годов прошлого века до 1945 года. Кратко рассказано и о последних годах жизни и деятельности учёного.

А. И. КРЕМНЕВ. Читинская область. Краткий очерк природы, экономики и культуры. Читинское книжное издательство. 1955. 146 стр. Цена 4 р. 55 к.

Прошлое Читинской области, которому в книге отведено много интересных страниц, неразрывно связано с воспоминаниями о Нерчинской, Горно-Зарентуйской, Кутомарской и других каторжных тюрьмах. В этих суровых местах томилась декабристы, нечаевцы, землевольцы.

В условиях царской России мало кого интересовало, что недра Забайкалья обладают неисчислимыми богатствами цветных и редких металлов, что подлинным сокровищем являются его бескрайние таёжные леса. Социалистическая индустриализация преобразила эти далёкие земли. В области создана мощная промышленность. Вырос новый город Балей. В глубине тайги построены многочисленные рабочие посёлки. Развивается сельское хозяйство.

Книга позволяет узнать много интересного о Читинской области, сравнительно мало знакомой широкому читателю.

К. А. ГИЛЬЗИН. От ракеты до космического корабля. Оборонгиз. М. 1955. 112 стр. Цена 2 р. 25 к.

Поверхность Земли, на которой мы живём, является в то же время дном глубо-

чайшего «колодца тяготения». Выбраться из этого «колодца», преодолев силу тяжести, и устремиться в необъятные просторы мирового пространства, перелететь на другие планеты, увидеть неведомые миры — всегда было гордой мечтой человечества.

В наше время благодаря замечательным достижениям в области реактивной техники и применения атомной энергии мечта эта близится к осуществлению.

В книге К. А. Гильзина рассказывается не только о принципах работы и устройстве различных реактивных двигателей, применяемых теперь в авиации, но и о вероятных путях их развития — вплоть до использования при межпланетных перелётах.

Ф. Н. МИЛЬКОВ. А. Н. Краснов — географ и путешественник. Географгиз. М. 1955. 176 стр. Цена 4 р. 75 к.

Андрей Николаевич Краснов (1862—1914) оставил столь значительное научное наследие, что и сейчас ещё оно изучено далеко не полностью. Общеизвестны заслуги А. Краснова как ботаника. Значительно менее известен он как географ. Основной заслугой А. Краснова в этой области является разработка учения о географическом комплексе (ландшафте). Он был автором первого русского университетского учебника по общему землеведению. Его многочисленные экспедиции по Европе, Азии, Африке и Америке способствовали тому, что он стал лучшим знатоком природы субтропиков. Это сыграло большую роль в создании Красновым Багумского ботанического сада и в его трудах по акклиматизации субтропических культур в Закавказье.

И. М. ЛИНДЕР. А. Д. Петров. Первый русский шахматный мастер. «Физкультура и спорт». М. 1955. 247 стр. Цена 7 р. 65 к.

«Милостивому Государю Александру Сергеевичу Пушкину в знак истинного уважения. От издателя». Такую надпись сделал А. Д. Петров (1794—1867) на своём шахматном учебнике, преподнесённом им великому поэту. Любопытно, что в библиотеке Пушкина имелся и второй, повидимому, купленный им, экземпляр этой книги. Об учебнике Петрова упоминает Тургенев вносящем автобиографический характер рассказе «Несчастливая». По книге Петрова изучал шахматную игру Чернышевский.

Деятельность А. Д. Петрова способствовала зарождению русской шахматной школы и значительному росту популярности шахмат в России.

В вышедшей вторым, значительно дополненным изданием книге И. Линдера всесторонне показано шахматное творчество А. Д. Петрова. Здесь помещены также занимательные рассказы Петрова, его воспоминания.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Н. А. Булганин, Н. С. Хрущёв. Речи во время пребывания в Индии, Бирме и Афганистане. 240 стр. Цена 4 р. 20 к.

П. Н. Поспелов. Декабрьское вооружённое восстание 1905 года — вершина первой русской революции. 20 стр. Цена 20 к.

Большевистская периодическая печать в годы первой русской революции (1905—1907). 64 стр. Цена 75 к.

Всемирная история. Том 1. 748 стр. Цена 40 р.

Г. Ганшин. Китайская Народная Республика на пути социалистической индустриализации. 192 стр. Цена 2 р. 30 к.

С. Грачёв. Чехословакия на пути к социализму. 96 стр. Цена 1 р. 15 к.

А. Н. Ефимов. Высшая техника — база совершенствования социалистического производства. 216 стр. Цена 4 р. 60 к.

С. Заволжский. Венгрия на пути к социализму. 72 стр. Цена 90 к.

Ф. Константинов. Болгария на пути к социализму. 84 стр. Цена 1 р.

П. Манча. Албания на пути к социализму. 72 стр. Цена 90 к.

М. И. Моисеев. Экономические основы государственных заготовок сельскохозяйственных продуктов. 296 стр. Цена 4 р. 55 к.

М. Монин. Польша на пути к социализму. 96 стр. Цена 1 р. 20 к.

Ш. Монтескье. Избранные произведения. 800 стр. Цена 16 р.

Пятая Всесоюзная конференция сторонников мира. Москва, 10—12 мая 1955 г. 244 стр. Цена 4 р. 50 к.

СССР в период восстановления народного хозяйства 1921—1925 гг. 596 стр. Цена 10 р.

С. Сутоцкий. Живое творчество масс. 64 стр. Цена 70 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Н. Адамян. Начало жизни. Рассказы. 216 стр. Цена 4 р.

Г. Бакланов. В Снегирах. Повесть. 268 стр. Цена 4 р. 95 к.

А. Блок. Стихотворения. 824 стр. Цена 13 р. 95 к.

В. Гору. Очерки колхозной жизни. 528 стр. Цена 9 р. 80 к.

И. Волошин. Молодеет земля. Рассказы и очерки. Перевод с украинского. 204 стр. Цена 3 р. 75 к.

Н. Грибачёв. Раздумье. Стихи. 120 стр. Цена 2 р. 20 к.

А. Елкин. Я. Галан. Очерк жизни и творчества. 272 стр. Цена 6 р. 55 к.

Т. Игумнова. За горами. Повесть. 264 стр. Цена 4 р. 85 к.

А. Караганов. Чернышевский и Добролюбов о реализме. 311 стр. Цена 6 р. 95 к.

М. Комиссарова. Лиза Чайкина. Поэма. 76 стр. Цена 1 р. 85 к.

Ю. Нагибин. Рассказы. 328 стр. Цена 5 р. 65 к.

В. Саянов. Колобовы. Роман в стихах. 160 стр. Цена 3 р. 60 к.

Советская художественная проза. Сборник статей. 648 стр. Цена 15 р. 20 к.

Л. Эйлин. О китайской литературе наших дней. 300 стр. Цена 7 р. 20 к.

М. Юнович. А. М. Горький — пропагандист науки. 223 стр. Цена 3 р. 35 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

С. Т. Аксаков. Собрание сочинений. В четырёх томах. Том 1. 640 стр. Цена 11 р. 50 к. Том 2. 507 стр. Цена 11 р. 50 к.

Томас Гарди. Тэсс из рода д'Эрбервиллей. Чистая женщина, правдиво изображённая. Перевод с английского. 424 стр. Цена 8 р. 55 к.

А. М. Горький. Письма к Е. П. Пешковой. 1895—1906. 310 стр. Цена 7 р.

В. Еришилов. Избранные работы. В трёх томах. Том 1. 472 стр. Цена 11 р. 50 к.

М. Н. Загоскин. Рославлев, или Русские в 1812 году. 504 стр. Цена 5 р. 90 к.

Адам Мицкевич. Избранные произведения. В двух томах. Перевод с польского. Том 1. 432 стр. Цена 6 р. 75 к. Том 2. 607 стр. Цена 9 р. 50 к.

А. В. Никитенко. Дневник. В трёх томах. Том 1. 1826—1857. 543 стр. Цена 11 р. 45 к. Том 2. 1858—1865. 652 стр. Цена 12 р. 65 к.

А. С. Пушкин. Сочинения. В трёх томах. Том 1. 512 стр. Цена 8 р. 60 к. Том 2. 504 стр. Цена 8 р. Том 3. 622 стр. Цена 10 р. 10 к.

Рассказы китайских писателей. Перевод с китайского. 528 стр. Цена 9 р. 35 к.

Ян Райнис. Сочинения. В двух томах. Перевод с латышского. Том 1. 599 стр. Цена 9 р. 20 к. Том 2. 778 стр. Цена 8 р. 40 к.

Стихи 1954 года. 272 стр. Цена 7 р.

Аалы Токомбаев. Избранное. Стихи. Авторизованный перевод с киргизского. 156 стр. Цена 4 р. 75 к.

Г. И. Успенский. Собрание сочинений. В девяти томах. Том 1. 544 стр. Цена 11 р. Том 2. 584 стр. Цена 11 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Е. Ф. Бурче. Пётр Николаевич Нестеров. 1887—1914. 248 стр. Цена 5 р. 70 к.

М. Васильев-Южин. В огне первой русской революции. 128 стр. Цена 1 р. 45 к.

И. Ермашев. Республика пяти звёзд. 464 стр. Цена 8 р. 65 к.

Владимир Котов. Летние дни. Поэмы и стихи. 144 стр. Цена 3 р. 50 к.

И. и Л. Крупениковы. Павел Андреевич Костычев. 1845—1895. 384 стр. Цена 7 р. 75 к.

Вл. Немцов. Осколки солнца. Научно-фантастическая повесть. 256 стр. Цена 5 р. 40 к.

М. Новосёлов. Николай Эрнестович Бауман. 1873—1905. 248 стр. Цена 5 р. 60 к.

Михаил Обухов. Ястребовы. Роман. 352 стр. Цена 8 р. 10 к.

З. Пёрля. Повесть о машине. 352 стр. Цена 9 р. 15 к.

А. Российский, М. Яновская. Светлый путь. Очерк о жизни и работах Героя Социалистического Труда В. П. Филатова. 104 стр. Цена 1 р. 50 к.

Е. Спангенберг. Из жизни натуралиста. 528 стр. Цена 11 р. 15 к.

Справочник комсомольского пропагандиста и агитатора. 384 стр. Цена 7 р. 50 к.

А. Таланов, Н. Ромова. Друг Чжунго. 216 стр. Цена 5 р. 65 к.

ДЕТГИЗ

Н. Автократов. Серая скала. Приключенческая повесть. 208 стр. Цена 4 р. 35 к.

Л. Буссенар. Капитан Сорви-голова. Историческая повесть. Перевод с французского. 296 стр. Цена 7 р. 15 к.

Вопросы детской литературы. 1955. Сборник. 424 стр. Цена 10 р. 50 к.

Древо воды. Рассказы индийских писателей. 128 стр. Цена 4 р. 35 к.

М. Ефетов. Полоса чудес. 288 стр. Цена 5 р. 90 к.

С. Марвич. Студент Добролюбов. Повесть. 336 стр. Цена 8 р. 55 к.

Мир приключений. Альманах № 1. 456 стр. Цена 16 р. 20 к.

П. Мариковский. Чудесная пёстрокрылка. Рассказы энтомолога. 128 стр. Цена 3 р.

Г. Мартынов. 220 дней на звездолёте. Научно-фантастическая повесть. 216 стр. Цена 5 р. 80 к.

О литературе для детей. Сборник. 256 стр. Цена 6 р. 30 к.

Б. Палотан. Дети Сталинвароша. Повесть. Перевод с венгерского. 256 стр. Цена 5 р.

Э. Потье. Избранные стихотворения. Перевод с французского. 176 стр. Цена 2 р. 85 к.

И. Сергеев. Крылов. Повесть. 320 стр. Цена 8 р. 90 к.

Э. Сетон-Томпсон. Рассказы о животных. Перевод с английского. 440 стр. Цена 7 р. 55 к.

М. Слуцкис. Добрый дом. Повесть. Авторизованный перевод с литовского. 352 стр. Цена 6 р. 75 к.

Н. Трублаини. Избранное. Перевод с украинского. 360 стр. Цена 12 р. 20 к.

О. Турченко. М. Горький — детям. 128 стр. Цена 2 р. 70 к.

Фирдоуси. Шах-намэ. Поэмы. Перевод с таджикского. 240 стр. Цена 4 р.

Хоровод. Чешские народные песенки для детей. Пересказал С. Маршак. 32 стр. Цена 2 р. 75 к.

Н. Шпанов. Связная Цзинь-Фын. Приключенческая повесть. 112 стр. Цена 2 р. 65 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

К. А. Багинян. Агрессия — тягчайшее международное преступление. (К вопросу об определении агрессии). 127 стр. Цена 3 р. 80 к.

В. Г. Венжер. Вопросы комплексной механизации колхозного производства. 329 стр. Цена 11 р. 70 к.

Вопросы логики. 326 стр. Цена 11 р.

Ю. В. Кнорозов. Система письма древних Майя. 95 стр. Цена 2 р. 30 к.

Р. С. Лившиц. Размещение промышленности в дореволюционной России. 294 стр. Цена 10 р. 75 к.

М. В. Нечкина. Движение декабристов. Том 1. 481 стр. Цена 23 р.

Николай Коперник. Сборник статей и материалов к 410-летию со дня смерти (1543—1953). 111 стр. Цена 6 р. 90 к.

В. Н. Образцов. Избранные труды. Том 1. 445 стр. Цена 27 р. 50 к.

Очерки природы Кара-Кумов. 406 стр. Цена 16 р. 30 к.

Г. М. Свердлов. Охрана интересов детей в советском и гражданском праве. 159 стр. Цена 5 р.

ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Заседания Верховного Совета СССР четвёртого созыва. Четвёртая сессия (26—29 декабря 1955 г.). Стенографический отчёт. 488 стр. Цена 10 р.

Стенографический отчёт издаётся на языках: русском, украинском, белорусском, узбекском, казахском, грузинском, азербайджанском, литовском, молдавском, латышском, киргизском, таджикском, армянском, туркменском, эстонском, финском, татарском, башкирском и кумыкском.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. 40 стр. Цена 25 к.

ГЕОГРАФИЗ

Армянская ССР. 283 стр. Цена 9 р. 70 к.

А. С. Добров. Великобритания. 436 стр. Цена 15 р. 35 к.

А. Л. Олуд. Молдавская ССР. 223 стр. Цена 8 р. 5 к.

Б. В. Пагирев. Румыния. 263 стр. Цена 5 р. 70 к.

К. А. Салищев, А. В. Гедымин. Картография. 407 стр. Цена 18 р. 30 к.

В. И. Чернявский, П. П. Семёнов-Тян-Шанский и его труды по географии. 296 стр. Цена 4 р. 90 к.

ГОСКУЛЬТПРОСВЕТИЗДАТ

М. Васильев. Путешествие в космос. 176 стр. Цена 6 р. 50 к.

В помощь работникам массовых библиотек. Сборник статей. 488 стр. Цена 13 р. 75 к.

Вселенная. Сборник. 408 стр. Цена 13 р. 10 к.

Н. В. Здобнов. История русской библиографии до начала XX века. 608 стр. Цена 14 р. 80 к.

И. М. Кауфман. Русские биографические и биобиблиографические словари. 752 стр. Цена 31 р. 40 к.

П. И. Кабанов. Очерки культурно-просветительной работы в СССР в послевоенные годы (1946—1953 гг.). 130 стр. Цена 2 р. 35 к.

Сельский клуб. Справочная книга. 368 стр. Цена 10 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Аграрные преобразования в народном Китае. Сборник материалов. Перевод с китайского. 389 стр. Цена 13 р. 50 к.

Апологеты монополий. Перевод с английского. 71 стр. Цена 2 р. 30 к.

Фань Вэнь-лань. Новая история Китая. Том 1. 1840—1901. Перевод с китайского. 600 стр. Цена 26 р. 75 к.

П. Э. Жако. Исследования вопросов стратегии Запада. Перевод с французского. 118 стр. Цена 3 р. 80 к.

Итоги выполнения хозяйственных планов 1954 г. в странах народной демократии. Сборник материалов. 114 стр. Цена 3 р. 65 к.

Иноуэ Киеси, Ононоги Синдзабуро, Судзуки Сеси. История современной Японии. Сокращённый перевод с японского. 812 стр. Цена 34 р. 50 к.

Конституция и основные законодательные акты Чехословацкой республики. Перевод с чешского. 680 стр. Цена 19 р. 20 к.

Фредерик Жолио-Кюри. Пять лет борьбы за мир. Перевод с французского. 210 стр. Цена 5 р. 60 к.

Луиджи Кьяррини. Сила кино. Перевод с итальянского. 255 стр. Цена 6 р. 25 к.

Пал Сабо. Новая земля. Роман. Перевод с венгерского. 646 стр. Цена 24 р. 40 к.

Франция и тресты. Перевод с французского. 487 стр. Цена 17 р. 85 к.

Уильям З. Фостер. Негритянский народ в истории Америки. Перевод с английского. 802 стр. Цена 28 р. 20 к.

Прем Чанд. Колодец Тхакура. Рассказы. Перевод с урду и хинди. 250 стр. Цена 6 р. 50 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Альфонс Доде. Избранное. 583 стр. Цена 10 р. 40 к.

Я. Фоменко. Свет в окнах. Очерки о культуре колхозного села. 140 стр. Цена 1 р. 50 к.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Б. Л. Борисов. Местные органы государственной власти европейских стран народной демократии. 132 стр. Цена 5 р. 60 к.

Ю. В. Тодорский. Постоянные комиссии местных Советов депутатов трудящихся. 188 стр. Цена 4 р. 95 к.

АРХАНГЕЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Б. Розен. Химия зелёного золота. 116 стр. Цена 3 р. 35 к.

ОДЕССКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. П. Филатов. Мои пути в науке. 164 стр. Цена 6 р. 40 к.

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов,**
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв,**
М. К. Луконин, А. М. Марьямов, Е. Успенская, К. А. Федин

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 22/ХІІ-55 г.

А 00651 Формат бумаги 70×108¹/₁₆, 9 бум. л.—24,66 печ. л.

Подписано к печати 21/І-56 г.

Тираж 140.000. Заказ № 2649

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени **И. И. Скворцова-Степанова.** Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 9 руб.